

РУССКАЯ
СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ
ПОВЕСТЬ





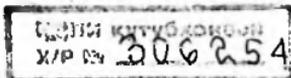
Университетская
библиотека

Редакционная коллегия:

Л. Г. Андреев, А. К. Авеличев, Я. Н. Засурский,
Ю. С. Кукушкин, В. И. Кулешов, В. В. Кусков, А. И. Метченко,
П. А. Николаев, В. И. Семанов, А. А. Тахо-Годи.

РУССКАЯ СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ

Составление, общая редакция,
вступительная статья
и комментарии П. А. Орлова



Издательство Московского университета
1979

ПЕЧАТАЕТСЯ ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ
РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Русская сентиментальная повесть
М., Изд-во Моск. ун-та, 1979, 336 с.

В сборник включены повести XVIII—начала XIX в., написанные русскими писателями-сентименталистами. Материал располагается в хронологической последовательности, что позволяет проследить историю развития сентиментальной повести, ее идейно-художественные особенности. В конце книги даны комментарии.

70202—058
Р_____ БЗ № 102-92-78 4701000000
077(02)—79

© Издательство Московского университета, 1979 г.

РУССКАЯ СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ

В 60-е годы XVIII века в русской литературе начинает складываться новое литературное направление, в то время еще безымянное и получившее впоследствии название «сентиментализм». Популярное среди современников, в дальнейшем у многих критиков и литературоведов XIX—XX веков оно вызывало по отношению к себе ироническое и даже враждебное отношение. Сентименталистов обвиняли в манерности, жеманности, в нарочитой аффектации чувств и даже в реакционности. «Мирные энтузиасты чувствительности, ограниченные стенками своего сердца, убаюкивающие себя до тихих восторгов и слез анализом своих ощущений...— писал о них А. Н. Веселовский.— Они... могут приспособиться ко всякой церковно-религиозной реакции, ужиться и с политической, ибо отошли от общности в мир своего крошечного «я»¹.

Правда, наряду с осудительными в адрес сентиментализма высказывались и сочувственные мнения. Так, П. Н. Сакулин писал о нем как о важном и прогрессивном явлении в истории литературы. Это, по его словам, «большое и, может быть, еще недостаточно оцененное движение», под знамя которого «собрались писатели, демократически настроенные»².

Дальнейшее изучение сентиментализма полностью подтвердило эти прогнозы; более того, в нем, хотя и с большим опозданием, увидели одно из выражений просветительской идеологии XVIII века.

Просветители, по словам Ф. Энгельса, подвергли «беспощадной критике» все прежние формы общества и государства. «...Все традиционные представления были признаны неразумными и отброшены как старый хлам...»³. Но, выступая против учреждений и идеологии феодального мира, просветители критиковали их не во имя той новой буржуазной формации, для которой они фактически расчищали место, а во имя вечных, справедливых

¹ Веселовский А. Н. Эпоха чувствительности.— В кн.: Веселовский А. Н. Избранные статьи. Л., ГИХЛ, 1939, с. 489.

² Сакулин П. Н. Русская литература. Социолого-синтетический обзор литературных стилей, ч. 2. М., 1929, с. 277, 281.

³ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 17.

законов природы, от которых, по их мнению, отошло современное общество.

Иерархии феодального государства, где отношение к человеку определялось его принадлежностью к тому или иному сословию, просветители противопоставили принцип природного равенства людей, а стало быть, и равного права на пользование благами жизни. «От природы,— писал Руссо,— люди не короли, не вельможи, не богачи; все рождается нагими и бедными. Начните же изучение человеческой природы с того, что действительно неразлучно с нею, что составляет суть человечества»⁴.

В духовной жизни человека одни просветители считали главным разум, другие — чувство. Писатели, культивировавшие в своих произведениях чувства, объявившие их драгоценнейшим достоянием человеческой природы, образовали направление, получившее название «сентиментализм». Проблема чувства или чувствительности, как говорили в России в XVIII веке, — одна из центральных в просветительской идеологии. В теории познания Локк и его последователи провозгласили ощущения единственным источником представлений об окружающем мире. «Разум твой,— писал Радищев,— начало имеет в твоих пальцах и твоей наготе»⁵.

На чувствительности основана и этика просветителей. Люди, писали они, всегда стремятся к удовольствиям и избегают страданий. В этом нет ничего предосудительного, ибо приятные ощущения являются сигналом благоприятных, а неприятные — неблагоприятных для человека обстоятельств: сама природа поставила его под защиту чувствительности. Поэтому стремление к свободе, к довольству и радости — неотъемлемое право каждого индивидуума, к какому бы сословию он ни принадлежал. Вместе с тем стремление к собственному благу не исключает, по словам просветителей, альтруистических побуждений. «Пусть для нас будет неоспоримой максимой,— писал Дидро,— что письмена добродетели начертаны в наших душах»⁶. Здесь решающую роль снова играет та же чувствительность, благодаря которой человек оказывается способным проникаться сочувствием к радостям и страданиям других людей. «Человек сопечалится человеку,— писал Радищев,— равно он ему и совеселится»⁷. В известном «академическом» словаре XVIII века слово «чувствительность»

⁴ Руссо Ж.-Ж. Эмиль, или О воспитании. Спб., 1913, с. 210.

⁵ Радищев А. Н. Полн. собр. соч., т. 1. М.-Л., Изд-во АН СССР, 1958, с. 140.

⁶ Дидро Д. Собр. соч., т. 7. М., ГИХЛ, 1939, с. 208.

⁷ Радищев А. Н. Полн. собр. соч., т. 2. М.-Л., Изд-во АН СССР, 1941, с. 54.

пояснялось как «качество троганущегося человека несчастьем другого»⁸.

Просветительская основа сентиментализма ощущается во всех его представлениях. Противопоставление деревни городу, низших сословий — высшим, «естественного состояния» — цивилизации связано с заветной мыслью просветителей о природе как источнике силы, справедливости, духовного и физического здоровья. Крестьяне самими условиями своего общественного бытия связаны с природой, с землей, что и помогло им даже в крепостной зависимости сохранить телесные силы и душевную красоту. Высшее сословие, живя в городе, вдали от природы, утратило и то и другое.

С этими же принципами связана и идеализация просветителями семейной жизни. В семье, писали они, торжествуют законы природы, заботящейся о продолжении человеческого рода. Здесь же воспитываются общественные навыки человека, поскольку именно в семье он начинает любить своего ближнего и помогает ему. Многие критики расценивали идеализацию сентименталистами семейной жизни как уход от общественной проблематики. Подобного рода утверждения основаны на недоразумении, поскольку просветители никогда не противопоставляли частную жизнь общественной, а в семье видели основу государства. «Как будто любовь к ближнему, — писал Руссо, — не является началом той, которой он обязан по отношению к государству... Как будто доброго гражданина не образуют добрый сын, добрый муж, добрый отец»⁹.

Следующей ступенью на пути формирования гражданских добродетелей считалась дружба, в которой общественная, социальная природа человека проявляется в еще более высокой форме, поскольку симпатии друзей определяются не кровнородственными отношениями, а общностью взглядов и убеждений.

Драматические и даже трагические ситуации в произведениях сентименталистов возникают там, где в мир «естественных» и, следовательно, разумных и гуманных отношений вторгаются враждебные им силы: помещичий произвол, фанатизм церковнослужителей, гонения бездушных законников. При этом отличительная черта творческого метода писателей-сентименталистов состоит в том, что их положительные герои выступают как носители природной чувствительности, а отрицательные — как лица, полностью или частично утратившие ее. Вследствие этого идеальные герои сентиментальной литературы не только наделяются повышенной впечатлительностью, эмоциональной возбуди-

⁸ Словарь Академии Российской, ч. 6. Спб., 1794, с. 839.

⁹ Руссо Ж.-Ж. Эмиль, или О воспитании, с. 362.

мостью, но сама их чувствительность всегда направлена в добрую, полезную для окружающих сторону. Они щедры, гуманны, сострадательны, способны на благородные, самоотверженные поступки. И наоборот, порочные герои изображены как люди равнодушные, легкомысленные, сухие, черствые и даже жестокие.

Обладателями чувствительности в произведениях сентиментализма, как правило, оказываются представители демократических слоев общества — крестьяне, разночинцы, сельское духовенство; «жестокосердием» наделяются представители власти, помещики-крепостники, высшие духовные чины. В этом распределении ролей с наибольшей очевидностью проявился просветительский, антифеодальный освободительный пафос сентиментальной литературы, представленной, в отличие от произведений классицизма, прежде всего прозаическими жанрами.

История русской сентиментальной прозы XVIII века существенно отличается от истории прозаических жанров XIX века. В XIX веке сначала появляются повести, авторами которых были А. А. Марлинский, М. М. Погодин, Н. Ф. Павлов, В. Ф. Одоевский, А. С. Пушкин и Н. В. Гоголь. О повести, «которую... все пишут и все читают, которая воцарилась и в будуаре светской женщины, и на письменном столе ученого»¹⁰ с одобрением говорил Белинский.

Позже на основе этого жанра начинает складываться роман. Характерен в этом отношении «Герой нашего времени» Лермонтова, составными частями которого явились повести, напечатанные ранее как вполне самостоятельные произведения. В 50—60-е годы ведущим жанром постепенно становится роман, и даже если творчество писателя начиналось с повести, затем, как правило, автор обращался к роману. Таким, например, был творческий путь Тургенева, Гончарова, Достоевского, Л. Толстого.

В литературе XVIII века картина совершенно иная. Сентиментальная проза сразу начинается с романа. Первым произведением этого жанра были «Письма Эрнеста и Доравры» Ф. А. Эмина в 4-х томах (1766). По его стопам следует и его сын, Н. Ф. Эмин, написавший два сентиментальных романа — «Роза» (1788) и «Игра судьбы» (1789). В это же время П. Ю. Львов печатает «Российскую Памелу, или Историю Марии, благородной поселянки» (1789). Только после появления в начале 90-х годов произведений Карамзина повесть решительно отгесничает роман и начинает свое триумфальное шествие по страницам журналов. Эта «обратная» последовательность объясняется прежде всего тем, что русский сентиментализм складывается позже

¹⁰ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. 1. М., Изд-во АН СССР, 1953, с. 271.

западноевропейского. В английской же и французской сентиментальной литературе наиболее популярным жанром была не повесть, а роман. Поэтому для первых русских сентименталистов примером служили не повести, а чрезвычайно популярные в то время романы Руссо и Ричардсона. Так, образцом для Эминых стала «Новая Элоиза» Руссо, для Львова — ричардсоновская «Памела». Писатели этого времени не только не скрывают своего ученичества, но даже, подобно Львову, гордятся им, указывая в названии произведения или в предисловии к нему объект подражания.

Впрочем, было бы неверно утверждать, что до Карамзина русская литература совершенно не знала повести. Образцы ее были, но они оказались настолько несовершенными и случайными, что не смогли ни привлечь к себе внимания, ни тем более создать устойчивую традицию. К числу таких немногих и пока еще спорадических явлений относится повесть «Колин и Лиза», напечатанная в 1772 году в журнале «Вечера». Правда, неизвестный автор называет свое произведение не повестью, а сказкой, видимо, затрудняясь подыскать для него соответствующее жанровое определение. Вместе с тем автору удалось найти ряд черт, характерных для будущей сентиментальной повести. В основе сюжета — типичный для сентиментализма «любовный треугольник»: влюбленная крестьянская пара и барин-соблазнитель. Четко противопоставлены друг другу два враждебных мира, к которым принадлежат герои, — деревня — обитель спокойствия и скромного идилического счастья и город — источник опасных соблазнов. Пока героиня не знала города, она и ее возлюбленный спокойно наслаждались безмятежным счастьем: «Колин играл на свирелке и воспевал прелести своей Лизы... Лиза плясала, рвалась и утешала тем Колина и себя». Появление Лизы в городе, куда она ходила продавать ягоды, знакомство с богатым и красивым баринном, вскружившим ей голову тонко продуманной щедростью, дешевыми комплиментами и двусмысленным предложением жить в его доме, разрушают душевную гармонию Лизы и влекут за собой трагические последствия. Деревенская жизнь кажется ей теперь убогой и мрачной, а возлюбленный — грубым и неинтересным. Правда, сам социальный конфликт между баринном и крестьянкой значительно смягчен: так, отец, узнав об увлечении дочери, запрещает ей появляться в городе, и Лиза... умирает с «печали». Такая концовка, исключавшая «падение» героини, свидетельствовала об осторожности автора, не пожелавшего обострять поставленную им социальную проблему.

В художественном отношении повесть мало совершенна. Образы героя и героини обрисованы схематично и в сущности повторяют многочисленных идилических «пейзан» XVIII века.

Характер «соблазнителя» едва намечен. Описание гибели героини выполнено бегло и почти конспективно. Зато в конце не забыта «мораль», носящая довольно общий, отвлеченный характер: «Бойтесь, невинные сердца, искушения обманчивых прелестей... и верьте, что истинная любовь удаляется от шума городского и царствует она в тишине и простоте сельской».

Образцом докарамзинской сентиментальной повести может послужить и произведение П. Львова «Роза и Любим» (1790). В сравнении со «сказкой» «Колин и Лиза» оно более пространно и многословно, что мало соответствует его несложному сюжету. Повесть «Роза и Любим» была написана Львовым почти одновременно с романом «Российская Памела». Видимо, автор не смог так быстро отойти от монументальной формы предшествующего произведения и перенес на повесть его неспешное повествование.

Повесть пока еще не удастся Львову. В поисках жанрообразующих форм он обращается к двум источникам — к идиллии и комической опере. Первую из них называет сам автор: «Рахель и бог Мезопотамин», прекрасная идиллия г. Шмитта, была началом или причиной сей сельской повести»¹¹. В данном случае речь идет о перенесении в произведение Львова одного из эпизодов идиллии Шмитта — разговора молодой девушки с невидимым ею возлюбленным. Но это не единственный идиллический эпизод. Сюда же относятся беседы крестьянина Любима с отцом, напоминающие сцены из популярных в России XVIII века идиллий швейцарского сентименталиста Соломона Геснера, в которых прославлялась родительская любовь и сыновья преданность. С идиллией связано также описание деревенского праздника по случаю дня рождения Добролюбы — матери Розы, где дружно веселятся и бедные поселяне, и богатый помещик.

Другим источником повести Львова была комическая опера. Во многих эпизодах писатель использует драматическую форму, заменяя повествование диалогами. В произведении введены даже две арии из иностранных опер, переведенных, по словам автора, его друзьями.

Но наиболее сильное влияние на повесть Львова оказала комическая опера Н. П. Николева «Розана и Любим», на что указывает даже название произведения. Кроме того, и в повести Львова, и в комической опере Николева главный герой — рыбак, встреча влюбленной крестьянской пары с помещиком и там и здесь происходит во время возвращения последнего с охоты. Но идиллическое начало все-таки подчинило себе подсказанный Николевым сюжет. Барин, развратник и насильник, заменен в

¹¹ Львов П. Роза и Любим. Спб., 1790, с. 5.

повести гуманным и щедрым помещиком, а притеснителем крестьян становится староста, решивший в корыстных целях сдать Любима в рекруты. Спасает влюбленных все тот же добродетельный помещик, приказавший освободить жениха, а старосту заковать в кандалы. Такая утешительная развязка сближает повесть Львова с охранительными комическими операми типа «Деревенского праздника» В. И. Майкова.

Явным стремлением сблизить сентиментальную литературу с русской действительностью и тем самым преодолеть следование европейским образцам отмечены два небольших произведения М. Н. Муравьева — «Обитатель предместия» и «Эмилиевы письма». В первом из них показаны различные социальные типы русского общества. Автор даже называет своих героев согласно их должности или роду занятий: судья Карманов, купец Кормилов, отставной майор Дремов, ученый Перков, помещик граф Благотворов, «добродетельный земледелец» (то есть крестьянин). В «Эмилиевых письмах» число персонажей дополняется офицерами. Каждое сословие как бы демонстрирует своих образцовых представителей. Что касается крестьян, то они в «Обитателе предместия» — предмет глубокого уважения и восхищения автора. В шестой главе, например, Муравьев создает образ столетнего земледельца, видевшего на военной службе самого Петра Первого. «Поля, окружающие деревню, — пишет автор, — его рукою обработаны. Он первый поставил хижину, когда кругом еще было непроходимое болото и дремучий лес. Труды его благословлены изобилием».

Наряду с идеальными Муравьев показывает и мрачные картины деревенской жизни, приближающиеся к зарисовкам из новиковского «Живописца». В той же шестой главе описаны «хижины земледельческие, развалившиеся, вросшие в землю, соломою крытые...». «Улицы селения были столь худы, — замечает автор, — что при самом въезде в него ось kibитки изломилась».

По жанру «Обитатель предместия» еще не является произведением с четко продуманным сюжетом. Это скорее серия очерков, объединенных образом повествователя. Правда, внутри этого очеркового материала иногда уже создаются маленькие законченные нопеллы. Такова, например, история помещика Дремова и его пасынка Эвфемона в 9-й и 10-й главах.

Подлинный переворот в области повествовательной литературы производит в начале 90-х годов XVIII века Н. М. Карамзин. Им были созданы наиболее совершенные образцы сентиментальной повести. Карамзин заметил не только сильные, но и слабые стороны европейских сентиментальных романов. Их уязвимым местом была явная диспропорция между размерами и чрезвычайно простым сюжетом, что приводило к растянутости повествова-

ния, избытию словесного материала. Герон Ричардсона и Руссо обмениваются многочисленными письмами, а события почти не развиваются. «Роман классический, старинный, /Отменно длинный, длинный, длинный»,— скажет о нем Пушкин.

Карамзин решительно отказывается от монументальной формы сентиментального романа и успешно разрабатывает жанр сентиментальной повести. Это, в свою очередь, приводит к отказу от эпистолярной манеры повествования как не соответствующей эпической, событийной природе повести. Роль повествователя, рассказчика переходит к автору. Существенное значение приобретают авторские характеристики героев, лирические медитации, пейзажные и портретные зарисовки. Малый в сравнении с романом объем повести делает ее сюжет более четким, более компактным и динамичным.

Первая повесть Карамзина «Евгений и Юлия» была напечатана в журнале «Детское чтение...» в 1789 году. До последнего времени совершенно необоснованно она считалась подражанием произведениям мадам Жанлис, несмотря на то что сам автор назвал ее в подзаголовке «истинно русской».

Произведение Карамзина теснейшим образом связано с тем идейным кризисом, который привел молодого писателя из лагеря мистиков-масонов в стан просветителей-сентименталистов. В повести изображена внезапная смерть юноши и безутешная скорбь о нем матери и невесты. Этот сюжет в одинаковой степени мог заинтересовать и масонов и сентименталистов, но под пером Карамзина он приобретает сугубо сентиментальный характер. Масоны в своих произведениях стремились всемерно обесценить земную жизнь и ее радости, противопоставляя ей загробную жизнь как некий идеал. «Мы окружены здесь тленностью,— писал московский розенкрейцер А. М. Кутузов,— все здесь мечта и сон»¹². В противоположность этому мироощущению повесть Карамзина отличается ярко выраженным гедонизмом. «Подобно тихой прозрачной реке текла жизнь их, струившаяся невинными удовольствиями и чистыми радостями»,— пишет автор о героях своей повести. «Насладясь восходом солнца», они любовались красотой цветов в своем саду; вечер «приносил с собой новые удовольствия». Тема радости жизни находит свое продолжение в любви Евгения и Юлии.

Вторая часть повести резко контрастна по отношению к первой: умирает Евгений; его мать и невеста— в отчаянии. Но и эта тема получает у Карамзина сентиментальное, а не масонское осмысление. Масоны в смерти человека видели проявление

¹² Барсков Я. А. Переписка московских масонов XVIII века. 1780—1792. Пг., 1915. с. 195.

мудрости и справедливости творца, избавлявшего умершего или от страданий, или от возможных злодеяний и преступлений. Именно по такому принципу были написаны две «восточные» повести: «Бозалдаб»¹³ и «Моацим»¹⁴, напечатанные в мasonicких журналах. В этих произведениях даже скорбь об умершем расценивается как одно из проявлений несовершенства человека, неспособного понять мудрость творца и справедливость его решений.

В повести Карамзина тема страдания и сострадания не только не дискредитирована, но, напротив, поднята на подлинно человеческую высоту. Автор с огромным сочувствием проследивает историю скорбных переживаний своих героинь, начиная с тревожного предчувствия смерти любимого человека и кончая безотрадной грустью о нем после его кончины.

Через несколько месяцев после опубликования «Евгения и Юлии» Карамзин навсегда порывает с масонами и отправляется в заграничное путешествие. По возвращении в Россию он начинает издавать «Московский журнал» (1791—1792), на страницах которого были опубликованы «Письма русского путешественника», а также повести «Лиодор», «Бедная Лиза», «Наталья, боярская дочь». Лучшей из них справедливо считают «Бедную Лизу». Повесть вызвала бурю восторга, ею зачитывались, ей подражали. Пруд около Симонова монастыря сделался местом паломничества бесчисленных поклонников Карамзина.

Сюжет «Бедной Лизы» строится на четко продуманном социальном конфликте: герою-аристократу противопоставлена беззащитная и доверчивая девушка-крестьянка. Эраст богат—его возлюбленная с трудом содержит себя и свою престарелую мать. Но наиболее полно образы главных героев раскрываются в их отношении к любви. Чувство Лизы бескорыстно и неизменно. Ни положение Эраста, ни его богатство не имеют для нее никакого значения. Она «в удовольствии его полагала свое счастье».

Карамзин не делает Эраста опытным, расчетливым соблазнателем: это было бы слишком грубым и примитивным решением вопроса. Его герой—добрый, но вместе с тем легкомысленный человек, привыкший получать от жизни одни удовольствия и не способный думать о последствиях своих поступков. Чувство Эраста к Лизе, вначале искреннее, оказалось недолгим. Платонические мечты сменялись чувствами, «которыми Эраст уже не мог гордиться». Наступило пресыщение и скука. Эраст оставляет соблазненную им девушку. Интересно отметить, что в повести образу Эраста сопутствует весьма прозаический лейтмотив—

¹³ «Утренний свет», 1777, ч. 1.

¹⁴ «Вечерняя заря», 1782, ч. II.

деньги, которые в sentimentalной литературе вызывают к себе настороженное и даже осудительное отношение, поскольку почти всегда создают лишь видимость сочувствия, за которой могут скрываться недобрые цели.

При знакомстве с Лизой Эраст стремится поразить ее воображение щедростью, предлагая за букетик ландышей вместо обычных пяти копеек рубль. Лиза решительно отказывается. Мать горячо одобряет поступок дочери. Позже Эраст несколько раз будет предлагать деньги Лизе и ее матери. При последней встрече он попытается откупиться от Лизы десятью имперIALами. Эта сцена возмутительна. Поступок молодого человека выглядит как кощунственное надругательство над бескорыстной, самоотверженной любовью: на одной чаше весов—вся жизнь, на другой—десять имперIALов. Сто лет спустя Лев Толстой повторит эту ситуацию в романе «Воскресение».

Трагическая развязка повести (самоубийство героини) выгодно отличает ее от многих однотипных произведений. Павел Львов в романе «Российская Памела» также описал любовь барина и крестьянки, но, проведя героиню через ряд тяжелых испытаний, он все же закончил повествование счастливым браком. Стремление к жизненной правде заставило Карамзина выбрать более убедительную развязку. В этом отношении он оказался смелее своего предшественника. «Бедная Лиза»,— писал В. В. Сиповский,— потому и была принята русской публикой с таким восторгом, что в этом произведении Карамзин первый у нас высказал то новое слово, которое немцам сказал Гёте в своем «Вертере». Таким «новым словом» было в повести самоубийство героини. Русская публика, привыкшая в старых романах к утешительным развязкам в виде свадоб, поверившая, что добродетель всегда награждается, а порок наказывается, впервые в этой повести встретилась с горькой правдой жизни»¹⁵.

Почти неизменно действующим лицом sentimentalной повести были отец или мать героини, причем обязательно овдовевшие. Этим достигался двойной художественный эффект. Утрата одного из родителей накладывала на героиню печать трогательного сиротства и вместе с тем давала возможность показать ее дочерние чувства и семейные добродетели—качества, высоко ценимые в sentimentalной литературе.

Карамзинская Лиза рано лишилась отца и стала единственной опорой престарелой вдовы. Это обстоятельство еще более усугубляет вину Эраста, легкомыслие которого приводит к гибели не только Лизы, но и ее матери.

¹⁵ Сиповский В. В. Очерки из истории русского романа, т. 1, вып. 2. Слб., 1910, с. 518.

Сильное впечатление производило на читателей точное указание места, где происходили описываемые события, вплоть до Симонова пруда, переименованного в дальнейшем в Лизин пруд. Наивные читатели того времени, уставшие от условных героев и столь же условной обстановки классицистической литературы, с жадным любопытством встретили все реалии карамзинской повести, придававшие сюжету почти документальное правдоподобие.

Другим типом повести, созданным Карамзиным, была так называемая «светская» повесть. Более известная по произведениям 30—40-х годов XIX века, она впервые появилась в сентиментальной литературе конца XVIII—начала XIX века.

О людях высшего круга в осудительно-критическом плане писали и классицисты. Но они осуждали русскую аристократию с позиций Петровского времени, требовавшего от дворян учения и государственной службы. Критика света в сентиментальной литературе, как и в произведениях Пушкина, Лермонтова, В. Одоевского, носит сугубо этический характер. Сентименталисты порицали светских людей не за невежество и паразитизм, а за бездушие, лицемерие и жестокость. Эти недостатки они объясняют оторванностью светского общества от природы и народа. Вследствие этого, считают сентименталисты, в нем культивируется кастовость; искренность, непосредственность отношений заменяются правилами «хорошего» тона, а духовной красоте предпочитается знатность и богатство.

До Карамзина к этой теме обращался Николай Эмин в романе «Роза» (1788), но раскрыл он ее грубо и примитивно. Ветрогон, воплотивший в себе пороки светского общества, окарикатурен автором, это не столько живая человеческая личность, сколько злая, циничная марионетка. Столь же прямолинейен Эмин и в развязке: порочный герой в угоду авторской назидательности кается в своих грехах и даже кончает жизнь самоубийством.

Неизмеримо тоньше и совершеннее тема высшего света раскрыта Карамзиным в повести «Юлия» (1796). Это произведение, в сущности, и начинается в России «светскую» повесть. Автор противопоставляет два мира—петербургский свет и дворянскую усадьбу. Светские люди оторваны от природы, они забыли о добродетели, в их обществе все искусственно и порочно, «сусальное золото предпочитается... истинному, скромность остается в тени, а дерзость заслуживает венок и рукоплескание». Светское общество представляет князь N*—опытный соблазнитель, щеголь и остро слов. Его антагонистом является Арис, скромный и добродетельный юноша, предпочитающий светским забавам мирную деревенскую жизнь. Характеры героев раскрываются в их отношении к любви. Для князя любовь—минутное удоволь-

стве: «любить, пока любишь». Мысль о женитьбе вызывает у него отвращение—с браком он связывает утрату «любезной вольности». Для Ариса любовь—душа, основа супружеской жизни. Каждый из этих принципов проверяется в повести на судьбе Юлии.

Если в романе Эмина «Роза» борьба за героиню воплощена в кровавых, чисто внешних ситуациях: дуэль, самоубийство и т. п., то Карамзин переносит конфликт в сугубо психологический план. Юлия, жена Ариса, увлекается князем. Арис уходит из дома, предоставив ей возможность обдумать свой поступок и сделать выбор. Уход мужа и уклончивое поведение князя отрезвляют Юлию. Она понимает свою ошибку, удаляется в деревню и становится добродетельной матерью. Арис возвращается к раскавшейся жене.

Название повести не только повторяет заглавие романа Руссо, но и в известной степени намекает на полемику с ним. Руссо изображает «падение» героини, ответственность за которое возлагает на безжалостные законы феодального мира. Проблематика повести Карамзина носит более мирный характер. Добродетельному мужу автор противопоставляет светского повесу. Борьба с деспотическим обществом уступает место борьбе героини с собственными слабостями и заблуждениями. Это позволяет повести Карамзина рассматривать в одном ряду с другими его произведениями, написанными после революционных событий 1793 года во Франции,—«Остров Борнгольм», «Сиерра-Морена»,—в которых утверждалась мысль о необходимости подчинять свои страсти рассудку во имя сохранения добродетели.

После появления первых произведений Карамзина развитие сентиментальной повести идет в нескольких направлениях. Лучшими ее образцами становятся те, в которых счастью героев мешают непреодолимые общественные условия: произвол помещиков и представителей власти, фанатизм церковников и т. п. Столь острому конфликту соответствует, как правило, трагический финал. Это свидетельствует о том, что авторы прекрасно понимали серьезность препятствий, с которыми сталкивались герои, и не утешали читателей благополучной развязкой. В этом несомненное достоинство этих произведений.

К немногим образцам антикрепостнической литературы принадлежит небольшая повесть Н. С. Смирнова (псевдоним—Даурец Номохон) «Зара» (1795). Трагична судьба самого автора. Сын крепостного крестьянина, он сумел получить хорошее образование. В дальнейшем за самовольную попытку освободиться от крепостной неволи Смирнов был отдан в солдаты, отправлен в Сибирь, где и умер тридцати лет от роду.

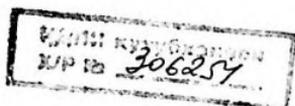
Сюжет «Зары» заимствован из книги известного французского просветителя Рейналя «История двух Индий». «Он столько поразила меня,— писал Смирнов,— что я, закрывши книгу, написал его по-русски, но ничего не заимствуя от Рейналя, кроме основы». Приведем полностью этот отрывок, помещенный в пятой части «Истории двух Индий» под названием «Бесчеловечие одного англичанина против индианки, его благодетельницы»: «Англичане, вышедшие на берега матерой земли для похищения там невольников, были открыты караибскими, кои служили корыстью в их набегах. Сии дикие устремились на неприятельское войско, кое они умертвили или обратили в бегство. Один молодой человек, долговременно преследованный, бросился в лес. Некоторая встретившаяся с ним индианка спасла его жизнь, кормила тайно и, спустя несколько времени, проводила на берег моря. Его товарищи, стоящие там на якоре в ожидании заблудивших, отправили лодку для взятия его. Избавительница его захотела ехать с ним на корабле. По прибытии их в Барбад, сей изверг продал ту, которая спасла его жизнь»¹⁶.

В рассказе Рейналя переданы только факты. Одно лишь слово «изверг» выражает отношение автора к описанной им истории. Сюжет, подсказанный Рейналем, превращается у Смирнова в типичную подсенсительную повесть, в которой расчетливому «каменному сердцу» европейцу Стрюмсону противопоставлена доверчивая простодушная «дикарка» — дочь природы Зара.

У Рейналя ничего не сказано о любви индианки и англичанина. Повесть Смирнова, подобно всем сентиментальным повестям, построена на любовном сюжете. «Сердце, имеющее вождем одну природу,— пишет автор,— не уклоняется от впечатлений ее. Зара, находя сладкое удовольствие в том, чтоб утешать и покоить Стрюмсона... посвящала ему все время свое. Скоро неизвестный сей огонь... переменял сострадание ее в жарчайшую любовь».

Смирнов не обольщается добрыми чувствами работящих и крепостников. В его произведении способностью любить наделена только Зара; Стрюмсон может лишь «вожделеть». Сюжет повести осложняется еще одной подробностью, отсутствующей у Рейналя: Зара «носит... под сердцем залог несчастной любви». Следовательно, Стрюмсон продает не только возлюбленную, но и своего будущего ребенка. Описание событий сопровождается в повести Смирнова многочисленными лирическими комментариями. «Злосчастная,— сетует он о судьбе героини,— не ведала она, что расточала нежнейшие ласки ехидне, долженствовавшей скоро растерзать ее сердце».

¹⁶ Философская и политическая история о заведениях и коммерциях в обеих Индиях, сочиненная аббатом Рейналем, ч. V. Спб., 1808, с. 295—296.



Карамзин, порицая бесчестный поступок Эраста, обманувшего Лизу, вместе с тем признается в своем неумении негодовать и возмущаться: «Я забываю человека в Эрасте, готов проклинать его, но язык мой не движется, смотрю на небо — и слеза катится по лицу моему». Смирнов, подобно Радищеву, открыто и резко выражает свою ненависть к работоторговцам: «Я дрожу от ужаса и злобы, пишуци сие... едва сошел он, как продает Зару каменосердым согражданам, Зару, свою избавительницу, свою супругу».

Современного читателя не должно смущать то обстоятельство, что в повести изображается не русское крепостничество, а рабовладение в Америке. Такого рода прием был данью цензуре. Им охотно пользовались и другие писатели, например, С. С. Бобров в стихотворении «Против сахара», Н. И. Гнедич в послании «Перуанец к испанцу», В. В. Попугаев в очерке «Негр».

Помещичий произвол уже безо всякого иноказания представляется в повести Г. П. Каменева «Софья» (1796). Молодой барин стремится соблазнить девушку-крестьянку богатством и беззаботной жизнью в городе, но Софья решительно отвергает все его предложения. Тогда помещик прибегает к откровенному насилию и увозит ее. Жених Софьи в отчаянии кончает жизнь самоубийством, Софья умирает в тот же день, будучи не в состоянии перенести горе.

В повести неизвестного автора «Варенька» (1810) гонителем молодой крестьянки оказывается земский судья. После напрасных любовных домогательств он заточает в тюрьму отца девушки и ссылает в Сибирь ее мужа. Обращает на себя внимание грубый произвол этого блюстителя правосудия и полная безнаказанность его действий. «Тщетно я старался найти путь к правосудию, — отказывает муж Вареньки, — открыть перед лицом одного коварства нашего гонителя... никто не хотел ни слушать, ни принимать меня».

Писатели-сентименталисты, вступившие в литературу после Карамзина, охотно пользовались его художественными открытиями. По аналогии с «Бедной Лизой» события в их повестях часто происходят вблизи реки или озера, на берегу которого расположена скромная хижина, — здесь живет героиня с престарелым отцом или матерью. Одним из повторяющихся атрибутов повести был монастырь — откровенная параллель к Симонову монастырю в «Бедной Лизе».

Чаще всего описание монастыря играло служебную роль: в его ограде происходила встреча действующих лиц повести с автором; на кладбище, вблизи монастыря, находились последнее успокоение ее неудачливые герои. И только в одном произведении неизвестного автора — «Пламед и Линна» — сам монастырь

сделался объектом протестующей просветительской мысли писателя.

Герои этой повести — монах и монахиня из двух монастырей, расположенных рядом. Уход молодых людей из мира расценивается автором как опрометчивый шаг, вызванный тяжелыми обстоятельствами и неопытностью. Пламед, рано лишившийся отца, подвергается гонениям отчима. «Отчаяние, — пишет автор, — привело его к стенам монастырским», и на девятнадцатом году он постригся в монахи. Столь же трагична судьба Линны. Не имея ни отца, ни матери, забытая родными, покинутая всеми людьми, она устремила «к богу, посвятила себя на служение ему», сделалась послушницей. Прозрение героев наступает в момент пострижения Линны в монахини. Пламед, принимающий участие в этом обряде, приходит в ужас, видя юное, прекрасное существо, добровольно обрекающее себя на безбрачие и пожизненное заключение в келье. Он готов помешать происходящему, но это оказывается выше его сил.

Во время мимолетной встречи молодые люди полюбили друг друга, и теперь монастырь стал для них не убежищем от зол и страданий, а мрачной тюрьмой. «Обитель кажется мне ужасною темницею; сестры мои существами безжалостными, холодными... Я потеряла все!» — признается Линна.

Вечные законы природы, и прежде всего любовь — самое властное из чувств, дарованных ею, — оказались сильнее монастырских обетов. «Природа и сердце мое превозмогли тщетные усилия слабого рассудка, — говорит героиня повести. — Долго спорили в груди моей долг и склонность, противная сану моему, долгу, но любовь торжествует». «Преступная» любовь Пламеда и Линны навлекает на них гнев монастырского начальства. Но они уже не могут смириться с прежним своим положением и разлуке друг с другом предпочитают смерть.

Автор «Пламеда и Линны» далек от атеизма. Этим он напоминает многих просветителей XVIII века от Вольтера до Руссо. В сущности, он отрицает не бога, а жестокие монастырские уставы, которые противоречат законам природы, законам человеческого естества. Но и такой протест был значительным шагом вперед в деле освобождения личности от мрачных призраков средневековья.

Часто повторяющимся мотивом сентиментальной повести является самоубийство героя или героини, что в большинстве случаев усиливает драматизм сюжета. Однако в некоторых произведениях («Пламед и Линна», «Российский Вертер» Н. Сушкова) эта тема приобретает особый, антиклерикальный характер.

Согласно церковному учению жизнь дарована человеку богом и только бог может прекратить ее. В силу этого самоубий-

ство расценивалось как тягчайший грех, непокорство и даже вызов воле творца. Самоубийцам отказывали в христианском погребении и хоронили их за пределами кладбища.

Просветители, и прежде всего материалисты-просветители, рассуждали иначе. Организм человека, учили они, устроен так, что люди всегда стремятся к приятным ощущениям и избегают неприятных. И когда неблагоприятные жизненные обстоятельства обрекают человека на одни страдания, он вправе пресечь ее, дабы избавить себя от ненужных мучений. «Если ненавистное счастье,— писал А. Н. Радищев,— истощит над тобою все стрелы свои, если добродетели твоей убежища на земле не останется, если, доведенну до крайности, не будет тебе покрова от угнетения, тогда вспомни, что ты человек, вспомни величество твое, посхити венец блаженства, его же отъяти у тебя тщатся— умри»¹⁷.

Этот спор с ортодоксальной религией нашел отражение в повести «Пламед и Линна». Церковники проклинали несчастных самоубийц и лишили их погребения. Но «сострадание некоторых земледельцев заключило тайно бранные остатки погибших в один гроб, и одна могила сокрыла их».

Полемика с ортодоксально-церковной точкой зрения на право человека распоряжаться своей жизнью в еще большей степени выражена в повести М. Сушкова «Российский Вертер». При некотором сходстве этого произведения с романом Гете (любовь героя к замужней женщине) повесть Сушкова имеет свои отличительные черты, которые прежде всего касаются характера главного героя и причины его самоубийства.

Поведение гетевского Вертера всецело определяется его страстной, впечатлительной натурой, которая делает героя рабом охватившего его чувства. Но натура Вертера отличается не только повышенной эмоциональностью, но вместе с тем и предельной утонченностью и даже хрупкостью. Такого рода рафинированность крайне опасна для него самого, и Вертер понимает это. «Человек,— говорит он,— может сносить радость, горе, боль лишь до известной степени, а когда эта степень превышена, он гибнет». Безнадёжная страсть к Лотте оказалась сильнее привязанности Вертера к жизни, что и погубило его.

Российский Вертер, в отличие от своего немецкого собрата, живет не только чувствами, но и разумом. Это не отменяет «сентиментальной» природы повести, поскольку герои сентиментализма постоянно проверяют и подкрепляют свои эмоции доводами рассудка, что, к слову сказать, еще раз подтверждает

¹⁷ Радищев А. Н. Полн. собр. соч., т. I, с. 295.

просветительскую основу сентиментального направления. Не случайно многие сентименталисты — Дидро, Руссо, Радищев — были не только писателями, но и философами.

В герое Сушкова соединились обе стихии — и эмоциональная и рассудочная. «Здесь представляется, — пишет автор, — молодой человек пылкого сложения, чувствительного сердца и, может быть, весьма рано начавший питать свой разум философией». О философских увлечениях российского Вертера говорится и в конце произведения, и даже с явным намеком на их недозволенный, атеистический характер. «После него, — пишет автор, — остались многие философские сочинения, которые никогда не были и не могли быть напечатаны». Действительно, размышления героя явственно перекликаются с доводами просветителей-материалистов: жизнь оправдывает себя только в том случае, когда она радует человека, но если его преследуют одни бедствия, он вправе самовольно прекратить свое существование.

Судьба русского Вертера сложилась крайне неудачно: любимая им девушка выходит замуж за другого. Он беден и в довершение своих злоключений из-за дуэли должен оставить службу. Все это приводит его к решению уйти из жизни. «Хладнокровно свеся добро и зло, — пишет он своему другу, — рассудил, что мне не можно более ожидать благополучия в оной и решился перестать жить». Заключительная фраза повести еще более выдает атеистические взгляды героя: «Оставшиеся деньги... он велел раздать нищим, а попам ничего, и для того нищие со слезами провожали его прах до места, где он был положен, а попы предали проклятию его имя».

Особую группу составляют произведения, в которых чувствительные герои оказываются жертвами домашнего, родительского произвола. Эта разновидность сентиментальной повести близка к первой, поскольку власть родителей над детьми была продолжением все того же общественного деспотизма.

Любовный сюжет как неотъемлемая черта сентиментальной повести сохраняется и здесь. Но преградой к счастью влюбленных теперь становятся не представители власти, не сластолюбивые помещики, а родители, которые оказывают предпочтение не избраннику сердца дочери, не его уму и таланту, а чину и деньгам. Здесь сентиментальная повесть поднимает тему, которая долго не будет сходить со страниц русской литературы.

Власть родителей над детьми прослеживается в сентиментальных повестях на различных ступенях русского общества конца XVIII — начала XIX века.

В «Истории бедной Марьи» (1805) Н. П. Милонова изображена мешанская среда. Автор рассказывает о том, как дочь грубого, необразованного откупщика полюбила «бедного поселенника». Но

отец решительно воспротивился сердечной склонности дочери и насильно обвенчал ее с богатым купцом. Возлюбленный Марья лишил себя жизни в день ее свадьбы, а сама героиня «оставила отца, мужа» и «провела... остатки дней своих в горести и тоске».

Герои повести П. И. Шаликова «Темная роща, или Памятник нежности» (1798) — провинциальные дворяне, но и здесь тот же взгляд на супружество, те же отношения между родителями и детьми. «Отец и мать Нины, — замечает автор, — были из числа тех обыкновенных отцов и матерей, которые предначинают цену дочерям своим как будто какой-нибудь вещи, не думая нимало об истинном счастье их. Богатство составляло все достоинство, которого желали они будущему своему зятю...».

В произведении А. И. Клушина «Несчастный М-в» события происходят в столице. Софья, дочь знатного и богатого господина, окружена роскошью и вниманием. Отец не жалеет денег для ее воспитания и в качестве домашнего учителя приглашает к ней М-ва, умного и талантливого юношу. Молодой человек с успехом выступает на сцене, пишет стихи, увлекается музыкой. Бедность М-ва не помешала Софье оценить его достоинства. Молодые люди полюбили друг друга. Отец Софьи, узнав об этом, приходит в негодование. Он изгоняет М-ва из своего дома и заставляет Софью написать письмо, в котором она просит своего возлюбленного забыть ее. Произведение заканчивается самоубийством героя и безутешной скорбью о нем героини.

Повесть Клушина связана как с фактами русской действительности, так и с лучшими произведениями сентиментальной европейской литературы. Прототипом ее героя был разночинец Маслов, последние дни которого автор, в сущности, и описал. Ситуация, найденная Клушиным (домашний учитель, влюбленный в дочь хозяина дома), неоднократно будет повторена в русской литературе. Но автор указывает и на два литературных источника, которыми он пользовался: это «Новая Элоиза» Руссо и «Страдания молодого Вертера» Гете. С романом Руссо повесть Клушина связана сюжетом: бедный разночинец, домашний учитель дочери знатного господина, влюбляется в ученицу и навлекает на себя гнев ее отца. Что касается характера героя и печальной развязки повести, то здесь она более перекликается с романом Гете.

К этой же группе сентиментальных произведений следует отнести «Переславское озеро» К. Сушковой (1795), повесть «Памир и Раида» Д. П. Горчакова (1796), «Несчастных любовников» некоего П. С. (1809) и «Несчастную Лизу» неизвестного автора (1810).

Особую группу составляют сентиментальные повести, в которых причиной злключения героини оказывается неперный муж

или столь же непорядочный любовник. В этих произведениях тема социального неравенства героев полностью отсутствует, что свидетельствует о постепенной утрате сентиментальной повестью ее общественного пафоса. Сюда можно отнести повесть П. Ю. Львова «София» (1794), «Бедную Машу» А. Е. Измайлова (1801), «Оболенную Генриетту» И. Свечинского (1801), «Истинное приключение благородной россиянки» неизвестного автора (1803), «Дух россиянки» А. Ф. Кротова (1809), «Евдокию» М. Н. Макарова (1810). Все эти произведения отличаются мелодраматизмом сюжета, а подчас («Бедная Маша») излишним натурализмом в изображении «жестоких» сцен.

Дальнейшее снижение общественного пафоса сентиментальной повести выражается в том, что причиной бедствий героев все чаще и чаще становятся не общественные явления, а то или иное неблагоприятное для них стечение обстоятельств. На месте враждебных человеку социальных сил, с которыми боролись просветители, оказывается слепой случай. К такого рода случаям относится прежде всего непредвиденная и ничем не мотивированная смерть героя или героини. Так, в повести Н. Кугушева «Петр и Параша» (1802) молодой крестьянин погибает от укуса змеи. В произведении неизвестного автора «Парамон и Варенька» жениха и невесту во время сенокоса поражает молния; пафосом повествования и является скорбь односельчан об их преждевременной кончине. В повести П. Ю. Львова «Даша, деревенская девушка» (1803) налицо все условия для социально мотивированного драматического сюжета, поскольку «любовниками» оказываются молодой помещик и крепостная крестьянка, принадлежащая его матери. Однако автор решительно отходит от социальной мотивировки судеб своих героев и отдает сюжет произведения во власть случая: возлюбленный Даши уезжает на войну и погибает в одном из сражений; узнав о его кончине, умирает и Даша.

В отдельных случаях автор вообще ничего не говорит читателю о причинах смерти своего героя. Важна не причина, а сам факт смерти, который в дальнейшем и становится средством нагнетания скорбных эмоций. К числу таких произведений относится прежде всего повесть Г. П. Каменева «Инна» (1804), в которой смерть Русина, возлюбленного Инны, не объяснена, но зато она дает писателю возможность изобразить скорбь и терзание героини.

Роль неблагоприятного стечения обстоятельств особенно четко прослеживается в повести И. И. Лажечникова «Спасская лужайка» (1812). Судьба влюбленных Леонса и Агаты могла бы сложиться вполне благополучно, но на их беду овдовевший отец Леонса решил жениться на матери Агаты. Отчаявшиеся влюблен-

ные предпочли расстаться с жизнью, нежели друг с другом.

В некоторых произведениях неудачи героев объясняются их недалекостью, непрактичностью, излишней доверчивостью. Так, герой повести Н. Мамышева «Злосчастный» (1807) после смерти жены вторично вступает в брак, но на этот раз крайне неудачно. Отсюда, в сущности, и берут начало все последующие бедствия, вплоть до преждевременной кончины героя.

Последнюю группу сентиментальных повестей представляют произведения, в которых решающее значение в жизни героев имеет все тот же «случай», но только теперь он играет не пагубную для героя, а спасительную роль. Этот наивный оптимизм свидетельствует об окончательном отходе писателей-сентименталистов от серьезных, просветительских задач. Например, в повести Н. П. Брусилова «Легковерие и хитрость» (1806) замужнюю женщину пытается соблазнить опытный и коварный развратник. Стремясь достигнуть своей цели, он клеветает на нее мужу. Совершенно случайно, к счастью для супругов, муж слышит разговор Эмили с ее соблазнителем и убеждается в невинности жены.

В произведении «Модест и София» (1810) (автор неизвестен) герой, обманутый светской дамой в самых лучших его чувствах, уезжает в деревню, где предается мрачной меланхолии. Случайная встреча с дочерью соседа-помещика возрождает его к любви и семейному счастью.

Чудодейственная роль «случая» почти в фантастической форме представлена в анонимном сочинении под названием «Милые, нежные сердца» (1800). Герой этой повести лишается горячо любимой жены. Отчаяние его безгранично. Во время похорон он в иступлении бросается на грудь покойницы и ... пробуждает ее от «продолжительного обморока». Плачевная церемония сменяется общим ликованием.

Идейный кризис, пережитый сентиментальной повестью в начале XIX века, сопровождался резким снижением ее художественных достоинств: обилием словесных и сюжетных штампов, гиперболизированной и безвкусной чувствительностью, не подкрепленной глубокой и серьезной проблематикой. «Было время — писал с горечью князь П. И. Шаликов, — когда всякий хотел славы сентиментального, наступило другое — и всякий старается ... написать ... эпиграмму против сентиментальности»¹⁸.

И все-таки, несмотря на наличие разных вариантов сентиментальной повести, можно говорить о ней как об определенном целостном явлении, обладающем рядом устойчивых жанровых признаков. Одним из них был своеобразный документализм

¹⁸ «Аглая», 1808, январь, с. 37.

повествования. Это обстоятельство в ряде случаев даже оговаривалось в заглавии: «Евгений и Юлия. Русская истинная повесть», «Истинное приключение благородной россиянки», «Несчастливая Лиза. Истинное происшествие».

Повествование, как правило, начиналось с точного обозначения места, где происходили описанные автором события. Тон здесь задавал Н. М. Карамзин, связавший сюжет «Бедной Лизы» с окрестностями Симонова монастыря. Ему последовали В. Измайлов — события в его повести «Ростовское озеро» происходят в Ярославской губернии (в Яковлевском монастыре) — и ряд других авторов.

Почти обязательным аксессуаром сентиментальной повести, как мы уже говорили, являлся пруд, река или озеро, чаще всего с точным указанием названия и местоположения. Это придавало рассказу своеобразную поэтичность; в их волнах часто кончали расчеты с жизнью отчаявшиеся герои.

«Истинность» содержания произведения усиливалась также и тем, что рассказчиком в ряде случаев выступал не автор, а очевидец или даже участник описываемых событий. В связи с этим сюжету повести предшествовало небольшое вступление, в котором сообщалось, где и при каких обстоятельствах автор встретился с повествователем («Ростовское озеро» В. Измайлова, «Софья» Г. Каменева, «Злосчастный» Н. Мамышева и др.). Если же повествование велось от лица автора, то специально оговаривалось его близкое знакомство с героями.

Столь же устойчив и традиционен конфликт, на котором строился сюжет сентиментальной повести. Положительным героям, близким к природе, любящим деревенскую жизнь и тихие семейные радости с избранником сердца, противостоят герои, связавшие мысль о достоинстве человека с чинами и деньгами. Соотношение сил чаще всего оказывается не в пользу чувствительных героев, но, даже теряя надежду на счастье, они не отказываются от своих принципов и предпочитают смерть унижительной покорности своим гонителям.

В конце повести указывалось место погребения героя, в некоторых случаях даже приводилась эпитафия на надгробном камне, украшавшем могилу.

Сентиментальная повесть — одно из закономерных и важных явлений в истории русской литературы. К сожалению, отношение к ней критиков и историков литературы не всегда было справедливым и объективным. Обращали внимание на мелодраматичность сюжетов и повышенную эмоциональность ее героев и не замечали того нового и важного, что принес с собой этот жанр.

Появление сентиментальной повести свидетельствовало о начавшейся демократизации русской литературы, вызванной распространением в России просветительских идей. На смену героям классицистической поэмы и трагедии — монархам, вельможам и полководцам — пришли рядовые представители русского общества — дворяне, мещане, купцы и даже крестьяне. Последние вскоре заняли центральное место в сентиментальной литературе. И если подчас язык крестьянских героев напоминал речь представителей образованного общества, то это происходило не от намерения исказить истину, а от желания показать читателю, что и простым людям свойственны высокие мысли и благородные чувства.

Критика светского общества, осуждение семейного деспотизма, произвола помещиков и чиновников — все это свидетельствовало о том, что сентиментальная повесть не стояла в стороне от серьезных общественных задач.

Писатели-сентименталисты много сделали и в области создания русского литературного языка. Отказавшись от сложной, иерархической системы «трех стилей», они сблизили его с разговорным языком образованной части русского общества.

Лучшим представителям русского сентиментализма удалось создать совершенно особый жанр сентиментальной повести, который в истории русской литературы столь же своеобразен и неповторим, как жанр романтической и «натуральной» повести.

КОЛИН И ЛИЗА

Сказка

Колин и Лиза жили в одной деревне недалеко от города: оба были молоды, оба прекрасны, простота нравов и сердец их соответствовала простоте их жизни. Нужно было им только увидеться, чтобы полюбить друг друга; наконец они увиделись, увиделись и полюбили. Сердца их, не знающие притворства, в тот же час открыли свои чувствования. Колин, подошед к Лизе, сказал ей:

— Куда как ты хороша, Лиза! Я люблю тебя.

— Мне кажется, ты лучше меня, Колин,— сказала Лиза,— я не знаю, что-то есть у тебя в глазах такое, которое заставляет меня беспрестанно глядеть на тебя. Станем чаще видеться; завтра я буду на сенокосе, приди туда.

Колин с радостью на то соглашается. Назавтрее они увиделись и еще больше друг друга полюбили. Они уговорились всякий день сходиться, и каждый день любовь их жарче становилась; они не находили ни в чем удовольствия друг без друга; начинающееся утро рождало в них желание скорей увидеться. Они спешили друг ко другу; сельские труды их не тягостны, но приятны им были, для того, что они были вместе; ничто не вмешивалось в их разговоры, кроме любви; вечер умножал их удовольствие; они, покидая свою работу, мешались в деревенские игры. Лиза была всех веселее; Колин играл на свирелке и воспевал прелести своей Лизы, все веселости их были невинны, Лиза плясала, резвилась и утешала тем Колина и себя. Они только тогда горесть чувствовали, когда наступающая ночь принуждала их расставаться. Колин некогда говорил Лизе: «Лиза! Мы счастливы, но чтобы счастье наше было совершенно, не надобно нам ни на одну минуту разлучаться; ты также тоскуешь, как и я, прощаясь со мною; довольна ли ты будешь, ежели я сыщу способ, чтобы не чувствовать нам этой тоски?» Лиза обещала за то ему несколько поцелуев. «Хорошо,— сказал Колин,— я пойду к своему отцу и скажу, что я люблю тебя; ты своему скажи то же; я стану просить моего, чтоб он женил меня на тебе, а ты проси своего, чтобы он тебя за меня выдал; нужно только их согласие, и мы будем жить вместе».

Что сказано, то сделано. Оба они побежали ко своим отцам, открылись им; отцы согласились, но только с тем условием, чтобы по

окончании летней работы женить их осенью. Любовники восхищены были радостью. «Лета уже несколько осталось,—говорила Лиза,—можно потерпеть несколько часов скуки, чтобы наслаждаться после всегдашним спокойствием. Я обещаю тебе несколько поцелуев... возьми их в заклад нашей верности».

Колин в радости целует Лизу, и потекли дни молодых любовников в радости и удовольствии.

В один день Лиза с заплаканными глазами прибежала к Колину... «Ах, Колин! Ты не знаешь нашего несчастья; отец мой завтра берет меня с собою в город для продажи ягод; я тебя не увижу до половины дня, я не перенесу этого!» Колин запечалился, но пособить было нечем: они умножали на этот день ласки свои, чтоб наградить часы следующего дня, в которые они не увидятся. Расставанье их было слезно; они, прощаясь, рыдали, и казалось, будто они навек разлучаются, хотя и знали, что только несколько часов не вместе они будут, но в разлуке часы любовников гораздо текут медленно. Наконец простились. Они проводили ночь в беспокойстве; Лиза должна была до восхода солнца идти с отцом в город; она шла печальна: Колин не выходил из ее мыслей ни на минуту.

— Примечай, Лиза, дорогу,—говорил ей отец,—впредь я тебя одну стану посылать в город.

— Я бы не желала ее вечно знать,—вздыхнувши, отвечала Лиза,—для того, что дорога разлучает меня с Колином...

— Ты ночью же с ним увидишься,—сказал отец,—можно уделять несколько часов для прибыти отца своего, мы за то ускорим вашу свадьбу.

Между тем они приходят в город. Лиза всему удивляется, что ни видит; любитесь строением города, смотрит на проезжающих, но не забывает о своем любовнике. «Ах, Колин! Ежели бы ты был со мною, мне бы новость сия еще была приятнее». Между тем их кликнули в один великолепный дом; купили ягоды, заплатили им щедро и велели впрямь приносить.

Они идут домой во удовольствии; Лиза всю дорогу удивлялась великолепию города и была довольна тем, что она видела. Они приходят в деревню; Лиза с нетерпеливостью хочет видеть Колина, чтобы рассказать ему о городе, ищет его глазами, он ей встречается—бегут друг ко другу. Колин обнимает ее.

— Ах! Как мне скучно было без тебя, Лиза, и сколько теперь я весел, тебя увидя!

— Я, идучи в город, по всю дорогу плакала о тебе,—сказала Лиза,—но там я увидела столь много нового для себя, что мне и загрустить некогда было. Ах, Колин! Ежели бы ты был со мною, ты бы так же, как и я, всему удивлялся: какие дома! Какие сады! Как хорошо наряжены жители!

Колин на то:

— Что мне нужды до того? Для меня Лиза всего лучше; станем говорить о любви нашей. Ты меня любишь?

— Люблю, Колин! Ах! Ежели бы у нас такой дом был, какие я видела.

— Неужли бы ты больше меня любить стала?—спросил Колин.

— Нет, но мы бы веселее жили.

Остаток вечера любовники проводили в разговорах; они говорили о любви своей, но Лиза часто напоминает о городе.

На другой день они по обычаю своему увиделись. Лиза говорит:

— Мне надобно набрать ягод, чтобы завтра в город отнести.

— Ах! Ты опять пойдешь!

— Так, Колин, батюшка уговорился с одним господином, чтоб чаще носить к нему ягоды, и велел мне завтра их нести, а сам останется на работе.

— Меня это сокрушает,—говорит Колин,—и так ты часто будешь расставаться?

— Как же быть, Колин.—вить я недолго прохожу, пойдем скорее за ягодами.

— Я бы желал, чтоб мы ничего не нашли и чтобы никогда не родились у нас ягоды: тебя бы не стали посылать и я бы не терпел того, что я теперь терплю.

— Ах! Не желай сего,—сказала Лиза,—ежели нам всегда так хорошо платить будут, как вчерась, то отец мой разбогатеет, а я желаю быть богаче.

— На что тебе богатство, Лиза! Я люблю тебя... Ты меня любишь— вот наше богатство.

— Мне бы к свадьбе сделали хорошее платье,—говорит Лиза.

— Ты и без того хороша и лучше быть не можешь.

Между тем они набрали ягод.

— Прости, Колин,—говорит Лиза.—Мне надобно, поужинав, ранее лечь спать, чтоб завтра ранее пойти в город.

— Теперь еще рано,—сказал Колин,—мы можем еще часок проводить вместе.

— Нет, Колин, я боюсь, что мои ягоды завянут и мне не дадут за них столько, как вчерась дали; прости.

— Ах, как мне жаль тебя, Лиза; сегодняшнее расставанье мне тошнее прежнего.

— И мне жаль тебя, Колин, однако пора, прости.

Лиза расстается уже не с такою горестию, как первый раз; она не плачет и спокойно идет домой, ночь проводит спокойно и назавтре спешит в город. Дорогою не грустит, но поет песни, воображает, что она еще вновь увидит многое, что ее дивиться заставит. Приходит к городу, с восхищением смотрит на все, что ей встречается, идет к тому дому, где купили у ней ягоды. Хозяин дому того кличет ее из окна, ее приводят к нему, он удивляется красоте ее, ласкает вдвое противу прежнего,

уговаривает, чтоб она всякий день носила к нему ягоды свои; она обещается, между тем осматривает дом, пленяется всем, что она видит; но больше всего пленяется вежливостью господина, удивляется его красоте и его наряду.

— Простите,— сказала она,— я поспешу в деревню для того, чтобы успеть сего дня набрать хороших ягод и завтра опять сюда принести.

— Прости, красавица,— сказал господин,— завтра я тебе еще больше заплачу за твои ягоды.

Она с веселием идет из города, дорогою думает уже не о Колине, но о том господине, который говорил с нею; считает деньги, которые он ей дал; воображает, как отец им обрадуется и сколько хвалить ее станет за то, что дорого продала ягоды.

В сих приятных размышлениях приходит она в деревню, ищет отца обрадовать его удачною продажей. Она находит его на пашне вместе с Колином; Колин бросился обнять ее, но Лиза, не поцеловав его, вскричала:

— Ах! Как ты черен, Колин! Конечно, ты загорел, я не узнаю тебя.

— Я и вчера не белее был, Лиза, однако ты целовала меня, поцелуй же и теперь.

Лиза, дав ему холодный поцелуй, говорит:

— О! Ежели бы ты таков бел был, каков тот господин, который у меня купил ягоды, я бы тебя лишний раз поцеловала.

— Не дав отвечать ему, вынимает деньги, отдает отцу.

— Я одна нынче больше принесла, чем вчера мы двое; какой добрый господин! Он, не торгуясь, дал мне деньги и велел завтра опять принести ягод, обещая дать еще больше за них. Я теперь пойду за ягодами, наберу и завтра отнесу.

Колин с горестью говорит ей:

— Лиза! Ты сама желаешь расставаться со мною.

— Так, я сама желаю для того, что разлука наша прибыльна батюшке моему.

— Но для меня мучительно,— сказал Колин.

— Тебе же хуже,— говорит Лиза,— прощайте, я пойду за ягодами.

Она уходит; Колин чувствует горечь, досаду и ревность. «Она больше не любит меня!»— говорит сам в себе.— Холодность ее мне это сказывает; пойду за нею и постараюсь узнать, отчего так она переменялась». Он идет за нею:

— Лиза! Постой, мы вместе ягоды брать будем.

Она, ничего не отвечая, идет далее; он догоняет ее.

— Скажи мне, Лиза,— заплакавши, говорит ей,— за что ты так сурова стала?

— Куда как ты скушен, Колин, я беспрестанно слышу твои пени; видно, что ты в городе не бывал: ты вежливо молвить не умеешь. О, ежели бы ты умел так ласково и приятно говорить, как тот господин, к которому я ношу ягоды!

— Разве он говорит с тобою?

— Конечно, говорит; он называет меня красавицею; он спрашивал, где я живу, сколько мне лет и как меня зовут. Прощаясь со мною, он так пристально смотрел на меня и так низко кланялся, что я чуть не позабыла, кто я.

— Скажи мне, Лиза, молод ли этот господин?

— Мне кажется, он моложе тебя. Как он бел! Какая в лице его нежность; я ничего лучше его не видывала.

— Мне кажется, ты влюбилась в него,—с досадою сказал Колин.

— Ах! Ежели бы я не крестьянка была, я бы никого, кроме его, не полюбила.

— Ты забываешь, Лиза, что ты обещалась любить меня.

— Так,—сказала Лиза,—но я тогда еще не была в городе и прекрасного господина не видала.

— Город не должен переменять твоего сердца,—говорит Колин,— знаешь ли, что ты можешь погибнуть? Тот господин, которого ты так хвалишь, может быть, сделает тебя несчастливою.

— Куда как ты зол, Колин! Можно ли, чтоб человек, будучи подобен ангелу, был причиною несчастья; нет, я этому не верю; глаза его меня не обманывают; они мне говорят, что он очень умсет счастливыми делать!

Колин узнает ее слабость, рвется, беспокоится, уговаривает, чтоб она не ходила больше в город; она не слушает его. Он сердится, она уходит, он остается в отчаянии; она издали смеется его беспокойству.

Назавтрее собирается в город, украшает себя цветами, старается получше нарядиться; но недовольна будучи своею одеждою, досадует, однако спешит в город. Она уже не останавливается, не дивится ничему и не глядит ни на что, идет скорее в тот дом, где ее любезный господин живет. Он ее встречает, целует ее, расспрашивает обо всем, рассказывает, что он ее любит, отговаривает идти замуж, советует ей жить в его доме и не оставлять ничего, чем можно уловить добродетель. Лиза, будучи невинна, верит всему; пленяется им, медлит у него в доме и возвращается домой печальна. Все, что ни видит она в деревне, сравнивая с тем, что она видала,—их жилище, в котором она столько сперва удовольствия находила, представляется ей темницею; самый Колин, которого она столь нежно любила, кажется ей дурен и груб; она не думает искать его, но предается сладчайшему воображению о новом своем любовнике.

Колин приходит к ней, пеняет ей, для чего она так долго ходила. Она скучает им и его пенями, хочет уйти от него, он ее удерживает, плачет перед нею, умножая свои пени; она холодно смотрит на его слезы; он досадует, она сердится; наконец говорит, что он ей противен; он с досадою отвечает ей на это; она еще грубее и, заплакав, бежит к отцу своему.

— Я найду, батюшка, за Колина,—говорит она,—нрав его так несносен, что он и теперь сокрушил меня, что ж будет, ежели я женой его буду!

Отец старается примирить их, но она не соглашается; она поссорилась с любовником навсегда; Колин остался в отчаянии; Лиза помышляет, как бы уговорить отца, чтобы отдали ее жить к любезному ее господину. Между тем ходит часто в город и день от дня больше им пленяется; отец не согласился отдать ее в дом; она от этого крушится; он, наконец, перестал пускать ее в город; она пришла в отчаяние. Исчез веселый нрав ее, спокойство от нее удалилось; она грустит, тоскует, плачет, переменился цвет лица ее, она сохнет и, наконец, умирает с печали.

Вот следствие развращенных нравов; Лиза была добродетельна, и легковерие стало причиною ее погибели; она, не зная хитрости человеческой, пленялася одною наружностью, не думая, чтоб приятные виды скрывали яд в себе.

Бойтесь, невинные сердца, искушения обманчивых прелестей, которые развращенные люди часто на себя принимают, бойтесь притворных ласковостей и верьте, что истинная любовь удаляется от шума городского и царствует она в тишине и простоте сельской.

РОЗА И ЛЮБИМ

Сельская повесть

Нежный Д.и.р.в.*! Желаю, чтобы в деревенской моей Розе нашел ты простоту, приятность, нехитрый ум, чувствительность и вкус и чтобы она в глазах твоих также блистала сими природными сокровищами, как в прекрасных стихах твоих дышат нежностью Прелесты и Пленеры*, чувствованиями твоими одушевленные.

Прекрасная идиллия, под заглавием *Рахель и бог Месопотамии*, писанная И. Ф. Шмитом*, которому я осмелился весьма слабо подражать (что будет видно из разговора Розы с Голосом), была причиною сей сельской повести. Великие люди имеют дар (столь ясно видимый во всех их совершенных трудах) оживотворять читателей, зрителей и слушателей неким божественным восторгом! Сей самый восторг исполнил душу мою и тогда, когда я читал сию идиллию. Тогда мысли мои, подобно толпам птиц, резвящихся во время весеннего утра, то взлетающим, то низлетающим, теснились в моем ограниченном намерении и, наконец, соединясь с распаленным воображением, превозмогли мою робость и принудили меня начать сей маленький труд, к коему я присоединил еще и примечания на сельскую жизнь, находящиеся в дневной моей записке путешествия моего в Москву.

Я уверен, что некоторые читатели, может быть, скажут и о Петре, отставном солдате, отце Любима, и о Добролюбе, деревенской старухе, матери Розы, то же, что иные говорят о Филиппе*, отце *Российской Памелы*; что я, описывая их свойства, удалился от нашего вкуса и нравов и что у нас нет столь сведущих однодворцев, солдат и стариков. Я для того всем бедным и пожилым людям, в моих повестях описуемым, хотя людям и непросвещенным, давал свойства людей просвещенных, ведая, что нужда и опыты в их состоянии более, нежели в других царствующие, суть такие строгие наставники (к коим ежели присоединится еще и чтение), что не только умного изостряют, но и глупого соделывают рассматрительным, осторожным, кротким, сведущим в путях жизни человеческой и несколько сокровенным. Но неужто это значит удалиться от нравов и вкуса, ежели станет выражать природное суждение, великость души и все неспорченные здравомыслия сих деревенских жителей не теми только словами, коими они изъясняются и открывают

сии внутренние свои сокровища и которые многим были бы непонятны, ибо во всяком городе есть не токмо разность в обрядах с другими городами, но даже и в языке?— мне весьма удивительно то, как многие сыны божественной России думать могут, что у нас нет высоких душ, обширных умов, нежных чувствований в людях незнатных, или простее сказать,— в людях низкого состояния! Ежели их полагают в чужих государствах, то для чего же их полагать не могут в своем?

Мне кажется, россияне-то исполнены сими божескими качествами, что ясно можно видеть из способностей, пронизательности, твердости, трудолюбия, ревнования, бодрости и подвигов наших солдат и земледельцев. Ежели бы можно было обратить протекшие времена и воскресить бывшие народы, то я уверен, и многие со мною согласны будут в том, что древние греки и римляне разделили бы с россами венцы своей славы. Откроем книгу наших десписаний, пробежим давнобытность, мы увидим, что и тогда, еще под ярмом народного непросвещения, были у нас Гостомыслы; то, как уже после сего и в то время, когда Россия процветает, не могут быть в ней ею рожденные Сципионы, Епаминонды, Евмены, Аристиды, Цинциннаты, Фабии Максимы, Регулы, Помпонии, Баярды и Базилии? Да и можно ли, чтобы не были сии герои добродетели более в то счастливое для нас столетие, в которое весь свет с благоговением чудится незабвенным и вечною чтимым подвигом отца богов, в сей благословенной стране владычествовавшего, и славным подвигом ему равной, богоподобной Астреи, которая, сидя на престоле из сердец народа, любовью к ней горящих, сооруженном, научает, просвещает и оживотворяет в величии ни с чем не сравнимую Россию; где повсюду, хотя на снежных буграх севера, но цветут сады не увядающих лавров и пальм.

О дражайшее мое отечество! Со слезами восторга и усердия произношу я твое бесценное имя. Ты царство богов, страна, населенная их сынами! И тот не есть сын их и сын твой, который тебя не почитает и который чужестранные безделки, наружные их приманчивости и минутные блески превозносит выше твоего бессмертного величия.

Итак, ежели всякий захочет устремить внимательные взоры свои на своих соотчичей, то, без сомнения, согласится скорее почитать свою страну, нежели превозносить чужие, и найдет в ней описуемые мною поселян и солдат.

Ты, любезный и почтенный Д. и.р. в, достойный сын России, верно одинакового со мною мнения, и для того к тебе сие пишу, что чувствительное сердце твое, усердием к отечеству горящее, с восторгом почувствует мою справедливость и потом будет прилежным судьей моих слабых трудов. Кстаги (почитая всегда удовольствием моим видеть тебя свидетелем моих маловажных сочинений), я здесь не умолчу о радовании моем. Некоторые читатели, судившие *Российскую Памелу*, в которой видны и робость моя, и несовершенство, и стремительное желание подражать достохвальным писателям, в чем ты весьма успеваешь,

говорят, что я в иных местах писал не свое, а принадлежащее сим творческим умам,—радуюсь, душевно радуюсь, что посильные мои способности могли быть подобны их дарованиям. Счастливи весьма буду, ежели удостоюсь называться их не токмо подражателем, но хотя и переводчиком (ибо, судя по нынешнему предубеждению многих к чужим странам, свое за свое выдавать не можно); однако же одно другого стоит.

Почтенный друг, ты найдешь в моих трудах погрешности, отнеси оные к моей робости и удостой меня твоими примечаниями. Вкус твой и нежность будут мне служить примером для будущих моих упражнений, будут мне воспоминать, кому я за успехи мои обязан, и усугубят ту преданность, коею исполнен.

*Тебе покорный слабый сочин.
Российской Памелы*

P.S. Приношу мою чувствительную благодарность за стихи, коими ты меня удостоил. Наставники обыкновенно похваляют учеников своих для того, дабы усугублять их к трудам рачение и тем соделывать их толико же совершенными, колико они сами.

В местах, где мало знают просвещения и где пороки неизвестны, где опытное суждение занимает место разума, а простота называется добродетелью, случилась сия повесть, которую нескромная молва, передавая из уха в ухо, донесла и до меня, а я от скуки, или лучше сказать от досугу, для памяти себе написал ее.

На песчаном берегу серебристого ручейка, в пологости зеленой долины стояла ветхая избушка, которой соломенная кровля, приосененная молодыми березками, обращала на себя независтливые, но умилные взоры мимоходящих. Сие скудное жилище превосходило самые надменнейшие чертоги, ибо оно было храмом человеколюбия, невинности и спокойствия; в нем часто сбившийся с пути странник укрывался от непогоды; усталая старость или нужда находила отдохновение; гостеприимство, тут царствующее, услаждало часто изнеможенное человечество. Добродетельная вдова с прекрасною и невинною Розою, дочьерью своею, жила в этой хижине. Небольшое стадо, маленький огород, тенистый кустарник и несколько сажень земли составляли все их богатство; однако же они были почитаемы всеми земледельцами, живущими в обширном селе, лежащем по крутой горе, орошаемой сим ручьем, который, прыгая, как серна, по ее кремнистым утесам, мчал далее вьющиеся свои струи. Добродушные поселяне честную скудость вдовы сей предпочитали изобилию зажиточного ростовщика. Дойдет до кого какое дело, тот приходил к престарелой Добролюбе (так она прозывалась) требовать ее совета; случится ли с кем какое несчастье, тот придет участием ее и разговорами облегчить свою грусть; словом, Добролюбу от старого до малого все любили и слушались.

Пригожей Розе в нынешнюю весну только что минуло пятнадцать лет. В сии столь цветущие лета человека природа истощила на нее все свои прелесть и красы и как будто старалась Розу сделать совершеннейшим своим произведением. Не было ни одной лилии, которая бы превосходила ее белизну, всякая роза в лучшем своем цвете уступала свежему румянцу ее ланит и алости ее нежнейших губ; эфирная светлость яснее не бывала ее голубых глаз, кои пылали уже огнем непонятной страсти; русые волосы, непринужденно крутясь, струились по ее стройному стану и кудрями развеивались от ее скорой походки по ее плечам; спокойное ее чело ясно изображало непорочность ее мыслей и сердца. Роза, бесподобная Роза так была хороша, что и самая даже незначительная ее задумчивость или молчаливость имели в себе нечто очаровательное и победоносное. Но можно ли, чтобы в сие золотое время века смертных нежное и чувствительное сердце избегнуло любви? Да и что бы то было за каменное сердце, которое бы не было ей подвластно? Любить не есть порок. Сия сладостная страсть, столь непререваемая в юности, а часто и в старости человека, изостряя прелесть своими чувствованиями наши, соделывает нам землю небесами; и что бы мы были тогда, ежели бы ничем не занимались?

Роза жила в томной груди своей приятной любви пламя. Милостивый, но более добрый Любим наполнял собою все ее сердце и мысли. Он был сын честного Петра, отставного солдата. К тому же знал грамоте и несколько писать, что в деревнях почитается великим знанием; а для успокоения отца своего промышлял ему и себе пищу рыбною ловлею. Любим также хорошо играл на свирели и часто ходил на берег источника, где он видался с Розою, прихаживал иногда завтракать или поодничать к ее матери и, будучи годами двумя Розы постарше, увеселял ее своими привлекательными песнями, коих приятный голос, разносясь по тихим зарям, пленял и витающих птиц. Итак, Любим и Роза росли вместе с своею любовью, не примечая того, что они боготворили уже один другого.

В один день поутру, очень рано, когда еще румяная заря багряными лучами освещала все предметы, бросая в зеркальную поверхность потока огнистые пурпур, когда вся погруженная в тишину природа еще дремала, Роза встала, потихоньку вышла из избушки, водою ручья умылась, взяла корзинку и, следуемая с одной стороны беленьким ягнечком, а с другой — усердною собачкою, пошла вдоль по берегу, усаженному кустами цветущего шиповника собирать цветы. «Как все спокоейно! — так беседовала она сама с собою. — Птички все спят, один только соловей свистит. Какое восхитительное его пение! Как звонко раздается оно по рощам! Верно, он сим старается разбудить свою любезную подружку. Нечувствительная, пробудись, услышь стоны твоего нежного друга. Еще Любим мне пеняет, что я жестокосерда; нет, я тогда откликнусь, как скоро он меня кличет. А! Да вот она к нему летит. Как они обрадовались своему свиданию! Блаженствуйте, милые птички,

любите друг друга так, как я люблю Любима; но приятное благовоние напоминает мне, что я пришла сюда за цветами; потороплюсь, пока матушка не встала». Начинает рвать под кустами растущие незабудки¹. Но вдруг кто-то ее зовет: «Роза, Роза, Роза!»

Оторопевшая пастушка молчит, собака залаяла, а испугавшийся барашек от затрепетавших листьев прятался за нее. Голос еще повторяет ее имя. Наконец Роза ответствовала: «Я! Кто меня кличет?»

Голос. Радуйся твоему счастью, я бог всех цветов, бог и лесов, удостоивая тебя моею любовью. Ты мне нравишься, и скажи только, будешь ли ты меня любить? Я тотчас явлюсь пред тебя.

Роза. Благодарю за издевку. Есть гораздо лучше меня, ступай к тем и не надейся, чтоб тебя я полюбила; пожалуй, себе не кажись, даром что я тебе нравлюсь: но ты мне не нравишься.

Голос. Я знаю, прекрасная девушка, знаю, кого ты любишь и для того-то не хочешь меня любить. Ах! Если бы ты меня увидела, ты бы, верно, предпочла твоему Любиму.

Роза. Конечно, так, Любима я люблю, и для меня ничего нет в свете прекраснее его.

Голос. Он беден, а я богат. Я обладаю золотыми горами, сокровища все в моей воле. Ежели прикажешь, я сей источник превращу в серебро, а песок в бисер.

Роза. Я тем не прельщаюсь, это все безделка.

Голос. Ты бедна и ничего не имеешь; так для чего же не хочешь быть богатой?

Роза. Для того, что я не знаю, какие в богатстве есть приятства, и думаю, что тот и богат, кто покоен и доволен своим состоянием, как я: стало быть, мне в нем нужды нет; добрая матушка моя здорова, Любим мой меня любит: чего мне больше желать? Он бесценнее всех сокровищ света. Ты царь богатств, и он царь души моей.

Голос. Все мне подвластно, розы цветут от моего дуновения, плоды зреют от единого взгляда моего, и я могу из весны сделать зиму; покрою здешние долины туманом, истреблю цветы и мураву студеным снегом и самую тебя во что захочу, в то и превращу.

Роза. Только чтоб я была с Любимом, так ничто мне не страшно. С ним и зима мне приятна. Красною весною мне нравятся цветы, в знойное лето — прохладная тень, дождливую осень — плоды, и все хорошо своею порою; а Любим, дорогой Любим любезен мне всегда, и его счастливая Роза во всякое время года наслаждается любовью. Ежели ты властен все превращать, то преврати меня в бабочку, я полечу к моему Любиму и у него в избушке весело буду зимовать.

Голос. Непокорная, ослепленная любовью пастушка! Ведай, что я управляю и судьбами человеков. Если захочу тебя наказать, опустошу

¹ Разеял и бог Месопотамии, прекраснейшая идиллия г. Шмита, коей я здесь несколько осмелился подражать, была началом, или причиной, сей сельской повести.

здешние места, дуну холодными ветрами, истреблю и жатву и ... людей.

Роза. И Любима?

Голос. И Любима.

Роза. Ну, так и меня не будет, и я без него умру; но какое жестокое твое намерение! Божеское ли это свойство, чтоб истреблять людей; напротив, прямой бог все милует и всему дает жизнь; тот никогда не захочет обольстить и обидеть простосердечную и без всякой обороны девку. Ах! Ежели бы Любим был со мною, я была бы посмелее.

Голос. Все Любим да Любим! Жалостная пастушка! Знай, что он тебе изменил, он неверен.

Роза. Нет, тому быть нельзя. Любим чувствителен, правдив... однако же ... совесть его за то накажет... не думаю, сердце мое не уверяет меня в его измене. Оно заступается за Любима, хотя я его и обвинить хочу. Ты, конечно, какой-то лукавый бог, что поссорить меня с ним хочешь, и я лучше тебя оставляю, нежели его обвиню.

Роза хочет идти, но вместо лесного бога, кто же то был? Сам Любим, который, прыгнув из-за куста, пал пред нею на колени. «Ах! обманщик, это ты?» — воскликнула Роза².

Любим. Прости, моя дорогая Роза, сию мне шутку. Счастье мое совершенно. Не сомневался в твоей верности, я еще так хотел узнать, всего ли я тебе дороже? Истинные любовники, как бы счастливы ни были, но все еще хотят быть счастливее: как бы уверены в любви ни были, но все хотят еще уверяться.

Роза (с усмешкою). Тебя должно наказать за то, что ты меня пугал уморить Любима: но чем? По сию еще пору любовницы для любезных своих не нашли еще никакого наказания... Любим! Лукавый Любим! Есть ли такая вина, которую бы я тебе простить не могла?..

Любим. А! Постой. Я сам себе выдумал наказание, позволь мне поклониться тебе в ножку и поцеловать твой башмачок; такое наказание будет стоит доброго награждения. Я рад хотя по сто раз в день быть так наказан. (С восторгом целует ее ногу.)

Роза. Полно, полно, уже ты вместо одного раза раз двадцать поцеловал. Скажи, пожалуй, как ты здесь очутился так рано?

Любим. Я вчера на счастье твое закинул сеть там за старым дубом, которого ветвистые сучья, как будто своды, изгибаются над речкой; а сегодня встал рано для того, чтобы, наловя рыбы, подплыть в челноке моем к твоей избушке, пока еще вы спите, и хотел поставить под твое окошко плетеночку, наполненную моей добычею. Как я мысленно радовался о том, что это будет для тебя маленькою нечаянностью. «Спасибо тому, кто принес это,—ты бы сказала.—Верно, Любим. Ай да милый друг! Кто кого любит, тот того и помнит». Таковой опыт моего усердия, воображал я, еще более соделает меня тебе любезным и ...

Роза. Я и без того тебя люблю. Стыдно бы было мне самой себя,

² Здесь кончится подражание.

если бы я тебя за подарки любила; я сама бы собою стала гнушаться, и все бы, что с тобой ни говорила, мне казалось бы, что и тебя и себя обманываю. Одни низкие сердца, Любим, бездушные люди только любят друзей своих по нужде или за что-нибудь; для прямой любви нужны одни сердца, искренность и взаимность, а более ничто. Благодарю тебя за намерение. Продолжай, что не досказал.

Любим. Итак, я, наполнен будучи желанием тебе услужить, торопился на мою тюню; но, проходя этот кустарник, слышу кто-то говорит; прислушиваюсь, кажется, твой голос, в чем я не обманулся; ты говорила, что всегда откликаешься на голос Любима. Восхищенный твоим о мне мечтанием, но удивлен будучи твоим столь необыкновенным приходом, я спрятался за куст, вознамерился испытать тебя, начал с тобою давешний разговор, хотел было выпросить, зачем ты так рано встала, но не вытерпел и бросился к тебе. Собачка твоя с лаем подбежала ко мне и, увидя, что это был я, столько же тебе верный, сколько и она, прижалась ко мне; я ее погладил, она потом легла подле меня и замолчала, как будто для того, чтобы не мешать нам говорить. Вот как все случилось.

Роза. Прости, Любим, меня, не осердись, что я в тебе усомнилась; когда тебя увидела, и я также подумала, не за иным ли чем ты здесь; но теперь сомнения наши кончились, и ты узнаешь причину моего сюда выхода. Сядем: я тебе расскажу. Но роса велика, постой, я фартук мой расстелю.

У нас сегодня годовою праздник. Матушка именинница. Я пришла сюда рвать розы, васильки, незабудки и пахучий ландыш... Ах! Какая она добрал, даже и в самом сне умильный вид ее цветет приятною улыбкою. Пока она спит, я хотела, порвав сих цветов, усыпать ими постель ее, стол, скамьи и всю избу. Не имел ничего ей подарить, любовь мою, почитанием, угождением полагая заменить богатые дары городских жителей, думала при вставании ее утешить таковой нечаянностью и начать новый день ее новым для нее удовольствием. Благоухание их ее бы разбудило, и она бы, увидя хижину свою, прекрасному саду подобную, усмехнулась, догадалась бы, что это знак моей угодливости, потом кликнула бы меня к себе, прижала бы к своей груди, материнскою любовью наполненной, и с нежностью меня поцеловала бы, проливая слезы, сладостнее самых смехов. Какая чувствительная награда! (*Здесь Роза прослезилась.*) Я бы обрадовалась, за ласки ее моими ласками заплатила и довольные слезы мои с нежными ее слезами соединила. Как счастлив тот, кто имеет добрых родителей!

Любим. И я также не могу нахвалиться моим батюшкой; он столько меня любит, что скорее отдаст последний кусок хлеба мне, нежели сам съест; малейшее мое беспокойство причинит ему великое огорчение. Читает мне умные сказочки, для наставления представляет мне в пример награжденное добро, наказанное зло. Третьего дня я не знал-не ведал, а он к празднику купил мне на последние деньги, тяжкими его трудами вырученные, камзол, в котором я сегодня буду у матушки твоей на

именинах. шляпу, на которую я повязал твою ленточку. «Вот, любезное дитя,—говорил он мне приятнейшим голосом,—вот тебе гостинец за то, что ты вчера поделился пищею с Милоном, два дня не евшим; что избавил от смерти дряхлого Слабосила, который, идучи через реку по жердочке, оступился и утонул было: что отдал твой праздничный кафтан нагому сироте. Будь, дружок, и впредь таков. Люби ближних так, как я тебя люблю, и знай, что они все твои братья; природа—наша общая мать, она всех нас наделяет своими дарами и собою научает нас помогать всем, от нас помощи требующим, не желая за то никаких воздаяний; она велит нам делать другим добро без всякого разбору, но для того только, что человечество того требует. Посмотри, Любим, на солнце, оно так же греет и добрых, как и злых; оно так же освещает и бесплодные степи, как и плодородные нивы. Мы, подражая ему, также должны быть справедливыми, честными и благотворительными для всех вообще. Подавая собою хорошие примеры, должны побеждать пороки, приводить и других на путь добродетели и радоваться, что в течение жизни нашей могли быть для кого-нибудь полезными. Все, что ты ни видишь в природе, все создано для нашего блага, все нас наставляет и показывает нам, для какого важного степени человек сотворен».

Такими-то полезными разговорами он укорачивает время, которое для меня кажется злым; дни наши в сих беседах текут так, как струйки сего потока. Кроткая душа его светла, как солнце, чистое сердце его ясно, как эфир. Он тот день считает потерянным, в который не мог или не имел случая сделать кому-нибудь добра. Я лишь только проснулся, поспешно встал с моей постели, подошел посмотреть, спокойно ли он спит; но может ли тот быть когда-либо покоен, у кого чиста совесть и которому нечего бояться? Одни только преступники беспрепятственно мучаются, а человек добрый, справедливый всегда бывает так весел, как прелестное утро красного летнего дня. Батюшка, конечно, видел во сне рай, ангельским душам готовивший, ибо приятная усмешка украшала его уста, удовольствие и радость сияли на его лице, белые, как снег, волосы его не совсем застилали морщинное чело, на коем ясно изображалась внутренняя тишина. Сумрачный рассвет, проходящий в малое отверстие окна, освещал бледными лучами зари на груди его, легкими вздыханиями колеблемой, знаки тех ран, кои он приобрел за любовь к отечеству и кои боль, к погодам возобновляющаяся, вместо того чтобы его огорчать, приносит ему радость об услуге, царю и соотечественникам своим оказанной. На сей-то отцовской нежностию пылающей груди, где покающееся сердце кротко билось, лежала сухопадающая рука, которая делала меня в младенчестве и благословляет в юности моей. Словом, вид его вообще представлял человека, устремленного духом на небо и в восторге с богом беседующего, и я тогда уже пошел сюда, когда осыпал осторожными, но теплыми поцелуями руки его и ноги.

Роза. Мы так заговорились, что и не заметили, как время пришло, и я...

Любим. Не только час с милым человеком покажется за мгновение ока, но и целый век за минуту. Роза! У любовников разговоры всегда бесконечны. Им всегда что-нибудь да останется досказывать. Они всегда начинают, а никогда почти не оканчивают, и самое окончание дел их для них кажется еще началом.

Роза. И я, сидя с тобой, позабыла о моем намерении; ты хоть кого так заговоришь, а заря уже потухает, звезды все с неба пропали, и солнышко всходит. От света его лазурь небесная яснеет, роши и верхи пригорков золотятся; тонкие испарения земные, как дым, растелиаясь, исчезают, лучи его играют в дугах переливающегося водоската и в жемчужных каплях росы, венчающих цветочки. Все предметы освещаются и, отделиая один от другого, являются в прекрасных своих видах; проснувшиеся зефиры дышат в кустах. Посмотри гуда, на гору, как на барском доме окна светятся; в стеклах горящее солнце заставляет думать, что будто изнугри поляма пышет. Вся природа возбуждается. Уже стройное сладкогласие птиц раздается в дубравах. Слышишь ли, Любим, как томимая любовью горлица стонет, как резвый жаворонок, взвиваясь вверх и из виду устая, распевает? Каким грозным голосом перепел во ржи кричит, как кузнечики пищат! Жужжащими пчелами и пестрыми бабочками облелены розы! Помоги мне набрать цветы; мне надобно торопиться домой, пока матушка не проснулась.

Любим. Итак, мы должны расстаться! Расстаться! Легко это сказать, но не легко почувствовать.

Роза. Мы увидимся, приходи к нам в гости. *(С насмешкою.)* Милости просим, сударь, пожалуйста.

Любим. Хотя бы ты и не звала, так бы я пришел. Я матушку твою люблю и почитаю, как сына. Я приду ей пожелать добра столько, сколько я и тебе и себе того желаю. Но Роза, стой, еще слово. Ежели сегодня у вас в гостях будут молодчики, которые, может быть, станут тебе говорить о любви, то вспомни только о моих робких, но святейших тебе клятвах, которые, когда болзливый язык мой говорил, я краснел, трепетал, и душа моя, тогда истаявающая на моих устах и видимая в слезящихся глазах моих, повторяла все то, что стократно слова мои твердили. Предоставь, как в сем ручье весной умножается вода, так всякий день любовь моя рождается к тебе.

Роза. Хорошо, не бойся, знай, что Роза и о своих клятвах помнит. Прости, дорогой Любим, до приятного свидания. Вот тебе пучок незабудок, чтобы ты всегда меня помнил, милый друг, и помнил бы, что ты — душа моей души. Какое прекрасное название дано этому цветку! И верно любовница, разлучаясь с любовником так, как я с тобой, в знак памяти сорвала сей цветок и отдала ему, сказав: «Не забудь меня». *(Поцеловав незабудку.)* Любезный цветок, напоминай Любиму, что его верный друг. Роза без него жить не может.

После сего пастушка позволила Любиму поцеловать ее руку, с обнадеживающе и волшебною улыбкою ему поклонилась и побежала

домой, где застала мать свою еще спящую и исполнила все так, как располагала.

Любим, оставшийся один, страстными взорами своими провожал любезную свою до самого ее жилища; казалось, не токмо взгляды, но и сердце его за нею вслед летело. И чем более она удалялась, тем более он унывал. Каждый листок незабудки исчислен был его пламенным поцелуем и орошен был его слезами любви. «Розы теперь нет со мною,— вздохнув, Любим сказал,— что же может быть приятно и прелестно? Для меня тогда все и цветет, когда она со мною, а без нее все вянет и померкает. Один час разлуки— какое неизмеримое пространство времени! Что же, ежели бы случилось расстаться на неделю места? Я бы умер. От одной мысли о сем холодный пот разлился в моих жилах; я тогда и живу, когда она со мною.— Роза туда побежала, какая легкость! Она, кажется, маленькими своими ножками и до земли не дотрагивается, а ее как будто зephyры несут. Зephyры, счастливые зephyры! Воротитесь, я вас призываю! Воротитесь, принесите ко мне тот воздух, коим владычица души моей питалась! Дайте, дайте и мне им насладиться; я бессмертен буду. Она божество, и все то священо, что удостоилось ее прикосновения. Почто я не в числе тех цветов, которые она несет? Почто я не узелок ленточки, которым связана ее нежная грудь? Почто я не платье, объемлющее все ее тело? Почто я не этот аленький башмачок, в котором покоится беленькая ножка? Почто я не ягненок, которому дана смелость и спать у нее в ногах и которого кормит она своей ручкой? Я бы теперь с нею был; но нет, тогда бы я менее чувствовал счастье любить и быть любимым. Рассуждения тщетные! Куда ни обращу взгляды мои, все мне вешает, что нет Розы со мною. Но чтобы с ней скорее видеться, побегу за рыбой и огнесу ее к Добролюбе.»

Любим немедленно побегал на тony, и восхищение его было несказанное, когда он вытащил полную сеть рыбы, которую, разделя на две части, одну для отца своего, а с другою для матери своей любезной назначенною, он прыгнул в челнок и поплыл к Розиной жижинке, так приветствуя источник: «О вы, серебристые струйки! Несите меня к моей дорогой; теките быстрее обыкновенного. Я сегодня же к вечеру в знак благодарности моей пестрыми цветами увенчаю стекловидное ваше лицо. Источник прозрачный! Бродящие на полях стада студенными водами твоими жажду утоляют и с ними вместе вкушают бодрость. Во глубинах твоих спокойных рыбы так же дышат любви жаром, как и я, ты их прохлаждаешь, живишь; будь так же полезен и мне, как им. По бережкам твоим цветущим мы с Розою часто гуляем, бросаем в дар тебе цветочки, и ты как будто резвостям нашим отвечаешь, в размеренные круги дробясь и прыгая по всему твоему пространству».

Умоляя ручеек и погружен будучи в нетерпение видеть Розу, он не приметно подвезжает к их берегу, видит ее, его ожидающую; поспешно выходит из лодки и, провожаемый Розою, предстает пред Добролюбу, которая занималась тогда угощением бедных. Она, увидя Любима,

нимало не потревожилась и, стараясь о своих гостях, не имела времени принять от него и рыбы. Любим знал, к чему такую холодность отнести, подошел к ней тогда, когда она была уже свободна. Поздравив ее, сказал:

— Конечно, услуга моя, Добролюба, тебе была не угодна?

Чувствительная вдова, томным звуком его голоса и прискорбием тронутая, изъяснила ему усерднейшие ласки; так отвечала ему на его вопрос:

— Дорогое дитя, дитя достойное родительского благословения! Не одни слова мои, но и самое сердце мое благодарит тебя за твое к нам доброхотство, которое дороже для меня самых богатейших даров. Прости меня, давеча я тебя не успела поблагодарить, ибо поспешала утешать моих званных гостей и тем самым старалась отпраздновать мои именины, которые без того бы для меня веселы не были.

Любим. Как? Разве тем все и кончилось, что сии дряхлые старики, старушки и сиротки отобедали? А уже мы ни во что и играть не будем? Это, стало быть, не весело именины празднованы, а скучно.

Добролюба. Для вас, молодых ребяток, только и веселья, чтоб резвиться. Нет, дружок, во всякое время прежде утешь огорченного и потом уже сам веселись. Я прежде всех хотела самое себя подарить душевным радованием о исполнении долгу человеческого. Сегодня я также и родилась, в сегодняшний великий день бог произвел меня на свет для пользы ближнего; итак, этот день должно более всех дней века моего отместить добрыми делами. Я еще третьего дня заботилась о том, чтоб собрать сирых и угостить их. Человек достаточный может всегда быть именинник, т. е. может всегда делиться с тем, который ничего не имеет, а я и за то благодарю бога, что он помог мне хотя сегодня поделиться моими крохами с не имущими пропитания. Совершенно бы я была счастлива, если бы могла всегда их кормить и удовлетворять их нуждам. Ты плачешь, Любим, и ты, Роза, также. Похвально и полезно, други мои, иметь доброе сердце; подойдите ко мне и обнимите меня...

Роза. Матушка, продадим в селе несколько барашков, разделим деньги нищенским и станем еще более радоваться.

Любим. И я с охотою оставя одну часть рыбы батюшке, а другую пойду раздам нищенским, чтоб также радоваться, как вы.

Добролюба. Я думаю, милый Любим, что ты нас любишь и не забудешь к нам прийти и с батюшкой отобедать, чем бог послал.

Любим. С радостью. Как не прийти? Да только усядемся ли мы, ежели гостей будет много? Избушка твоя очень невелика.

Добролюба. У меня, кроме друзей моих, никто не будет, а ты сам знаешь, что у бедных друзей немного; так поэтому для всех место будет.

Любим простился и отправился к своему отцу. А Роза, оставшись с матерью, восхищалась, слыша, как она Любима хвалила.

Престарелый Петр, встав позже обыкновенного, полагал сына своего увидеть уже возвратившегося с тони; но его нет. Он начал о нем грустить и, побуждаемый нетерпеливым ожиданием, вышел из хижинки

своей посмотреть, нейдет ли он. Солнце тогда катилось уже на полдень, а Любим все еще нейдет. Наконец Петр его усматривает издали еще, нежными знаками его зовет и машет ему. Чувствительный сын его к нему прибегает, объедает его колена, желает ему доброго дня и просит извинения в долговременном своем отсутствии.

— Где ты был по сю пору, друг мой? С тобой никогда не случалось, чтобы ты забыл меня и на столько бы часов расстался со мною; что, ежели бы я умер в это время, конец бы мой без тебя весьма был мучителен. Слезы навертываются у тебя на глазах? Что это значит? Скажи скорее, не приключилась ли с тобою какая беда? Но ты молчишь и тем меня сражашь.

Любим. Бог меня милует от бед, конечно, для подкрепления твоей, батюшка, старости, а слезы мои происходят от приятного воспоминания и от искренности, которая мне ничего не позволяет от тебя утаить.

Петр. А разве есть у тебя такая тайна, которую от меня ты захочешь утаить? Конечно, она должна быть виновная, когда ты не можешь мне доверить и тем боишься меня огорчить; а то мое сердце открыто для тебя и готово разделять все твои печали. Твои слезы умножаются. Или я недостойн, любезный сын, твоего дружества, что ты не хочешь мне открыть причину твоего огорчения?

Любим. Правда, сударь-батюшка, я не хотел было о том рассказывать, что со мною случилось. Но нежность твою побеждает мою скромность. Успокойся, сядь, я тебе нечто расскажу. Слезы мои протекли не от огорчения, но от радости. Сегодняшний день для меня весьма счастлив. Я был у Добролюбы, поздравил ее, она именинница и велела просить тебя к ней и со мною. Какая она добрая старушка! От нее я пошел было к тебе с рыбою, но, проходя частый березник, услышал дрожащий и прерывающийся голос. Приближаюсь, и что же! Вижу старичка твоих лет. Он нес за плечами преольшую связку дров, которую он, скинув на землю, насилу вздохнуть мог. «Какое горестное состояние,— потихоньку говорил он,— ни минуты покоя не имею. Коварные люди счастливее живут, нежели честные бедняки. Я работал целый день, и едва мне подали ради имени божьего кусок позеленелого хлеба. Видно, что одною бесполезною горестью награждаются труды. Человечество презренно совсем, даром что всякий выдает себя за человеколюбца; нигде пристанища найти не можно. Здесь хоть отдохну. До шалаша моего еще далеко, а ноги мои устали, и я шагов десяти не могу пройти. О! боже, подкрепи мои ослабевающие силы». Сказав сие, он лег на свою связку дров и заснул.

Я между тем сбежал в село, продал мою рыбу, купил хлеба, молока и возвратился к нему. Он еще спал. Со всевозможною осторожностью, чтобы его не обеспокоить, я поставил все это подле его, а сам спрятался за деревья, желая при этом узнать, здоров ли он. Напоследок он проснулся. «Что я вижу? не во сне ли это?»— с удивлением воскликнул он.— Конечно, благотворительный бог меня хотя сновидением хочет

усладить». Потом он заплакал, пал на колени, поднял руки к небу и, рыдая, благодарил бога за пищу. Когда он насытился, тогда встал, подобрал крошки, завязал половинку хлеба в узелок, говоря: «Благодарю тебя, добродетельный человек, меня накормивший. Сердечная радость да возвестит тебе мое благодаренье. Желал бы я тебя видеть и тебя обнять. Милосердный боже! Ниспошли на него вся блага, коими только можно наслаждаться на земле. Я сыт, а это отнесу моей плачущей жене и детям, которые, думаю, голодом томятся и ожидают меня; мы все, соединя наши слезы и голоса сего вечера, возблагодарим, прославим и благословим нашего благодетеля». После сего он с трудом поднял на плеча свое бремя, примолвля: «Как оно тяжело! Но оно за тяжесть свою стократнее мне заслужило; отягченная унынием голова моя на нем покоилась»,— и продолжал свой путь. Я вознамерился его опередить, из березника перебежал на луг и сел на дороге. Он, меня увидя, кликнул:

— Добрый молодец! Не видал ли какого прохожего?

— Нет, дедушко,— отвечал я ему,— да куда ты идешь?

— В ближнюю деревню, дружок, да не могу попасть на дорогу. Я думал, что она этим леском, но это место так пусто, что я бы умер с голоду и жажды, если бы невидимая щедрота меня от того не спасла. Даруй, боже, тому, кто меня облагодетельствовал, здравие, спокойствие и изобилие в доме его, даруй ему такую долгую жизнь, чтобы он увидел правнучат своих столько же человеколюбивых, сколько он сам, чтобы имя его во всех родах было почитенно и благословенно и чтобы каждый день жизни его был исполнен радостью.

— Изволь, я тебя выпровожу на проселочную дорогу.

Сняв с него бремя дров, я донес до самого того места, где мне можно было его оставить, не опасаясь того, что он собьется с пути своего. Вот, батюшко, отчего я замешкался и что заставляло меня плакать... Как я рад, что могу услужить этому бедненькому старичку. Ничто еще в жизни моей так не утешало. Ежели такая малость столь восхищает, о боже! Каковой же радости стоит великое дело, полезное для многих человек! Извини, батюшко, я все ему отдал, и для того ничего домой не принес, что мы званы к Добролюбе обедать, а его никто никуда не звал. Завтра тона я, думаю, столько же будет удачна, как и сегодня.

Петр с восторгом слушал приключение сына своего, похвалил его поступок, обнимал его, прижимал к своей груди и целовал его.

Время было уже около обеда, добрый Любим оделся по-праздничному, т. е. в лучшее платье, как обыкновенно одеваются любовники, когда они намерены идти к своим владычицам; он увенчал шляпу свою незабудочками, Розой подаренными, и непрестанно напоминал меддательному Петру: «Батюшко, пора уже идти к Добролюбе, расстояние немалое и займет много времени». Но вот и старичок совсем: они отправились в свой приятный путь, который продолжал, обращали взоры свои на все стороны и занимались таковыми разговорами:

— Взгляни, любезный батюшко, туда, на пруд,— говорил отцу

Любим.—Какое зрелище оно мне представляет, сколь приятно быть отцом ласковых детей! Видишь ли, батюшко, эту уточку, окруженную ее детьми, каждый пленец повинуется ее воле, плывет туда, куда она хочет. Они все вокруг ее теснятся, пищат и тем самым как будто ее приветствуют. Они останавливаются, увидя золотистые края в воде отражающихся облаков, боясь переплыть это место и, приметя, что мать их впереди уже, бросаются за нею, встряхивая еще пушистыми крылышками, бодрятся друг перед другом и радуются, что опять с нею неразлучны. Как они милы!.. С какою приятностию пересыпаются, трепещутся на деревьях листья! Зеленые еще жатвы, колеблемые ветерком, подобно речным волнам, серебрясь, переливаются; как все то, что мы ни видим, прекрасно и совершенно! Батюшко, сколько природа произвела красот для наших утех! Она, мне кажется, уготовила все для нашего благоденствия?

Петр. Так, друг мой, природа все уготовила для нашего благоденствия и утех, и она всегда будет приносить тебе новые удовольствия, ежели ты будешь правдив и будешь добросердечен, ибо для этого-то мы все и родимся. Конечно, все приятствы созданы для человека; но не думаешь ли ты, что он, будучи злым и нечувствительным, может ими также наслаждаться, как наслаждаются и добрые? Нет, угрызение и беспокойство отяготят жизнь его и вместо прелестной соделают ее несносной: для злого не будет ни солнца, ни дня—ничего, и он в том же самом свете, который для доброго человека несказанно приятен, будет, как больной на смертном одре лежащий и с охотою ожидающий смерти, дабы хотя ею избавиться от своего страдания. О, мой сын! Я стар и чувствую, что скоро уклонюсь к западу жизни моей, ты останешься без меня, берегись, чтобы в молодости твоей воюющие страсти не заглушили в тебе почтения и любви к человечеству. Несчастлив тот, кто никому добра не сделал и кого вместо благословения проклинают. Я не забуду того, как при мне, умирая, один славный полководец сказал: «Желал бы я лучше вспомнить об одной хотя милостыне, нищему поданной, нежели о многочисленных победах, мною выигранных»³. Все пустое высокомерие исчезнет, когда мы достигнем до смерти, сего рубежа нашего, далее которого идти уже не можно. Стало быть, для души его полезнее было одно благодеяние, нежели стократная слава, смертию ближнего приобретенная, и ради того-то не желай никогда пользоваться чрез беззаконие приобретенным счастьем; оно скоро пропадет, но оставит тебе поносную только жизнь, которая во сто раз хуже смертельного страдания. Я сам собою испытал и видел примерами, что слава, богатства, великомочие—истинные мечты, пыль, которую непостоянный ветер сдувает с высоких мест на низкие; а истинное наше имение суть собственные наши качества, коими мы, как хозяева в дому, можем властно располагать...

³ Сие изречение взято из иностранных анекдотов.

Держась этих правых мыслей, друг мой, я жил покойно и не заметил того, как волосы мои побелели и как я устарел. Восемь десятилетий лет моих протекли подобно весеннему дню, провожденному в забавах... Правда, что со мною случились беды, но они были, как преходящая буря, после которой настает всегда ведро. В молодые мои годы, прельщенный честию война, охотно я пошел в солдаты; не ожидая чинов, служил моему отечеству так, как всякий добрый солдат служит. Хотя начальники были несправедливы, но я сам награждал мою службу ободрительными мыслями, думал, что моею одною грудью могу защитить царя, моих родителей, а может быть, и целое отечество; тогда все мне обещало новые веселости. Иду ли на сражение, заранее радуюсь о победе, возвращаюсь ли в свое отечество, свидание с сродниками меня восхищает. Бывало, приду в домовую отпуск. О! Сладкое воспоминание, ты и теперь также слезами наполняешь глаза мои. Какое зрелище! Я упал в объятие от радости дрожащего и онемевшего моего отца, вдруг плачущей и смеющейся матери, от восторга обомлевшей супруги моей, коей пленяющая улыбка и стесненные дыхания более мне изображают сердечные ее движения, нежели самые нежнейшие слова. Ты, милый мой Любим, которого я оставил еще ползающим, бегал уже на резвых ногах и вырос мне по колени, кои ты обнимал бессильными ручками и целовал; а чтобы я почувствовал ласки твои, ты силился отгонять от меня всех, крича, называл меня отцом и тем самым хотел обратить на себя умилительный мой взгляд. Ах! Как время скоро прошло! Я тогда, сняв с плеч мою ношу, сидел среди моих дрожайших сродников, рассказывал им о моих приключениях, о походах; они все с радостью слушали о победах над неприятелем, нами одержанных. Всякий из них устремлял на меня любопытные очи, всякий благодарил бога, что он спас меня от смерти, перебивая речь один другого, всякий спешил со мною говорить; тогда нежная мать твою, чтобы только не отойти от меня, не уважала слез твоих, грозил тебе, ежели ты еще помешаешь ей со мною говорить. Ничего нет сладостнее, как быть посреди согласного и доброго семейства. Величество самого славнейшего царя с приятством одной из сих золотых минут сравниться не может. О, боже! Где делись те блаженные дни? Они, как сон, пролетели... О сих счастливых днях осталось одно лишь бесполезное воспоминание. Немилосердая смерть все поглотила, оставя одну лишь скорбь в отраду.

Петр заплакал и более продолжать не мог, а нежный Любим старался веселыми разговорами рассеять его мысли.

Но толпа встретившихся с ними поющих сенокосцев прерывает их разговор; они все шли с поля домой обедать. Подобно каплющей с цветков росе, катился с их белорумяных, здоровых лиц, от трудолюбия разгоревшихся, перловым градом пот. Блестящие косы их лежали на их мочных плечах, в каждой из них заключенные солнечные лучи, светятся, представляли половину малодневной луны, когда она, еще вновь родясь, красуется серебряными своими рогами.

Уже они подошли к жительству Добролюбы; зеленый березник, оное окружающий, резко отделяя от синееющихся вдали лесов, как будто царь сего местоположения, гордился пред пологою долиною, служащею его подножием. Приветливая вдова и дочь ее встретили их с живейшею радостию, провели в свою хижинку, которая полна была гостями, коих число составляли сельский священник, два престарелые и скудно одетые прохожие, подруга Розина, Миловид, сын брата Добролюбы, да пришедший Петр с сыном. Тут не так, как в знатных домах, гости, забывая о мало пекущейся о них хозяйке, от скуки не занимаются ни картами, ни рассматриванием сладострастием дышащих картин, а всякий из них занят был усердным угощением ласковой хозяйки. Роза накрыла на стол и исправляла домашний порядок. Миловид ей помогал, чему Любим весьма завидовал. Скучная трапеза бедной вдовы, сопровождаемая невинными разговорами, веселее и приятнее была богатым пиров знатного вельможи. Тут никто никого не пересуживал, не поносил, язвительные насмешки никого не обижали, а речь шла о плодородии, о милостях божиих и царских, о добродетелях человеческих, о сожалении ближнего и о прочем сему подобном. Хмельная брага заменяла вино, и она для них вкуснее была дорогих напитков, кои, распаляя воображение, рождают страсти и уничтожают рассудок: простая, но здоровая пища слаще была приторных заморских яств.

После обеда пришли еще пастухи и пастушки, и когда священник ушел, то все пошли под прохладную тень; там молодые под голос свирели, соединенной с песнями, начали плясать, а подгулявшие старички, сидевшие в кружок, с удовольствием вспоминая о своей молодости, смотрели на них умильным оком и, не вытерпя, присоединялись к молодым; но чувствуя, что обветшалые силы их не позволяют им резвиться, что от десяти прыжков они устали, принужденными нашлись от караводу удалиться и сказать, что у них головы закружились.

Вдруг порывистый звук охотничьих рогов, порскание и лай гончих раздался в окрестностях, воздух восстал, свирель и песни заглушились, и веселье рушилось: пестроватый заяц, отчаянием несомый, за коим мчались собаки, как шар, сильною рукою пущенный, катился по злачной долине и бежал прямо в кустарник, под коим веселились посланые. Испуганные множеством остервеневших псов, они все с криком бросились в разные стороны, не знают, что делать; но поѣхавшие охотники их успокаивают и берут борзых на своры; между прочими был молодой барин, косяго богатый убор отвечал важному его виду. Он, приметя беспокойство, утехой его причиненное добрым крестьянам, тотчас вскочил с доброго своего коня, которого принял за оленеиныя удила подобострастный стремленной; подошел к ним, сняв развевающимися перьями украшенную шляпу, с благосклонною улыбкою им поклонился и присил их продолжать свое веселье.

Усердная хозяйка потчевала его всем, что у нее было лучшего, изъывая знаки своего добросердечия и удовольствия. Добрый барин ни п

чем не оказал спеси (весьма искренними крестьянами не терпимой) и почтил их свою благосклонностию. Видя, что пастухи при нем были не так вольны или, лучше сказать, веселы, он приказал охотникам запеть, и сам с Розою (как она была дочь хозяйки) пошел плясать. Искусство, приятность, ловкость и род некоей прелести блистал во всех его движениях. Ах! Любим! Что в твоём сердце происходит? Ты уже Розу ревнуешь. Внутренно клянешь пригожего барина, бранишь Розу, называешь ее неверною, изменницею, несмотря на то, что она смущается, видя твоё уныние, и, приближаясь к тебе, глазами своими дает тебе знать, чтобы ты был спокоен; но ты немилосердный, ты понимать сего не хочешь, а ждешь только того, как она отпляшет, и намереваешься ей сказать, что ты ее не любишь, оставишь и обратишь любовь твою к другой. Для нее это будет несносно. Вот каковы прямые любовники. Глупенький Любим! Ты не стерпел, повесил голову и отошел прочь; для тебя таково, что лучше бы ты на свете теперь не был, нежели бы видел Розу твою, пляшущую с другим, а не с тобою. Посмотри, как она смущается, слезы навертываются на ее глазах, она чувствует, что ты осердился на нее, сбивается с такта и, с робостью поклонясь барину, говорит, что она устала, и перестает плясать; мать за это назвала ее дурую, невежею. А все это за тебя.

Праздник опять начался и был еще веселее прежнего, только Любим и Роза в побранке. Однако же таковые побранки стоят иного ладу. Любовь ими поддерживает и еще умножает свое действие. Любовники после ссоры, чем бы расстаться, более дружатся, забегают один другому в глаза, заговаривают о разных и до них не принадлежащих мелочах только для того, чтобы как-нибудь довести речь до миру и друг у друга заставить просить прощенья; вина сами себя, стараются оправдаться, истощивают все свои силы и чувствования, чтобы как почваниться одному перед другим; они точно так, как ребятки, которые сами же нашлаят, да сами же заплачут. Размолвка обыкновенно кончается миром, а у любовников обыкновенно дело обойдется на поцелуе. Роза Любима поцеловала, он доволен, а она покойна, и пошли опять к своему собранию.

После плясания, когда усталость принуждала всех отдохнуть, барин хотел было ехать, но все пристушили к нему и просили его остаться еще у них погостить. Он, убежденный сим, а более хотел тем уважить их усердие, склонился на просьбу их и, чтобы их не огорчить, сел с ними вместе в кружок. Такого поступка с его стороны требовала и его чувствительность, ибо добрые поселяне при всяком слове называли его отцом, оказывали ему свою приверженность, и он подлинно был, как отец посреди детей.

Пастухи и пастушки сидели несколько подале от стариков и могли смелее разговаривать о своих приключениях. Все были веселы, все смеялись и слушали, как резвал Лизета рассказывала о своих проказах. «Однажды,—говорила она,—то было, кажется, оноедни, Лизидору дала

я слово прийти на луг. Он долго меня дождался; наконец я пришла. Ха, ха, ха, и теперь даже смешно, пришла к нему без цветов, венок мой был раздерган и чуть липнул на растрепанных моих волосах, ленточка, что он мне подарил, также была смята. «Прости меня, голубчик пастушок,—потупя глаза мои в землю, робко, ему я сказала.—Премил меня задержал; я хотела вырваться от него как-нибудь, но он до тех пор меня не пустил, пока я его не поцеловала». Ревнивец мой, услышав это, переменялся в лице, начал вздыхать и что-то шептал про себя; все подозрения тогда им овладели и все роды измен пришли ему тогда в голову. Он вдруг вскочил, оставил овец своих и побежал от меня; я сколько его ни клкала, но он и слушать меня не хотел. Час спустя он пришел к нам в избу, и я только что взяла к себе на руки маленького моего братца. Лизидор то с той, то с другой стороны заходил ко мне и боялся, чтоб батюшко не услышал, потихоньку бранил меня и укорял. «Сердитый,—сказала я ему,—полно ворчать, знай, что это дитя самый тот Премил, который меня задержал и к которому ты меня ревнуешь». После этого мы не вытерпели, оба засмеялись, батюшка услышал и спросил: «Чему это вы так смеетесь?» — «Детским игрушкам, батюшка»,—мы ему отвечали.

Роза. Скажи, пожалуй, Пленира, что с тобою случилось? Ты с некоторого времени стала невесела, задумчива и все готова плакать. Розовый румянец твой бледнеет, прекрасные уста, которые столь нежно сперва певали, запеклись, и ты совсем не та, как была прежде?

Пленира *(сквозь слезы говорила)*. Когда я любви не была еще подвластна, то так же, как и все, была весела и скуки подругам не наводила. Но неверный, обманщик! изменил, и с тех пор все на свете утехи исчезли для меня; в караводах, хочю ли я разгулять мою печаль, начну ли я петь, плясать—все это напрасно. Слезы мои литься не перестают, сердце мое уныло, мысли рассеяны. От горящей стеной груди моей цветы вянут, и я, как они, также увядаю. Нет ни сна мне, ни покою. Ночь плачу я наедине, а день, представляя все те места, где с ним я бывала, множит горесть мою.

Мило взор *(сидевший тут же, так прервал речь Пленеры)*. Куда как счастлив тот, кто увенчал любовь свою желанным браком! С тех пор как я женился, перестал горевать и в объятиях Прияты, дорогой моей супруги, вкушаю покой и счастье. Ох вы, молодые девушки! Все бы грусти ваши кончились, если бы вы замуж вышли. Кто милее и вернее может быть доброго супруга? А то вы, как прекрасный среди поля цветок, которого утренняя заря рождает, а вечерняя уничтожает; не имея тени от зноя, его закрывающей, он прежде времени пропадает, не оставя по себе и отраслей на будущую весну. На что вам дана краса, как не на то, чтобы ею кто прельщался? На что вам дано сердце, как не на то, чтобы им кто владел? Кто же над ним имеет более права, как не супруг? Вы скажите, что любовник? Любовнику не та, так другая мила, а честному мужу все мила верная жена.

Анюта (*прервала речь его*). Это оттого, Миловзор, брак кажется приятным, что ты недавно женился, а как поживешь подоле, так и узнаешь поболе. Я уже сведала, каково быть замужем. Я и сама так-то думала, что, кто замужем или женат, тот и счастлив, а как вышла за Лихона, который, когда еще был моим женихом, меня любил, ласкался ко мне, кажется, от моей улыбки зависела вся жизнь его, без меня с грусти умирал, при мне от радости плакал, называл меня богиней, царицей, владычицей своей; а как увидел себя моим мужем, так и переменялся. Из нежного сделался свирепым; без воли я его ничего не смею сделать, меня никуда не выпускает, а сам целый день дома не живет, и нынче мое уже счастье зависит от его улыбки. Нет, брак вместо блаженства гибель многим приносит, он вместо утех приносит печаль женам, а гордость мужьям; и когда брак свершается, тогда любовь умирает. Дорого же замужество стоит, когда его надобно купить за цену вольности и веселой жизни.

Пленира. Любезные подружки, вы, имея нежное сердце, боитесь любви, боитесь ее зараз; не полагайтесь на ластивые ее слова, не верьте ее страданиям: она, как змея, тогда-то и ужаит, когда ее в пазуху к себе возьмешь. Алешу я считала и нежным и верным; он был такой стыдливый и робкий. Я почитала его кротким ягнечком, но это лукавая кротость его меня обманула. Жестокий! Ах! Язык мой как тебя ни бранит, но сердце мое тебя любит. В саму ту пору, как я поклялась тебе в любви моей, чего ты так долго от меня добивался, кто б мог это подумать! ты переменялся: из раба моего сделался моим царем и радовался тому, что обманул меня.

Миловзор. Напротив, каким удовольствием наслаждаются супруги: они, любовию платя друг другу за любовь, умильным оком смотрят на окружающих их детей, бесценный плод их верности, которые ласковыми ручонками объедают их колена; картавым языком изображают голос ангельских сердец своих. Произносимые ими имена отца и матери их они повторяют нежным поцелуем, а когда станут они вырастать, тогда новые откроются в них утехы; они будут помощниками родителям своим в работах, будут утешать их в старости, кормить в бессилии и болезнях. По смерти родительской придут усыпать цветами могилу их, станут им просить у бога царствия небесного. Имя отца их будет ими всегда твердо и пронесется даже и до правнучат, и они все будут благословить его. Анюта, может ли сравниться твоя вольность с толь сладостною неволю?

Но вдруг разговор их прерывается сею песнею, которая была пета в кругу стариков и которую дрожащий голос довольно хорошо выводил:

Полна у нас держава⁴
Охотников к войне;
Оружья громка слава

⁴ Сия песня взята из оперы Лаурета.

Была приятна мне.
Служил без всякой лести
Во дни я трех царей,
И знаки я той чести
Пошу в груди моей.
Отец мой как скончался,
Остался я ни с чем.
Вот маленький достался
Домишка мне по нем.
Мне в скудости утех
По крайности в том есть,
Что жизнь я без помехи
Могу здесь ныне вести;
Любим мой украшает
Остаток жизни сей,
И он мне продолжает
Дни жизнью своею.

Все пастухи оглянулись и увидели, что развеселившийся Петр, сказывая барину историю жизни своей, пропел эту песенку. Любим, сей чувствительный сын чадолюбивого отца, во глубине сердца своего ощутивший содержание песни сей, бросился к его ногам, обнимал его колени и, орошая слезами, от нежности проистекшими грудь его (которую добрый солдат открыл для того, чтобы погордиться пред прочими своею ревностною службою и числом своих ран), благодарил его за таковую горячность, и все, как старые, так и молодые, столько были сим редким зрелищем тронуты, что не могли от слез воздержаться, а Рассудин (так назывался барин), отерши глаза свои, продолжал с Петром свой разговор.

Рассудин. Итак, ты, почтенный старичок, был в походах.

Петр (*приободрясь*). Не в одних, сударь, походах, и на баталиях; у меня в свидетельстве тому есть и медали, и я в жизни моей никогда столько не радовался, как тогда, когда мне их давали.

Рассудин. Что же ты видел хорошего за границами нашими и каковы тебе показались чужие земли?

Петр. Всего рассмотрелся и узнал, что тот весьма не разумен, который свое отечество не любит и не почитает. Я был во многих местах и видел, что нет ни одной земли лучше нашего царства, нет храбрее русских солдат, для них море по колено. (*В восторге.*) Я готов это сей час показать, что мы герои. У нас ли чего нет? Хлеба ли, золота ли, покою ли, веселья ли, счастья ли? Все есть. Государи у нас отцы. А там везде рай, где милосердный государь, как бог, сидит на престоле. Я слышал сам, как многие превозносят иностранные государства, да ведь славны бубны за горами; знатные и богатые для того так их выхваляют, что там скорее могут здешнего промотаться, забыть бога, разучиться, а не научиться и сделаться, к стыду их, не русскими господами, а иностранными проказниками; но если бы без денег они поехали, так и узнали бы, как весело с

голоду там умирать. Там не так, как здесь, куска хлеба даром не подадут. Там гостеприимство и щедрость роскошью и мотовством называют. Стало быть, у нас лучше, когда большею частию иноземцы не от нас, а к нам едут. Я был в таких местах, где хлеб дороже продают парчей и дорогих камней; а уже там может ли быть весело, где есть нечего, где, кроме воздуха, без денег ничего не получишь? Правда, что наряжаться там можно хорошо за дешевую цену; но наряд составляет ли человека? В государстве не нужны шеголи, а нужны честные граждане. Кого ни спросишь, едущего в чужие края, зачем он туда едет, вслкий говорит: для просвещения. Мне кажется, в своем отечестве можно столько же просветиться, как и в других местах. Я видел у нас благодаря богу и государю все есть, что нужно для наук. Имей только охоту учиться. Какими же приезжают господа из-за моря? Они вместо просвещения привозят сюда затмение, отвращение к отечеству и к своим соотечественникам. В одном государстве люди уже до тех пор просветились, что забыли бога, царя, законы и начали резать друг друга...

Рассудин. Это просвещение хуже невежества. Твоя правда, Петр. Многие безрассудные отцы за то только платят большие деньги, чтобы дети их изблаговались.

Петр. У нас в полку был майор, сын знатного господина, мальчик молоденький, еще не только в майоры да и в добрые ребята не годился; он недавно приехал из-за моря, даром что был русский, а по-русски не знал ни слова. О нем говорили, что его родители весьма хорошо питали ли, или воспитали, право, сказать как не умею. Полковник и генерал очень его любили за то, что он болтал разными языками. Слава богу! Кое-как он выучился говорить по-русски и ни о чем больше не говорил, как только о тех землях, в коих он был. Сказали нам поход. Майор в ту же минуту челобитную в отставку. Полковник удивился и говорит ему, что так в России не водится; у нас тогда-то и служат, когда военное время: вы сын отечества. Тот на это ему с удивлением сказал: «Что это значит «сын отечества»? Я об этом имени впервые еще слышу». — «Это, — отвечал полковник, — такого благородного духу человек, который идет охотно жертвовать собою за благо своего отечества». — «Как, сударь, он охотно идет умереть? Какой тиран! Сам себя убивает! Нет, сударь, я столько просвещен, что никогда до такого безумия не дойду; там, где я был, мне никогда о таком бесчеловечии и не говорили». Полковник, услыхав сие, оцепенел. «Да для чего же вы служите?» — с сердцем он его спросил. — «Для чину», — тот ему отвечал. — «Когда для чину, так ищите же такой службы в другом месте, а не здесь. Здесь служат для общей, а не для своей пользы. По крайней мере, так должно». После сего, не медля нимало, полковник его из полка выгнал. Вот чему, сударь, учатся в чужих краях.

Я тогда был на часах у полковничьей палатки, и все это при мне происходило. Еще что я более всего заметил: когда я был весь изранен, был захвачен неприятелем и веден в полон, тогда, проходя многие

города и селения, видел всюду бедность, скуку, пустые поля, пренебреженное хлебопашество; все земледельцы были нарлжены в войны, словом, все представляло беспорядок, а подходя к столице, я увидел совсем другое, ибо богатые замки, изобилие, веселость, спокойствие окружали ее и представляли царство счастья; но это все для того было, чтобы приезжие чужестранцы, судя по наружности, были хороших мыслей и о внутренности государства и разглашали бы у себя, как там, где они были, хорошо и весело; народ бы страждущий называли народом блаженствующим. Вот как верхоглядков обманывают и заставляют их славить чужие, а не свое отечество.

Но время всегда скоро проходит в веселых собраниях. Уже солнышко закатилось и вечерняя темнота покрыла все места.

Рассудил с неудовольствием принужден прервать разговор сей тем, что торопился ехать домой; он оказал к сему старику уважение, а всем прочим свою благосклонность. Отдал ему и Добролюбе по кошельку, наполненному деньгами, но они не принимали оные, говоря, что они попусту денег брать не любят, а любят их выработать. Однако же барин принудил их взять, но чем потом был удивлен, когда они с видом радости вручили оные своим детям: Добролюба Розе, приказав ей бежать ко вдове Бедняковой, у которой много детей и все мал маа меньше томятся к голоду, и отдать ей сии деньги, а Петр Любиму, дабы он немедленно отнес этот кошелек в сирое семейство большого Горюева. Приказания были исполнены в ту же минуту, и объезжающий Милонрав узнал, что в низком состоянии есть высокая душа, есть бедные люди, пекущиеся о человечестве более, нежели богатые вельможи, вместо пособия губящие и извергающие своих ближних; узнал и то, что подчиненные умеют судить об общественных делах и о начальниках, коих они презирают, если находят недостойными и порочными.

Любим прежде возвратился Розы, и Пленира, увидев его, начала с ним нечто говорить в саму ту пору, как Роза также возвращалась к своей матери; он того не приметил, как она подошла к ним и внимательно слушала их разговор.

— Ах, любовь! — воскликнул он. — Любовь делает невероятные превратности!

Роза, сие скорее всего услышав, возмутилась; она, не ведая того, что это сказано было из сожаления к Пленире, почла Любима ей неверным и что он, обращая любовь свою к иной, сим изъявлял ей свои уверения и удивление. Она вздохнула и пошла от них прочь. Любим от сего вздоха, мгновенно в сердце его отозвавшегося, рассеялся и, обернувшись, увидел любезную свою пастушку, которая, преклоня голову и закрывши лицо свое фартуком, шла к своему шалашу. Он бросился за нею, поднял веноч, из незабудок и васильков сплетенный, который с головы ее упал, и только что хотел с нею говорить, как вдруг Петр, прощающийся с Добролюбою, кликнул его:

— Любим, пойдём домой.

Роза, услышав это, бросилась будто б прощаться с стариком, а вместо того хотела приметить, как с нсю будет прощаться Любим и что он ей скажет. Когда он к ней подошел, тогда она назвала его неверным; сие немало огорчило страстного любовника.

— Я понимаю, жестокая! Тебе без барина свет не мил. Будешь ли завтра на поле? Я с тобою хочу поговорить.

— Не знаю,— отвечала пастушка.

И вот как оба ревнива расстались, имея сердца, наполненные грустию, укоризнами, досадою и раскаянием. Любовники весьма странны; они всегда, как скоро один на другого рассердившись, то и досадают; на кого же? сами на себя, раскаиваясь в том, почто они сурово друг с другом обошлись.

Наступившая ночь всех принудила оставить луг; все пошли по домам наслаждаться спокойствием, которое здравеносный сон дарует; одни только любовники не наслаждались приятствами его: да и до сна ли тем, у кого души беспокойны, мысли рассеяны и в следующий день ожидают решения судьбы своей? Они в сем случае, как преступники: для них часто ночи бывают беспокойны, а дни ужасны. Они все чего-то страшатся, в чем-то отчаиваются, чего-то ожидают.

Прекрасная летняя ночь, твоя благотворная темнота иных пастухов сокрывает от стругущего ока зависти и пронырства и позволяет им безопасно наслаждаться твоею тишиною, а для Любима и Розы она несносна; им кажется, что вся природа способствует мнимой измене их. Любим думает, что пригожий барин под окном с пастушкой шепчет, а Роза думает, что Любим с Пленирюю в шалаше занимается также любовными разговорами; они о всем и несбыточном думают и о всем раздумывают. Мысли их и сердца, переходя из одной крайности в другую, мешают им спать и краткие часы твои соделывают для них долгими веками.

Луна, за коей мчались тонкие облака серебряной волной, катилась по темно-голубому своду небес, освещая природу беловатыми своими лучами, и с ними вместе рассыпала повсюду грезы. Злодеям ад во сне казался; добрым — рай, и всякому то, о чем он думает. Тогда любовь, царица смертных роду, владычица юности, покровительница темноты и безмолвия, наряжаясь в пеструю одежду сновидения, слетала с небес и, провождаема будучи сим бледным светом луны, прошла к Розе в хижину чрез небольшую скважину ветхого ставня, ибо для нее ничего нет непроходимого, и там едва заснувшей пастушке представила сию картину.

Роза видит в кустах тенистых, цветущими розами усеянных, на мягкой мураве разметавшегося дитя; красоты бесподобной; глаза его хотя были и завязаны, но пылкие огни их, проникая тонкую перевязь, освещали все своим светом. Оно улыбалось, румяная заря не так прекрасна, как алые его щечки; оно в одной руке держало розовый

венки, а в другой — на ниточке привязанные два сердца, коими оно подергивало, как хогело. Зефиры обмахивали его своими крыльями, повсюду вокруг него все рождалось, все процветало. В местах сих серебряные ручейки бежали по золотым пескам, прокладные роши наполнены были сладкопоющими птицами; на лугах, покрытых благоуханными цветами, резвились красавицы с красавцами. Там пастух лобзает свою подругу, здесь царь стоит на коленях пред пастушкой, далее — гордая госпожа унижается пред робким невольником. Любовь все неравенство уничтожала и одни лишь нежные сердца содвельвала великими. Тут пастушки посохи, цветочные венки, царские короны, скипетры и мечи — все было перемешано и разметано по траве. Все наполнено было красотю, нежностью, удовольствием и наслаждением. Все дышало страстию, к чему ни прикоснешься, все, внушая восторг, горело огнем желаний.

Но Розе, Розе ничто не приятно; она Любима не видит; вотще гуляющие по воздуху на золотых облаках эроты нисходят к ней, поют, прыгают пред нею и обвивают ее цветочными цепями. Для нее без милого и самый рай служит темницею. Вдруг звук цепей поражает ее слух: какое зрелище для любовницы! Она видит Любима, скованного и ведомого вдаль от нее какими-то чудовищами; он, рыдая, произносит ее имя, рвется к ней; но его не пускают. Пастушка и во сне цепенет, плачет и стонет. Дитя, услышавшее сие, немедленно вспрыгивает, отряхивается, и с его стройного тела и с курчавых крыл посыпался золотой дождь, который катился за ним по пологой долине, как жемчуг катится по бархату. Оно мгновенно победило чудовища, отдало Любиму золотую свою росу, подвело его к Розе, велело им наслаждаться всеми своими утехами и жить в своем царстве. Пастушке приснилось, что она, обрадованная такою счастливою участию, поверглась без обороны в объятия своего любезного; а он ее целовал, играл с нею и открыл ей новые утехы, кои всего на свете сладостнее, восхитительнее и бесценнее. От сего столько чувства Розины взволновались, что она ахнула и проснулась. «Ах! Любим, — она говорила, — жестокий Любим, ты и во сне меня мучишь. Изменник, ты спишь теперь покойно; но будь, будь покоен, я того от всего сердца тебе желаю; пусть я страдаю одна. Твоя печаль мне несноснее моей. Кажется, пора уже мне идти со стадом в поле; солнышко всходит; я там встречу с Любимом, он хотел нечто со мною говорить; но он подумает, что я для него так рано пришла? Я скажу, что овцы на луг просились и от блеянья своего мне спать не дали. Нет, смущение мое и торопливость ясно ему то скажут, что не овцы, а сердце мое на луг просилось. Он мне неверен. Надобно одеться получше и тем показать ему, что я будто наряжаюсь для кого-нибудь иного. Буду с ним поспесивее, повольнее; а он, распуская свои плутовские глазки по моему наряду, неужто не найдет чего-нибудь столь пригожего, чтобы опять могли ко мне его приворожить? Спесь моя не покажется ли ему моим гневом, который ему столько чувствителен? Вольность мою не

почтет ли он за ласковое и дружеское обхождение? Итак, все это не учинит ли его опять моим?»

После сего она поспешно встала, нарядилась в белое платье, перепоясала стан свой алою лентою, взяла корзину, посох и погнала овца. Тогда так рано еще было, что ни одна свирель не раздавалась по рощам; однако же солнце позлатило светом своим горы и леса и пламенными очами смотрело на прелестную Розу (в сей одежде походящую на ангела), которая погоняла овечек и торопливо шла к ручью, где обыкновенно видается с Любимом; дорогою же она рвала цветы и украшала ими свою грудь, чтобы хотя с цветами ему полюбиться. Достигнув желанного места, пастушка оглядывалась, не видать ли ее любезного, нейдет ли он? Нетерпение понуждало ее кликать его, но ничто ей, кроме голосистого эха, не отвечивало. Уже утро не токмо для неусыпной Розы, но и для всех настало, от всех сторон гнались стада, играли свирели, и все места наполнились трудолюбивыми работниками, а Любим все нейдет. Теперь Роза совершенно уверилась, что он ей изменил. Она неутешно рыдает, молит бога о смерти своей, клянет день, в который она Любима полюбила, приводит все клятвы его себе на память. И в таком-то отчаянии, опершись на ветхий тын, кустарником и травкою обросший, она в задумчивости своей кормила цветками своего ягненочка и пела сию песню⁵:

Сколько раз ты, вздыхая
У моих, неверный, пог,
Говорил мне: «Дорогая,
Льзя ль, чтоб изменить я мог!
В быстром ручейке течение,
Умножится вода;
Так любви моей стремленье
Приумножится всегда.
Умираю я тобою.
Где любовь ты дел свою?
Лишь превратностью одною
Ты подобнисья ручью.
С водою ручья и любовь твоя протекла.

Услышав, что кто-то к ней подходит, она перестает петь и поспешно отирает свои глаза, в надежде той, что, конечно, Любим идет. Однако же она обманулась. Вместо Любима предстал ее очам Миловид, друг Любимов, он шел, потупя голову в землю, шляпа его была надвинута на глаза, камзол нараспашку и руки за спиной, и так был задумчив, что верно бы прошел ее мимо, ежели бы не набрел на пень и не упал. Проворно встав, он оглянулся и увидел Розу, которая спрашивала у него, не ушибся ли он и о чем так задумался?

⁵ Из французской оперы. Сими двумя песнями одолжили меня мои знакомые, зная, что я сам стихов не пишу.

Миловид. Ах, Роза! Ты здесь. Какое несчастье! Любим в железзах сидит под страшным присмотром. Сегодня ночью пришли к ним в избу деревенские начальники, ни слова не сказав, его сковали и утащили от отца, который и теперь не знает, за что это; расставаясь с ним, спрашивал его, не сделал ли какой вины? Тот ему каялся, что ни токмо вины, но и злого намерения никакого не имел. Бедный старик в какой печали! Как он неутешно плачет! С ним никогда, говорит он, столь великого огорчения не случалось. Он просит бога, чтобы он скорее жизнь его кончил, нежелая бы привел видеть сына недостойным его горячности. Любим бросился было тогда в его объятия, но бесчеловечные его из оных вырвали. Как добрые люди гонимы! Я оставил рыдающего Петра, просившего меня разведать о причине такого лютого бесчеловечия; он все думает, что Любим по молодости своей не сделал ли чего-нибудь. Я пошел к старосте и спрашивал его: он мне сказал, что велено набрать рекрут, а как у всех родня, жены и дети, то они тех и не тронули, а почли лучше выбрать бессемеяного человека. Но какое беззаконие! Всякий тот, кому должно было идти, откупился от сего выбора, кроме Любима, потому, что он беден; для того-то его разлучают с тобою, со мною и с бедным отцом. Этот жалкий старик умрет с голоду. Без него кто его будет кормить? Ежели бы Любим не имел его на своих руках, так он бы и сам пошел без всякого wyboru служить богу и царю. Что нам делать, Роза? Его ушлют на войну.

Роза. Я трепещу, но не знаю и не поняла, куда его ушлют? и зачем? и что это за война?

Миловид. Это наказание божие. Война истребляет людей, она хуже мору и голоду. На войне без пощады всякого до смерти убивают. Видала ли ты когда, как, остервенившись, звери грызутся? Точно так-то там люди должны драться. Здесь поля красуются зелеными лесами, чистыми потоками, а там все покрыто трупами человеческими; вместо водных ручьев кипят кровавые реки.

Роза. Какое несчастье!.. Я, я должна расстаться с Любимом! Нет, его со мною не разлучат! Мы родились жить и умереть вместе. Я везде с ним иду; но Добролюба! Мать мне столь бесценная! На кого я тебя оставляю? Что мне делать, Миловид? Я без Любима и без Добролюбы жить не могу. Побежим к барину, падем к его ногам и будем со слезами просить его помощи.

По сих словах Роза бросила своих овец и, как стрелы, полетели с Миловидом в село; они на пути своим встретили Рассудина, который ехал тогда на охоту, и поверглись пред ним на колени, воскликнув: «Постой, сударь, будь нам отец, возврати несчастному отцу его сына, а умирающей любовнице ее любезного, а не то я умру у ног твоих».

Барин, тронутый таковыми выражениями, с состраданием выслушивает повествование о несчастном приключении Любима, приемлет великое участие в печали их и, разгневан будучи на бесчеловечных своих

приказчиков и выборных, шел с лошади, приказал охотникам воротиться в его дом, а сам с Розою и Миловидом пошел в село.

Они туда приходят в самое то время, когда его хотели отправлять в город. Улица вся наполнена была народом, жалостно смотрящим на слезное прощание Любима с трепещущим своим отцом, коего твердый дух принужден был уступить чувствительности.

— Прощай, любезный мой сын,— Петр, держа его в своих объятиях, говорил ему рыданиями пресекаемым голосом,— будь столько усерден твоему отечеству, сколько я. Знай, что ты идешь защищать всех этих людей, которых ты видишь, в том числе и меня. Спасать человечество есть божеское дело. Благодарю бога за определение тебя на таковой похвальный подвиг. Радуюсь, что дожил до тех пор, что увидел сына моего не токмо полезным для кого-нибудь, но и для целого народа. Презирай смерть, не щади последней твоей капли на сражении. Ведай, что иной и порочно умирает, а умирать за благо ближних не только приятно, но похвально и восхитительно. Тогда, друг мой, невидимо пресветлый ангел летает над страдальцами и, венчая их райскими цветами, прямо души их возносит на небо к богу. Кровь их, ради общей пользы пролитая, искупает их от грехов, очищает их и соделывает столько же непорочными, сколь сами ангелы. Честное твое поведение продлит век мой и учинит для меня землю раем, а ежели будешь дурной солдат, то я позабуду, что ты мне сын, и не охну о тебе... или умру от таковой горести. Прощай, будь над тобою божие и мое благословение. Не сетуй на то, что ты избран неправдой; всякал та неправда, которая к доброму делу клонится, стоит доброй правды.

По сих словах он его лобызал.

— Батюшко! — подкрепленный сими словами, Любим прервал его речь.— Уведомь о участи моей бедную пастушку, дорогую Розу, которую я любил столько же, сколько и тебя. О, горестное воспоминание! Утешь ее твоими спасительными советами! Мы с нею росли вместе, а с нами возрастала и любовь, столь бедственная любовью! Лыгивая надежда обещевала нам счастливый брак. Она клялась мне ни за кого иного не выходить, кроме меня, а я клялся вовеки ей принадлежать. Теперь рок нам велит расстаться. Она тебя почитает, как отца, и сердечно желала называться дочерью; скажи ей, чтобы она не сокрушалась о мне, представь ей, на какое славное иду я дело; присоветуй ей выйти за другого. Я разрываю наши клятвы: но мое сердце наполнено ею! Нигде ее я не позабуду, и когда стану умирать, то и тогда буду думать о ней и твердить ее имя...

— Нет, нет, ты со мной не расстанешься, ты не умрешь без меня,— пробившаяся сквозь толпу народа, Роза возопила, повергнувшись к ногам Любима.— Друг мой любезный, царь мой, счастье мое, возьми меня с собою! Я готова на все беды, готова с тобою все терпеть. Самые степи с тобою раем мне будут казаться. Я хочу с тобою умереть, но без тебя я жить не могу.

По сих словах она, лишась чувств, упала на руки к Милоvidу. Окованный Любим бросился было ее обнять, но зазвеневшие тяжелые цепи его не допустили.

— Остановитесь еще!— выбсжавший из середины многолюдства старик возопил.— Остановитесь! Пустите этого молодого человека жить для счастья многих; я, я иду за него умирать. Он мой благодетель, он спас мою жизнь. Пусть сие будет знаком моей ему благодарности. Еще силы мои столь крепки, что я могу нести ружье, суму и противиться неприятелю. Благословенное дитя!— объемя Любима, он продолжал:— Ты меня не узнаешь; я самый тот, которого ты в роце накормил; тогда я, отдыхая, не спал и видел все твое о мне попечение. Останься, живи и будь отцом моим детям.

Но какая нечаянность! Петр смотрит на него и в сем старике познает брата своего, коего он несколько лет, будучи все в долговременной отлучке, не видел; объемяет его, целует, и смешанная радость с печалию приводит его в некое иступление; он плачет, смеется и, подобно человеку, лишенному памяти, мечется то к брату, то к сыну. Все прослезилась от такового чувствительного позорища, а жестокосердый начальник велел их разлучить и, посадя узника на приготовленную подводу, велел вести его под строжайшим присмотром.

— Постойте,— раздался грозный голос.

И вдруг последуемый многочисленностью служителей Рассудин предстал пред своих крестьян. Все взволновались, сняли свои шляпы, низко поклонились и почтительно на него смотрели.

— Раскуйте Любима,— он сказал.

Изумленный Петр, услышав сие, воскликнул:

— Кто хочет лишить сына моего чести служить государству?

— Я, друг мой,— отвечал барин.— пусть он будет услаждением твоим и составит счастье сей бедной девушки. Это столько же честно, как и то; отчество мне простит, ибо сие принадлежит ко внутренней оного пользе, когда он будет добрым земледельцем. Я назначаю в рекруты за одного его двух; пускай его недоброхоты почувствуют, сколько печаль мучительна и что злодеи всегда сами впадают в ту яму, которую для ближнего изрывают: таковое мое решение послужит и другим для примеру.

Добродетельный Любим просил господина переменить сие строгое наказание, ибо он огорчением других испулен быть не желал; но Рассудин был неумолим и приказал в то же время корыстолюбивого приказчика и прочих соучастников его в неправом выборе сковать и отвести в город, а Любиму, Розе, Петру и брату его приказал следовать за собою. Он не преминул также послать за Добролюбой, чтобы она немедленно пришла к нему в дом, где они все ее будут ожидать.

Оторпевшая вдова не знала о причине такого зва, подумала уже, не случилось ли чего с ее дочерью, и барин, вчера с нею столь много плящущий, уже не хочет ли ей открыться о его к Розе склонности. И в

сем великом огорчении, от таковых мыслей происшедшем, с досадою бежала она в барский дом; но как она была удивлена, когда нашел там всех своих друзей, услышала о плачевном происшествии и увидела Любима, который бежал к ней навстречу и просил ее согласия на сочетание его с Розою. Она не знала, что на это отвечать, ибо видела, сколь и жених и невеста бедны; а отказать не хотела и была в недоумении до тех пор, пока Рассудин не начал сам о том ей говорить, примолвя к тому, что он Розе даст изрядное приданое, а Любиму избу, лошадей, коров и все то, что нужно для зажиточного поселянина. Вдова, тронутая сим, сквозь слезы сказала, что она Любима хотела всегда видеть своим зятем, но бедность с обших сторон препятствовала исполнению сего желания. Потом все пали к ногам барина и приносили чувствительное благодарение; а он, исполненный душевным восторгом и видя себя окруженным сими благодарными сердцами, плакал, поднимал их, целовал, наделял и желал им столько счастливой жизни, сколько велика та радость, которую он вкушает о успокоении их семейства.

Итак, печальный день превратился в торжественный. В сей день любовь и добродетель одержали над неправдою и горестью свою победу. Любим с Розою увенчали святейшим законом свои желания; вместо плача раздавались в селе радостные песни. Всякий, благодаря доброго господина, желал ему благополучной и долгой жизни. И всякий поселянин говорил тут, что добрые дела без награждения, а злые без наказания не остаются. Что бог видит, кто кого обидит, и что он тому все даст, кто правдою живет.

Добродетель и любовь, сии сокровища природы, показывают человеку, что высокая душа и нежное сердце всякое состояние могут сделать благородным и почтенным.

ДАША, ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШКА

В исходе августа привелось мне побывать в милой моей стороне, где шумноводная Индома¹ роскошно течет среди тенистых рощ по зеленым лугам и ведет вечную брань с седыми камнями, претящими путь сердитым волнам ее. В это время начинает у нас показываться туманная осень; начинают желтеть деревья, дымчатые иссиня облака, дождем богатые, стелются слоями по воздуху и потемняют ясную лазурь неба; красивые дни бывают реже, утра становятся холоднее, а вечера пасмурнее.

Но как бы то ни было, я не могу без ощущения особого удовольствия приблизиться к сим местам моего прежнего обиталища. Коль скоро я завижу мои леса, мои поля, мои рощи и ветхую кровлю моего сельского дома, то мгновенно душа моя ощутит некое приятное влияние непостижимого какого-то доброго гения; как будто пренесуся я в новый мир; бытие мое распространится на все мною созерцаемое; мне все тут представится любезным, все близким к сердцу. Я мысленно беседую с землею и советуюсь о ее плодородии, рассуждаю с каждым деревом и кустиком о пользе их; соглядаю, сбережены ли по нивам и значным берегам реки те дары, конми природа их ущедрила. Ах! Коль сладок тот кусок хлеба, который мы честным трудом приобретаем!.. Как я назову сие чувство кроткой радости, искреннего во всем участия, усердного обо всем рачения? Как назову сию прилепленность души к каждой вещи, от меня зависящей?.. Уже ли это есть любовь собственности?.. Скажите, человеки! Не она ли нудит бедного европейца идти в новый свет и решиться преплыть бурные моря, хотя на каждом ревущем валу видит он грозящую ему смерть? Не она ли заставляет воина проливать кровь свою на пределах отечества, чтоб только не допустить врага разорить теплый прародительский угол? Не ею ли подвижаемый земледелец предпочитает тяжкое изнурение приятства покоя? Не она ли есть могущая сила всех сил ваших и побудительная причина всех ваших действий? Боже! Благослови ее, если она служит во благо человеку и

¹ Кто читал в 9-й части Иппокрены пьесу под названием «Матвеевское, или Мое сельское препровождение времени», тому известна и милая мне Индома, напоющая добротворною водою своєю мои луга и стада.

ближнему его: тогда она добродетель; но будь она проклята, ежели сопряжена с обидою соседу! Тогда она зло, вредное общему добру, противное богу и людям.

Два дня шел дождь; крупные капли его жужжали по широким листам растущего перед домом моих хмеля, стучали в стекла и рокотали по желобам над окнами. Я унывал вместе с природою. На третий день солнце разбудило меня яркими своими лучами. Я обрадовался светлому утру и спешил в поле, на луга, на берег реки, хотел вдруг быть везде. Казалось, будто все мне улыбалось, на что бы я ни взглянул. Везде усыпано было алмазною пылью: так блистала трава, унизанная росой. Когда человек доволен и весел, видит ли он, как летит время? Я не приметил, как прошел день, ясный, теплый; наступил вечер, тихий, румяный, лучший осенний вечер.

Новое наслаждение сельским удовольствием! Предавшись моей задумчивости, бродил я по долинам и в кустах; повсюду сопутствовало мне безмолвие: оно более и более питало мои мечты. Индома здесь разливалась между двумя зелеными пригорками; была неколебима, подобно зеркалу; едва слышен был гул вдали враждующих волн ее; маститые сосны и развесистые березы, окруженные мраком своим, дремали над нею; все располагало мою душу к размышлению. Воображение представило мне прошедшие годы моей жизни, мои напасти, случаи моих радостей и печалей и то, что было мною когда почувствовано, чего когда желал я и чего удался; явились предо мною все те, кто мне были милы и постылы, кого лишился я и о ком поднесь крушусь, и те, коих трату придется, может быть, мне оплакать; отрадные надежды, прискорбные сомнения, неизвестность и страх о том, что вперед со мною случиться должноствует и что будет за пределом жизни сей,—все, все это вилось вокруг сердца моего; все это, соединясь со впечатлениями, важным лицом природы произведенными, так растрогало мой дух, что мне казалось, будто я перешел уже за роковую черту мира сего и будто существую уже в том свете, где время, суета и горьсть неизвестны.

Долго утопал бы я в сем море коловратных дум, если бы нежные голоса, вблизи от меня раздавшиеся, не пленили слух мой. Я поднимаюсь на пригорок и вижу трех девушек: самой старшей из них кажется не более 17 лет; две лежат на зеленом берегу реки, одна подле другой, а третья поодаль от них сидит нерадиво и в задумчивости своей общипывает листочки полевого колокольчика, увядшего в руке ее. Те веселы, в красных фрезях, с золотыми повязками, а эта уныла: румянец щек ее бледен, русые волосы по белому челу разметаны кое-как, платье на ней темное, тяжелые вздохи колеблют ее грудь; но при всем том она прекрасна, как ангел. Без особенного участия нельзя на нее смотреть. Девушки пели самую унылую песню: голоса их были складны, непринужденны, тихи; пение их очаровало душу. По мере как смысл песни соделывался чувствительнее, красавица становилась печальнее, слезы навертывались на голубых ее глазах, скоплялись на длинных ее ресни-

цах, наконец она зарыдала, закрыла лицо руками и бросилась ничком на мураву. Подруги ее перестали петь, начали ее уговаривать:

— Полно, полно, Даша, так убивать себя! Ведь этим горю своему не пособишь.

— Ах, мои родные! — привставши, она им отвечала. — Если бы вы его видели, если бы вы его знали, вы бы мне сказали: умри, Даша, умри скорее; можно ли жить без милого друга? Вы горя моего не ведаете! Он забыл меня.

— Так это правда, Даша, что ты тоскуешь о молодом барине? Вся вотчина про то знает. Лихие люди корят тебя, а мне тебя жаль, бедную, очень жаль.

— Что мне до лихих людей? Укоры их ветер разносит; я не смотрю на них. Он, он один дороже мне всего на свете. Так, Маша, так, я люблю его всей душой. Вот уж год, с лишком год, как ясный сокол отлетел от меня в чужую, дальнюю сторону и слуху о нем нет.

— А что ты думаешь? Я чаю, он и подлинно забыл тебя, бедная!

— Бог его забудет, если он меня забыл.

— Скажи, Даша, да как вас бог снес с ним? Как ты с ним свиделась? Как ты его полюбила и знаешь ли, любит ли он тебя?

— Кажется, он меня не обманывал: он божился мне, что любит меня — и я божбе его верила.

— Э, глупенькая! Разве не божатся баря попусту?

Даша тяжело вздохнула; потом, помолчав несколько, она говорила своим подругам:

— Послушайте, мои белые лебедки, не всегда травушку мороз побивает, часто вянет она и от красного солнца; не всегда девушку губит невольное замужье, губит ее часто и жаркая к милу другу любовь. Я расскажу вам все, что лежит, как гора, у меня на сердце. Вы смеяйте, не заглядывайте на кудрявых детинушек, не сдавайтесь на их ласковые слова; ласковыми словами своими они только что нас, девок неразумных, из ума выводят. Помните ли, как в прошлом лете была здесь старая наша барыня? Помните ли, что с ней был и сын ее, наш молодой, пригожий барин? Он часто гуливал по полям, часто хаживал к нам на живно, на сенокос. Как, бывало, играет красивый конь под ним, когда едет он верхом! Всегда я пристально на него смотривала, глаз с него не спускала; серп часто выпадал у меня из руки, и тогда уже опомнюсь, как ежели кто-нибудь дернет меня за рукав или скажет мне: «Даша, ведь он на тебя смотрит». Тогда, как варом, меня обдаст; я сделаю сама не своя... Ах! Да как и можно было не заглядываться на него! Как он миловиден, как он строен! Поступь его самая барская: бел, чист, румян, глаза и брови у него черны, как соболь; бывало, когда он взглянет, то, словно солнцем, осветит. Что ни скажет, — все хорошо; как ни ступит, — все ловко. Дивлюсь, как можно уродиться так статну, с такою молодецкою красотою!

Что еще лучше его может быть на свете?

Однажды случилось мне идти под вечер с большого наволока чрез рошу, что неподалеку от барского двора; я была одна-одинехонька; тут со мною повстречался барин; я не знала куда деваться, оробела, обомлела, уйти хотела, но ступить не могла, насили дух переводила и дрожала вся, как к смерти приговоренная. Увидя меня, он улыбался, а подошел ко мне, снял свою пуховую шляпу и чиннехонько поклонился; я хотела посторониться и дать ему дорогу, но он остановился, взял меня за руку и начал говорить со мною. Нет, девушки! Соловьи так не поют сладко в кустах по зорям, как сладка была речь его! Приветливые слова его катились прямо ко мне в душу; рука его горела, как огонь; от этого огня вся кровь во мне закипела. Он уверял меня, что я мила, что я хороша, что он любит меня всем сердцем. Я таила от слов его, но когда он спросил меня, люблю ли я его, я обмерла, не зная, какой ответ ему дать; солгать не умела, сказать правду боялась; сама не понимаю, что сделалось тогда со мною! Не как пташка трепещет в когтях у ястреба, как я дрожала вся; не могла вымолвить ни полсловечка; свет выкатился у меня из глаз; слезы посыпались, как град; я только что вздыхала; ноги мои подкосились; я не могла стоять и упала к нему на руки. Он обнял меня, прижал к груди, начал целовать, миловать, приголубливать и все доведывался, люблю ли я его. «И рада бы не любить тебя,—отвечала я ему,—да твой приятный взгляд, твой пригожий вид приворожили меня к тебе». У красавца моего ясные очи засверкали, как звезды, и румянец живее заиграл на щеках. Долго держал он меня у сердца, долго смотрел мне в глаза; у него что-то было на уме, но он как будто боялся меня, как будто не смел чего-то мне сказать; наконец, тяжело вдохнул и со слезами выговорил: «Нет! Не могу решиться. Даша! В объятиях моих ты будешь всегда чиста, как ангел». С сим словом крепко он прижал меня, горячо поцеловал и выпустил из рук. Мы расстались. Начало уже темнеть. Я шла по тропинке в великом раздумье все о том, что говорил со мною барин: он называл меня милою, хорошею; это так меня радовало, что сердце мое выскочить хотело. Но последние слова его я не могла понять, к чему он их сказал. В таких-то крепких думах не заметила, как и домой дошла. Отец и мать спросили меня, где так долго я была? Все уже с барщины пришли по домам. Тут я в первый от роду солгала; спасибо, что в избе было темно, и никто не видал, как я покраснела от неправды.

С тех пор еще больше я полюбила его. Мы с ним видались почти каждый божий день; не могли наглядеться друг на друга, не могли наговориться, намиловаться. Бывало, расставаясь на час, сколько раз прощались, ворочались с половины дороги, чтоб опять проститься, припомнить то, что молвить забыли. Бывало, он ищет меня по лугам и рощам, зовет к себе; я прислушивалась, как он твердил мое имя. Как звонкий голос его раздавался далеко-далеко в чистом поле! Пусть лихие люди, что хотят, но несут на меня, а господь тому свидетель, что барин надо мною не поругался и ни единым даже словом в стыд меня не

приподил. Только чем уже он не дарил меня—и серебром, и золотом, и бисером, и лентами, и парчою; но я ничего не брала: одна любовь его мне только нужна была. На что мне наряды, когда и без них полюбил он меня? Да и куда бы мне было с ними деваться? Ах, девушки! Ах, голубушки! Сколько у меня было в прошлом году радостей! Всякий день для меня был праздник; всякий день с ним видалась; всякую ночь он мне снился.

То было только осенью, что у меня тоска все сердце переела, когда он торопился ко мне и, переходя по жердям чрез реку, оступился, упал и чуть не утонул. Я не вспомнилась тогда, бросилась в воду, выхватила его из самой глубины на берег. В то время вся наша вотчина всполохнулась. Чуть не умерла я тут, пока не откачали его. Лишь только он опомнился, пошел глазами по всем и, увидя меня, не спускал с меня очей, но не мог ни слова вымолвить. Священник наш взял его к себе; у него он отдохнул; между тем послали в барский дом за сухим платьем; все боялись, чтобы старая барыня не спела про то: она без памяти любила его. Но могла ль такая беда от матери утантись? Барыня спознала, приехала к священнику; я видела, как шла она по крыльцу; она плакала, как река лилась; она увезла с собою милого сына, и я две недели не видала сердечного друга. Он был болен, я была без души. Каждый день готовилась я расстаться с белым светом, со всем родом и племенем; и так-то все было, пока он выздоровел. Царь небесный! Как я обрадовалась, когда увидела его в первой после болезни! Ах, девушки! Ах, мои красавицы! К чему я присню вам радость мою! Нет, ни к чему нельзя; одна только душа моя заведает ее.

Меня позвали к барыне в горницу. У бар-то в домах рай пресветлый! Как изукрашены все стены! Но для меня темнее бы темницы показались барские стезколычатые терема, если бы я не увидела моего милого, дорогого, моего солнца красного. Как светел месяц на небе между звездами, так милолик он, так хорош он пред всеми. После болезни взглял его был томен, и от того он был как бы еще пригоже. Лукавец! При матери он и виду не подал, что меня знает; а я, глупая, я чуть-чуть не открыла всего, чуть-чуть не заплакала; он это приметил, погрозил мне, стоя за барыней; я спохватилась. Добрая наша госпожа про все уже знала, как он упал в воду, как я выхватила его. Она меня поцеловала, благодарила, что сберегла ей сына, и всем меня наделила: и золотыми лентами на поязку, и камкою на телогрею, и сказала, что даст мне вольную, а старику, отцу моему, пожаловала хлеба, скота, новую избу и всю нашу семью с барщины спустила. Скудный наш домишко стал, как полная чаша; а что всего дороже,—мне велено было ходить каждое воскресенье к барыне в горницу. Ах! Почто совсем меня во двор не взяли! Я бы всякий час видела моего красавца; хотя бы слышала, хотя бы ведала о нем; а теперь с самого Покрова не вижу его, с самых святок не слышу о нем; и что придумать, не знаю: жив ли, здоров ли? ах! не забыл ли он меня, несчастную?..

— Почему ты знаешь, Даша,— прервала говорившая с нею подруга,— может быть, уже он и женился на богатой барышне какой, а тебя совсем покинул?

— Бог с ним!— вздохнув, отвечала ей Даша.— Я знаю, что мне не сужено быть за ним; он барин, а я крестьянка. Пусть его женится хоть на царевне; пусть его будет счастлив; а я бы и за то благодарила бога, ежели бы могла его видеть. Для меня полно, и чересчур полно того счастья, чтобы глядеть на него, чтобы он был здоров и весел; больше этого я ничего не хочу. Но мне до этой радости не дожить, видно. Не знаю, чтобы это было такое? Всегда, как я о нем вздумаю, сердце у меня кровью обольется, затрепещет, занеет, замрет и мне так станет грустно, так грустно, что я исведь бы куда девалась.

Даша горько заплакала.

— Сказать ли тебе, Даша, правду-матку?— подхватила тут третья девушка, которая во весь их разговор молчала и только что слушала.— Я пришла было сегодня поутру с ягодами к приказнице; меня до нее не допустил староста, но слышно мне было, как она выла; сюда скоро будет барыня, и у наших-то бар что-то не все по-добру, не все по-здорову. Ведь наша-то брюзгливая приказчица ходила нянюшкой за молодым барином. Давеча, поутру, наехали из-под Москвы дворовых с обозом полон большой двор, и все невеселы, все ходят нос повеся; да и сама барыня, говорят, едет сюда в великой печали— и одна.

— Ахти!— вскричала Даша, мгновенно соскочила с места, сплеснула руками, только ее и видели. Подруги ее за ней побежали, но догнать ее не могли.

Таким-то образом случай открывает не токмо тайну любви, но и самые сокровеннейшие предприятия глубоких политиков. Из речей девушек я догадался, что дело шло о сыне соседки моей, богатой московской барыни. И действительно, сын ее— молодец прекрасный, любезный, с умом, с чувствами, а к тому же и девятнадцати лет: время самых пылких страстей. Он был один сын у матери, и, так сказать, не давали на него пороку пасть, ни ветру дыкнуть. Он выращен был на самом нежном лоне родительской горячности, и титул матушкина сына совершенно ему принадлежало. К счастью его, он рано попал на руки хорошего наставника, а потому в нем нисколько и не было заметно того своеволия, того своевольства, той буйной необузданности, которые бываю обыкновением плодом потворства и слепого пристрастия матерей, а особливо, ежели у которой одно лишь дитя.

Я видал молодого моего соседа, и всегда мысленно его хвалил. Правда, что рано он начал любить и полюбил неровню; но любовь разбирает ли состояния? Она владычествует над детьми природы, а ей нет нужды до того, какие противоположности разделяют их. Пусть тот, кто не имеет страстей, пусть бросит камень в пламенного юношу. Вам, холодные души, упорствующие приятным впечатлениям природы, отвергающие сладкий нектар любви, без коего бытие человеческое гибнет,

подобно зякам на степи песчаной и безводной, куда ни благотворная роса, ни плододатный дождь никогда не спускаются, вам предоставлю право бранить кипящую страстями молодость, а я болезную о пригожей девушке: знаю, что с чувствительным сердцем редко кто счастлив бывает. Досадую на судьбу, что, одарив ее такими прелестями, такую нежную душою, заключила она ее в такое бедное состояние. Если бы к ее любезности дано ей было воспитание, тогда, может быть, ее уподобляли бы Юлии, женовским мудрецом написанной*, или рихардсоновой Памеле*. Но прекрасная Даша должна увянуть, как роза в пустыне, потому только, что дочь крестьянская. Боже! Сокровище благих! Призри на невинность, да не коснется ее лукавый дух порока; мы все твои чада!

Девушка столь была привлекательна, а печаль ее столь трогательна, что нельзя было не принять в ней участия. Крушась о жребии сельской красавицы и переходя из одного размышления в другое, я возвратился домой довольно поздно. Назавтра велел осведомиться в усадьбе моей соседки: все ли у них здорово? Печальное известие! Прекрасный сын старой барыни умер в армии. Безотрадная мать едет из Москвы в десятине уединенные места посвятить горести и плачу и без того, может быть, малый остаток дней своих. Вот наши радости! Вот наши надежды! Я помню, как она говорила мне, что все счастье свое подлагает в сыне; она желала, чтоб он скорее выслужился; чтоб получил знаки чести; чтобы сделал хорошую партию; чтоб он был благополучнее всех на свете; но мало ли чего материнское сердце желает? В желаниях добра детям оно неограниченно и успехами счастья их ненасытно. Что же судьба сделала с моею чадолюбивою соседкою? Смертью сыновнею пресекала все ее желания. Ах! Коль часто восхищающие нас замыслы наши имеют сему подобный конец! Человеки! У вас ничего нет верного, кроме смерти.

Но обратимся к милой Даше. Я спешил о ней навеститься. Несчастия! Весть о кончине милого была для нее ужаснее громового удара. Коль скоро о том ей сказали, в ту же минуту она пришла в иступление; вместо слез она издала дикий хохот и лишилась ума; потом начала неутешно плакать, надорвалась с тоски, слегла в постель и день ото дня разнемогалась; в девятый, роковой день, и богу душу отдала. Я видел сию жертву любви и чувствительности лежащую во гробе; нарочно ходил в церковь, когда ее отпевали, принести памяти ее в дар самые теплые слезы сожаления, выкатившиеся прямо из глубины сердца моего. И во гробе она была хороша: на пригожем лице ее не видно было безобразных ужасов смерти. Томность, уныние и какая-то трогательная душа жалость разливались по бледно-белому лицу ее.

Под тонкими веждами сокрыты были доселе ясные очи ее, мертвая синета заступила место алых роз на устах ее; белые, как снег, руки сложены были на высокой, оледеневшей груди; вообще казалось, что будто лежало во гробе изображение уснувшей Красоты, из чистого ярового воска вылитое. Вся деревня провожала тело Даши, все о ней плакало; без сомнения, все ее любили, без сомнения, она была достойна

любви. Вся родня рыдала о ней неутешно, а мать и отец — не иное что были, как воплощенные горесть и отчаяние. Я помогал опускать гроб ее в могилу и вместе с ближними ее принес ей последний дар: бросил несколько горстей земли на гроб и водрузил деревянный крест над телом ее, написав на нем карандашом слова сии: «Здесь спит чувствительная Даша. Прохожий! Чти прах ее. Податель жизни вечной приобщил нежную душу ее к лику ангелов своих».

М.Н.Муравьев

ОБИТАТЕЛЬ ПРЕДМЕСТИЯ

Хотелось мне иметь землицы уголок*,
И садик, и вблизи прозрачный ручеек,
Лесочек сверх того; и лучше мне и боле
Послалн небеса. Мне хорошо в сей доле
И больше ни о чем не докучаю им,
Как только, чтоб сей дар оставили моим.

Горацкий

№ 1

Пятница, августа 2, 1790 года

Маском и медом напоенны
Тучнеют влажны берега,
И ясным солнцем освещенны
Смеются злачные луга.

Ломоно

Не выезжая из города, пользуясь всеми удовольствиями деревни затем, что живу в предместии. Я вижу жатву из окошка. С восхождением солнца земледелец жнет неутомимо полосу свою и связывает снопы. Косцы, поставленные строем один за другим, вместе взносят и опускают косы свои. Какой приятный запах от сена, разбросанного на лугу! С каким удовольствием, когда скажу трудолюбивым поселянам, проходя мимо них: «Бог помочь, друзья!» — они отвечают мне: «Спасибо, добрый барин!» Мой домик очень мал и невиден, но я не променяю его на великолепнейшие здания, восходящие к облакам и поддерживаемые столпами.

Хотите ли видеть описание моего дома? Он стоит на конце широкой уединенной улицы, которая выходит в поле. Перед ним, со стороны города, строение обывательское перерывается. В приятной ложине илывается ручей, по берегам которого разбросано несколько кустов

орешника. Ручей бежит по леску и по камешкам. Вода его чиста и холодна.

Напротив дома — приходская церковь весьма древнего строения. Один князь, которого не упомяну имени, построил ее в благодарность за победу, одержанную над татарами. Основание ее вросло в землю. Оградаю служат ей старые дубы, которые далеко кругом себя кидают тень свою.

Подле церкви живет священник, старый и почтения достойный человек. Он имеет попечение о своих прихожанах так, как отец о детях; помогает бедным, утешает несчастных. Он всех старше в приходе и почти каждого запомнил рождение и младенчество. Мы его слушаемся затем, что опытом своим знаем благоразумие его советов. В нашем предместии очень много счастливых, ибо он научил нас находить счастье в добродетели и исполнении должностей наших, а не в удовольствовании ежечасных прихотей, которые никогда не кончатся.

Дом мой на возвышении. Позади — высокая роща из кленовых и ясеневых деревьев. Я пью иногда чай в прохладной темноте их, когда посетит меня священник или человек-другой приятелей.

Я имею приятелей, потому что без дружества человеку жизнь была бы неприятна. Как можно жить одному! Любить только самого себя! Никому не быть полезну!.. Нет, чувствуют живо в сердце моем, что человек сотворен для общества: я получаю от него столько выгод! Оно имело попечение о воспитании моем, оно меня покровительствует, защищает от насилия неприятелей оружием, от обид согражданина моего — законами. Оно меня удостоивает доверенности, украшает частями и общим почтением, которое еще драгоценнее почестей. Оно снисходит даже до изыскания мне невинных забав, а я не захочу служить ему! Я отниму руку свою от участия в общих трудах; не разделю ни бдений градоначальника, ни опасностей воина, когда отечество благоволит приобщить меня к оным! Да удалится от меня такое чувство! Я желаю любить друга своего, сродника, благодетеля более, нежели самого себя, и более, нежели их, если возможно, — мое отечество.

Вспомнинаю пример сего славного грка, который вознес отечество свое на верх сияния и могущества, но с удовольствием и почтением исполнял самые низкие должности, наложением которых неблагодарное гражданство думало его унижить.

Сколь приятно отдохновение, когда вкушаешь его после трудов своей должности! Самые простые и ежедневные забавы кажутся новыми и несравненными, когда обращаешься к ним с покойною совестью.

При окончании такого дня с умилением возвращаюся в мою хижину. В ней, кажется, нашел бы я счастье, если бы уже не имел его в моем сердце. Тут уединяюся, вхожу в самого себя, вопрошаю в безмолвии сердце мое о всех его движениях, о всех помыслах, действиях, поступках и, ежели найду подозрение худого дела, кроющегося в глубине сердца, краснеюся и принимаю твердое намерение исправить себя.

Потом оставляю хижину свою. Скорыми шагами пробегаю горы и доли. Дышу свежим воздухом при закате солнечном или развожу маленький садик свой и поливаю благоуханные розы и хожу за своими вишневыми деревьями. Иногда, как смелый всадник, стремлюсь на резвом коне, посещаю хижину земледельца и спокойное хозяйство деревенского помещика. В другое время ищу произведений природы — цветов, растений, камней и стараюсь проникнуть силы и свойства их.

Наконец журчанье источника и зыблущаяся тень ивы или тополя приманивают меня к себе. Сажуся на рождающийся дерн и читаю книгу ползаную или приятную: повести прошедших веков или трогające истины нравоучителей. В таком упражнении находит на меня сон сладкий и беспрепятственный до тех пор, когда заря, озлатив горы, возвестит следующее утро.

№ 2

Пятница, августа 9, 1790 года

Раскаянье живет и поздно иногда.

Сумароков

Погода имеет какое-то влияние надо мною. Влажный воздух, покрытое тучами небо, не отнимая внутреннего спокойствия души моей, производят во мне некоторую важность, склонность к размышлению. Я вспоминаю отдаленных друзей своих. Уединен в глубокой задумчивости, проливаю слезы сожаления над теми, которых смерть у меня похитила. Эмилий сокрылся от моих дружеских объятий. В странах неизменемого блаженства преемлет он воздаяние за жизнь беспрестанно добродетельную, за смерть, вкушенную за отечество. Граф Благотворов, конечно, не вспомнит имени его, не предавшись всей своей чувствительности, хотя радостный мир и возвращает ему Васеньку, здорового и достойного всей его нежности. Я посвятил в саду своем смиренный памятник Эмилию. Печальная сень кипарисов заключает в себе урну его и сии слова, начертанные на подножии: «Памяти моего любезного Эмилия! Добрый сын, нежный друг, ревностный гражданин, он увенчал добродетельную жизнь славною смертию за отечество».

В таком положении был я третьего дня поутру. Солнце показалось было на минуту и тотчас скрылось в тумане, который поднялся вверх. Дождик начинал накрапывать, однако я не потерял мужества. Завернувшись в сертук свой, сел на лошадь и пустился рысцою вдоль по дороге. Движение возвратило мне всю мою веселость. Иногда скакал я, сокрытый с обеих сторон волнующимися жатвами, иногда спускался в глубокий овраг, где ручеек пробегал по камешкам. Здесь проезжал я деревню, там — усадьбы помещиков; инде, выезжая из лесу на лужок, видел я пасущееся стадо соседственной деревни, и собаки пастуха преследовали

лошадь мою лаем. Занимаясь всем, что попадалось мне навстречу, нечувствительно очутился я на двадцатой версте от дому. Ладыно было в виду. Как не заехать к старинному другу моему капитану-командору* Неслетову? Я дал шпоры лошади и в четверть часа был уже у крыльца, и Неслетов бежал ко мне навстречу с разверстыми объятиями.

«Любезный друг!—говорил он в восхищении,—добро пожаловать! Вот так-то помнят друзей своих! Всегда мне приятно видеть тебя; но никогда не мог ты одолжить меня более посещением своим. (Слезы катились из глаз его...) Сегодня память жены моей. В сей день несчастная София тому три года назад оставила непорочную жизнь, которую запальчивость мужа ее в первом цвете прекратила».

Капитан обвиняет себя смерти жены своей затем, что в самом деле оскорбил ее однажды в большом обществе несправедливо укоризною, хотя и слабое сложение Софии само собою не обещало ей долгой жизни. Воображение ее было поражено сим уничижением. Чувствительно жизнь ее угасала. Никакие старания, ни слезы, ни раскаяния командора не могли исцелить ее сердца. С тех пор и капитан более мучится, нежели живет. Не доверяя беспрестанно горячности своей, он лишил себя последней отрады видеть своих детей. Он дает им воспитание в отсутствии, под присмотром благоразумного друга.

Таким образом, имея лучшее сердце в свете, он всегда в опасности огорчить друзей и ближних затем, что не имеет власти противиться первым движениям. Может быть, имел бы он теперь место между нашими храбрыми адмиралами, ежели бы нетерпеливость также не заставила его покинуть службу. Будучи на море, обидел он вспыльчивостью лейтенанта корабля своего, но, опамятавшись через минуту, при собрании всего экипажа просил у него прощения. Сей поступок произвел разные толки, и нетерпеливый Неслетов захотел лучше отказаться от блестящих видов службы, нежели снести взор неудовольствия от своих начальников.

И теперь сама склонность лет его и горестные опыты не могут совершенно преодолеть крутости его нрава. Человек, который в спокойные часы свои наполнен горячайшего доброжелательства ко всем людям, во гневе доходит до неистовства. Самая безделица выводит его из самого себя. Но ничто не может быть искреннее и горестнее его раскаяния. Он в состоянии унижить себя пред последним человеком и все отдать, чтобы удовлетворять обиженного. Зная то, домашние пользуются его слабостию и нарочно попадают к нему во время иступления его, уверенные, что щедрость его превзойдет несравненно оскорбление.

Остаток дня проводили мы в приятных разговорах. В уединении своем не может он еще позабыть своей службы. Сердце его восхищается славою отечества, и он сердится на себя, что не имел счастья сражаться на Ревельском рейде или в заливе Выборгском*.

У него множество заведений: больница, училище, деревенские рукоделья. Благочестие его занимается теперь строением церкви. Кресть-

яне окружают его не так, как господина, но так, как отца и благоприятеля. Он заставляет прощать себе несовершенства нежным своим благоволением к человечеству.

Я проводил день с удовольствием, ночевал и на другой день, после завтрака, в прекраснейшее утро приехал домой.

№ 3

Пятница, августа 23, 1790 года

Напрасно море свирепеет:
Когда всевышший не велит,
Брегов оно терзать не смеет;
Одна песчинка их делит.

Херасков

Иногда находят на меня такие минуты, что я погружаюсь совершенно в воспоминание прошедшего и с удовольствием представляю себе явления моего младенчества. Воображаю живо места, где я бегал, мои ребяческие игрушки, радости и печали, маловажные и непостоянные. Особенно помню я один разговор с моим наставником. Мне кажется, что я теперь его вижу.

Это было летом. Тихий вечер оканчивал знойный день. Солнце величественнее и медленнее на конце пути своего покоилось за мгновение перед закатом на крайних горах горизонта, а я прогуливался на крутом берегу Волги с добродетельным другом юности моей, кротким Илановым. Власы главы его белели уже от холода старости; весна жизни моей не расцвела еще совершенно. Мы касались оба противоположных крайностей века. Но дружба его и опытность сокращали расстояние, которое разделяло нас; и часто, позабываясь, мнил я видеть в нем старшего и благоразумнейшего товарища.

Будучи важнее обыкновенного в тот вечер, он говорил мне: «Сын мой! (сим именем любил одолжен я был нежности сердца его и послушанию моего), озирая холмы сии, одеваемые небесною лазурью, поля, жатвы и наполющие их струи, не чувствуешь ли в сердце благополучия? Чудеса природы не довольны ли для счастья человека? Но одно худое дело, которого сознание оскорбляет сердце, может разрушить прелесть наслаждения. Великолепие и вся красота природы вкушаются только невинным сердцем. Сохраняй тщательно непорочность сердца своего; будь кроток, праведен, благотворителен, поставляя себя всечасно в присутствии высшего существа. Одно счастье — добродетель; одно несчастье — порок. И все вечера твои будут так тихи, ясны, как нынешний. Спокойная совесть творит природу прекрасную».

Слова его глубоко проникли в душу мою, и я повергся с умилением в

объятия старца. Бугорок служил нам местом успокоения. Свет вечерний исчезал под кровом ночи. Скоро стала повсюду единая тьма и безмолвие.

«Чувствительность твоя,— продолжал наставник мой,— есть хвала сердцу твоему и добродетели. Не взирай никогда хладнокровно на благодеяния божи. Все, что окружает тебя, ты сам, твоя бессмертная душа— все носит на себе священное напечатление его могущества и благодати. Сия былинка, теперь столь свежая и которая завянет завтра, и сие поднимающееся светило ночи, сребровидный месяц, единым словом его получили бытие свое. Пройди взором необъятные пустыни неба: они усеяны солнцами, которые другим мирам светят. Другие земли привлекаются и тяготеют к ним; и шар сей, на котором мыслящие существа проводят краткую жизнь, становится точкою в чине природы.

Повинуясь первому побуждению, которое рука всевышнего в первое мгновение бытия сообщила им, огромные тела небесные, окруженные шаром воздуха, колеблются на зыбях эфира. Планеты катятся в предписанных кругах. Источник света и жизни, горящее солнце служит средоточием для подчиненных ему планет. Не прменяя места, обращается оно на оси своей.

Испытатель естества вознесся на крылах наблюдения и написал чертеж системы мира. Десять тысяч поперечников шара нашего отдалают нас от солнца. Всех ближе к нему катится Меркурий. Видишь сие блистающее светило? Это— Венера. Она странствует так же, как и Земля, блистая заемным светом. Ниже ее шествует Земля, прекрасная обитель человека. Служебная планета Луна ей сопутствует, обращаясь кругом и освещая ночи ее. Четвертый круг описывается Марсом. В чрезвычайном отдалении— огромный Юпитер с четырьмя Лунами совершает длинный путь свой. Далее движется Сатурн. Отдаление солнца заменяется ему изобилием спутников, отражающих слабеющие лучи солнца и твердым кольцом плавающих около его.

Око астронома не постигнет всех миров, но сердце благодарное и незлобивое полагает пределы любопытству благоговением и восхищается премудростию божию в самое то время, когда признает свое неведение и слабость».

Так говорил он и, взяв меня за руку, повел в спокойную хижину. Уже наступало время сна. Рука в руку обратились мы спокойно ко вратам сельского обитания нашего.

№ 4

Пятница, сентября 13, 1790 года

Представь, о древность, мне пред очь
Вселенныя спокойный век:

Там в сладком мире дни и ночи

Пресрождает человек;

Земля там в части не делится,
Там вся природа веселится,
Беут оттоль вражда и гнев,
Там с аглицем почивает лев.

Майков

К нам все известия доходят поздно. Отделены от города, мы составляем особый свет, где царствует тишина, спокойствие, уединение. Но какую радостью наполнилось наше предместие, когда раздалась желанная весть мира! Толпятся на улице, обнимают друг друга, поздравляют, окружают счастливого вестника. Каждый наведывается у него о брате, о друге, о сроднике. Я спрашиваю об Ллетове и имею несравненное удовольствие слышать, что он жив, что к достоинству храбрости присоединил он другое, любезнейшее — человеколюбие. Он имел счастье быть употреблен к спасению погибающих. Множество равных ему людей, сограждан, обязаны ему жизнию. Какое наслаждение может с сим сравниться! Сколько печалей должны быть заплачены в сердце его сим сладостным воспоминанием! Но восхищения наши помрачатся иногда слезами прискорбия и сожаления. Сердца проникаются состраданием при воспоминании сих достойных молодых людей, которые так, как мой Эмилий, заплатили долг отечеству своею незлобивою и прекрасною жизнью. Несчастные родители! Вы не примите их в свои объятия, ваша сирая старость лишена опоры сладостного утешения. Нежные друзья будут вечно чувствовать в сердцах своих праздное место, которое занимали столь приятно сим любви достойные юноши. В блестящих обществах столицы будут спрашивать друг друга: где те, которые недавно разделяли забавы наши и увеличивали их своею живостию, откровенностию, знанием света? Строгий долг, любовь отчества, слава присвоили себе жизнь их и память.

В разговорах наших следуем мы постепенно за звучным оружием российским на суше, на море. С благоговейною печально представим себе и в самой смерти непоколебимое мужество героя Ангалта, удивляемся пламенному духу сего маршала, не вышедшего еще из первой юности, который, опоясав флаг, бросается в море, прося только уведомить отца его, что умирает достойным его сыном. Другой, сын славного стихотворца*, которого стихи поставлены в заглавии листа сего, в самом огне сражения устремляется на камень против неприятельской батареи и кричит солдатам: «Ребята, за мною! Я уж на батарее!» И в то же самое время ядро опровергает великодушную похвальбу его.

Мы начерчиваем в воображении все походы, все станы российского воинства, и положения Мемеля, Ковалы, Пумаллунда, Сагатайполя* нам уже почти столько же известны, как и мирные хижины нашего предместия.

Но мы не довольствуемся разговорами. Достойный пастырь наш ведет нас к жертвеннику бога сил и мира. Соединенные усердием и

доброжелательством, мы изливаем горячайшие молитвы и благодарения всевышнему за успехи, которыми благословил он оружие российское. Досточтимый священник поучает духовное стадо свое словом, происходящим от избытка сердца. Он не ищет красноречия: убеждение покоится на устах его. Таким образом любимый отец говорит среди послушных детей своих. Седины его, ясность взора, свидетельница спокойствия душевного, брада, нисходящая на грудь его, посох, на который опирается,— все возвещает учителя народного, который стоит на краю вечности.

Проповедник мира хочет и праздновать его у себя. Все жители предместия идут в смиренный дом его. Наши именитые граждане: отставной майор Дремов, Перков—ученый, заседатель Карманов, купец Кормилов и прочие соседи наши считают за удовольствие быть угощаемы добродетельным старцем. Не говорю о себе затем, что я разделяю хозяйственные попечения священника.

Обедали на дворе, под тенью древнего дуба. Супруга священника, другая Бавкида*, устала гостеприимный стол простыми брашнами.

На память радости нашей мы посадили молодую леторасль ивы. На корке дерева начертали мы год и день заключения мира. Умидительное явление заключило наш праздник. Священник вывел посреди нас малолетное дитя, которого отец, солдат Измайловского полку, убит на войне. Единогласно все собрание наше взяло сироту в особливое свое покровительство. Священник будет его учить и воспитывать. Мы друг перед другом ревновали обложить себя некоторым числом денег для составления маленького имения несчастному, думая, что благодарение, угоднейшее вышнему существу, есть благодеяние человекам.

№ 5

Пятница, сентября 27, 1790 года

Тот изверг естества, кто ближних ненавидит:
Тот мал, чтоб честным быть, кто только не обидит.
По правде человек, кто всем благоговит:
Дыхания его немолчный есть свидетель,
Спешна добродетель,
Он жив, коль всех живит.

Петров

Приняв участие в общей радости о заключении мира, я предался другому чувствованию, особенному, которое меня только касалось. Я вспомнил Васеньку. Мне известно было из писем, в который день его ожидают. Никольское далеко отсюда, но удовольствие видеть любимых людей в счастье уничтожило в воображении моем расстояние, которое разделяет

предместие мое с Никольским. Я простился с добродетельным священником и бросился в кибитку. Каждое обращение колеса удовлетворяло моей нетерпеливости. Биения сердца моего угадывали приближение Никольского. С каким восхищением въехал я в сию темную аллею, которая ведет к воротам Никольского! Хотя осенний ветер похищал поблекшие листья ее, но сладостное мгновение, в которое граф Благотворов, все osoby, составляющие семейство его, удостоивали меня своих объятий, превышает описание. Его любящее сердце возвышалось еще радостью родителя, которую вкушал он при возвращении сына своего из опасностей невреда и еще достойнейшего нежности его, нежели прежде. «Посмотри,—говорил он,—Васенька с нами! Обойми его». Слезы не позволяли говорить более. Он стыдился их и наслаждался ими.

Добросердечие господина перешло, кажется, во всех его домашних. В самом деле, он не имеет слуг, ежели сим именем означаются несчастные и равные нам люди, которые принуждаются бедностью состояния своего исполнять без награждения все наши своенравия. Он, кажется, окружен толпою внимательных приятелей, которых покровительствует. Не помнят в доме, чтоб он огорчил кого грубым словом, не для того, чтоб не случилось никогда оплошности,—это возможно, но он почитает должность свою исправить преступившего с тихостью и думает, что бесстыдство самого себя, ежели в домашнем своем унижит ругательство достоинство человека. Часто отлагает и самые кроткие увещания свои затем, что видит в стыде преступника величайшее наказание. Тот, который был удостоен его выговора, не променял бы ни за что утешения быть им наставлену. Столько тихость господина делает сердца служителей кроткими и чувствительными!

Все его домашние наполнены истинной учтивости и доброжелательства. Никакой бедный человек не был ими отвержен с презрением. Видя их поступки, иной бы принял их за благородных, оттого что граф признает одно благородство сердечное.

Говоря с слугами своими, он никогда не забывает, что говорит с людьми. Все его приказания умягчены какою-нибудь ласкою: «Потрудись, друг мой; не тяжело ли тебе будет?» или что-нибудь подобное. При исполнении какого-нибудь поручения никогда не преминет хвалить за скорость и исправность.

Они люди и несчастны (вот слова его); следственно, имеют право на сожаление наше. Но они еще нам служат: следственно, мы обязаны им благодарностию. Так, как они, я мог бы родиться слугою, и нечувствительный господин изнурил бы меня трудом и уничижал презрением. Я очень счастлив, что могу обогнать судьбу мне подобную!

В самом деле, никто не разумеет лучше его искусства делать людей счастливыми. Все, что его окружает, испытывает влияние добродушия его и приветливости и заимствует от него навыков приятности и снисхождения—жена, дети, родственники, друзья, знакомые, подчиненные, самые служители, которых он называет своими несчастными

друзьями. По одному разговору узнаешь, что они пользовались обхождением графа Благотворова. В его доме нет ни злословия, ни переговоров, ни подлых проносов. Каким бы образом злобный наушник осмелился приблизиться к графу? Он ненавидит одни пороки и любит исправлять порочных терпением и благоразумием. Его камердинер самый счастливый человек в свете. Он видит каждый день добродетельнейшего человека и каждый день становится добрее и просвещеннее. Он читает в библиотеке графской, и я знаю, что он употребляет половину жалованья своего на содержание бедных.

Последний день, что я был в Никольском, прогуливались мы с графом в поле. Было поздно. Вдруг видим, что хижина, отдаленная от жилья, загорелась. «Поспешим, любезный друг, на помощь, может быть, человек в опасности». Мы первые прибежали на пожар. Крестьяне, сбежавшие из села, видели с восхищением помещика своего, презирающего собственную опасность, спасающего дряхлую и большую женщину. Напрасно уговаривали они его. — «Друзья мои! Я человек, и мне приятно служить человечеству».

№ 6

Пятница, октября 4, 1790 года

..Внешний блеск переходит так, как дым,
Но красота души свой образ сохраняет,
Всегда влечет умы, всегда сердца пленяет.

Багданович

Возвращаясь из Никольского, я имел случай видеть по дороге людей разного состояния и наблюдать их вблизи. Какое движение одушевляет целое общество! Земледельцы, рассеянные по полям, наполняют житницы государства. Обозы с товарами идут медленно к месту назначения своего. Сокровища стекаются в города и питают рукоделья и искусства, между тем как правление, устремляя все части к пользе целого общества, дарует всем покровительство законов.

Сие зрелище занимало меня приятным образом и уменьшало скуку путешествия. Я разговаривал с селянами и часто в разговорах их почерпал наставления в сельском домостроительстве, в наблюдении природы, с которою они знакомее нас. Везде находил я бодрость духа, рассуждение простое и здравое, неутомимое трудолюбие — черты, которые составляют, кажется, народное умоначертание.

В одной волости представилась мне совсем иная картина: поля — пренебреженные, хижины земледельческие — развалившиеся, вросшие в землю, соломою крытые, а на холму, под которым деревня, огромное здание помещика в самом живописном местоположении. Но великолепие

соединялся с худым вкусом: без плану, никакой соразмерности в частях, украшения тяжелые, излишние. От недостатка иждивений и порядка недоконченное строение начинает уже разваливаться. Я полюбопытствовал спросить об имени помещика. Извозчик мой отвечивал, что это князь... Но я лучше не назову его, улажал тени славных людей, от которых он происходит.

Улицы селения были столь худы, что при самом въезде в него ось кибитки моей изломилась; и между тем как я был в величайшем затруднении, звуки рогов и топот копытский известили меня о возвращении помещика с охоты. Я был приглашен им не столько из гостеприимства, как из суетной надменности и желания ослепить проезжего сиянием пышности его.

Чертоги его испещрены повсюду золотом, и ничто не показывало более малости души господина их, как смешное великолепие, которым он окружал себя. Ему казалось, и он не скрывал того, что он совсем огненного существа от его подданных. Несчастье крестьян его не трогало. Он думал, что они рождены для его презрения. Но вместо того собаки были предметом его внимания и разговоров; одна охота могла приводить в движение тяжелую его душу. Впрочем, угождения чреву его, сон и грубые шутки наполняют пустоту его времени. Неспособный к обхождению с честными людьми, он живет с презрительными шутами и смеется с удовольствием тому, что только заслуживает сожаление.

Обхождение его совсем противоположно тому, которым граф Благотворов составляет услаждение своих приятелей: простонародные предразсуждения, разговор черни, никакой вежливости, никаких знаний. Он утверждает, что Владимир был современник Августов и что пушки были при осаде Трои*. Ломоносов ему столь же известен, как Конфуций.

Сколь различным образом препроводил я вечер на ночлеге моем. Я пристал к почтенному земледельцу. Четыре сына, из которых меньшему было за пятнадцать лет, окружали с почтением добродетельного отца. По доброй старости его я не поверил бы, что он дерступил уже за сто лет жизни своей, если бы я осмелился и сам в себе подумать, что ложь может быть на языке его.

Поля, окружающие деревню, его рукою обработаны. Он первый поставил хижину, когда кругом еще было непроходимое болото и дремучий лес. Труды его благословлены изобилием, а добродетель — потомством. Его одно семейство составляет население деревни.

По вечерам все сходится в жилище праотца своего утешать старость его зрением резвой юности и пользоваться мудростию его и опытностию. Женщины занимаются около огня домашними упражнениями в кротком молчании. Старик рассказывает или забавляет правнучат своих. И тогда два младенца, сыновья внуков его, сидели у него на коленях и играли сединами его. Он вкушал радости, редким из людей известной. Алексей, младший внук его, возвратился в тот день из похода. В мундире, две медали на груди, молодой человек чувствовал несравненно удоволь-

ствии быть похваляему делом своим. Старик сам служил в молодости. Он имел счастье видеть и слышать Петра Первого. Молчание царствовало вокруг его, когда он выговаривал с глубоким чувствованием и с слезами имя великого государя. Память его, сохраняя залог свой, повторяла верно все приключения молодости его как бы действия вчерашние. Таким образом, некогда сама история составила из преданий.

Гостеприимный, с важностию, он продолжал заниматься семейством своим. «Не прогневайся на меня,—говорил он мне,—я не видал давно Олшеньки, и мне недолго его видеть. Я желаю от всего моего сердца, чтобы и ты дождался внучат своих, когда они с войны придут. Я было отдал его государю: бог привел опить увидеть».

Меня поразила мысль, что в тот же самый день простой крестьянин внулши в меня почтение, когда я взирал с презрением на знатного, недостойного своей породы. Я почувствовал всю силу личного достоинства. Оно одно принадлежит человеку и возвышает всякое состояние.

№ 7

Пятница, октября 11, 1790 года

Коль счастья с должностию не можно согласить,
Тогда порочен тот, кто хочет счастливым быть.

Княжнин

Сколь истинно, что лишения придают новые приятности наслаждения нашим! После отсутствия моего мне кажется, что дом мой еще украсился, хотя глубокая осень лишила сад мой и рошу летнего их убранства и заключила в комнаты уединенного их обладателя. Я доволен тем, что могу быть сам с собою. Никакое неприятное воспоминание не отравляет моего уединения. Чувствую сердце мое способным к добродетели. Оно бьется с сладостною чувствительностию при едином помышлении о каком-нибудь деле благотворительности и великодушия. Имею благородную надежду, что, будучи поставлен между добродетелию и несчастием, изберу лучше смерть, нежели злодейство. И кто в свете счастливей смертного, который справедливым образом может чтить самого себя?

Какое удовольствие ожидало меня на пороге дома моего! Усердие домашних, которых каждое движение изъявляло радость о моем приезде; одно зрение покоев, столь знакомых, где я так давно счастлив, книги, в которых учусь мыслить и чувствовать; рукописи, слабые опыты, в которых осмеливаюсь перелагать древних или предаюся собственной мечтательности,—все вместе делало минуту возвращения моего восхитительною. И после того есть еще люди, которые ищут благополучия в рассеянных, в многолюдстве, далеко от домашних богов своих! Бегают от веселий к весельям и из земли в другую, между тем как оно везде в своем отечестве и ожидает их дома.

Меня занимает приятным образом домашнее хозяйство. Есть люди, которым нужна моя помощь, совет, предстательство. Какое счастье отереть слезы невинно страждущего, оказать услугу маломощному, облегчить зависимость подчиненных! Но что скажу о дружбе? Чувствовать себя в другом, разумеет друг друга столь искренно, столь скоро при едином слове, при едином взоре! Кто называет дружбу—называет добродетель. Меня ожидал в горнице моей Алетов, возвратившийся из похода. Предчувствования сердца его открыли ему время возвращения моего. Наши сердечные объятия, наше глубокое молчание изъясляли красноречивейшим образом чувствования, для которых нам слов не доставало.

Мы не видали, как прошел вечер в приятных разговорах. Воспоминания, чувствования и мнения прошедшего времени спаблили нас новыми размышлениями. Иногда мы были противного мнения, но спорили без упрямства и уступали друг другу без огорчения. Мы разгорячались только тогда, когда говорили о пользах человечества. Часто вспоминал Алетов какой-нибудь прекрасный стих из Танкреда или Меровы* и возглашал его с восхищением.

Скоро прочие друзья мои провели мое прибытие. Каждый из них спешил предупредить меня посещением. Пришел почтенный священник, добрый Дремов, Перков, Тучин. Было полное собрание перед камином. Мы завтракали, читали ведомости. Дремов рассказывал нам успехи земледелия своего и сколько убрал он хлеба с поля. Перков показывал выписки свои из Гиббона и Гиллиса.

Одного не доставало Карманова. Все отзывались, что не видали его давно. Должность судьи занимает все время человека. И самое отдохновение его нарушается часто помышлением о делах общественных. От одного слова, которое произносит он, зависит покойствие или собственность гражданина. Каким угрызениям подвергнет он жизнь свою, ежели приговором, легко произнесенным, осудит невинного, угнетаемого стечением обстоятельств. Сколько таких случаев, где изыскание истины сделано трудным ябедою и ухищрением! Иногда жалость, права знакомства, убеждения, просьбы соединяются на поколебание его мужества.

Первое, что я предпринял, как скоро оставили меня одного, было посещение моего приятеля. Карманов встретил меня с тем добродушием, которое ему свойственно. Расспросил о моем путешествии. Но, несмотря на покойствие, которое он старался принять на себя, я видел заботу, снедающую его сердце. Она не могла быть долго тайною для моей дружбы. «Ты угадал, любезный друг,—говорил он мне,—я должен быть истолкователем строгости закона. Сильный человек желает спасти виновного. Есть подлые люди, которые угрожают меня всем его гневом, ежели я не спасу его любимца».—«Что ж, мой друг, какое ты возьмешь намерение?»—«Оно взято. Никогда язык мой не произнесет того, что отвергает совесть. Сильный человек должен мне благодарением за то, что я спасу святость законов от препятствий, которые в заблуждении

своем противопологал он исполнению их». — «Но ежели, будучи раздражен твоим упорством?» — «Я утешуся в несчастии одобрением совести. Я летел в его объятия: «Любезный друг мой! Ты возвращаешь мне спокойствие сею благородною твердостью. Злодейство — предпочитать жизнь свою чести; и какое может быть счастье, когда оно в противоречии с добродетелию?»

№ 8

Пятница, октября 18, 1790 года

Любить торги, науки
И счастье дома находить.

Державин

Мне так хорошо сидеть перед моим камином! Огражден от стужи твердыми стенами, одет мягкою волною агнцев, я наслаждаюсь произведениями всех частей света. Сей напиток, услаждающий свою смачною солью, извлечен из плодов дерева, которое росло для меня в Аравии. Сей чай, которого благоухание наполняет воздух, возвращен и собран промыслительною рукою китайца. Еще более: не выходя из горницы моей, узнаю происхождение целой Европы. Мудрость древних, изобретения новейших — все сие сделано вечным и общим человеческому роду посредством искусства столь важного, сколь удивительного, которое умножает в одно мгновение списки сочинения до бесконечности. Я могу слышать настоящие слова добродетельнейших и знаменитейших людей в свете чрез безмерное расстояние и тысячи лет, которые разделяют меня с ними. Гражданин Афин и Рима, я могу вместе с тем удивляться Софоклу и плескать Теренцию. Сие же искусство, распространенное на живопись, собирает в горнице моей превосходные творения художников и восхитительные положения природы. Резец Скородумова или Вакера подражает кисти Ангелики Куфман и Батения. Одеяния разных народов, обряды, происшествия, здания, крепости, сражения привлекают мое внимание поочередно. Время, ускоряемое сими забавами разума, протекает легко и приятно, не оставляя места скуке. Под кровом искусств общежития едва примечаю суровость погоды. Но без ведома моего сколько рук трудится в самое сие мгновение для доставления мне удобностей и приятностей жизни! Земледелец, ремесленник, промышленник, мореплаватель служат обществу трудами и часто опасностью своею.

Я рассуждал таким образом сам с собою. Кормилов в двери: купец, делающий честь своему состоянию сведениями в торговле, неизменяемою честностию и трудолюбием. Он имеет дела почти во всех купеческих городах Европы. Исполненный общественной ревности, он поддерживает имуществом своим предприятия промышленников, торгующих на островах Курильских и Алеутских.

По первых учтивостях с обеих сторон он говорит: «Вот английские книги, которые я для вас выписывал. Особоливо приятно мне видеть между прочими полезную книгу Адама Смита о народном богатстве. Читайте ее, чтобы постигнуть важность торговли. Ею соединяются государства, насаждаются искусства и нравы в грубых народах, природа обращается к благополучию вселенной. Несправедливое предрассуждение унижает купечество перед другими состояниями. Я не могу думать о себе с пренебрежением, когда повеления мои исполняются в Лондоне и когда я получаю донесения от приказчика моего в Упалашке*, когда вижу, что трудолюбием моим и расчетом обращение денег в государстве ускоряется, что я отвергаю новые пути вывозу естественных произведений моего отечества и возбуждаю промыслительность ремесленника. Подлое корыстолюбие не унижает предприятий моих. Моя прибыль соединена беспрепятственно с пользами государства. Учреждаю так все дела мои, что я в состоянии удовлетворить каждому требованию при самом предъявлении. Обманщик, который во зло употребляет доверие, не достоин почтенного имени купца. Одно слово мое на бирже должно стоить самой важнейшей письменной сделки. И как может быть иначе? Бесчестное дело предполагает тесный разум. Купец, какого я понимаю, есть государственный человек, который приуготовлен тщательным воспитанием к исполнению своего звания и которого все действия управляют духом порядка и хозяйства.

Как он говорит о должностях купца, так исполняет их, но умалчивает о своей благотворительности. У него есть правило откладывать десятую часть прибыли: это называет он именами бедных.

Наша беседа прервана разносчиком писем. Кормилов пошел читать их к себе в контору. Я получил следующее письмо из Берново от Иринева, который поехал туда нынешнее лето пользоваться приятностями деревенской жизни.

Берново, октября 8-го

Теперь ты не имеешь никакой отговорки. Ты был в Никольском. Нужно приехать в Берново. Ты знаешь, что здесь живут самые снисходительные люди. Но спроси сам у себя по совести, можно ли удовлетворяться твоими извинениями? Я люблю спокойствие и глубокое уединение моего предместия. Как оставить книги мои, упражнения, привычки? Нужно вооружиться мужеством. Мы так положили в думе своей; этого переменить невозможно. Ты должен с нами провести зиму: ездить на порошу или оставаться дома и рыться в библиотеке. Мы воли не снимаем: музы у нас не в изгнании. В доказательство прилагаем басенку:

Изгнание Аполлона

На Феба некогда прогновался Зевес
И отлучил его с небес

На землю в заточенье.
 Что делать? Сильному противиться нельзя.
 Без спору Аполлон исполнил изречение.
 В простого пастуха себя преобразя,
 В мигновение с небес свое направил странство
 Туда, где с шумом бьет Пенеев быстрый ток*.
 Смиренно платье, посошок
 И несколько цветков — вот все его убранство.
 Адмету, доброму Фессалини* царю,
 Себя кроткий юноша услуги представляет.
 Находит в пастухах невежество и прю,
 Сердце ожесточенье,
 О стаде пераченье,
 Какое общество защитнику искусства!
 Несчастлив Аполлон. Но сладостной свирелью
 Он тщится их привести к невинному веселью.
 Пост, и скоро став владыкой грубых чувств,
 Влагает в пастырей незнаемую душу,
 Учиность, дружество, приятный разговор.
 Желанье нравиться. К нему дриады с гор
 И нимфы ручейков сбегаются на сушу.
 Внезапу вкрут себя большой он видит двор.
 Небесныя боги сами
 Один по одному
 С верхов Олимпа вниз сходилися к нему.
 Соскучив обладать пустыми небесами,
 Зевес изгнанника на небо возвратил.
 Искусства укрощают нравы.
 Кто первый вымыслил для разума забавы,
 Мица только забавлять: он смертных просветил
 И грубых варваров в людей преобразил.

№ 9

Пятница, октября 25, 1790 года

В нас сердце для страстей, в нас разум для спокойства.

Николев

Письмо Иринеева действует. Оно возбудило во мне цепь приятных воспоминаний. Все, что имеет отношение к первым летам нашей жизни, наполняет сердце сладостными движениями. Невинность возраста, любовь приобретаемых знаний и чувствований, первые знакомства, но более всего благодеяния, которыми ободряли, поддерживали юность нашу, оставляют в памяти картину столь восхитительную, что хотел бы, кажется, обратиться назад и взглянуть еще раз, ежели можно, на ее смеющиеся изображения и нежные краски.

Сколь счастлив тот, кому благосклонное небо сохранило древного родителя и кто много раз может праздновать день рождения своего, приникнув на перси добродетельного старца! Скажите вы, наслаждающийся ласками нежной матери, какое чувствование может быть для вас сладостнее того, которое наполняет сердце ваше при ее объятии? Берегите драгоценную ее чувствительность. Сколько страхов и попечений колебали сердце ее в младенчестве вашем и теперь еще колеблют. Нить жизни ее сплетена неразлучно с вашею. Она живет любовью вашею, желанием вам счастья, успехов, добродетелей. Сколь виновен должен быть сын, который может опечалить сие чувствительное сердце и позабыть на одно мгновение священный долг природы и благодарности!

Однако есть неблагоприятные! Сердца жестокие, недостойные имени человечества, озлобляющие руку, которая их питала! Природа производит их во гневе своем. Подобные сим страшным преобразованиям, которые разоряют вселенную землетрясениями, потопами, они являются редко, чтобы ужасать примером своим человеческий род, и оставляют по себе долговременное омерзение.

Что может быть трогательнее положения моего почтенного приятеля Дремова? Проведя жизнь свою в изобилии, видев кругом себя все семейство свое, нисходящее в могилу, будучи один в мире, он устремил всю нежность сердца своего на сирое и незнакомое дитя, оставленное родителями. Он был ему настоящий отец: радовался его успехами, радовался оставить после себя счастливого. Молодой Ефемон (так называлось дитя) подавал надежду наградить с избытком попечения воспитания. Введенный рано в общество, он привлекал всех взоры своею живостию, обращением и сим блеском, который искусства и знания придают разуму благовоспитанного человека. Но обольщенный тщеславием, юноша поверил внушениям безрассудных приятелей. Скоро увещания Дремова показали ему несправедливыми суровостями. Ефемон тем более привязывался к сияющим безделицам и бедственным своенравиям, чем более опорочивал их Дремов. Наконец должно было дойти до строгости, и тогда несчастный Ефемон сделался в первый раз виновным. В наступлении разума своего он разорвал союз благодарности и дерзнул укорять воспитателя своего. Вообразите себе сокрушение Дремова, я не имею для него выражений. «Несчастный! — вопиял он болезненным гласом. — Ты пронзашь сердце мое, обращая против меня собственные мои благодеяния. Столько попечений, столько трудов для произведения неблагоприятного! Твое жестокосердие ужасает меня. Кого пощадишь ты, когда дерзашь приносить хулы на того, кто избавил жизнь твою от пагубы, кто даровал тебе более, нежели жизнь, кто сделал тебе ее приятною? Я не могу более носить твоего присутствия, оставь меня одного терзаться. Ты нанесишь удар смерти сему нежному сердцу, которое только тем наслаждался, чтоб любить тебя. Я не знаю тебя более. Ты мне — ничто. Иди ищи общества таких же неблагоприятных, как ты, и одного прошу: избавь меня навсегда несчастия тебя видеть».

Молодой человек вышел в окаменении ярости. Его видели бегущего по улице, изумленного. Но полчаса спустя жалость и любовь изгнали справедливый гнев из сердца Дремова. Он разослал людей своих вслед Евфемона, побежал сам искать его. Бесплезно. Его в городе уже не было.

Дремов возвращается домой печален и встревожен в душе своей неизвестности и сетованисм. Садится утомленный. Прибегают служители. Все стараются друг перед другом угождениями своими смягчить печаль доброго господина. Все суетятся кругом его, бегают. Кто приготовляет ужин, кто перестилает постелю. Между тем Дремов впадает в глубокое размышление: «Как! Для меня одного столько людей беспокоится, нужно столько иждивения! А мой Евфемон, которого молодости приличнее все сии удовольствия, изгнан моею суровостию, странствует теперь без пристанища. Нет, я не буду пользоваться некою покойной жизни, покуда изгнанник мой не возвратится в сии отеческие объятия. До тех пор хочу себя наказывать за него всеми лишениями, работой, изнурением».

В самом деле он распродал все: палаты, пожитки, украшения и поселился в нашем предместьи. Отказывал себе всякое удовольствие, возделывает своими руками маленькое поле. Два года живет между нами и не может удалить от сердца своего мысли о своем милом и неблагодарном воспитаннике. Самое преступление Евфемона приписывает вине своей: «Я не довольно исправляя сердце его,—говорит он.— Слова мои не имели волшебной прелести, которая делает добродетель легкою и пороки невозможным. Справедливо, чтоб я за то наказывался».

№ 10

Пятница, ноября 1, 1790 года

Прямую цену уму дает благонравие. Без него умный человек—чудовище. Умного человека легко извинить можно, если он какого качества ума и не имеет. Честный человек должен быть совершенно честный человек.

Фонизим

В какой благополучный час предприял я путешествие в Берново! Оно доставило мне неоцененное удовольствие приблизить друг к другу две души благородные и чувствительные, окончить раскаяние питомца и сиротство воспитателя. Я нашел Евфемона, несчастием искушенного и которого теперь ничто не может отвратить от добродетели затем, что он видел собственными глазами неизмеримую бездну, в которую повергал его порок. На краю ее остановился он с трепетом, и слезы

раскаяния очистили душу его и возвратили ей спокойствие невинности. Я спешил овладеть им. Для меня нетрудно было воротиться назад, чтобы повергнуть его в объятия умиленного Дремова. Я наслаждался их счастьем. Судите, каково было мое! Видеть мудрость, прощающую заблуждение; смиряющегося юношу, которого добродетельный старец объятиями своими не допускает упасть к ногам своим; слышать имя свое, благословляемое ими. Нет, я не знаю положения умильнейшего. Счастливы тот, кто может укрепить священные союзы семейства, примирить несогласия ближних и повсюду кругом себя разливать благоволение!

Между спокойными селянами препроводил Евфемон время своего заточения. Здесь изгнал он из мыслей сияющие суеты, которые омрачали его. Здесь научился отличать от самого себя посторонние достоинства, которые случай его доставил: богатство, уважение, внешнее сияние. Два года послушный добродетельному оратаю, которого семейство избрал он себе убежищем, герпеиный, прилежный, благонаправный, он казался ангелом небесным, для утешения старости его ниспосланным. Деревенский воздух, труды земледелия, порядочная жизнь укрепили тело его и придали благообразному стану его некоторый мужественный вид. Но он приобрел еще более превосходства со стороны сердца в школе несчастья и сельской жизни. Не было безрассудных приятелей, которые делали бы ему добродетель смешною и потворствовали бы его слабостям. Окруженный равными, он должен был заслуживать дружбу каждого. Почтение, которое ему оказывали после, было его собственное затем, что состояние его не было никому известно. Одетый, как прочие селяне, он отличался от них одною приятностию нрава, повиновением, любовию труда и добродетели.

Сне то самое отличие было для меня стезею к нападению Евфемона. Счастливым случай привел меня остановиться на первой станции дороги моей в Берново точно в хижине земледельца, у которого Евфемон скрывался. Присутствие его, обращение, самая задумчивость, которая осеняла лицо его, обратил на него все мое внимание. Но какое удивление возбудил во мне разговор его! Первое слово, им произнесенное, открыло мне состояние его. Я боялся быть нескромным и овладеть тайною его поневоле, уважая несчастье в том, кого хотелось бы мне любить как друга. Сердца наши соглашались тайне. Едва знакомые, мы были уже искренни. Я назвал в разговоре место отъезда моего: молодой человек изменился в лице. С видом виновного, который ждет осуждения, он сказал: «Позвольте спросить, не доходило ли нечаянно до слуха вашего почтенного имени Дремова? Небо сохраняет ли еще добродетельную жизнь его?» При сих словах, но более при чувствовании, которое на лице изображалось, я угадал истину, произнес имя Евфемона, и слезы, покотившиеся из глаз его, не оставили места сомнению. Кто изобразит восхищения наши! Их разделили добродушные селяне.

ЕВГЕНИЙ И ЮЛИЯ

Русская истинная повесть

Cessez et retenez ces clameurs lamentables
Faible soulagement aux maux des misérables!
Flechissons sous un Dieu, que veut nous éprouver,
Oui d'un mot peut nous perdre, et d'un mot nous sauver!¹

Госпожа Л*, проведшая все время своей молодости в Москве, удалилась наконец в деревню и жила там почти в совершенном уединении, утешаясь своею воспитанницею, дочерью покойной ее приятельницы, которая в последний час жизни своей, пожав ее руку, сказала: «Будь матерью моею Юлии!»

Подобно тихой прозрачной реке текла мирная жизнь их, струившаяся невинными удовольствиями и чистыми радостями. Праздность и скука, которые угнетают многих деревенских жителей, не смели к ним приблизиться. Они всегда чем-нибудь занимались; сердце и разум их были всегда в действии. Едва мрачные ночные тени исчезать начинали, едва румяный свет зари начинал разливать по воздуху, госпожа Л*, пробуждаясь вместе с природою, нежными ласками прерывала покойный сон Юлии и призывала ее пользоваться приятностями утра. Обнявшись, выходили они из дому, дожидались солнца, сидя на высоком холме, и встречали его с благословением. Насладясь сим великолепным зрелищем природы, возвращались они домой с чувством веселия, ходили по саду, осматривали цветы, любовались их освеженною красотою и питались амброзическими испарениями. Госпожа Л*, посмотрев на пышную розу, часто с улыбкою обращала взор свой на Юлию, находя между ими великое сходство. Но Юлия любила более всех цветов фиалку. «Миленький цветочек! — говаривала она, прикасаясь нежными устами своими к се листочкам. — Миленький цветочек! Напрасно скрываешься в густоте

¹ Удержите и прекратите ваши жалобные вопли,
Слабое утешение в беде всех несчастных!
Покоримся богу, который хочет нас испытать,
Который единым словом может нас погубить или спасти! (франц.)

травы: я везде найду тебя». Говоря сие, клялась внутренне быть всегда смиренною подобно любезной своей фиалочке. После обеда хаживали они смотреть полевые работы поселян, которые в присутствии их трудились с радостью. Вечер приносил с собою новые удовольствия. Смотрели на заходящее солнце, смотрели, как кроткие овечки при звуках пастушеской свирели бегут домой, блеют и прыгают, как утружденные поселяне один за другим возвращаются в деревню, и слушали, как они, быв довольны успехом работ своих, в простых песнях благословляют мать-натуру и участь свою.

Когда же наступала пасмурная осень и густым мраком все творение покрывала или свирепая зима, от севера несущаяся, потрясала мир бурями своими, когда в нежное Юлино сердце вкрадывалась томная меланхолия и тихими вздохами колебала грудь ее, тогда брались за книги, бессмертные творения истинных философов, писавших для пользы рода человеческого, тогда читали и перечитывали письма любезного Евгения, сына госпожи Л*, учившегося в чужих краях. Иногда при чтении сих писем глаза Юлины наполнялись слезами, приятными слезами любви и почтения к благородному и добросердечному юноше. «Ах! Когда он к нам придет?— часто говаривала госпожа Л*.— Как счастлива буду я, когда его увижу, прижму к своему сердцу и тебя вместе с ним, Юлия!»

Так текли месяцы и годы. Настало время, в которое молодому Л* надежало возвратиться в отечество и в объятия своей матери. Всякий день ждали его, и все о нем говорили. Гуляя по цветущим лугам— тогда было еще начало лета,—беспрестанно посматривали на большую дорогу. Когда поднималась вдаль пыль, сердца, ожиданием томимые, трепетать начинали. Прогуливались долее обыкновенного, медлили обедать, медлили ужинать, надеялись, что придет сын, придет братец—с самого детства Юлия привыкла называть Евгения сим именем.

Наконец он приехал. Восклидания, восторг, радостные слезы—кто сие описать может? Несколько дней не могли они от радости опомниться. Юлия—по скромности, свойственной молодой благонравной девушке,—старалась удерживать сильные движения своего сердца, но не всегда могла удержать их. Молодой, пылкий человек, воспитанный с нею вместе и любивший ее, как сестру свою, после такой долговременной разлуки требовал от нее все новых уверений в любви. Юлия должна была обходиться с ним так же вольно, так же просто, как и в детстве. Он непременно хотел, чтобы она всегда говорила ему ты, а не вы; сего последнего слова не мог он терпеть в устах своей Юлии. «Как бы я был несчастлив,—говорил он трогательным голосом,—если бы разлука хотя несколько прохладила твою любовь ко мне, тот нежный жар дружбы, который составлял счастье моего младенчества!.. Нет, сестрица! Ты меня, конечно, так же любишь, как и прежде, собственное мое сердце меня в том уверяет. Хотя, расставшись с вами, перешел я совсем в новый мир, где меня все занимало, все изумляло; однако ж мысль о вас—о матушке

и о тебе — была всегда первою и приятнейшею моею мыслию. Помнишь, как мы прощались, когда Евгений, проливая слезы, сказал тебе прерывающимся голосом: «Юлия! Я буду всегда нежнейшим другом твоим!» Эта сцена никогда не выходила из памяти моей». Юлия отвечала ему одною улыбкою, но сия улыбка сказывала ему все. Госпожа Л* в радости обнимала сына своего и Юлию.

Хозяйки водили Евгения по всем лучшим местам в окрестности своей деревни и показывали ему прекрасные виды, открывающиеся с вершины зеленых холмов. «Под этим высоким влзом,— говорила ему госпожа Л*,— ты часто сиживал с Юлиєю; часто бегивал с нею по этому лугу, в этом леску брали мы землянику, и когда Юлия, не умея искать ягод, грустила, ты тихонько подбегал к ней и пересыпал свои ягоды в ее корзинку. На этой долине вы заставили меня однажды плакать и благодарить бога. Помнишь ли? Нет, ты уже все забыл. Так я расскажу тебе. Мы гуляли по роще. Вышедши на долину, увидели мы лежащего на траве старика, который едва дышал от усталости и зноя. Ты тотчас бросился к нему, схватил с себя шляпу, почерпнул воды, возвратился к старику, напоил его и смыл у него с лица пыль, а Юлия обтерла его платком своим. Боже мой! Как я радовалась вами, видя такие знаки чувствительности вашего сердца!»

Гуляя при свете луны, рассматривали звездное небо и дивились величию божию; внимая шуму водопада, рассуждали о бессмертии. Сколько высоких нежных мыслей сообщали они друг другу, быв оживляемы духом природы! Как возвышалось сердце молодого человека, когда он в лице Юлии рассматривал образ спокойной невинности, освещаемый лучами тихого светила.

Евгений подарил Юлии множество нот, множество французских, италянских, немецких книг. Она прекрасно играла на клавесине и пела. Клопштокова песня «Willkommen, silbner Mond»², к которой музыку сочинил кавалер Глук, ей отменно полюбилась. Никогда не могла она без сердечного размягчения петь последней строфы, в которой Глук так искусно согласил тоны с чувствами великого поэта. Кроткие, нежные души! Вы одни знаете цену сих виртуозов, и вам единственно посвящены их бессмертные сочинения. Одна слеза ваша есть для них величайшая награда.

15 августа минуло Евгению двадцать два года, а Юлии двадцать один. Утренняя песнь птичек разбудила юношу. Он открыл глаза, и все предметы вокруг него улыбнулись. Встав с веселием, спешил он к своей родительнице. Она сидела в задумчивости, облокотившись на окно, подле которого на молодой яблоне лобызались две горлицы; на челе ее видны были знаки небесных чувств. Евгений смотрел на нее с глубоким почтением, не смев прервать ее размышления. Но сердце ее скоро почувствовало приход любезного сына; она встала, обняла его и

² Явись к нам, серебряный месяц (нем.).

благословила день его рождения. Вошла Юлия. Легкое белое платье с розовыми лептами, распущенные волосы, радостная усмешка—все сие возвышало красоту ее. Она летела в объятия своей воспитательницы. Евгений целовал ее руку.

Госпожа Л* села на софу, посадила подле себя детей своих, смотрела на них с умильною любовью и начала говорить: «Бог видит, что я вас равно люблю, сердце мое признает Юлию своею дочерью. Я всегда радовалась взаимною вашею любовью, веселилась, что бог даровал мне таких милых детей. Признаюсь, я боялась, чтобы ты, сын мой, проспешая свой разум, не развратился в сердце, которое у тебя так мягко. Часто на коленях взывала я к богу: спаси моего сына!—Он услышал молитву мою, и ты возвратился к нам с большими знаниями и с неспорченными чувствами. Не правда ли, что и в Юлии нашел ты новые достоинства? Она была предметом всех моих попечений, я старалась ее научить всему тому, что сама знала. Богу открыто было мое намерение, а теперь и вам его открою. Я готовила вас друг для друга. Вы друг друга достойны, друг друга любите: совершите же благополучие мое и соединитесь вечным, священным союзом!» Евгений вдруг встал, бросился к ногам матери своей и мог сказать только: «Матушка... Матушка!» Юлия преклонила голову свою на груди ее и в безмолвии жала ее руку. Евгений одною рукою обнял мать свою и Юлию... Блаженные патриархальные времена, в которые добродетельный юноша без всякой боязливой застенчивости, означающей растленную пороком душу, прижимал к груди своей добродетельную девицу! Одна минута излстела из глубины вашей, вырвалась из объятий вечности, вас поглотившей, возвратилась в мир и осчастливила юного Евгения! «Блаженствуйте, дети мои!—говорила гж. Л*,—блаженствуйте ко счастью матери вашей!»—«Ах! Достойна ли я такого блаженства!»—сказала Юлия.—«Ваши милости...»—«Ты для меня небесный дар, Юлия, дар, которого едва смел я желать во глубине своего сердца».

Если бы Рафаэль увидел сию сцену, то он забыл бы писать картину и в восхищении бросил бы кисть свою.

Все домашние, узнав, что Евгений скоро будет супругом Юлиным, были вне себя от радости, все любили его, все любили ее. Всякий спешил к обеду, всякий хотел от всего сердца молиться о благополучии их. Какое зрелище для ангелов! Евгений и Юлия составляли одно сердце, в пламени молитвы к небесам воспарившее. Госпожа Л* в жару благоговения многократно упала на колени, поднимая глаза к небу и потом обращая их на детей своих. Надлежало думать, что сии сердечные прошения будут иметь счастливые следствия для юной четы, что она будет многолетствовать в непрерывном блаженстве, каким только можно смертному на земле сей наслаждаться. Но судьбы всемогущего суть для нас непостижимая тайна. Пребывая ископи верен законам своей премудрости и благости, он творит—мы изумляемся и благоговеем—в вере и молчании благоговеть должны.

Будучи в беспреданном восторге высочайшей радости, Евгений около вечера почувствовал в себе сильный жар. Он не хотел чувствовать его, хотел превозмогать натуру и таить свое бремя; но внутреннее состояние его скоро открылось пронизательным глазам нежной его родительницы и Юлии. Страх разлился по всем нервам их. Радость, подобно летнему солнцу, скрылась за облако печальных предчувствий: буря и гром таились в недрах оною. Больного положили на постелю — послали в город за доктором — все было в смятении, но все старались еще льстить себя надеждою. Так человек по некоторому природному побуждению — может быть, счастливому — закрывает глаза свои, когда освещает его луч будущих горестей!

Евгений, несмотря на то что пламя болезни стремилось в нем охватить все протoki жизни, просил печальную мать свою и плачущую Юлию успокоиться, уверяя, что ему становится лучше; но огненные руки его и горящее лицо обличали его в неправде. Три дни, в которые пи гж. Л *, ни Юлия почти не отходили от постели и не смыкали глаз, болезнь его то усиливалась, то уменьшалась. Приехал доктор, осмотрел больного и не сказал ничего решительного. Казалось, что в пятый день было ему гораздо легче: утешение блеснуло в душах печальных. Но в шестой день пришел он в беспамятство, и доктор сказал Юлии за тайну, что нельзя ругаться за жизнь его. — Оцепенение и обморок!

Больной в беспамятстве споем часто говорил с жаром: «Я не хочу, не хочу с нею расстаться!.. Только с нею хотел бы я царствовать... Оставьте меня, искусите, и не кажитесь Юлии!»

В девятый день, на самом рассвете, душа Евгениева оставила бренное тело. Иступленной матери казалось, что собор святых духов принял ее в свои объятия и с громогласными песнями провожал по пространствам эфира. После сей небесной мечты она почувствовала в себе бодрость и могла утешать Юлию, которая упала на грудь мертвого и в отчаянии восклицала: «Друг, супруг мой! Постой, постой! Умрем вместе!» Насилу могли вывести ее из комнаты.

Через три дни надлежало погребать тело. Все дворовые люди и крестьяне присутствовали при сем печальном обряде и проливали горькие слезы. Всякий хотел нести гроб и тем оказать последний долг покойному. За гробом шла несчастная мать в длинном черном платье. Немая горсть изображалась на лице ее, но сквозь глубокие черты сей горести сияла твердость и всякая надежда на небесное подкрепление. Блудная, изнемогшая Юлия не могла сама идти, ее вели две женщины под руки в некотором отдалении от гроба. Ни одной капли слез не видно было в глазах ее, и никаких жалоб уста ее не произносили, но в сердце своем чувствовала она всю тягость свершившегося удара.

Унылый глас похоронных песней и вид гроба, опускаемого в землю, не могли поколебать мужества гж. Л *. Но Юлия не могла уже вынести сей последней сцены, громко закричала и едва было без чувств не упала в могилу, но гж. Л * успела схватить и удержать ее.

Так скрылся из мира нашего любезный юноша. Прости, цвет добродетели и невинности! Прах твой покоится в объятиях общей матери нашей, но дух, составлявший истинное существо твое, плавает в бесчисленных радостях вечности, ожидая своей любезной, с которою не мог он здесь соединиться вечным союзом. Прости!

Гж. Л* и Юлия лишились в сей жизни всех удовольствий и живут во всегдашнем меланхолическом уединении. Самая природа, бывшая некогда для них источником радостей, представляется им мрачною и запустевшею. Единственную отраду свою находят они в молитве и в помышлении о будущей жизни. В следующую весну Юлия насадила множество благоуханных цветов на могиле своего возлюбленного; будучи орошаемы ее слезами, они распускаются там скорее, нежели в саду и на лугах. Молодые деревенские девушки и мальчики празднуют подле сей могилы пришествие прекрасного мая, но отцы их и матери никогда без тяжелого вздоха мимо ее не проходят.

Один молодой чувствительный человек, проезжавший через деревню гж. Л* и слышавший сию печальную повесть, посетил гроб Евгениев и на белом камне, лежавшем между цветов на могиле, написал карандашом следующую эпитафию, которая после была вырезана на особливом мраморном камне:

Сей райский цвет не мог в сем мире распуститься—
Увял, иссох, опал—и в рай был пренесен.

БЕДНАЯ ЛИЗА

Может быть, никто из живущих в Москве не знает так хорошо окрестностей города сего, как я, потому что никто чаще моего не бывает в поле, никто более моего не бродит пешком, без плана, без цели—куда глаза глядят—по лугам и рощам, по холмам и равнинам. Всякое лето нахожу новые приятные места или в старых новые красоты.

Но всего приятнее для меня то место, на котором возвышаются мрачные, готические башни Симонова монастыря. Стоя на сей горе, видишь на правой стороне почти всю Москву, сию ужасную громаду домов и церковей, которая представляется глазам в образе величественного амфитеатра; великолепная картина, особливо, когда светит на нее солнце; когда вечерние лучи его пылают на бесчисленных золотых куполах, на бесчисленных крестах, к небу возносящихся! Внизу расстилаются тучные, густозеленые, цветущие луга; а за ними, по желтым пескам, течет светлая река, волнуемая легкими веслами рыбацких лодок или шумящая под рулем грузных стругов, которые плывут от плодотворнейших стран Росийской империи и наделяют алчную Москву хлебом. На другой стороне реки видна дубовая роща, подле которой пасутся многочисленные стада; там молодые пастухи, сидя под тению дерев, поют

простые унылые песни и сокращают тем летние дни, столь для них единообразные. Подалее, в густой зелени древних вязов, блистают златоглавый Данилов монастырь; еще далее, почти на краю горизонта, синятся Воробьевы горы. На левой же стороне видны обширные, хлебом покрытые поля, лесочки, три или четыре деревеньки и вдали — село Коломенское с высоким дворцом своим.

Часто прихожу на сие место и почти всегда встречаю там весну; туда же прихожу и в мрачные дни осени горевать вместе с природою. Страшно воют ветры в стенах опустевшего монастыря*, между гробов, заросших высокою травою; и в темных переходах келий. Там, опершись на развалины гробных камней, внимаю глухому стону времен, бездною минувшего поглощенных,—стону, от которого сердце мое содрогается и трепещет. Иногда вхожу в келии и представляю себе тех, которые в них жили,— печальные картины! Здесь вижу седого старца, преклонившего колена свои перед распятием и молящегося о скором разрешении земных оков своих; ибо все удовольствия исчезли для него в жизни, все чувства его умерли, кроме чувства болезни и слабости. Там юный монах — с бледным лицом, с томным взором — смотрит в поле сквозь решетку окна своего, видит веселых птичек, свободно плавающих в море воздуха,— видит и проливает горькие слезы из глаз своих. Он томится, вянет, сохнет, и унылый звон колокола возвещает мне безвременную смерть его. Иногда на вратах храма рассматриваю изображение чудес, в сем монастыре случившихся,—там рыбы падают с неба для насыщения жителей монастыря, осажденного многочисленными прагами; тут образ богоматери обращает неприятелей в бегство. Все сие обновляет в моей памяти историю нашего отечества — печальную историю тех времен, когда свирепые татары и литовцы огнем и мечом опустошали окрестности российской столицы и когда несчастная Москва, как беззащитная вдовица, от одного бога ожидала помощи в лютых своих бедствиях.

Но всего чаще привлекает меня к стенам Симонова монастыря воспоминание о плачевной судьбе Лизы, бедной Лизы. Ах! Я люблю те предметы, которые трогают мое сердце и заставляют меня проливать слезы нежной скорби!

Саженья в семидесяти от монастырской стены, подле березовой рошчи, среди зеленого луга, стоит пустая хижина без дверей, без окончин, без полу; кровля давно сгнила и обвалилась. В сей хижине лет за тридцать перед сим жила прекрасная, любезная Лиза с старушкою, матерью своею.

Отец Лизин был довольно зажиточный поселянин, потому что он любил работу, пахал хорошо землю и вел всегда трезвую жизнь. Но скоро по смерти его жена и дочь обедняли. Ленивая рука наемника худо обрабатывала поле, и хлеб перестал хорошо родиться. Они принуждены были отдать свою землю в наем, и за весьма небольшие деньги. К тому же бедная вдова, почти беспрестанно проливая слезы о смерти мужа своего,—ибо и крестьянки любить умеют!—день ото дня становилась

слабее и совсем не могла работать. Одна Лиза, которая осталась после отца пятнадцати лет,—одна Лиза, не щадя своей нежной молодости, не щадя редкой красоты своей, трудилась день и ночь—ткала холсты, вязала чулки, весной рвала цветы, а летом брала ягоды—и все сие продавала в Москве. Чувствительная, добрая старушка, видя неутомимость дочери, часто прижимала ее к слабо бьющемуся сердцу своему, называла божескою милостию, кормилицею, оградою старости своей и молила бога, чтобы он наградил ее за все то, что она делает для матери.

«Бог дал мне руки, чтобы работать,—говорила Лиза,—ты кормила меня своею грудью и ходила за мною, когда я была ребенком; теперь пришла моя очередь ходить за тобою. Перестань только крушиться, перестань плакать; слезы наши не оживят батюшки». Но часто нежная Лиза не могла удержать собственных слез своих—ах! она помнила, что у нее был отец и что его не стало: но для успокоения матери старалась тайно печаль сердца своего и казаться покойною и веселою. «На том свете, любезная Лиза,—отвечала горестная старушка,—на том свете перестану я плакать. Там, сказывают, будут все веселы; я, верно, весела буду, когда увижу отца твоего. Только теперь не хочу умереть—что с тобою без меня будет? На кого тебя покинуть? Нет, дай бог прежде пристроить тебя к месту! Может быть, скоро сыщется добрый человек. Тогда, благословя вас, милых детей моих, перекрещусь и спокойно лягу в сырую землю».

Прошло года два после смерти отца Лизина. Луга покрылись цветами, и Лиза пришла в Москву с ландышами. Молодой хорошо одетый человек приятного вида встретился ей на улице. Она показала ему цветы—и покраснелась.

— Ты продаешь их, девушка?—спросил он с улыбкою.

— Продаю,—отвечала она.

— А что тебе надобно?

— Пять копеек.

— Это слишком дешево. Вот тебе рубль.

Лиза удивилась, осмелилась взглянуть на молодого человека—еще более покраснелась и, потупив глаза в землю, сказала ему, что она не возьмет рубля.

— Для чего же?

— Мне не надобно лишнего.

— Я думаю, что прекрасные ландыши, сорванные руками прекрасной девушки, стоят рубля. Когда же ты не берешь его, вот тебе пять копеек. Я хотел бы всегда покупать у тебя цветы, хотел бы, чтоб ты рвала их только для меня.

Лиза отдала цветы, взяла пять копеек, поклонилась и хотела идти; но незнакомец остановил ее за руку:

— Куда же ты пойдешь, девушка?

— Домой.

— А где дом твой?

Лиза сказала, где она живет; сказала и пошла. Молодой человек не хотел удерживать ее, может быть, для того, что мимоходящие начали останавливаться и, смотря на них, коварно усмехались.

Лиза, пришедши домой, рассказала матери, что с нею случилось.

— Ты хорошо сделала, что не взяла рубля. Может быть, это было какой-нибудь дурной человек...

— Ах нет, матушка! Я этого не думаю. У него такое доброе лицо, такой голос.

— Однако ж, Лиза, лучше кормиться трудами своими и ничего не брать даром. Ты еще не знаешь, друг мой, как злые люди могут обидеть бедную девушку! У меня всегда сердце бывает не на своем месте, когда ты ходишь в город; я всегда ставлю свечу перед образом и молю господина бога, чтобы он сохранил тебя от всякой беды и напасти.

У Лизы навернулись на глазах слезы; она поцеловала мать свою.

На другой день нарвала Лиза самых лучших ландышей и опять пошла с ними в город. Глаза ее тихонько чего-то искали. Многие хотели у нее купить цветы; но она отвечала, что они непроданные, и смотрела то в ту, то в другую сторону. Наступил вечер; надлежало возвратиться домой, и цветы были брошены в Москву-реку.

— Никто не владеет вами! — сказала Лиза, чувствуя какую-то грусть в сердце своем.

На другой день ввечеру сидела она под окном, прядла и тихим голосом пела жалобные песни; но вдруг вскочила и закричала: «Ах!» — Молодой незнакомец стоял под окном.

— Что с тобой сделалось? — спросила испугавшаяся мать, которая подле нее сидела.

— Ничего, матушка, — отвечала Лиза робким голосом, — я только его увидела.

— Кого?

— Того господина, который купил у меня цветы.

Старуха выглянула в окно. Молодой человек поклонился ей так учтиво, с таким приятным видом, что она не могла подумать об нем ничего, кроме хорошего.

— Здравствуй, добрая старушка! — сказал он. — Я очень устал, нет ли у тебя свежего молока?

Услужливая Лиза, не дождавись ответа от матери своей, — может быть, для того, что она его знала наперед, — побежала на погреб, — принесла чистую кринку, покрытую чистым деревянным кружком, схватила стакан, вымыла, вытерла его белым полотенцем, налила и подала в окно, но сама смотрела в землю. Незнакомец выпил — и нектар из рук Тебы не мог бы показаться ему вкуснее. Всякий догадается, что он после того благодарил Лизу, и благодарил не столько словами, сколько взорами. Между тем добродушная старушка успела рассказать ему о своем горе и утешении — о смерти мужа и о милых свойствах дочери своей, об ее трудолюбии и нежности и проч., и проч. Он слушал ее со

вниманием: но глаза его были—нужно ли сказывать, где? И Лиза, робкая Лиза поглядывала изредка на молодого человека; но не так скоро молния блеснит и в облаке исчезает, как быстро голубые глаза ее обращались к земле, встречаясь с его взором.

— Мне хотелось бы,—сказал он матери, чтобы дочь твоя никому, кроме меня, не продавала своей работы. Таким образом, ей незачем будет часто ходить в город и ты не принуждена будешь с нею расставаться. Я сам по временам могу заходить к вам.

Тут в глазах Лизиних блеснула радость, которую она тщетно сокрыть хотела; щеки ее пылали, как заря в ясный летний вечер; она смотрела на левый рукав свой и щипала его правой рукою. Старушка с охотою приняла сие предложение, не подозревая в нем никакого дурного намерения, и уверяла незнакомца, что полотно, вытканное Лизой, и чулки, вывязанные Лизой, бывают отменно хороши и носятся долее всяких других. Становилось темно, и молодой человек хотел уже идти.

— Да как же нам называть тебя, добрый, ласковый барин?—спросила старуха.

— Меня зовут Эрастом,—отвечал он.

— Эрастом,—сказала тихонько Лиза.—Эрастом!—она раз пять повторила сие имя, как будто бы стараясь затвердить его.

Эраст простился с ними до свидания и пошел. Лиза провожала его глазами, а мать сидела в задумчивости и, взяв за руку дочь свою, сказала ей:

— Ах, Лиза! Как он хорош и добр! Если бы жених твой был таков! Все Лизино сердце затрепетало.

— Матушка! матушка! как этому стать? Он барин; а между крестьянами...—Лиза не договорила речи своей.

Теперь читатель должен знать, что сей молодой человек, сей Эраст, был довольно богатый-дворянин, с изрядным разумом и добрым сердцем, добрым от природы, но слабым и ветреным. Он вел рассеянную жизнь, думал только о своем удовольствии, искал его в светских забавах, но часто не находил; скучал и жаловался на судьбу свою. Красота Лизы при первой встрече сделала впечатление в его сердце. Он читывал романы, идиллии; имел довольно живое воображение и часто переселялся мысленно в те времена (бывшие или не бывшие), в которые, если верить стихотворцам, все люди беспечно гуляли по лугам, купались в чистых источниках, целовались, как горлицы, отдыхали под розами и миртами и в счастливой праздности все дни свои провождали. Ему казалось, что он нашел в Лизе то, чего сердце его давно искало. «Натура призывает меня в свои объятия, к чистым своим радостям»,—думал он и решился—по крайней мере на время—оставить большой свет.

Обратимся к Лизе. Наступила ночь—мать благословила дочь свою и пожелала ей кроткого сна; но на сей раз желание ее не исполнилось: Лиза спала очень худо. Новый гость души ее, образ Эрастов, столь живо ей представлялся, что она почти всякую минуту просыпалась, просыпа-

лась и вздыхала. Еще до восхождения солнечного Лиза встала, сошла на берег Москвы-реки, села на траве и, подгорюнившись, смотрела на белые туманы, которые волновались в воздухе и, подымаясь вверх, оставляли блестящие капли на зеленом покрове природы. Везде царствовала тишина. Но скоро восходящее светило дня пробудило все творение: роицы, кусточки оживились; птички вспорхнули и запели; цветы подняли свои головки, чтобы напитаться животворными лучами света. Но Лиза все еще сидела подгорюнившись. Ах, Лиза, Лиза! Что с тобою сделалось? До сего времени, прсыпаясь вместе с птичками, ты вместе с ними веселилась утром, и чистая, радостная душа светила в глазах твоих, подобно как солнце светится в каплях росы небесной, но теперь ты задумчива, и общая радость природы чужда твоему сердцу.

Между тем молодой пастух по берегу реки гнал стадо, играя на свирели. Лиза устремила на него взор свой и думала: «Если бы тот, кто занимается теперь мысли мои, рожден был простым крестьянином, пастухом, и если бы он теперь мимо меня гнал стадо свое: ах! я поклонилась бы ему с улыбкою и сказала бы приветливо: здравствуй, любезный пастушок! Куда гонишь ты стадо свое? И здесь растет зеленая трава для овец твоих; и здесь алеют цветы, из которых можно сплести венки для шляпы твоей. Он взглянул бы на меня с видом ласковым—взял бы, может быть, руку мою...» Мечта!

Пастух, играя на свирели, прошел мимо и с пестрым стадом своим скрылся за ближний холм.

Вдруг Лиза услышала шум весел—взглянула на реку и увидела лодку, а в лодке—Эраста. Все жилки в ней забились, и, конечно, не от страха. Она встала, хотела идти, но не могла. Эраст выскочил на берег, подошел к Лизе, и—мечта ее отчасти исполнилась, ибо он взглянул на нее с видом ласковым, взял ее за руку... А Лиза, Лиза стояла с потупленным взором, с огненными щеками, с трепещущим сердцем—не могла отнять у него руки, не могла отворотиться, когда он приблизился к ней с розовыми губами своими... ах! он поцеловал ее, поцеловал с таким жаром, что вся вселенная показалась ей в огне горящего!

— Милая Лиза!—сказал Эраст.—Милая Лиза! Я люблю тебя!—и сии слова отозвались во глубине души ее, как небесная, восхитительная музыка; она едва смела верить ушам своим и... Но я бросаю кисть. Скажу только, что в сию минуту восторга печала Лизина робость—Эраст узнал, что он любим, любим страстно новым, чистым, открытым сердцем.

Они сидели на траве, и так, что между ими оставалось немного места, смотрели друг другу в глаза, говорили друг другу: люби меня! И два часа показались им мигом. Наконец, Лиза вспомнила, что мать ее может об ней беспокоиться. Надлежало расстаться.

— Ах, Эраст,—сказала она,—всегда ли ты будешь любить меня?

— Всегда, милая Лиза, всегда!—отвечал он.

— И ты можешь мне дать в этом клятву?

— Могу, любезная Лиза, могу!

— Нет! Мне не надобно клятвы. Я верю тебе, Эраст, верю, ужели ты обманешь бедную Лизу?

— Нельзя, нельзя, милая Лиза!

— Как я счастлива! И как обрадуется матушка, когда узнает, что ты меня любишь!

— Ах нет, Лиза! Ей не надобно ничего сказывать.

— Для чего же?

— Старые люди бывают подозрительны. Она вообразит себе что-нибудь худое.

— Нельзя статься.

— Однако ж прошу тебя не говорить ей об этом ни слова.

— Хорошо; надобно тебя послушаться, хотя мне не хотелось бы ничего таить от нее.

Они простились, поцеловались в последний раз и обещались всякий день ввечеру видаться или на берегу реки, или в березовой роще, или где-нибудь близ Лизиной хижины, только верно, непременно видаться. Лиза пошла, но глаза ее сто раз обращались на Эраста, который все еще стоял на берегу и смотрел вслед за нею.

Лиза возвратилась в хижину свою совсем не в таком расположении, в каком из нее вышла. На лице и во всех ее движениях обнаруживалась сердечная радость. «Он меня любит!» — думала она и восхищалась сею мыслию.

— Ах, матушка! — сказала Лиза матери своей, которая лишь только проснулась. — Ах, матушка! Какое прекрасное утро! Как все весело в поле! Никогда жаворонки так хорошо не певали; никогда солнце так светло не сияло; никогда цветы так приятно не пахли!

Старушка, подпираясь клюкою, вышла на луг, чтобы насладиться утром, которое Лиза такими прелестными красками описывала. Оно в самом деле показалось ей отменно приятным; любезная дочь весельем своим развеселяла для нее всю природу.

— Ах, Лиза! — говорила она, — как все хорошо у господ бога! Шестой десяток доживаю на свете, а все еще не могу наглядеться на дела господни; не могу наглядеться на чистое небо, похожее на высокий шатер, и на землю, которая всякий год новою травою и новыми цветами покрывается. Надобно, чтобы царь небесный очень любил человека, когда он так хорошо убрал для него здешний свет. Ах, Лиза! Кто бы захотел умереть, если бы иного не было нам горя?.. Видно, так надобно. Может быть, мы забыли бы душу свою, если бы из глаз наших никогда слезы не капали.

А Лиза думала: «Ах! Я скорее забуду душу свою, нежели милого моего друга!»

После сего Эраст и Лиза, боясь не сдержать слова своего, всякий вечер виделись (тогда, как Лизина мать ложилась спать) или на берегу реки, или в березовой роще, но всего чаще под тению столетних дубов (саженях в осьмидесяти от хижины), — дубов, осеняющих глубокий чистый

пруд, в древние времена ископанный. Там часто тихая луна сквозь зеленые ветви посеребрала лучами своими светлые Лизины волосы, которыми играли зефиры и рука милого друга; часто лучи син освещали в глазах нежной Лизы блестящую слезу любви, осушаемую всегда Эрастовым поцелуем. Они обнимались,— но целомудренная, стыдливая Цинтия не скрывалась от них за облако; чисты и неопорочны были их объятия.

— Когда ты,— говорила Лиза Эрасту,— когда ты скажешь мне: я люблю тебя, друг мой! когда прижмешь меня к своему сердцу и взглянешь на меня умильными своими глазами: ах! тогда бывает мне так хорошо, так хорошо, что я себя забываю, забываю все, кроме— Эраста. Чудно! чудно, мой друг, что я, не зная тебя, могла жить спокойно и весело! Теперь мне это непонятно; теперь думаю, что без тебя жизнь не жизнь, а грусть и скука. Без глаз твоих темен светлый месяц; без твоего голоса скучен соловей поющий; без твоего дыхания ветерок мне неприятен.

Эраст восхищался своей пастушкой— так называл Лизу— и, видя, сколь она любит его, казался сам себе любезнее. Все блестящие забавы большого света представлялись ему ничтожными в сравнении с теми удовольствиями, которыми страстная дружба невинной души питала сердце его. С отвращением помышлял он о презрительном сладострастии, которым прежде упивались его чувства. «Я буду жить с Лизою, как брат с сестрою,— думал он,— не, употреблю во зло любви ее и буду всегда счастлив!»

Безрассудный молодой человек! Знаешь ли ты свое сердце? Всегда ли можешь отвечать за свои движения? Всегда ли рассудок есть царь чувств твоих?

Лиза требовала, чтобы Эраст часто посещал мать ее.

— Я люблю ее,— говорила она,— и хочу ей добра; а мне кажется, что видеть тебя есть великое благополучие для всякого.

Старушка в самом деле всегда радовалась, когда его видела. Она любила говорить с ним о покойном муже и рассказывать ему о днях своей молодости: о том, как она в первый раз встретилась с милым своим Иваном, как он полюбил ее и в какой любви, в каком согласии жил с нею.

— Ах! Мы никогда не могли друг на друга наглядеться— до самого того часа, как лютая смерть подкосила ноги его. Он умер на руках моих!

Эраст слушал ее с непритворным удовольствием. Он покупал у нее Лизину работу и хотел всегда платить в десять раз дороже назначаемой ею цены: но старушка никогда не брала лишнего.

Таким образом прошло несколько недель. Однажды ввечеру Эраст долго ждал своей Лизы. Наконец пришла она, но так невесела, что он испугался; глаза ее от слез покраснели.

— Лиза, Лиза! Что с тобою сделалось?

— Ах, Эраст! Я— плакала!

— О чем? Что такое?

— Я должна сказать тебе все. За меня сватается жених, сын богатого крестьянина из соседней деревни; матушка хочет, чтобы я за него вышла.

— И ты соглашаешься?

— Жестокый! Можешь ли об этом спрашивать? Да мне жаль матушки: она плачет и говорит, что я не хочу ее спокойствия; что она будет мучиться при смерти, если не выдаст меня при себе замуж. Ах! Матушка не знает, что у меня есть такой милый друг!

Эраст поцеловал Лизу; говорил, что ее счастье дороже ему всего на свете; что по смерти матери ее он возьмет ее к себе и будет жить с нею неразлучно, в деревне и в дремучих лесах, как в раю.

— Однако ж тебе нельзя быть моим мужем! — сказала Лиза с тихим вздохом.

— Почему же?

— Я крестьянка.

— Ты обижашь меня. Для твоего друга важнее всего душа, чувствительная, невинная душа, — и Лиза будет всегда ближайшая к моему сердцу.

Она бросилась в его объятия — и в сей час надлежало погибнуть непорочности! — Эраст чувствовал необыкновенное волнение в крови своей — никогда Лиза не казалась ему столь прелестною — никогда ласки ее не трогали его так сильно — никогда ее поцелуи не были столь пламенны — она ничего не знала, ничего не подозревала, ничего не боялась — мрак вечера питал желания — ни одной звездочки не сияло на небе — никакой луч не мог осветить заблуждения. Эраст чувствует в себе трепет — Лиза также, не зная, отчего, не зная, что с нею делается... Ах, Лиза, Лиза! Где ангел-хранитель твой? Где твоя невинность?

Заблуждение прошло в одну минуту, Лиза не понимала чувств своих, удивлялась и спрашивала. Эраст молчал — искал слов и не находил их.

— Ах! Я боюсь. — говорила Лиза, — боюсь того, что случилось с нами! Мне казалось, что я умираю; что душа моя... Нет, не умею сказать этого!.. Ты молчишь, Эраст? вздыхаешь?.. боже мой! что такое? — Между тем блеснула молния, и грянул гром. Лиза вся задрожала. — Эраст, Эраст! — сказала она, — мне страшно! Я боюсь, чтобы гром не убил меня, как преступницу!

Грозно шумела буря; дождь лился из черных облаков — казалось, что природы сетовала о потерянной Лизиной невинности. Эраст старался успокоить Лизу и проводил ее до хижины. Слезы катились из глаз ее, когда она прощалась с ним.

— Ах, Эраст! Уверь меня, что мы будем по-прежнему счастливы!

— Будем, Лиза, будем! — отвечал он.

— Дай бог! Мне нельзя не верить словам твоим: ведь я люблю тебя! Только в сердце моем... Но полно! Прости! Завтра, завтра увидимся.

Свидания их продолжались; но как все переменялось! Эраст не мог уже доволен быть одними невинными ласками своей Лизы — одними ее

любви исполненными взорами, одним прикосновением руки, одним поцелуем, одними чистыми объятиями. Он желал больше, больше и, наконец, ничего желать не мог — а кто знает сердце свое, кто размышляла о свойстве нежнейших его удовольствий, тот, конечно, согласится со мною, что исполнение всех желаний есть самое опасное искушение любви. Лиза не была уже для Эраста сим ангелом непорочности, который прежде восплаляла его воображение и восхищала душу. Платоническая любовь уступила место таким чувствам, которыми он не мог гордиться и которые были для него уже не новы. Что принадлежит до Лизы, то она, совершенно ему отдавшись, им только жила и дышала, во всем, как агнец, повиновалась его воле и в удовольствии его полагала свое счастье. Она видела в нем перемену и часто говорила ему:

— Прежде бывал ты веселее; прежде бывали мы покойнее и счастливее; и прежде я не так боялась потерять любовь твою!

Иногда, прощаясь с нею, он говорил ей:

— Завтра, Лиза, не могу с тобою видеться; мне встретилось важное дело, — и всякий раз при сих словах Лиза вздыхала.

Наконец, пять дней сряду она не видела его и была в величайшем беспокойстве; в шестой пришел он с печальным лицом и сказал ей:

— Любезная Лиза! Мне должно на несколько времени с тобою проститься. Ты знаешь, что у нас война; я в службе; полк мой идет в поход.

Лиза побледнела и едва не упала в обморок.

Эраст ласкал ее; говорил, что он всегда будет любить милую Лизу и надеется по возвращении своем уже никогда с нею не расставаться. Долго она молчала; потом залилась горькими слезами, схватила руку его и, взглянув на него со всею нежностью любви, спросила:

— Тебе нельзя остаться?

— Могу, — отвечал он, — но только с величайшим бесславием, с величайшим пятном для моей чести. Все будет презирать меня; все будут гнушаться мною, как трусом, как недостойным сыном отечества.

— Ах! Когда так, — сказала Лиза, — то поезжай, поезжай, куда бог велит! Но тебя могут убить.

— Смерть за отечество не страшна, любезная Лиза.

— Я умру, как скоро тебя не будет на свете.

— Но зачем это думать? Я надеюсь остаться жив, надеюсь возвратиться к тебе, моему другу.

— Дай бог! дай бог! Всякий день, всякий час буду о том молиться. Ах, для чего не умею ни читать, ни писать! Ты бы уведомляла меня обо всем, что с тобою случится, а я писала бы к тебе — о слезах своих!

— Нет, береги себя, Лиза, береги для друга твоего. Я не хочу, чтобы ты без меня плакала.

— Жестокый человек! Ты думаешь лишить меня и этой отрады! Нет! Расстанись с тобою, разве тогда перестану плакать, когда высохнет сердце мое.

— Думай о приятной минуте, в которую опять мы увидимся.

— Буду, буду думать об ней! Ах! Если бы она пришла скорее! Любезный, милый Эраст! Помни, помни свою бедную Лизу, которая любит тебя более, нежели самое себя!

Но я не могу описать всего, что они при сем случае говорили. На другой день надлежало быть последнему свиданию.

Эраст хотел проститься и с Лизиною матерью, которая не могла от слез удержаться, слыша, что ласковый, пригожий барин ее должен ехать на войну. Он принудил ее взять у него несколько денег, сказав:

— Я не хочу, чтобы Лиза в мое отсутствие продавала работу свою, которая, по уговору, принадлежит мне.

Старушка осыпала его благословениями.

— Дай господи,—говорила она,—чтобы ты к нам благополучно возвратился и чтобы я тебя еще раз увидела в здешней жизни! Авось либо моя Лиза к тому времени найдет себе жениха по моим мыслям. Как бы я благодарила бога, если б ты приехал к нашей свадьбе! Когда же у Лизы будут дети, знай, барин, что ты должен крестить их! Ах! Мне бы очень хотелось дожить до этого!

Лиза стояла подле матери и не смела взглянуть на нее. Читатель легко может вообразить себе, что она чувствовала в сию минуту. Но что же чувствовала она тогда, когда Эраст, обняв ее в последний раз, в последний раз прижав к своему сердцу, сказал: прощай, Лиза?.. Какая трогательная картина! Утренняя заря, как алое море, разливалась по восточному небу. Эраст стоял под ветвями высокого дуба, держа в объятиях своих бледную, томную, горестную подругу, которая, прощаясь с ним, прощалась с душою своею. Вся натура пребывала в молчании.

Лиза рыдала—Эраст плакал—оставил ее—она упала—стала на колени, подняла руки к небу и смотрела на Эраста, который удалялся—далее—далее и наконец скрылся—воссияло солнце, и Лиза, оставленная, бедная, лишилась чувств и памяти.

Она пришла в себя—и свет показался ей уныл и печален. Все приятности природы сокрылись для нее вместе с любезным ее сердцу. «Ах!—думала она,—для чего я осталась в этой пугыне? Что удерживает меня лететь вслед за милым Эрастом? Война не страшна для меня; страшно там, где нет моего друга. С ним жить, с ним умереть хочу или смертию своею спасти его драгоценную жизнь. Постой, постой, любезный! Я лечу к тебе!» Уже хотела она бежать за Эрастом; но мысль: у меня есть мать!—остановила ее. Лиза вдохнула и, преклонив голову, тихими шагами пошла к своей хижине. С сего часа дни ее были днями тоски и горести, которую надлежало скрывать от нежной матери; тем более страдало сердце ее! Тогда только облегчалось оно, когда Лиза, усидя в густоту леса, могла свободно проливать слезы и стенать о разлуке с милым. Часто печальная горлица соединяла жалобный голос свой с ее стенанием. Но иногда—хотя весьма редко—златой луч надежды, луч утешения освещал мрак ее скорби. Когда он возвратится ко мне, как я

буду счастлива! как все переменится!—от сей мысли прояснялся взор ее, розы на щеках ее освежались, и Лиза улыбалась, как майское утро после бурной ночи.

Таким образом прошло около двух месяцев.

В один день Лиза должна была идти в Москву, затем чтобы купить розовой воды, которую мать ее лечила глаза свои. На одной из больших улиц встретилась ей великолепная карета, и в сей карете увидела она—Эраста. «Ах!»—закричала Лиза и бросилась к нему; но карета проскакала мимо и повернула на двор. Эраст вышел и хотел уже идти на крыльцо огромного дому, как вдруг почувствовал себя—в Лизиных объятиях. Он поблдедел—потом, не отвечая ни слова на ее восклицания, взяв ее за руку, привел в свой кабинет, запер дверь и сказал ей:

— Лиза! Обстоятельства переменились; я помолвлен жениться; ты должна оставить меня в покое и для собственного своего спокойствия забыть меня. Я любил тебя и теперь люблю, то есть желаю тебе всякого добра. Вот сто рублей—возьми их (он положил ей деньги в карман)—позволь мне поцеловать тебя в последний раз—и поди домой.

Прежде нежели Лиза могла опомниться, он вывел ее из кабинета и сказал слуге:

— Проводи эту девушку со двора.

Сердце мое обливается кровию в сию минуту. Я забываю человека в Эрасте—готов проклинать его, но язык мой не движется, смотрю на небо—и слеза катится по лицу моему. Ах! Для чего пишу не роман, а печальную быль?

Итак, Эраст обманул Лизу, сказав ей, что он едет в армию? Нет, он в самом деле был в армии; но вместо того, чтобы сражаться с неприятелем, играл в карты и проиграл почти все свое имение. Скоро заключили мир, и Эраст возвратился в Москву, отягченный долгами. Ему оставался один способ исправить свои обстоятельства: жениться на пожилой богатой вдове, которая давно была влюблена в него. Он решился на то и переехал жить к ней в дом, посвятив искренний вздох Лизе своей. Но все сие может ли оправдать его?

Лиза очутилась на улице и в таком положении, которого никакого перо описать не может. Он, он выгнал меня? Он любит другую? Я погибла!—вог ее мысли, ее чувства! Жестокий обморок прервал их на время. Одна добрая женщина, которая шла по улице, остановилась над Лизою, лежавшею на земле, и старалась привести ее в память. Несчастная открыла глаза—встала с помощью сей доброй женщины—благодарила ее и пошла, сама не зная куда. «Мне нельзя жить (конечно, думала Лиза), нельзя!.. О, если бы упало на меня небо! Если бы земля поглотила бедную!.. Нет! Небо не падает; земля не колеблется. Горе мне!» Она вышла из города и вдруг увидела себя на берегу глубокого пруда, под тению древних дубов, которые за несколько недель перед тем были безмолвными свидетелями ее восторгов. Сие воспоминание потрясло ее душу; страшнейшее сердечное мучение изобразилось на лице ее. Но

через несколько минут погрузилась она в некоторую задумчивость, потом осмотрелась вокруг себя, увидела дочь своего соседа (пятнадцатилетнюю девушку), идущую по дороге, кинула ее, вынула из кармана десять пимперялов и, подавая ей, сказала:

— Любезная Анота, любезная подружка! Отнеси эти деньги к мамушке — они не краденые, скажи ей, что Лиза против нее виновата; что я тайла от нее любовь свою к одному жестокому человеку — к Э... На что знать его имя? Скажи, что он изменил мне, — попроси, чтобы она меня простила, — бог будет ее помощником, — поцелуй у нее руку так, как я теперь твою целую, — скажи, что бедная Лиза велела поцеловать ее, — скажи, что я... — Тут она бросилась в воду. Анота закричала, заплакала, но не могла спасти ее; побежала в деревню — собралась люди и вытащили Лизу; но она была уже мертвая.

Таким образом скончала жизнь свою прекрасная душою и телом. Когда мы там, в повой жизни, увидимся, я увижу тебя, нежная Лиза!

Ее погребли близ пруда, под мрачным дубом, и поставили деревянный крест на ее могиле. Тут часто сижу в задумчивости, опершись на вместилище Лизина праха; в глазах моих струится пруд; надо мною шумят листья.

Лизина мать услышала о страшной смерти дочери своей, и кровь ее от ужаса охладела — глаза навек закрылись. Хижина опустела. В ней вост ветер, и северные поселяне, слыша по ночам сей шум, говорят: «Там стонет мертвец; там стонет бедная Лиза!»

Эраст был до конца жизни своей несчастлив. Узнав о судьбе Лизиной, он не мог утешиться и почитал себя убийцею. Я познакомился с ним за год до его смерти. Он сам рассказывал мне свою историю и привел меня к Лизиной могиле. Теперь, может быть, они уже помирились!

ЮЛИЯ

Женщины жаждутся на мужчин, мужчины — на женщины. Кто прав? Кто виноват? Кому решить тяжбу? Если мне, то я, ничего не слушая и не разбирая, оправдую... любезнейших, следовательно, — женщин?.. Без сомнения. Но мужчины будут недовольны моим решением, докажут мое пристрастие, объявят, что я подкуплен... милым взором какой-нибудь Лидии, приятно улыбаясь какой-нибудь Арефы, перенесут дело в высший суд, и приговор мой останется — увы! — без всякого действия.

Вот маленькое предисловие к следующей повести. Юлия была украшением нашей столицы; являлась — и мужчины только на нее смотрели, только ею занимались, только ее слушали. А женщины?.. Женщины тихонько говорили между собою и с лукавкою усмешкою взглядывали на Юлию, стараясь заметить на ней какой-нибудь недостаток, который хотя несколько мог бы успокоить их самолюбие. Тщетное старание! Юлия сияла, как солнце, зависть искала в ней черных пятен,

не находила и с болюю в глазах, с отчаянием и сердце должна была... идти прочь! Нужно ли говорить, что все молодые люди обожали Юлию и почитали за славу обожать ее? Один вздыхал, другой плакал, третий играл ролю гонимого меланхолика, и обо всяком, кто задумывался, говорили: «Он влюблен в Юлию!»

Что же Юлия? Любима более всего самое себя, с гордою улыбкою смотрела направо, налево и думала: «Кто мне подобен, кто меня достоин?» Думала, прошу заметить, а не показывала. Удивляясь красоте и разуму ее, всякий удивлялся между прочим и скромности ее взоров, искусство одним милым женщинам свойственное!

Но, мало-помалу приближаясь к концу второго десятилетия жизни своей, Юлия стала чувствовать, что фимиами суетности есть дым, хотя весьма приятный, но все дым, который худо питает душу. Как ни обожай себя, как ни любуйся своими достоинствами — не довольно! Надобно любить что-нибудь, кроме магической буквы Я.— и Юлия начала с большим вниманием рассматривать многочисленную толпу своих искателей. Иногда взор ее отдавал преимущество молодому Легкоуму, который в рассуждении красоты мог бы поспорить с самим Куцидоном и не занимался ничем, кроме Юлии и зеркала; иногда — статному Храброну, лаврами увенчанному воину, которому не доставало голько греческого платья, чтобы быть совершенным Марсом; иногда — забавному Пустослову, который, несмотря на важность судейского звания своего, вертелся на одной ноге, как Вестрис, сочинял всякий день по десяти французских каламбуров и знал наизусть лексикон анекдотов. Все — ненадолго; через минуту Легкоум казался ей безрассудным, самолюбивым мальчишкою, Храброн — видным драгуном и более ничего, Пустослов — скучною обезьяною. Наконец, глаза ее остановились на любезном Арисе, который в самом деле был любезен; весь склонился на его сторону, и сердце с разумом на сей раз согласились.

Кто был Арис? — Молодой человек, воспитанный в чужих краях под смотрением не наемного гофмейстера*, но благоразумного и нежного отца своего. Полезные и приятные знания украшали его душу, добродетельные правила — сердце. Не будучи красавцем, он нравился своею милостивостию и кроткими любезными взорами, одушевленными огнем внутреннего чувства. Он краснелся, как невинная девушка, от всякого нескромного слова, сказанного в его присутствии; говорил немного, но всегда основательно и приятно; не старался блистать ни умом, ни знаниями и слушал каждого, по крайней мере, с терпением. Чувствуют ли в свете цену таких людей? Редко. Там сусальное золото* предпочитается иногда истинному, скромность, подруга достоинств, остается в тени своей, а дерзость заслуживает венки и рукоплескание.

Арис любил Юлию — как не любить того, что прекрасно и любезно? Но бесчисленное множество ее обожателей утрашало его. Он смотрел на нее издали, не вздыхал, не клал руки на сердце с томным видом — одним словом, не думал представлять картинного любовника, но Юлия знала,

что он любил ее страстно. Дивитесь, если угодно, прощанию красавиц! Скорее не приметят они солнца на ясном небе в полдень, нежели действия своих прелестей в глазах нежного мужчины, как бы ни хотел он скрывать чувства свои.

Юлия отличала Ариса от других искателей, ободрила его застенчивость приятным взглядом, приятно улыбкою, начала с ним говорить, ласкать его, показывать уважение к его достоинствам, внимание к его словам, желание видеть его чаще. «Завтра вы будете в концерте, в саду; завтра вы будете к нам обедать, ужинать; вчера было у нас скучно: вы не хотели к нам приехать!» Арис не был из числа тех людей, которые малейшую ласку со стороны женщин принимают за доказательство любви и почитают себя счастливыми Адонисами тогда, когда об них и не думают; однако ж, несмотря на скромность свою, он позволил себе надеяться, а надежда для страсти есть то же, что тихий апрельский дождь для молодой зелени, что ветер для искры. Он готов был броситься на колени и сказать Юлии: «Будь моя навеки!», чего Юлия ожидала, чего она хотела, и, конечно, не для того, чтобы отвечать: нет! — как вдруг на горизонте большого света явился новый феномен, который обратил на себя общее внимание — молодой князь N*, любимец природы и счастья, которые осыпали его всеми блестящими дарами своими, знатный, богатый, прекрасный собою.

Во всех обществах говорили о молодом князе; все хвалили его, а более всех — женщины, особливо те, на которых он взглядынал ласковее, нежели на других, которым он сказал пять или шесть приятных слов. Не могли надивиться уму его даже и тогда, когда он говорил о погоде. Немудрено, разгоряченное воображение есть микроскоп, который все увеличивает в тысячу, в миллион раз, и люди с таким же упрямством могут искать остроумия там, где нет его, с каким иногда не хотят чувствовать, где оно есть.

Между тем носился по городу слух, что князь нечувствителен к женским прелестям, что Амуровы стрелы не берут его сердце, что оно посредством тайной эластической силы сжимается и остается невредимо, что бедный Венерин сын, желая ранить его, опустил колчан свой и все понапрасну. Какой вызов для самолюбия женщин! Какая слава для победительницы! И всякой из них казалось, что Купидон, огорченный, расплаканный, подходит к ней, берет ее за руку и с умиленным взором говорит: «Отмсти, отмсти за меня или я умру с горя!» Умереть Купидону! Боже мой! Какой ужас! Зачем будет жить в свете без прелестного малютки? Надобно за него вступиться, надобно помочь ему, надобно отмстить и, чего бы то ни стоило, тронуть, победить, пленить нового Алькида; и все мастера в нашей столице занялись одною работою: ковaniem цепей по заказу красавиц¹. Страшись, ветренный князь! Но князь улыбался, расхаживал, как гордый лебедь, и в одном публичном

¹ Вот отчего вошли в моду золотые цепи, которые за несколько месяцев перед сим гресели и сияли на всех наших молодых женщинах!

собрании встретился с Юлиею. За ним все красавицы, за нею все молодые люди, какая встреча! Они посмотрели друг на друга: какой взор! Юлия затмевала женщин, князь N*—мужчин. «Он должен любить ее!»—думали первые. «Она должна любить его!»—думали последние. Те и другие потупили глаза в землю, простились с надеждою и разошлись в разные стороны. Один Арис остался подле Юлии. Он начал говорить, ему отвечали сухо, коротко; казалось, что она была в рассеянии.

На другой день Арис присхал к Юлии, но головная боль не позволила ей выйти из своей комнаты. На третий он увидел ее на бале: князь сидел подле нее, князь танцевал с нею, князь занимал ее приятным своим разговором. Арису поклонились учтиво,—учтиво, более ничего. Спросили, здоров ли он, и не дождалась ответа. Арис подошел с другой стороны—его не заметили—и как заметит? Он подошел не оттуда, где сидел князь. Бедный Арис! Догадайся. Ты мог быть счастлив, но минута прошла! Что делать?—Удалиться. Он то и сделал; не нужно сказывать, с каким чувством... Оставим его. Пусть он поплачет в уединении и, если можно, забудет милую ветреницу.

Между тем Юлия восхищалась князем. Молча, казался он ей Антином²; когда говорил—Цицероном; когда говорил: «Юлия, я обожаю тебя!»—полубогом. Он не обманывал и в самом деле пленился ее красотою так, что не хотел быть ни в одном концерте, где не пела Юлия, ни на одном бале, где не танцевала Юлия, ни на одном гульбище, где не гуляла Юлия. Он любил прежде играть в карты—для Юлии оставил их. Любил часа по три в день проводить с английскими лошадьми своими—для Юлии забыл их. Любил спать до двух часов за полдень—для Юлии переменял образ жизни и редко не просыпался в полдень, чтобы на крыльях Зефира или по крайней мере в великолепной английской карете лететь к Юлии. Такая любовь не шутка. Вы скажете, что в рыцарские времена любили иначе. Государи мои! Всякий век имеет свои обычаи: мы живем в осьмом на десятый! Красавицы наши снисходительны и жалостливы, ни которая из них, сидя в ложе, не бросит перчатки на гриву разъяренного льва и не пошлет за нею своего рыцаря³ для того, что рыцарь не пойдет за нею!

Юлия думала, что князь не мог жить без нее; только ей казалось чудно, что он, говоря беспрестанно о сердце, никогда не упоминал о руке. Многие из приятельниц тихонько поздравляли ее с таким завидным женихом, но жених молчал. Наконец, она дала ему почувствовать свое удивление. Нежный князь оскорбился.

— Юлия сомневается в силе прелестей своих!—сказал он с жаром.—

² Славный красавец, которому император Адриан посвятил храм.

³ Это случилось во Франции, при короле Франциске I, в то время, когда звериные сражения были любимой забавою двора. Одна молодая дама, сидя в амфитре, нарочно уронила перчатку свою на то место, где сражались львы, и сказала рыцарю Делоржу: «Подними ее или ты меня не любишь!»

Юлия хочет променять огненного Амура на холодного Гименея! Милую улыбку первого — на вечную угрюмость последнего! Гирианду розовую — на цепь железную! О Юлия! Любовь не терпит принуждения, одно слово — и все блаженство исчезнет! Мог ли бы Петрарка в узлах брака любить свою Амуру так пламенно? Ах нет! Воображение его не пронзело бы ни одного из тех нежных сонетов, которыми я восхищаюсь. Так любить должно, и такой любви достойна Юлия!

Между тем Юлия победила. Князь увидел, что его философия ей не нравится: надобно было переменить язык, чтобы успокоить красавицу.

— По крайней мере, — сказал он, — продлим, сколько можно, время любви нашей, оно уже никогда, никогда не возвратится, прелестная Юлия! — тут он вздохнул.

Юлия не могла с ним согласиться, она требовала верного слова. Князь дал его и в награждение за то хотел, чтобы она позволила ему некоторые вольности в обхождении. Всякий день пригласил он себе новое право... Два жаркие сердца бились так сильно, так близко друг ко другу... Но скромность есть нужная добродетель и для самого сказочника. К тому же, не знаю отчего, собственное сердце мое бьется так сильно, когда я воображаю себе подобные сцены... Может быть, какие-нибудь темные воспоминания... Оставим.

Оставим все подробности и скажем просто, что бывали минуты, в которые одна богиня невинности могла спасти Юлину невинность. Она почувствовала опасность, и князь принужден был назначить день для торжественной помолвки. В ожидании сего дня он истощил все возможные хитрости, чтобы победить ее твердость, но тщетно! В самое то время, когда ей по всем человеческим вероятностям надлежало забыться, она строгим взором отсылала его от себя, по крайней мере шага на два, так, что он лился своей надежды быть счастливо-дерзким без имени супруга.

Однажды поутру, когда Юлия открыла глаза и с первой мыслью представила себе любезного своего князя, вручила ей письмецо следующего содержания:

«Вы любезны, но что любезнее вольности? Мне горестно расстаться с Вами, но мысль о вечной обязанности еще горестнее. Сердце не знает законов и перестает любить, когда захочет. Что ж будет супружество? — Несносное бремя. Вы не хотели любить по-моему, любить только для удовольствия любви, любить, пока любишь, итак, простите! Называйте меня вероломным, если угодно, но давно говорят в свете, что клятва любовников пишется на песке и что самый легкий ветерок завевает ее. Впрочем, с такими милыми свойствами, с такими прелестями вам нетрудно найти достойного супруга... может быть, верного, постоянного! Родится Феникс, но я в сем смысле не Феникс* и потому оставляю Вас в покое. Меня уже нет в Москве. Простите! Князь N*».

Юлия затрепетала и, следуя обыкновению новых Дидон*, упала в обморок. Через несколько минут опомнилась для того, чтобы опять

забыться. Наконец, собрав силы свои, она нашла для себя некоторое облегчение в том, чтобы проклинать мужчин. «Они все изверги, злодеи, вероломные; тигрица воспитала их молоком своим; под языком посят они змеинный яд, а в сердце их шипит ехидна*. Слезы их — слезы крокодиловы; поверь им — и гибель неизбежна!» Такими нежными красками писала портрет наша отчаянная Юлия. Извинительно, но справедливо ли? В одну ли форму отлиты сердца мужчин? Могут ли все отвечать за одного?.. Но человек в страсти худой логик: один кажется ему всеми и все — одним.

Не позже как на другой день узнали в городе о разрыве наших любовников. «Князь N* оставил Юлию!» — говорили мужчины, пожимая плечами. «Князь N* оставил Юлию», — говорили женщины с коварною улыбочкою, и всякая из них думала: «Меня бы он не оставил!» Как показаться в свете? Юлия возненавидела его и несколько времени не выходила из своего кабинета.

Неделя через две после сей истории приехал к ней Арис. Она подумала... и велела его пустить. Бедный Арис! Он должен был страдать вместе со всеми мужчинами от стрел Юлиина красноречия и слушать с видом кающегося преступника, когда бранили непостоянство и вероломных! Другой на его месте взглянул бы на Юлию такими глазами, что она, конечно бы, покраснелась и замолчала, но добрый Арис любил, не мог преодолеть страсти своей и приехал не для того, чтобы мстить огорченной красавице. Юлия довольна была его посещением; желала видеть его в другой, в третий раз — и через несколько времени сердце ее перестало кипеть гневом на мужчин. Арисова нежность, кротость, сердечные достоинства, которых в светском шуме не могла она так сильно и живо чувствовать, тронули ее душу и искренних разговорах тихого кабинета.

— Для чего, — сказала Юлия сквозь слезы, — для чего другие мужчины не подобны вам? Тогда нежнейшая склонность нашего сердца не была бы для нас источником тоски и горести...

Арис воспользовался сею минутою, и Юлия не могла отказаться от руки его, с тем условием, чтобы оставить навсегда коварный свет, как она говорила, стараясь загладить в мыслях своих последние черты легкомысленного князя N*.

— Коварный свет, недостойный быть свидетелем нашего благополучия, любезный Арис! Презрим суетность его — он мне несносен — и удалимся в деревню!

— Все дни мои, — отвечал он с радостными слезами, — будут посвящены твоему удовольствию, несравненная Юлия! Я рад жить с тобою на краю мира; никогда, никогда не оскорблю тебя ни взором, ни упреком, ни жалобою. Воля твоя — мой закон! Ты делаешь меня счастливым: угадывать твои желания, исполнять их, зависеть от тебя совершенно есть священный долг моей благодарности!

Арис не обманет Юлии; а Юлия — увидим!

Первые шесть или семь недель протекли для них в деревне, как шесть или семь веселых дней. Добродетельный супруг восхищался прелестною супругою всякий час, всякую минуту. Юлия была чувствительна к его нежности, и сердца их сливались в тихих восторгах. Казалось, что сама природа брала участие в их радостях: она цвела тогда во всем пространстве садов своих. Везде благоухали ясины и ландыши; везде пели соловьи и малиновки; везде курился фимиам любви, и все питало удовольствиями любовь наших супругов.

«Боже мой! — говорила Юлия. — Как могут люди жить в городе! Как могут они выезжать из деревни! Там шум и беспокойство; здесь чистое, невинное удовольствие. Там вечное принуждение; здесь покой и свобода. Ах, друг мой!.. (с умильным взором брала она Арисову руку и прижимала ее к своей груди)... ах, друг мой! Только в одной сельской тишине, в одних объятиях природы чувствительная душа может насладиться всею полнотою любви и нежности!»

В конце лета Юлия все еще хвалила сельскую жизнь, хотя и не с таким уже красноречием, не с таким жаром. Но за красным летом следует мрачная осень. Цветы и в поле и в саду увяли; зелень поблекла; листья слетели с деревьев; птицы... бог знает, куда девались — и все стало так печально, так уныло, что Юлия потеряла всю охоту хвалить деревенское уединение. Арис заметил, что она, смотря в окно, часто закрывала белым платком алый свой ротик и что белый платок, как будто бы от веяния Зефира, поднимался на нем и опускался, то есть, сказать просто, Юлия зевала! Арис вздохнул, взял том «Новой Элоизы»*, развернул и прочитал несколько страниц... о блаженстве взаимной любви. Юлия перестала зевать, слушала и наконец сказала:

— Прекрасно! Только знаешь ли, мой друг? Мне кажется, что Руссо писал более по воображению, нежели по сердцу. Хорошо, если бы так было, но так ли бывает в самом деле? Удовольствие счастливой любви есть, конечно, первое в жизни, но может ли оно быть всегда равно живо, всегда наполнять душу? Может ли заменить все другие удовольствия? Может ли населить для нас пустыню? Ах! Сердце человеческое ненасытимо, оно хочет беспрестанно чего-нибудь нового, новых идей, новых впечатлений, которые, подобно утренней росе, освежают внутренние чувства его и дают им новую силу. Например, я думаю, что самая пылкая любовь может простыть в совершенном уединении; она имеет нужду в сравнениях, чтобы тем более чувствовать цену предмета своего.

Арис вздохнул и сказал:

— Я не так думал, но... мы завтра едем в город!

Юлия снова явилась в свете, и с новым блеском красоты своей, с богатством, с пышностью: довольно — свег принял ее с рукоплесканием, и розы со всех сторон посыпались на Юлию. Веселие за веселием, удовольствие за удовольствием — так, как и прежде — с тою разницею, что замужняя женщина имеет еще более удобства наслаждаться всеми приятностями светской жизни.

Героиня наша хотела жить открытым домом, и по крайней мере четыре раза в неделю ужинало у нее 30 или 40 человек. Арис молчал, делал все, что ей угодно было. Юлия чувствовала сию нежность и, оставаясь с ним насдине, награждала его за то восхитительными своими ласками. «Не правда ли, друг мой,—говорила она с прелестною улыбкою,—что городские забавы и разнообразие предметов еще более оживляют любовь нашу? Сердце мое, утомленное светским шумом, наслаждается покоем в твоих объятиях». Арис вздыхал так тихо, что Юлия не слышала того.

Но однажды ввечеру Арис изменился в лице: между гостями, приехавшими к Юлии, увидел он князя N*! Сердце его затрепетало, однако ж через несколько минут сие невольное движение укротилось. Разум сказал сердцу: молчи!—и Арис подошел к князю с учтивым приветствием. Только во весь тот вечер боялся он пристально смотреть на Юлию, чтобы не привести ее в замешательство, чтобы она не перетолковала его взоров в худую сторону и не нашла в них какогонибудь подозрения, беспокойства, неудовольствия.

После ужина, когда все разъехались, Юлия села на софу, взяла Ариста за руку и сказала ему с улыбкою:

— Ты видел, мой друг, с какою холодною учтивостию обходилась я с князем N*. Не принять его, отказать ему от дома было бы с моей стороны неблагоприятно. Пусть видит этот легкомысленный Нарцисс, что он мне ничего, что прошедшее заблуждение не оставило в душе моей никаких следов, что я не имею причины бояться сердца своего и что он не может привести меня в краску.

Арис... Арис поцеловал ее руку и отдал справедливость благоразумию супруги своей!

Через два дни опять ужин, и князь опять явился вместе с прочими гостями: был весел, забавен, говорил с хозяйкою более, нежели с кем-нибудь; о хозяине не думал, взглядывал на него почти с презрением и вел себя как должно модному человеку. Коротко сказать, он не пропуская случая быть у Юлии. «Как весело в ее доме!»—говорили мужчины и женщины. «Хозяйка любезна, как ангел»,—говорили первые. «Милый князь разливает вокруг себя удовольствием»,—говорили последние.

Между тем начались толки. Одни с усмешкою смотрели на Ариса, другие пожимали плечами. «Чему удивиться?—шептали друг другу на ухо,—старая дружба! Теперь же и менее опасности. Муж тих, скромн — и все с концом!»

Арис не переменался в рассуждении Юлии, но скоро увидел в ней перемену. Иногда она задумывалась, бледнела, хотела быть одна; через час лицо ее покрывалось нежнейшим румянцем, она бросалась в объятия супруга своего, целовала его с жаром, хотела что-то сказать и не говорила ни слова. Скромный Арис также молчал; иногда слезы катились из глаз его, но кто был их свидетелем?—тихое уединение, самая густая

аллея в саду его, которая, после Юлии, сделалась ему всего милее. Арису казалось, что холодные тени ее с чувством прикасались к его сердцу и согревались его теплотою.

В один день, перед вечером он приехал домой и спешил в любимую свою аллею; входит и видит князя N*, сидющего на дерновом канаве подле Юлии, которая, опустив голову на плечо к нему, смотрела в землю. Он целовал ее руку и говорил: «Ты меня любишь, и я должен умереть в твоих объятиях! Юлия! Тебе ли иметь предрассуждения? Следуй влечению своего сердца, следуй...» Но Юлия услышала шорох, взглянула — и затрепегала... Пусть всякий вообразит себя на месте бедного Ариса!.. Что делать? Заколоть их одним ножом, утолить кровию жажду справедливого мщения, а потом ... умертвить и самого себя?.. Нет! Арис сражался с собою не долгие минуты; она была ужасна, но он усмирил кипящее сердце и скрылся! Человек, который видел его выходящего из аллеи, рассказывал мне, что лицо его было бледно, как полотно, что ноги его приметно дрожали, что из сердца его, как будто бы насильно, вырывался какой-то глухой стон, что он взглянул на небо и, вздохнув несколько раз сряду, вдруг пошел скорыми шагами. В тот же вечер принесли к Юлии следующее письмо:

«Я не нарушил данного слова, не оскорбил тебя ни жалобой, ни укориною, надеялся на силу нежности и любви моей, обманулся и должен терпеть! После того что я видел и слышал... нам нельзя жить вместе. Не хочу обременять тебя моим присутствием. Права супружества несносны, когда любовь не освящает их. Юлия, прости!.. Вы свободны! Забудьте, что у Вас был супруг, долго или никогда об нем не услышите! Океан разделит нас. Не будет у меня ни отечества, ни друзей; будет одно чувство для горести и меланхолии! В приложенном пакете найдете бумагу, по которой можете располагать моим именем; найдете еще портрет бывшей супруги моей... Нет, я возьму его с собою: буду говорить с ним как с тенью умершего друга, как с единственным и последним милым предметом умирающего сердца!»

Надобно знать, что Юлия; увидев Ариса в аллее, несколько минут сидела безмолвно, потом бросилась вслед за ним, назвала его два раза именем... голос ее прервался, ноги подогнулись — она должна была опереться на плечо князю и едва могла дойти до дому. Там, не видя Ариса, упала на софу, закрыла лицо руками и не говорила ни слова. Тщетно приступал к ней услужливый князь; тщетно старался успокоить ее — она молчала.

Дрожащею рукою схватила Юлия письмо Арисово — прочитала его — и слезы в три ручья покатались из глаз ее. Князь хотел взять письмо...

— Постой! — сказала она твердым голосом. — Ты не можешь его читать: оно писано добродетельным!.. Туман рассеялся — и я презираю себя!.. О женщины! Вы жалуетесь на коварство мужчин: ваше легкомыслие, ваше непостоянство служит им оправданием. Вы не чувствуете цены нежного, добродетельного сердца; хотите нравиться всему свету, гоня-

етесь за блестящими победами и бываете жертвою суетности своей⁴. Государь мой! Вы видите меня в последний раз. Обманывайте других женщин, смейтесь над слабыми, только прошу забыть, оставить меня навсегда. Я не обвиняю никого, кроме собственной безрассудности моей. В свете не будет вам недостатка в удовольствиях, но я глушаюсь вами и всеми, подобными вам. Клянусь самой себе, что отныне дерзкий порок не осмелится взглянуть мне прямо в глаза. Дивитесь скорой перемене, верьте ей или не верьте, для меня все одно,—сказала и, как молния, исчезла.

Князь стоял, подобно неподвижной статуе, наконец опомнился, засмеялся—искренно или притворно, оставим без решения—сел в карету и поехал в спектакль.

Юлия, узнав, что Арис уехал из Москвы неизвестно куда и только с одним камердинером, сама немедленно оставила город и удалилась в деревню. «Здесь протекут дни мои в безмолвном уединении,—сказала она со вздохом.—Сельский домик! Я могла, но не умела быть счастлива в тихих стенах твоих; я вышла из тебя с достойнейшим, нежнейшим супругом; возвращаюсь одна, бедною вдовою, но с сердцем, любящим добродетель. Она будет моим утешением, моим товарищем, мою подругою, я буду рассматривать, буду целовать образ ее в чертах незабвенного Ариса!» В сию минуту слезы ее капали на портрет его, который она в руках держала.

Надобно отдать справедливость вам, любезные женщины: когда вы на что-нибудь решитесь, не в минуту легкомыслия, не словом, но душою и с глубоким чувством истины, твердость ваша бывает тогда удивительна, и славнейшие герои постоянства, которых до небес возносит история, должны разделить с вами лавры свои.

Юлия, которая на тоненький волосок была от того, чтобы сделаться новою Аспазиею, новою Лаисою,—Юлия сделалась вдруг ангелом непорочности. Все суетные желанья замерли в ее сердце; она посвятила жизнь свою памяти любезного супруга, воображала его стоящего перед собою, изливала перед ним свои чувства, говорила: «Ты меня оставил, ты имел право оставить меня, не смею желать твоего возвращения, желаю только спокойствия любезной душе твоей; желаю, чтобы ты забыл супругу свою, если образ ее мучит твое сердце. Будь счастлив, где бы ты ни был! Со мною милая тень твоя, со мною воспоминание любви твоей: я не умру с горести! Хочу жить, чтобы ты имел в свете нежного друга, может быть, посредством тайной симпатии сердце твое, не взирал на разлуку, на пространство, которое нас разделяет, согрется, оживится моею любовию; может быть, погруженному в тихий сон, веющий зефир скажет тебе: Арис не один в мире—откроешь милые глаза свои и

⁴ - У места ли такая выходка?—скажет критик.—Может ли женщина в таком случае проповедовать мораль?—Может, отвечаю ему, может, может! А доказательство объявлю ниже».

вдалеке, в тумане увидишь горестную Юлию, которая следует за тобою своим духом, своим сердцем; может быть... Ах! Я против воли своей желаю... Нет, нет! Хочу обожать его без всякой надежды!»

В душе ее царствовало тихое уныние, более приятное, нежели мучительное. Добродетельные чувства не совместны с тоскою; самые горькие слезы раскаяния имеют в себе нечто сладкое. Прекрасна и заря добродетели, а что иное есть раскаяние?

Скоро Юлия узнала, что она беременна — повое, сильное чувство, которое потрясло ее!.. Радостное или печальное?.. Юлия несколько времени сама не могла разобрать идей своих. «Я буду матерью?.. Но кто возьмет на руки младенца с нежною улыбкою? Кто обольет его слезами любви и радости? Кому скажу я: вот сын наш! вот дочь наша! Несчастный младенец! Ты родишься сиротою, и образ горести будет первым предметом открывающихся глаз твоих!.. Но... так угодно провидению. Новая обязанность жить и терпеть без роптания! Родись, милый младенец! Сердце мое будет тебе отцом и матерью. Я утешусь для тебя и тобою: не оскорблю нежной души твоей ни горестными вздохами, ни мрачным видом! Одна любовь ожидает тебя в моих объятиях, и час твоего рождения обновит жизнь мою!»

Юлия хотела приготовить себя к священному званию матери. «Эмиль» — книга единственная в своем роде* — не выходила из рук ее. «Я не умела быть добродетельною супругою, — говорила она со вздохом, — по крайней мере буду хорошею матерью и небрежение одного долгу заглажу верным исполнением другого!»

Она считала дни и минуты, пристрастилась заранее к милому младенцу, еще невидимому; заранее целовала его в мыслях своих, называла всеми нежными именами, и всякое его движение было для нее движением радости.

Он родился — сын — прекраснейший младенец, соединенный образ отца и матери. Юлия не чувствовала болезни, не чувствовала слабости: им, им только занималась, им дышала; плакала — улыбалась, чтобы заставить его улыбнуться, и сердце ее, вкусив сладкие чувства матери, открыло в себе новый источник радостей, чистейших, святых, неописанных радостей. Не уставали глаза ее, смотря на младенца, не уставал язык ее, называя его тысячу раз любезным, милым сыном! Огнем любви своей согревала она юную душу его, наблюдала ее начальные действия, от первой слезы до первой его усмешки, и вливала в него нежными взорами собственную свою чувствительность. Нужно ли сказывать, что она сама была кормилицею своего сына?

Юлии казалось, что все предметы вокруг нее переменились и сделались ласковее. Прежде она не выходила почти из комнаты своей: открытое небо, пространство, необозримые равнины питали в ее душе горестную идею одиночества. «Что я в неизмеримой области творения?» — спрашивала она у самой себя и погружалась в задумчивость. Шум реки и леса увеличивал ее меланхолию, веселье летающих птичек было

чуждо ее сердцу. Теперь Юлия спешит показывать маленького любимца своего всей натуре. Ей кажется, что солнце светит на него светлее, что каждое дерево наклоняется обнять его, что ручеек ласкает его своим журчаньем, что пчелки и бабочки для его забавы порхают и резвятся. «Я мать»,— думает она и смелыми шагами идет по лугу.

Удовольствия, которых Юлия искала некогда в свете, казались ей теперь ничтожным, обманчивым призраком в сравнении с существонным, питательным наслаждением матери. Ах! Она была бы совершенно счастлива, если бы мысль о горестном Аристе не тревожила ее сердце. «Я проливаю радостные слезы,— говорила она самой себе,— я наслаждаюсь в то время, когда он в горестном уединении скитается по свету, упрекая себя любовью к недостойной супруге! Какой ангел известил его о перемене моего сердца? Юлия могла бы... так в присутствии самого неба осмелюсь сказать, что Юлия могла бы теперь заглядеть перед ним вину свою!.. Но он не знает, он изображает меня в объятиях порока, воображает меня мертвою для всех чувств добродетели!.. Пусть он возвратится хотя на минуту; хотя для того, чтобы видеть нашего сына! Пусть он, сказав «ты недостойна им веселиться», возьмет его у меня! Я рада лишиться всех утешений, чтобы утешить оскорбленного супруга моего... рада быть несчастлива для его благополучия! А он будет счастлив с ангелом красоты и невинности, забудет все печали!»

Между тем маленький Эраст⁵ расцвел, как розан; он мог уже бегать по лугу; мог говорить Юлии: «Люблю тебя, маменька!», мог ласкать ее с чувством и нежными ручонками отирать приятные слезы, которые часто лились из глаз ее.

Однажды весною— время, которое всегда напоминало Юлии первую весну замужества ее.— она пошла гулять с маленьким своим Эрастом, села на цветущем пригорке близ дороги и— между тем как младенец ревелся и прыгал вокруг ее— сняла с груди своей портрет Аристов и рассматривала его с умилением. «Таков ли он теперь?— думала Юлия.— Ах нет! Черты его, конечно, переменялись. Когда живописец изображал их, он сидел против меня, смотрел на меня с любовью, был весел и счастлив! А теперь... теперь...» Взор Юлии помрачился. Она задумалась, и легкий сон закрыл на минуту глаза ее. Беспокойная душа видит и мечты беспокойные⁶: Юлии представилось во сне необозримое море, которое шумело и пенилось под черными тучами; излучистые молнии сверкали во мраке, страшные громы гремели, и ужас носился всюду на крыльях бури. Вдруг показывается корабль, игралище, жертва волн разъяренных,— исчезает в пропастях кипящей влаги и снова является, чтобы навсегда погрузиться в бездне... Злополучные мореплаватели!.. Юлия, сидя на кремнистой скале, видит гибель их и страдает в

⁵ Ныл сына ее.

⁶ Ужасный сон выплет перед счастливым событием, говорит испанская пословица. Я воспользовался ею для окончания моей повести.

чувствительном сердце своем. Сильный вал несется к берегу, выбрасывает на песок человека и удаляется. Юлия спешит к несчастному, хочет оживить его и увидает в нем Ариса, холодного, мертвого. Она трепещет, пробуждается... и видит Ариса наяву; он — в ее объятиях, и навеки!

Я знаю слабость пера своего и для того не скажу более ни слова о сей редкой сцене, ни слова о первых восклицаниях, непосредственно вылетевших из глубины сердца; ни слова о красноречивом безмолвии первых минут, ни слова о слезах радости и блаженства!.. Чтобы живее представить себе картину, читатель вообразит еще маленького Эраста, которого Юлия взяла на руки и подала Арису. Младенец, наученный природою, ласкал отца своего и смотрел с улыбкою на Юлию.

Уже три года живут они в деревне, живут как нежнейшие любовники, и свет для них не существует. Арис не переменился: он всегда был деятельным мудрецом. Но Юлия примером своим доказала, что легкомысленная молодая женщина может быть иногда покровителем или завесою величайших добродетелей.

Нежность Арисова так далеко простирается, что он не позволяет Юлии описывать черными красками прежнего ее ветреного характера. «Ты рождена быть добродетельною,— говорит Арис,— несомненное желание правиться — плод безрассудного воспитания и худых примеров произвели минутные твои заблуждения. Тебе надлежало только один раз почувствовать цену истинной любви, цену добродетели, чтобы исправиться и возненавидеть пороки. Ты удивляешься, друг мой, для чего я молчал и не хотел говорить тебе о следствиях ветренности твоей: я был уверен, что укориения могут скорее ожесточить сердце, нежели тронуть его чувствительность. Нежное терпение со стороны мужа есть в таком случае самое действенное средство. Выговоры, упреки заставили бы тебя думать, что я ревнив; ты почла бы себя оскорбленною, и сердца наши могли бы навсегда удалиться друг от друга. Следствие доказало справедливость моей системы. Разлука казалась мне последним способом, который должно было употребить мне для твоего исправления. Я оставила тебя на суд собственного твоего сердца,— признаюсь, не хладнокровно, не без мучительной горести, но ведь луч надежды питал и не обманул меня! Ты моя совершенно и навеки!»

Иногда Юлия вооружается против женщин, Арис их защитник. «Поверь мне, друг мой,— говорит он,— поверь, что порочные женщины бьются от порочных мужчин: первые для того дурны, что последние не стоят лучших».

Арис и Юлия могут не соглашаться в разных мнениях; но в том они согласны, что удовольствие счастливых супругов и родителей есть первое из всех земных удовольствий.

7 — Откуда взялся Арис? — спросят любопытные. — Он несколько лет странствовал по чужим землям. Верный друг, оставленный им в Москве, уведомлял его о Юлии. Наконец, уверившись в ее добродетели, делал он в обожаемой супруге сказать ей: «Я не переставал обожать тебя!»

НЕСЧАСТНЫЙ М-В

Повесть

Н.Н. М-в, воспитанный в училище, был из тех отличных людей, которых природа производит с отменными качествами. В цветущей юности оказал он превосходные успехи в науках. С познанием языков иностранных почерпал он сведения в математике, метафизике и философии. Он не был жадкий схоластик; педант — еще менее. Красоты неподражаемые древних и новейших писателей были для него открыты: черпая их без пресыщения, очищал он вкус, образовал разум и сердце. Между современников своих был он горящее светило. Пламенный, парящий его разум не ослабевал в своем полете. Сотоварищи его, уважая великие его дарования, не осмеливались следовать за ним — они только удивлялись ему.

Мало сего для очертания несчастного М-ва; при отличных сведениях он имел такую наружность, которая при первом взоре делает сильное впечатление над сердцем, а в продолжение времени заставляет себе удивляться. Хороший рост, стройный стан, приятный орган голоса, взор открытый и пронзительный, большие светло-голубые глаза, розовый румянец на щеках — его физические дарования; чувствительное и нежное сердце, кроткий нрав — душевные его свойства. Он любил музыку и даже был ею страстен. Тонное адажио*, одушевленное вкусом, нередко извлекало блестящие перлы из глаз его. Нежный стихотворец во вкусе Сафо; привязанный к театру, будучи хорошим актером¹; любим и уважаем учеными; облакан знаменитыми людьми; не возносится своими дарованиями. Сердце его вкушало спокойствие, свойственное душе непорочной.

Но увя, сие спокойствие, сие душевное благо, которым мы гордимся, не что иное, как счастливый миг, возрастают страсти и уносят его на крыльях вихря. Сердце, довольное собою, начинает сокрушаться под бременем горестей, для которых оно сотворено. — Сип истины скоро увидим мы в несчастном, чувствительном, пылком М-ве!

В училище назначено быть спектаклю: М-в избирает «Дидону» и играет роль Ярба, — роль, которую называл он пламенной, наполненной страстей, прекрасно писанною и которую знающий актер может сделать

¹ У приятелей несчастного и теперь есть многие стихи его, хотя они и не напечатаны.

знаменитым имя свое и искусство². Делает шаг на театр: раздается рукоплескание; сыграл—удивление было всеобщее. Партер, наполненный знаменитыми зрителями, просит его войти к ним; входит—нежный слух его, кроме похвал, ничего не внемлет. Не гордится он, подобно низким комедиантам: чувствует только душевное удовольствие, что умел понравиться. Видит прекрасную знатной фамилии девушку, слышит лестное ее приветствие:

— Ах, как вы хорошо играли! Вы мне очень понравились!

Сия откровенность, сии слова, подобно тихому источнику, с журчаньем льющемуся и обворожающему слух, раздались во внутренности М-на. Он кланяется, обращает на нее пламенные глаза, желает благодарить—и в первый раз в жизни ничего сказать не может. Сердце его вострепело, как древесный лист, от нежного дуновения ветерка содрогавшийся; невольный и потаенный вздох вылетел из внутренности души его. Несчастный! Он не предвидел пагубных следствий первого впечатления.

«Вы мне очень понравились!»—повторил он у себя в комнате. Желал толковать сии слова тысячами различными образами; обращал в свою пользу; часто улыбался, но уже начинал задумываться. Вздохи следовали за каждым его словом. Не понимая ни самого себя, ни лестного приветствия, повторял он его более и, наконец, говорил беспрепятственно.—Гибельно первое впечатление!

Разрешаются книги, ему встречаются слова Цезаря: я пришел, увидел, победил. Прибавляет карандашом шуточный стих: я пришел, увидел—полюбил. Вдохнул, улыбнулся, начал играть на скрипке адажио из Гейдена. Чувствительное сердце его затрепетало, как невинная горлица, увязшая в расставленные сети. Ему нужен покой: Морфей бережно осыпал его маковыми цветами.—Благотворное божество! Ты одно успокаиваешь смертных посреди жесточайшего их мучения. Ты оставляешь нас—и гидра горестей раздирает слабое существо наше. Ужасно пробуждение несчастному!

Ночь провел он беспокойно. Пламенное его воображение наполнялось мечтаниями. Розовая зоря разливается по горизонту; величественное светило возносит гордые чело свое, шествуя медленно по лазуревой стезе; мрак исчез в природе, но в душе М-на возродился. Он проснулся—проснулся, чтобы вкушать горестную отраву любви, разливающуюся по его жилам.

² «Дидона», три[едина] в 5 действиях, в стихах, соч[инение] знаменитого нашего драматического стихотворца Яков[ова] Бор[исовича] Княжнина. Кто не согласится, что сия трагедия есть лучшее театральное произведение на нашем языке, произведение, которое бы и французскому театру сделало честь? Наша словесность лишилась сего мужа, сего редкого поэта. Он мертв, а мертвым дышать не можно; он мертв, но смерть потребляет только человека. Кровавые членики его слабы полагать его дарования, его славу. Похвала по смерти есть самое лестное воздаяние талантам. Оно беспристрастно, не управляемое лестью.

Несколько дней провел он в желании видеть обожаемый предмет; взглянуть на него—и одним взором оживить томившееся сердце свое. Таково пылкое сложение! Одно мгновение возбуждает в нем страсти; одна искра рождает пламень, для погашения коего нужны годы.

Но кого желал видеть несчастный? Кто сей бог его, его идол, похитивший спокойствие кроткой, испорочной души его? Не знает—и сие-то более возбуждает в нем уныние. Но надеется быть счастливым.

Вскоре после сего директор училища призывает к себе М-ва и уговаривает его заступить место учителя русского языка и рисования у знатной девицы; хотя она довольно была выучена, но гордый, честолюбивый и надменный отец ее предпринял науки далее. Дочерью его восхищались; он желал, чтобы удивлялся ей, а для сего-то и назначил в наставники М-ва. Сей редкий человек соглашается и на другой день едет с своим начальником в загородный дом С.—А.—, где ему учить должно было.

Настала минута, в которую должно было несчастному сражаться с самим собою, с своею чувствительностию. Приезжают в дом С.—А.: гордый дух сего человека в первый раз в жизни смиряется перед достоинствами.

— Я просил вашего начальника сделать нас друзьями,—говорит он М-ву.—Вы обяжете меня, ежели исполните волю мою, доверши науки дочери моей, которые тогда только увенчаются успехами, когда вы примете на себя должность ее учителя.

М-в благодарит за учтивость и налагает на себя лестное имя наставника молодой неизвестной ему девицы.

— Я вам представляю ее: Софьюшка!

Неизвестный трепет разлился во внутренности М-ва. Входит ангел красоты, похитивший уже его спокойствие; взирает на нее М-в—и зрение его очаровывается.

— Я тебя, друг мой, представляю своему учителю.

М-в еще взглянул на нее, вспомнил сделанное ему в театре приветствие—содрогнулся.

— Вы меня обяжете, если сделаете мне честь, будете учить меня.

— Мои уроки, сударыня,—голос его исчез,—мои уроки,—договорило сердце,—будут уроками вас боготворить. «Беги, несчастный,—разум говорил ему,—беги отсель! И взоры ее и ее дуновение для тебя заразительны». Сердце противилось: оно одерживает победу—и несчастье неизбежно.

Затруднение было еще не разрешено, согласится ли М-в остаться в загородном доме С.—А.—, отдаленном от города, дабы уроки были ежедневные.

— Захотите ли вы у меня пробыть до отъезду моего отсель?

— Вы, верно, останетесь,—говорит откровенная, невинная Софья.

Надежало ли спрашивать? Ему бы стоило жизни и подумать удалиться от предмета, им обожаемого.

— Мы вам отведем комнаты в саду, в китайском домике, самые философские, в которых жила Софьюшка.

— Мне там, сударь, было очень весело.

В тот же день все было исполнено.

За столом был общий разговор, разговор, в котором, однако же, коснулись искусства М-ва. Софья, обожаемая несчастным, повторила слова:

— Вы мне очень понравились!

М-в благодарит: но голос, рождающийся в сердце, исчезает в устах его. Где девалась твоя бодрость духа? Где твоё спокойствие? Исчезло при едином взоре, как тихий ветерок, теряющийся в былиях; как миг в бездне времен.

М-в в тех комнатах, где жила Софья.

— Так, счастье мое совершенно! Сии комнаты вмещали в себе Софью, и теперь наполняются они ее присутствием. Каждый предмет, каждая черта, представляющаяся глазам моим,—сие зеркало, сие канapé наслаждался взорами ее,—стало все священно! Будем прикасаться ко всему с благоговением, и тень ее, и место пребывания ее должны быть почтенны...

Заблуждайся, несчастный! Боготвори идола, похитившего твое спокойствие, сердце, душу,—слезы будут твоею лицеею, отчаяние—разрушением твоего блаженства, твоего существования.

Настало время, в котором должно было преподавать первый урок Софье: сколько принуждения надлежало иметь несчастному!—дух его стеснен; уста запечатлевались—как! и единый взор предмета любимого столь сильное делает над чувствами влияние! Присутствие отца было для М-ва ужасно, но он ободрился.

М-в начал с грамматики: Софья учила ее по-французски, и он намерен был пройти с нею русскую только для того, чтобы она тверже осталась в памяти. Изъясняет имена, отец оставляет их. Дошло до глаголов.

— Глаголы неопределенного времени,—говорит он трепещущим голосом,—суть следующие: желать, видеть, ненавидеть, любить.

Ученица повторяет:

— Любить.—и останавливается.—Но как вместо неопределенного сказать в настоящем?

М-в отвечает робко, не смея посмотреть на нее:

— Люблю—люблю-с—к сему присоединяются местоимения единственного и множественного числа, например: я—единственного; вас—множественного. Первое—именительного падежа, второе—родительного.

Софья слушает, поглядывая на него.

— Но ежели вы хотите, чтоб из всего вместе вышел полный смысл, то должны сказать: я вас люблю.

Софья повторяет:

— Я вас люблю-с.

Розовый румянец украшает нежные щеки ее. М-я трепещет.

— Так тут полный смысл?—спросила Софья, устремля взоры свои на цветки ковра, который был под ногами ее.

— Полный, сударыня,—отвечает учитель, чертя карандашом несвязные фигуры.

— Не довольно ли сегодня?—говорит отец, войдя к ним.

— Чтобы прилежание ученицы не было в тягость учителю, конечно-с,—и урок кончился.

Софья встала, бросила скрытый взор на М-ва и пошла в свои комнаты.

— Есть ли надежда, что ваша ученица будет иметь дар понимать ваши уроки?

— Ее разум, ее прилежание—доказательства неоспоримые.

— Вы утivity, я знаю; но я бы желала, чтобы вы были со мною откровенны.

— Я вам этим обязан.

— Я от вас не скрою цели моего намерения: мне хочется, чтобы дочь моя была более учена, нежели другие, ей подобные; я хочу, чтоб при почтении, которым обязаны ее породе, почитали ее разум, ее сведения. Не довольно быть почитаемым, надо стоять почтением.

— Я с вами согласен, сударь.

— Мое намерение выдать ее замуж за столь же знатного, богатого и чиновного человека, каков ее отец.

— Вы ей этим обязаны,—и затрепетал М-в. Но сие не могло быть замеченным. Взаимная учтивость кончила их разговор, и они до стола расстались.

Софья почувствовала, еще будучи в театре, род особого почтения к М-ву: она никогда не думала его увидеть; но, чтобы он был ее учителем, и воображать не могла. Частое с ним свидание; уроки, которые она проходила с ним; сведения и разум, которые в нем всечасно открывала, не могли не умножить к нему ее привязанности. Два пав три вздоха, вылетевшие из ее нежного, чувствительного сердца, уверили ее, что она его более, нежели почитает. Это были вздохи невольные и томные, сопутствующие любви,—любви нежной и пылкой; это была искра в пепле; надобно быть легкому ветерку, чтобы возродить пламень.

Последние слова отца Софьи, сказанные М-ву: «Я хочу ее выдать за чиновного человека», сильны были к возбуждению горести в несчастном. Чувствительность его не позволила рассуждать ему далее. Пламенная слеза любви, как капля серебряных вод, блеснула на лице его; сердце затрепетало; сильный и жестокий вздох потряс всю внутренность его.

Отдаление от предмета любимого, обожаемого есть единое средство погашать пламень любви, разливающийся по изгибам сердца,—средство, рожденное разумом, философией. Быть беспрестанно с тем, кому душа наша нечувствительно предается,—значит возрождать силу любви; при-

готовлять себя к величайшим страданиям. Сердце, лишенное спокойствия, потрясается: разум становится рабом страстей. Софья и М-в видались всечасно, предавались один другому. Желание быть беспрестанно вместе, говорить, иногда вздохнуть взаимно было душою их. Они погружались нечувствительно в бездну любви, не понимая ее.— Любовь, бог ли ты или идол, правящий нами? Стрелы твои ужасны; раны неисцелимы.

Самый отец Софьи требовал от нее, чтобы она чаще занималась рассуждениями с М-вым. Он полагал, что это средство самое легчайшее—способ научить ее говорить с некоторою основательностью, благо-разумием, легкостью и красноречием. Жестокий! Ты яд вливал в стесняющуюся душу несчастного.

Уединение всегда было бесценною пищею М-ву; но когда основание его спокойствия потряслося; когда душа его вкушала жесточайшие мучения, следующие за любовью; когда сердце его беспрестанно воспалялось, как рождающаяся вечерняя заря: сие уединение сделалось для него священным. Комнаты его были осеняемы кедровыми деревьями; в некотором отдалении струились воды; безмолвие царствовало на зеленых берегах их; некая пасмурная дикость дерев возрождала уныние. Посреди кедров сделана была дерновая скамейка, унизанная цветами; роскошная флора щедрою рукою разметала повсюду розы и лилеи. Здесь-го всегда был М-в. Уныл, нередко орошал слезами цветы, украшающие место его уединения. Обращая взоры на окружающие себя предметы, он воспевал потерю своей вольности. Юнг и Поле от него отброшены. «Вертер» и «Новая Элоиза» лежали на томящейся груди его*. Вот стихи, сочиненные им в сем положении:

Спокойства томного под сенью
Струи серебристых вод блестят:
В них солнечны лучи горят,
Кедровую прикрыты тенью.
Любезной розы на листьях
Зефиры бережно режутся:
То прочь летят, то к ней стремятся
На легких, тоненьких крылах.
Коснутся к розе—жизнь вкушают:
Вспорхнут от ней—и умирают.
Подуй, восточный ветерок!
И крылья твои пушисты
Развеют капли вод серебристы:
Росой унижут бережок.
Подули грозные борен—
И нежны розы и лилеи,
Чело уныло прекалоня,
Под их ударами стена,
Дух краткой жизни испускают.

Борей силы испривают—
И, с ревом подхватя песок,
Мешают чистый с ним поток.
В брега ударяли, завали,
Спокойны воды возмущали.
Вскочут их, гонят за собой—
Так страсти сердце возмущают,
Колеблют, движут, потрясают—
Так утекает наш покой.

Давно ль на лоне я покоя
Во струны лиры ударял,
Творца вселенной воспевал?
Предстала взорам нежна Клоя:
Хотел в струну ударить я;
Но голос томный раздавался:
Тогда ж исчез, когда рождался:
Исчезла с ним—душа моя.

Ты, сердце! будешь мой учитель,
Мое ушанье бривать;
К желанью душу преклонять,
Кто ныне мук моих ждигитель,
Слеза на струну упадет,
Унылый звук произведет.
Он, с сердцем соединясь, застонет,
Коснется слуха—сердце тронет
И поколеблет Клою грудь.
Она мне скажет: счастлив будь!

Слезы оросили розовые щеки его. Бумажка и карандаш неприметно выпали из рук его.

— Боже мой! Боже мой! Что я делаю!— и умолк мгновенно.

Прекрасная Софья не видала с самого утра М-ва. Увы! Ей скучно, несносно без учителя,— без учителя, которого уроки занимали место уже в сердце ее. Ожидает его к себе; обращает поминутно взоры свои на его комнаты; замечает малейшее движение в саду и все не видит М-ва. Сердце ее то замирает, то чувствует сильный трепет. Выходит в сад, кажется, спрашивает у каждого предмета: «Не был ли он здесь?» Душа ее готова превратиться в легонький ветерок и полететь туда, где ее учитель. Идет, трепещет и вдруг— в том самом месте близ дерновой скамейки,— близ любезного ее учителя. Мещет робкие взоры; видит лицо его, орошенное слезами, произносит трепещущим голосом:

— Вы— здесь?

М-в вскакивает, расстроен, смущен—его стихи—они уже в руках Софьи. Мгновенно, неприметно, кладет их в карман свой.

Софья предлагает ему пройтись по саду; он подает руку ей, и начинают прогулку.

— Вы очень печальны.

— Ах! Это правда.

— Может ли знать ученица, что причиною?
— Без сомнения, сударыня.
— Скажите же мне, скажите; вы знаете, что я принимаю участие.
— С некоторого времени, сударыня,— я не знаю— сердце человеческое— оно слабо сопровпляться ударам; оно, может быть, предвещания, предрассудок.— и не мог договорить.

— Вы очень смущены! Но не имеете ль причины быть кем-нибудь недовольны?

— Ах нет, сударыня!

— Не имеете ль каких-нибудь тайных чувствований, которые обнажить боитесь?

— Божусь, что нет.

— Надобно более надеяться.

— Надеяться? Ничего нет обманчивее надежды.

— Однако ж иногда надобно быть уверену.

Софья почувствовала, что много высказала, и начала другой разговор:

— Время прекрасное! Не правда ли?

М-в, смущенный оборотом слов, говорит:

— Время? О, конечно, сударыня! Однако же эта тучка обещает дождь.

— Я боюсь грому, прощайте до стола,— и нечаянно, как будто ненарочно, подала ему руку.

Он с трепетом коснулся к ней, поцеловал ее, она его в щеку— и огонь разлился по лицу его.

Софья удаляется на крыльях мгновения. Ничего не чувствует, не слышит; оглядывается назад, обращается вперед. Ей крайняя нужда! Надобно прочесть бумажку. Читает— не верит начертанию, улыбается, задумывается; слезы удовольствия навсвергиваются на черных глазах... Чувствования М-ва суть чувствования ее; его душа— без нее Софья умирает; существо ее превращается в ничтожество. Он любит Клою? Но кто она? Подходит нечаянно к зеркалу, смотрит в него: нежная улыбка истолковывает, кто Клоя. Он любит, он должен быть любим— и закреснелась. Стихи, как нечто драгоценное, прячет, запирает за замки, и в первый раз в жизни решилась скрыть нечто от отца своего.

М-в посещает в свои комнаты; обращает робкие взоры на Софью, которая уходила, смотрит— Софья мелькнула в последний раз, душа его исчезает. — Она принимает участие в моем состоянии? Она жалеет о моем унижении? Она желает знать причину? Нет, нет, никогда не изреку. Никогда не изреку, что я ее обожаю. Будем поклоняться ей, боготворить— и Софья не узнает сего вечно. Кто прямо любит, тот молчит. Скрамность— подруга любви священной.

Но каких следствий ожидать должен я от необузданной любви моей? Ее знатность, богатство, гордость отца— все, все против меня. Может быть, самые ее чувствования— несчастный!

Но сии уста осмелились коснуться к руке ее; на сей щеке возжен пламенный поцелуй, начертанный розовыми ее устами,— я счастлив; я любим—остановись! Слабое творение! Горделивое животное! Может быть, сие не что иное, как сострадание, сожаление об участии; чувствительность благородной и возвышенной души? Безумно и помышлять, что я любим».

Их уроки продолжались: М-н трепещет, преподавал их, Софья выучивала, помышляя более всего о нем. Нечаянно, нехотя, неприметно встречаются они глазами; безмолвие их утешает, они очаровываются взаимно. Смотрят друг на друга, краснеют, понимают более, нежели самые изъяснения. Любовь—она наполняет их сердца; они не могут быть один без другого; они умирают, когда не видятся.

Возвышенная душа не может быть счастлива, ежели она не разделит с другими своего блаженства; влюбленный недоволен своею участию буде сам только знает, что он любим. Он хочет, чтобы предмет, обожасмый им, был почтен и другими; чтобы, ежели можно, весь свет одинаково с ним мыслил, восхищался им, боготворил его,—но сие желание, сия нескромность бывает часто пагубна. Блажен обожасмый в тишине души! Он наслаждается вздохами, не понимая их, и счастье свое от самого себя скрывает. Любви свойственно, однако же, и тщеславие. Божественная Софья беспрестанно говорила о своем любезном учителе старой женщине, которая всегда была с нею, говорила с некоторым об нем пристрастием. Женщина отвечает:

— Эй, сударыня! Чтобы учитель ваш не научил вас любить себя слишком мало, вы мне беспрестанно об нем говорить изволите,—и решилась тихим образом сказать о сем отцу ее.

Нежная Софья! Маленькая твоя нескромность будет для тебя губительна.

Отец выслушивает старую женщину: черты лица его переменяются. То улыбка неудовольствия появляется на лице его, то педоверчивость к словам ее. Честолюбие и гордость не позволяют ему и подумать.

— Как! Моя Софья? Нет, она никогда не унижится. Некоторая привязанность к учителю? Мы должны снисходить к человеку, который, кроме достоинства, ничего не имеет.

Против воли, однако же, начинает замечать и малейшие ласки дочери с ее учителем.

Между тем доходит до отца Софьи известие из города, что одна знатная девица, влюбленная в человека посредственного состояния, невзирая на его недостаток, на увещания, на самые грозы родителей, решилась вручить себя в руки обожасмого ею предмета. Уходит с ним, венчается. Все те, до которых дошла сия весть, считали их преступниками. Жестокое судьи! Жертвы, вами порицасмые, суть блаженны. В чем же их преступление? Разве в том, что они любят друг друга.

За столом отец Софьи пересказывает сие происшествие М-ву и требует его мнения. Он отвечает:

— Что сделала сия чета порочного? Любимы взаимно, имея целью свою блаженство, тогда они будут преступники, когда уменьшат привязанность один к другому.

— Конечно, так,— прервала Софья.

Отец ее улыбнулся.

— Наружное счастье, соединенное с блеском тщеславия, отрада для чувствительных сердец. Должно искать блаженства внутри нас самих. Мало, ежели мы будем думать, надобно, чтобы мы в самом деле были счастливы: а сие-то и не может казаться глазам целого света. Умеющие наслаждаться блаженством—скромны; умеющие любить—смеются гонению рока. На персях нежности они все презирают, кроме любви.

— Я с вами согласна,— говорит ученица его.

— Прекрасная Софьюшка!—сказал отец ее, продолжая улыбаться.— Мне очень приятно, что ты одного мнения с своим учителем. Это столько же делает чести ученице, сколько и ему.

М-в поклонился, Софья взглянула на него и в минуту взоры свои устремила на розу, которая была на груди ее. Щеки ее покрылись румянцем, подобным розе,—разговор кончился.

Настал день рождения М-ва: колких попечений и колких радостей стоил он Софье! Ей хочется сделать подарок любезному учителю; она не знает, что подарить; не знает, как это сделать; не смеет без воли отца своего. Идет к нему: ноги ее подгибаются; шаги ее медленны; кажется, все пред нею трепещет. Сердце ее томно; с нуждою произносит язык ее:

— Батюшка!

— Что, мой друг Софьюшка!

— Сегодня день рождения учителя, ученица должна сделать подарок. Какой прикажете?

— Часы, он будет знать лучше время, в которое заниматься с Софьюшкой.

Во весь сей разговор взоры его желают проникнуть во внутренность сердца дочери; Софья старается, дабы не изменить себе.

— Какие часы?

— Сама выбери, какие вздумаешь.

— Я подарю, которые получше.

— Конечно, Софьюшка!—взяв ее за руку и не спуская глаз с нее:— Ты много занимаешься с учителем!

— Я его очень почитаю, вам известно, с каким прилежанием он меня учит.

— Но сие почтение не превосходит ли границы?

— Ах, нет! Я знаю мою должность, знаю, чем вам обязана.

— Успокойся, душенька, успокойся. Поди, сделай ему подарок.

Она поцеловала руку. Ах, для чего влюбленные не имеют крыльев! Софья мгновенно бы вспорхнула—и была близ милого своего учителя.

Она знает свою должность! Но спокойно ли сердце ее? Сколько мучительно душе великой питать гидру подозрения. Ежели Софья любит,

ежели М-в соблазнитель, они должны, они будут жертвою раздраженному сердцу. Несчастен оскорбивший меня! Смирим гордый дух; обратим внимание на их поведение, пресечем, истребим, ежели возродилось; угасим искры, пока не распространился пламень; изобретем способ сколь легкий, неприметный и столь же опасный для влюбленных—он все откроеет.

Софья уже с учителем: с какою нежностью вручает она ему подарок свой; с какою радостью исполняет она волю сердца своего. Сколько говорит поздравлений! Сколько желает счастья, здоровья! Розовые уста ее не затворяются; язык не устает говорить с ним, черные глаза не насытятся взорами; душа не насладится блаженством своим; легкие вздохи, как зефир, один по другому вылетают из груди ее.

Божественная Софья! Ангел непорочности! Любовь ослепляет тебя. Ты не знаешь, не чувствуешь, какие мучения поразят тебя. Слезы трепещут на веждах моих, сердце кровию окропляется, когда воображу следствия любви твоей.

М-в восхищен подарком прекрасной ученицы. Воображает все ласки ее, исчитывает слова ее, каждому дает лестный толк для влюбленного сердца своего. Он имел причину: Софья любила его, любила нежно, пламенно. Он заметил уже сие, недоверенность, однако, уже обладала им.—Сомнение есть жребий влюбленных.

Хочет завести часы: видит портрет Софьи, владычицы души его. Чтоб изобразить его восхищение, надобно быть на его месте; надобно любить столь нежно, сколь он; чувствовать, как чувствовало сердце его.

Прекрасная Софья с намерением подарила ему часы с своим портретом; подарила так, что и отец ее того не знает. Любовь! Ты одна научаешь нас нежности, изобретаешь способы нравиться, чувствовать, спорать и—умирать в восхищении.

— Софья!—вскричал М-в в изумлении.—Ты много делась для несчастного; но я заплачу тебе. Образ твой начертан был в сердце моем, взоры мои повсюду его видели, разум воображал. Портрет твой вечно, за двери гроба последует за мною. С сего мгновения буду поклоняться ему, прикасаться с благоговением к руке твоей. Взоры мои встретятся с твоими, сердце вострепещет пред ними—и ты все это живо почувствуешь. Эхо разнесется повсюду, наполнит все места, коснется слуха твоего—ты узнаешь, ты поверишь. Я буду поклоняться тебе? Что я изрек! Как! Жертвы, свойственные божеству, воздавать смертной? Осмелиться сравнить ее? Осмелиться раздражать? Страшное заблуждение. Но почему? Человек с чувствительною, непорочною душою, с кротким, невинным сердцем не есть ли изображение божества? Нравственные черты его не есть ли истинные черты предвечного? Нет! Не заблуждение,—должность, необходимость; нет, тут нет преступления.

М-в и действительно часто становился на колени пред портретом Софьи, с благоговением касался к руке, лобызал ее и нередко орошал слезами—влюбленный подобен дитяти: он не знает, что делает и для

чего делает, он слепо повинуется только чувствованиям своим и заблуждению.

Скоро наступит мгновение, в которое все исчезнет для чувствительных сердец. Отчаяние заступит место нежности, ужасная горечь заменит взаимное их восхищение. Сколь жестоко судьба играет нами!

Я возвестил уже намерение отца Софьи проникнуть в самые сокровенные чувствования влюбленных: он просит М-ва списать портрет с его ученицы. В чем откажет он для Софьи? Ни в чем, никогда.—Сколь слаб, сколь недальновиден человек, очарованный любовью. Софья восхищалась, что кисть любезного изобразит ее; М-в вне себя, что будет всматриваться в красоту Софьи и по чертам, переменяющимся под красками, будет судить о чертах нравственных. Увидит, почувствует, сколь далеко он в сердце ее; узнает—и гибель неизбежна!

Софья, одетая в белое простое платье, с розою на груди, с лиловым бантиком на темно-русых волосах, развевающихся от дуновения зефира, которые он перебирал бережно, с арфою в руках, садится в кресла. Вообразите Эрату в шестнадцать лет, которой улыбка восхищает взоры, очаровывает сердца,—это будет Софья!

М-в берет в руки кисть: трепетание ее изображает трепетание сердца его. Отец смотрит любопытными глазами; живописец, научаемый любовию, делает очертание лица.—Для одного дня этого довольно.

Настал другой день: кисть М-ва изображает прелести Софьи—Апелл! Рафаэль! Вы слабы сравниться с М-м. Вы одушевляли труды свои искусством, моим живописцем правит сердце—сама любовь. Отец Софьи оставляет их. Я помещаю разговор двух сих любовников.

М-в

Выберете один предмет и не спускайте с глаз его.

Софья (*смотря на него*)

Ни на минуту.

М-в (*заметь это*)

Тем более будет верности.

Софья (*улыбаясь*)

А это всего лучше. (*Посмотря на портрет.*) Вы мне льстите.

М-в (*с чувством*)

Моя кисть изображает то, что глаза видят, что чувствует сердце.

Софья (*нежно*)

Тем менее ошибетесь.

М-в (*всматриваясь в глаза ее, рисует, останавливается*)

Глаза ваши — самая трудная черта для изображения. Небесный огонь, которым они наполнены, искры, летящие из них, подобны искрам солнечным — они сожигают.

Софья (*закрасневшись, с нежностью*)

Менее смотрите.

М-в (*живо*)

Расцветающий румянец на щеках, подобный рождающейся розе...

Софья (*живо*)

Менее уподоблений, менее...

М-в (*живо*)

Священна улыбка, на которой царствуют грации, которая оживотворяет взоры, разгоняет нахмуренность...

Софья (*в сторону*)

Сердце мое в ужасном движении!

М-в (*в сторону*)

Душа моя исторгается из самой себя!

М-в останавливается. Ему должно изобразить самое восхитительное — грудь Софьи. Он обращает все внимание: взоры его устремились и на секунду не оставляют сего предмета. На двух возвышенных полукружиях видит он восходящие розы; стебли их преклонились на лоно лилей; взоры его исчисляють самые жилки, небесно-голубым цветом покрытые. Сердце гонорит ему: «Здесь душа твои!» М-в в ужасном положении. Взоры его все стремительно поглощают. Он бы желал коснуться и умереть на сем очаровательном месте. Софья замечает движение души его; цвет лица ее переменяется; дуновенье утихает, волнение по грудям ее разливается. Она боится — сама не знает чего; чувствует то, чего никогда не чувствовала. М-в берет за кисть, не в состоянии сказать ни слова.

Софья (*в смитении*)

Докончите без меня-с.

М-в (*пылко*)

Без вас? Всякое воображение будет слабо, недостаточно.

Софья (*желала бы асть, но не может*)

Ежели нельзя, то — поскорее.

М-в (*скоро и пылко*)

Тут много будет потеряно, тут не будет этой души, этого живогворного огня, сей нежности, которая очаровывает зрение.

Софья чувствует, что огонь разлился по лицу ее, хочет обмахнуть себя платком, возносит руку, М-в к ней касается устами.

Софья

Боже мой! Кончите, кончите. (*В сторону.*) Что со мною делается?

М-в хочет протянуть черту, дабы возвысить грудь Софьи, которая мгновенно воздымалась и опадала, кисть вылетает из рук его. Страх, робость — все исчезает. Он падает на колени:

— Нет, не могу, не должен продолжать более. Рука мол мне изменяет, сердце вылетает из меня, дух мой стеснен. Нет, не могу более молчать — я преступник! я боготворю тебя!

Софья (*в страшном движении*)

Боже мой, я вас прошу, встаньте.

М-в (*скоро*)

Ваше слово или умертвит меня, или возвратит потерянное мною спокойствие.

Софья (*расстроено*)

Встаньте! Я...

М-в (*в иступлении*)

Договори, Софья! Бог души моей!

Софья (*запинаясь*)

Я вас — люблю — нет, не верьте, думайте, что вы хотите, обманывайтесь...

М-в (*скоро*)

Первое впечатление, которое произвели взоры твои в моем сердце, огонь любви, мучение, отчаяние — все раздирало душу мою, ежели я несчастлив — я мертв!

Софья (*не выдержав*)

Живите! Я люблю, буду любить, жить для тебя только. Эта рука, сердце никому принадлежать не будут.

М-в в восхищении целует руку; уста Софьи коснулись к устам его; все забвенно! все для них исчезает!

— Наконец открыл я тайну, сердце мое раздирающую, — вскричал раздраженный отец, который подслушивал весь их разговор из другой комнаты. — Тrepеци, недостойная дочь и жестокий соблазнитель ее!

Софья вне себя упала пред ним на колени; отец оттолкнул ее. Она поверглась в обморок. М-в не мог сказать ни слова.

— Мои обиды ничем загладиться не могут, как кровию преступни-

ка,—говорит он М-ву,—но ты, ты слабая жертва, недостойная мщения. Не снисдет дух мой до подлости, низко шпаге моей омыться кровию твоею. Удались мгновенно отсюда, но трепещи! Я всюду тебя преследую. Трепещи, ежели ты слово кому произнесешь!

Слезы полились из очей М-ва: взирает на Софью, но ему запрещают. С радостию пожегивал бы он жизнь за спокойствие ее—ему не внемлют. Его мгновенно изгоняют из дому. Два часа—и он уже в городе.

Софья приходит в себя, чтобы чувствовать еще жесточайшее мучение. Отдалена от отца, в уединенной комнате, в которую никто, кроме старой женщины, не входит: участь М-ва, неизвестность, что с ним сделалось, потрясают сердце ее. Ангел невинности! Слезы суть твоя пища.

Оставим М-ва; Софья на некоторое время займет нас. Шесть дней протекли разлуки ее с несчастным. Сколь много переменялась она! Блестящий огонь, которым были наполнены глаза ее, исчезал, как вечерняя заря при лунном свете, животворная улыбка ее уже подобна весне умирающей, мрачная задумчивость рассеялась по лицу ее. Коль сердце стесненно, взоры мертвы!

Отец приходит к ней. В первый раз в жизни присутствие его сделалось несносным для Софьи. Сердце говорило ей: «Вот мучитель твой!»

— Софьюшка, друг мой, ты страдаешь.

Она вздохнула, и слезы жестокого сокрушения покатались по лицу ее. Каждая капля, казалось, укоряла непреклонного отца ее.

— Забудь твоего соблазителя, истреби пагубную страсть. Ты знаешь, что я люблю тебя более всего на свете, ты знаешь, что я всем для тебя пожертвовал. Слезы мои—доказательство моего о тебе соболезнования.

— Батюшка! Батюшка! Менее плачьте, будьте более ко мне милосерды.

— Любовь ослепляет тебя! Рассуди благоразумно и увидишь, что М-в не может быть твоим мужем. Он беден, бесчиновен, незнатен; ты богата, знатна, прекрасна. Соединение ваше может обесславить тебя; сделать пятно, неистребимое для моей фамилии; оно для тебя несчастье. Ты не можешь вкушать с ним истинного блаженства.

— Сколь сильны доказательства предрассудка! и сколь слабы для души благородной!

— Поверь, Софьюшка, что любовь в сравнении с веком жизни есть мгновение: мгновение исчезнет, любовь угаснет. Может ли он любить тебя, любить нежно, постоянно?

— Батюшка! Слово его верю я более, нежели клятвам целого мира,—и улыбка, соединенная с доверенностию, блеснула на розовых устах ее, живость взоров подтвердила ее надежду.

— Он ветрен, непостоянен, друг мой; любовь его есть искра: рождается и мгновенно исчезает, сведения его ограниченны, разум обыкновенный, сердце развращенное.

— Вы прежде не то об нем говорили.
— Он мне не таким казался.
— Ах! Как бы я желала, чтобы вы об нем столь же хорошо думали, как прежде! Вы бы увидели, что сердце его нежно, чувствительно; нрав краткий и тихий, что любовь его ко мне неограниченна, ждали бы вы увидели, что происходит в моем сердце при одном слове об нем, при одном воображении...

— Довольно! Так нет надежды к истреблению любви твоей? — спросил он, возвыся голос.

Софья затрепетала.

— Я прерву ее! Ты почувствуешь, ты будешь сожалеть.

Софья хотела броситься на колени — раздраженный отец оттолкнул ее.

— Я много снисходил! — хлопнул дверью и ушел, Софья осталась вне себя.

М-в, разлученный с Софьей, отторженный от предмета обожаемого, лишенный надежды даже и видеть ее, погружается в бездну уныния. Мрачная задумчивость распростерла крылья по лицу его. Две недели, как он расстался с Софьей и расстался с целым светом. Он удаляется от бесед, они ему несносны; чувствует, что и он в тягость им. Веселый нрав, острота разума, которым он прежде оживотворял общества своих приятелей, уяли. Он беспрестанно помышлял о Софье, стонал в уединении, трепетал и помыслить изменить своей скромности, боготворил в тишине души. Глубокая меланхолия притупляла его чувствования — он переродился совершенно.

«Вертер» и портрет Софьи не выходили из рук его. Чтение первого увеличивало движение души его и делало несносными его несчастья; последний впечатлелся в сердце черты его любезной, и соединенными силами восставали противу твердости его, которая давно уже поколебалась.

— Вертер, — вскричал он, — ты понес с собою во гроб ленточку Шарлотты*; портрет Софьи драгоценнее для меня. Когда существо мое превратится в ничтожество, когда душа моя обратится к своему началу, он будет со мною — в моем сердце. Время все истребит! Миры разрушатся; величественные светила падут; неизмеримый океан иссохнет; — любовь моя к Софье продолжительнее самой вечности.

Новое поражение увеличивает горечь М-ва: он имел сестру, которую любил более всего на свете, жертвовал всем для нее, жил для нее; она занемогла и умерла в течение трех дней. Нежный брат, друг ее, проливал слезы, желал стократно воздать жертву смерти собою, чтобы только воскресить сестру, — все тщетно! Все ополчилось против М-ва! Он сам сделался слабее и несколько дней не мог выходить из комнаты. Смертный! Колико мужества, твердости души потребно тебе, чтобы переносить удары судьбы.

В сем-то положении М-в получает письмо от Софьи; читает его.

трепещет, дыхание стесняется в груди его; иступление начертано на его глазах; бледность покрыла лицо его; слезы навернулись и остановились на щеках его. Я помещаю письмо сие:

«Время вывести Вас из заблуждения: я почитала Ваш разум, дарования, Ваши способности, но сие почтение не простиралось до любви. Я видела Вашу страсть и поставляла должностно снисходить к Вам из сожаления. Вы не можете обвинять меня в моем равнодушии: чтоб любить, надобно чувствовать. Для сих чувствований я молода. Может быть, я бы и не простила себе, ежели бы Вы заняли место в сердце моем. Различие состояний, породы никогда не позволяли мне забыть себя, чтобы более помнить, кто Вы. Будьте спокойны. Вам никто столько добра не желает, как ваша ученица».

М-в читал сие письмо беспрестанно; жал себе руки, вздыхал, плакал. «Как! Сии черты изображают сердце Софьи? Она могла?» — горькая улыбка на лице высказала чувствования души его.

Кто бы мог ожидать столь ужасной жестокости от невинной, тихой, кроткой Софьи, которая нежно любила М-ва? Все обвиняет ее, но она невинна. Гордый отец решился довести ее до крайности. Он противоположил любви ее страшную жестокость. Не в состоянии поколебать ее ни лаской, ни угрозами, решился употребить пагубное насилие. Заставляет Софью писать к М-ву, требует, чтобы она изъяснила слова его, как собственное свое чувствование; она не может сделать сего, проливает слезы. Одна капля должна бы была подвинуть к сожалению неприступнейшее сердце, отец не поколебался. С яростию берет он ее руку, водит ею по бумаге, оканчивает письмо и посылает его к М-ву.

— Ежели не тебя, — говорит он с крайним иступлением, — то обладателя твоего принужу забыть тебя.

Софья, лишённая дыхания, упадает.

Стечение столь горестных обстоятельств истребило и малейшую часть спокойствия и твердости М-ва. В нем не виден уже более человек с рассуждением; два дня после письма Софьи, которые провел он, удаляясь от сна, не вкушал даже нужной для подкрепления здоровья пищи, сделал его столь слабым и отчаянным, что он подообен был преступнику, угрызаемому совестию. Он не велел даже никого впускать к себе. Старый слуга, который любил его как нежного отца, входит к нему. М-в смотрит на него стремительно и ничего сказать не может.

Слуга

Вы очень печальны! Два дня уже ничего не кушали. Не прикажете ль стол накрывать? Вы ничего говорить не изволите.

М-в берет его за руку, хочет что-то сказать, но язык ему изменяет.

Слуга

Перестаньте сокрушаться, сударь, — вы жалесте о сестрице?

М-в (скрытно)

О сестрице?

Слуга

Смерть ее есть воля божия. Мы все от него зависим. Положитесь на его милосердие. Он отнял и награждает вас может.

М-в (пылко)

Потеря невозвратима; награда всякал слаба; сердце обманутое, раздражаемое мучениями, не должно надеяться. Надежда увеличивает горести.

Слуга

Успокойтесь, сударь.

М-в (чувствительно)

Успокоюсь, друг мой, вечно успокоюсь (*договорил он шопотом*). Оставьте меня.

Слуга

Мне вас оставить? В таком отчаянном положении? Когда всякая минута новые рождает вам мучения?— Ни на минуту. Я постараюсь говорить с вами, рассеять задумчивость.

М-в (с горькою улыбкою)

Ты надеешься? Ты не успеешь! Мои мучения, моя горечь—они необыкновенны. Слабо будет всякое убеждение! Придет час—все кончится. (*И слезы навернулись на глазах его.*)

Слуга

Скажите, скажите мне, сударь: не сделали вы какого-нибудь преступления? Не нужно ли жизни дряхлого старца для замены вашего спокойствия? Возьмите, вот она! Что мне в ней, когда страждет мой любезный, честный господин,—возьмите!

М-в (поднимая его стремительно)

Встань, великая душа! Встань! Я не преступник, злодеяния чужды мне. Я слабый, несчастный, сожаления токмо достойный.

Слуга (со слезами)

Разделите вашу горечь со мною; будьте вы веселы, я поплачу за вас; я за вас почувствую. Вы еще молоды, уныние свойственно старости.

М-в (со слезами)

Нежный, достойный дружества моего, почтенный старец, не исторгай из меня сердца. Твоя чувствительность терзает внутренность мою.

Увы! можно иногда сострадать ближнему, но почерпнуть в себя самого страдания невозможно. Оставь меня — я буду, буду весел, даю слово тебе, клянусь твоею добродетельною душою, что буду спокойнее.

Слуга (*целует его руку*)

Боже, услыши молитву мою! Я до тех пор не перестану просить его со слезами, пока он не возвратит вам спокойствия.

И пошел в свою комнату, взглянул на господина своего, и слезы покатались по лицу его, подобному бледному полотну.

Вся внутренность М-ва потряслась, он не мог удержаться от слез; не мог не восчувствовать почтения к слуге своему. Успокоился и потом начал:

— Из всех зол человек избирает меньшее; сего требует благоразумие. Погружаться в страданиях, которые суть бесчисленны, не достанет столько твердости, чтобы? — одно мгновение — и кончено. Существо мое содрогается; биение сердца подобно непрестанному биению пульса; душа моя исторгается из самой себя. Все вопиет: удержи гибельное стремление! Очарованный прелестями, погружающийся в бездне страстей, ты не знаешь, чем обязан самому себе?..

Глаза его налились кровию — вскакивает с кресел, осматривается во все стороны, идет к своему комоду — шаги его робки — трепещет. Стремительно отпирает комод и сокровенно вынимает пистолет. Глубокое молчание его окружает, он начинает дрожащим голосом:

— Орудие, изобретенное таргаром! — существом, превосходящим злостью самый ад; человеком изобретенное для истребления себе подобных, самого себя, — в тебе все мое спасение.

Пистолет заряжен: уже несчастный готов положить порох на полку, дважды насыпает его — и не может сего сделать. Ненависть к самому себе умножается, свирепым голосом он произносит:

— Все против меня, но ничто не удержит.

Усиливается — сердце затрепетало, тяжелые вздохи в груди остановились. Он падает без памяти на пол, голова его облокотилась на креслы — таким образом провел он целую ночь.

Пагубная мысль самоубийства вкоренилась глубоко в сердце сего пылкого любовника. Одна минута нужна к совершению жестокого предприятия — он ни к чему не внимал. Несчастный! Я проливаю слезы о тебе, чувствительное сердце содрогается. О, если бы я мог отворотить удар, с какою бы восхитительною радостью я это сделал.

Солнце еще не вступило в утренний путь, еще не освещало златыми лучами миров, М-в проснулся. Лицо его было подобно бледной тени, исходящей из густых паров, огненные глаза подобны двум звездам, во мраке тут едва мелькающим. Содрогается — мечет повсюду рассеянные взоры — время было ужасное, возбуждающее отчаяние: западный ветер завывал, ударяя со страшным стремлением в стены дома, дождь сильный, подобный стремлению морских волн, разливался, беспрестанная молния

мелькала, громовые удары один другого преследовали со страшным треском: казалось, настал час всеобщего разрушения, казалось, пся природа с мучительным стоном желает исчезнуть вместе с несчастным М-м.

Он подходит к окну, смотрит и говорит:

— Какое величественное зрелище! Все мне способствует. Сии бурные порывы стихии, сие всеобщее потрясение природы — живое изображение бурных порывов страстей моих, потрясения внутренности моей. Что медлишь? Для несчастного одно мгновение вмещает веки мучений — предел положен.

Садится в креслы, берет в руки перо и начинает письмо к Софье. Я предлагаю его отрывками, каково оно было.

Июля 12 в 6 часов пополудни

Я получил, я читал, как нарску? Я читал адское твоё начертание. Софья! Ты желаешь — и я мертв; ты требуешь, чтобы я был спокоен, и успокоюсь — вечно успокоюсь.

Как! Твоё перо начертало; твои уста изрекли; твоё сердце вешает, что я не был любим тобою? Ты льстила мне из снисхождения? Ты? Жестокая! Что сделал тебе несчастный, который боготворил тебя, восхищался тобою; который видел в тебе ангела, дышал тобою, тобою чувствовал; предугиывал, чего желали глаза твои, с благоговением исполнял, что говорили уста твои, который себя почитал за то только, что познавал цену тебе, что тебе поклонялся?

Так ты только сожалела обо мне? Не раздирай чувствительного сердца, не умерщвляй меня стократно. Несчастен, злополучен, достойный сожаления, — смерть его прибежище, его спасение.

Я предпринял, я решился — ничто меня не удержит. Прежде, нежели ты почувствуешь, помыслишь, я мертв. Все имеют цель, я — нет; все питаются надеждой, лучи её меня не освещают; все наслаждаются, наслаждаются чем-нибудь — для меня все отравы, горесть неизмеримая, мучения невообразимые.

Софья не для меня живёт? и я для нес? Не стану влачить презрительную жизнь! Лучше совсем не быть, нежели быть ничем.

Ты не любила? Для чего же льстила ты нежному, чувствительному, пылкому сердцу моему? Для чего разлила яд в душе моей? Для чего питала надежду во мне, сию гидру, увлекающую нас за собою, поражающую нас? Для чего взоры твои обещали мне? Для чего ты желала быть со мною, требовала, чтобы я с тобою был? Для того, чтобы погрузить меня в бездну мучения, любви, отчаяния; для того, чтобы неприметным, медлительным, томным ядом напоить внутренность мою; расторгнуть существо мое. Увы! Взоры твои вмещают нечто божественное, сердце — адское. Несчастный! Что я изрек?

Как сильны, как могущественны, священны для меня были слова твои! Ты мне сказала, что я тебе понравился,—и блаженство мое было ни с чем не сравненно; я коснулся к руке твоей—и сердце мое, моя душа, мое существование для меня исчезли—они уже твои были; ты изрекла: люблю!—и я в пламень превратился.

Вспомни то мгновение—оно было для меня и адское и самое восхитительное; вспомни, когда я уже предан был и любви и тебе совершенно—впечатление сие было еще первое в жизни моей, когда я чувствовал мучения невообразимые, когда все существо для меня исчезло, когда разум предвещал мне будущее; когда я предчувствовал, что со мною случится нечто необыкновенное, неестественное, я хотел бежать тех мест, где было твое присутствие, где тень твоя была для меня опасна, я хотел—решился—ты предвидела, изрекла только два слова: останься, останься для меня!—я упал пред тобою, предприятие мое разрушилось, робок безмолвие высказало мое повинование. На черных огненных глазах твоих навернулись слезы. Сколь драгоценны они мне казались! Сие мгновение было для меня небесным.

Ты никогда не могла забыть различия состояний? Софья! Верь мне, как другу, я буду им по протечении всех веков, верь мне, что состояние не возмущает нас! Душа, разум, добродетель—они одни только почтены; их только не поглощает ни время, ни вечность, и самые ценности суть те же человеки.

Я презрен тобою! Стало, я это заслужил, так я и накажу себя—кто презрен, тому возвращает право на почтение единая смерть. Не вострепещу пред нею! Но ты, ты будешь сожалеть о сем; угрызения за тобою последуют, проклятие изрекут на твои прелести, которые столь заразительны. Проклятие! На Софью? Боже! Отпусти мне—важно ли бытие мое? Несужную никому проливаю я кровь. Софья! Кровь сия струится, укоряет тебя; дух мой излетает из меня, я не могу докончить. О, если бы ты знала, что я чувствую при произнесении единого слова: самоубийство.

13, пополудни в 4 часу

Софья, божественная Софья! После жесточайшего мучения, горящих, огненных слез, после ужасного волнения души моей я несколько успокоился. Строки в первом письме моем тебя оскорбили? Прости мне, бога ради, прости несчастному. Я не знаю, что я делаю, сердце мое подобно сердцу преступника, влекомого на казнь. Я достоин, достоин еще сожаления. Ах, если бы ты меня увидела! как я переменился!—я в сердце—смерть на челе моем.

С каким ужасом отвращал я прежде кровавые взоры от грозной смерти! Вчера еще—еще вчера содрогался, воображая об ней, но воображение мое оледенело, ужас исчез. Без робости, без трепета, без малейшего уныния стремлюсь сегодня в холодные ее объятия.

Я кладу порох на полку хладнокровно; вдруг любезная твоя собачка, которую сердце твое мне подарило, вскакивает на канapé. Бросается ко мне, визжит, лижет руки мои, прыгает на колени, дергает лапками своими меня за руку. Я должен был успокоить ее; она твоя. Положила пистолет на стол, обласкал ее, прижал к сердцу, нежно прижал, и сел с нею на канapé. Чувствует ли она, что принимает от меня последние ласкания?

14, пять часов утра

Я еще стал спокойнее, божественная Софья. Изопьем чашу смерти! Меня обвинять станут в самоубийстве! Ах! Надобно проникнуть в мое сердце; надобно то чувствовать, что я чувствую; надобно мною быть, чтобы судить о моем поступке, но трепещет ли тот обвинений, кто презирает самую смерть?

Солнце чуть восходит на горизонт—в последний раз я его вижу, в последний раз наслаждаюсь зрением сего величественного светила. Оно взойдет завтра, я этого не почувствую, и еще взойдет; но ветры уже и прах мой развеют. Слезинка упала и покатилась к сердцу моему.

Портрет твой снидет со мною во гроб—начто похищать его у несчастного? Ты мне его подарила: да будет он мне воспоминанием и за вратами смерти, что я боготворил тебя.

Софья! Я воздал уже благодарение предвечному за все его ко мне милости и предаю себя в его волю, помолись и ты обо мне.

Сейчас взглянул я на свечу—она догорает—догорает и свеча жизни моей!

С сим словом он взялся за пистолет, вознес, направил—удар сделал в самое сердце; несчастный упал. Выстрел разбудил его человека: он вошел к нему, увидел его окровавленного, не произнес ни слова и повергся на грудь его бесчувствен. Живущие в том доме вбежали в его комнату, народ стекался.

М-в храпел—он еще жив был, но рана неисцелима. Приподнял голову с страшным напряжением, увидел себя окруженного зрителями,—взглянул—слезы, смешанные с кровью, струились по бледным его ланитам—пожал руку своему слуге, который возле него лежал, произнес томным и умирающим голосом:

— Простите! Софья!—и с сим словом испустил последнее дыхание жизни.

Весть сия, как порывистый вихрь, донеслась до ушей отца Софьи.

— Он застрелился? Бога ради! бога ради! не сказывайте Софье!—скачет в карете и, не более как в час,—в квартире несчастного.

Он уже лежал на канapé—холодная смерть на челе, розовая кровь разливалась вокруг него. Грудь его была обнажена, раны еще не

затянуло—видит сие отец Софья; бросается перед ним на колени, кричит страшным голосом:

— Я твой убийца, я твой мучитель!—целует руки его, орошает лицо его слезами, становится безмолвна.

— Несчастный, что ты сделал? Для чего не помедлил ты еще двух часов вознести адское орудие? Софья, дочь моя, она была бы твоею. Гордость! Исчадие гартара! Я проклинаю тебя, я вечно терзаться буду, вечно проливать слезы.

Скрытно приказывает провезти тело несчастного к себе в деревню, трепещет, чтобы не узнала Софья, но ее нежное, чувствительное сердце предвещало— не знает отчего, но проливает слезы. До нее доходит слух о смерти.

— Жестокие! Пустите меня к нему, дайте мне с уст его всосать в себя смерть или оживотворить его пламенным дыханием. Пустите!—с сим словом лишается чувств, жизнь ее в опасности.

Тело предано погребению близ самого того дома, где жил несчастный. Отец Софья и сия невинная, божественная душа не могли быть при погребении. Все об нем проливали слезы. Кладбище обсажено было липами, на могиле воздвигнута мавзолея, на ней золотыми литерами вырезана эпитафия, сочиненная самим покойным, найденная в его бумагах,—я ее здесь помещаю.

Эпитафия

Чувствительное, непорочное сердце! Пролей слезы сожаления о несчастном влюбленном самоубийце; снизойди к слабостям его, как человек, прости его преступление. Обрати нежный взор к предвечному, помолись об нем—брегись любви!—брегись сего тирана чувств наших! Стрелы его ужасны, раны неисцелимы, терзания ни с чем не сравненны.

Слуга М-ва не принял отпускной.

— На что мне она?— вопрошает старец.— Я служил при жизни ему, буду служить и по смерти—проведу остаток дней у сей гробницы, где положен прах нежного, чувствительного господина, почтеннейшего из людей.

Отец Софья проливал по самую смерть слезы о несчастном. Софья, непорочная Софья, вечно не согласилась никому отдать руки своей. Ее упражнения состояли только в том, чтобы всякий день посещать гробницу обожаемого любовника. Все те, которые знали М-ва, сожалели о нем, все проливали слезы, проливаю и я—и сии минуты есть усадительнейшие в жизни моей.

Н.С.Смирнов (Даурец Номохон)

ЗАРА

И у мене сердце есть, якоже и у вас.

Иова, глава 12

Кто поверит, что между агличанами, народом толико славным по своему просвещению и правоте сердца, нашелся изверг, поправший добродетели сии, доведший вероломство и злосердие до последнего степени утонченности и покрывший человечество срамом неизгладимым?

Междоусобные войны раздирали Англию в начале седьмого-на-десять столетия. Несколько граждан, утомленных борьбою с могуществом и не могших сносить более зрелища повсюду лиющей крови, удалились на американский остров Барбадос и положили первое основание селению, в короткое время достигшему до высочайшего благоденствия. Число переселенцев умножалось со дня на день, так что чрез сорок лет на острове сем, имеющем в окружности только осьмнадцать миль, считали более ств тысяч жителей. Большую, однако ж, часть составляли несчастные невольники, или купленные на берегах африканских, или похищенные с матерой земли* Америки, куда агличане часто ездили за бесчеловечным сим промыслом.

Однажды несколько отважнейших из них зашли далее обыкновенного в лес, караибями обитасмый. Дикие напали на них с остервенением, мстя кровавые обиды, толико раз без причины им нанесенные. Большая часть европейских разбойников легла на месте, прочие разогнаны. Один молодой агличанин, будучи преследуемым дикими, успел укрыться в непроходимой чаще; но, спасаясь от стрел и дубин караибов, без сомнения рано или поздно погиб бы он с голоду, если бы счастье (часто благоприятствующее недостойным) не привело в то место чувствительную Зару, дочь и утеху старейшины близлежащего селения. Внимая одной только жалости, забыла она, что несчастный сей был заклявшийся враг ее соотечественников; умолчала о его убежище и сделала еще более: принесла ему пищи и старалась его утешить.

Сердце, имеющее вождем одну природу, не уклоняется от впечатлений ее. Зара, находя сладкое удовольствие в том, чтоб утешать и покоить Стрюмсона (так звали агличанина), посвящала ему все время свое.

Скоро неизвестный сей огонь, татски закравшийся в невинную и отверстую ее душу, переменил сострадание ее в жарчайшую любовь. Стрюмсон тотчас увидел победу, им сделанную, да и мог ли он не приметить ее, когда Зара не думала скрывать от него своей страсти? Она предавалась его вожделениям и, измеряя искренность Стрюмсоновых восторгов пламенною своею к нему любовью, находила себя в объятиях его сто раз счастливейшею. Злосчастная! Не ведала она, что жертвовала собою тигру, алкавшему крови ее! Не ведала она, что расточала ценнейшие ласки скидне, долженствовавшей скоро растерзать ее сердце! «Друг мой,—говорила она ему однажды, прижимая его к трепещущей своей груди,—друг мой! Я думала, что никто не будет мне милее храброго Цампо, отца моего, но ты мне стал милее его: душа моя покидает меня там, где тебя со мною нет. Воины наши враги тебе, а я... Ах! Ты не знаешь, как ты мне любезен».— две крупные слезы выкатились из глаз ее.

Между тем проходят многие месяцы, и Зара носит уже под сердцем залог несчастнейшей любви. В один день прибегает она в восторге к Стрюмсону: «Я принесла тебе радостную весть, храбрые наши усмотрели на взморье судно и хотят наутро, предупредя первые лучи великого светила, напасть на соотечественников твоих и истребить их; ускорим, ежели можно, ступай за мною! Я выведу тебя на берег и последую всюду за тобою, которого отныне называю и отцом моим и вечным моим другом...» Они идут поспешно и прежде вечера еще приходят на взморье. Корабль тотчас отваливает и в короткое время достигает Барбадоса. Едва Стрюмсон сошел на землю... я дрожу от ужаса и злобы, пишуци сие... едва сошел он, как продает Зару каменносердым своим согражданам, Зару, свою избавительницу, свою супругу! Взирая равнодушно на вопль и рыдания сей злосчастной жертвы своего корыстолюбия и лютоости, считает он с алчностью деньги, за нее полученные, и без наказания наслаждается плодом своего злодейства.

РОСТОВСКОЕ ОЗЕРО

Ainsi s'éteint tout se qui brille un moment sur la terre

Y. Y. Rousseau

В один из тех нежных часов, когда шум дня теряется в тишине ночи и животворная прохлада воздуха вливает чувство в самые мрачные души, когда милый бог сердец в веянии весеннего ветерка нашептывает тайну любви всем чувствительным существам, манит их парами на сладострастную мураву и устилает ее миртовыми и маковыми цветами; когда травки и цветочки, ручейки и рощицы, птицы и насекомые, и все, что ни есть в творении, в один тихий голос говорит: «Нежные сердца, любите!» — в один из тех неизреченно приятных майских часов прогуливался я по берегу Ростовского* озера² и, так сказать, окружал себя оными улыбающимися картинами счастья, оными сладостными мечтами воображения, которыми любим мы питать себя на заре жизни. Сердце мое, приятно растроганное, билось от томно-радостных восторгов своих, нежно-горестные слезы капали на туманную зелень и сливались с вечернею рососою; искры электрического чувства, которое на ту минуту казалось мне потрясающим все три царства природы, летели из моей груди и сверкали в пламенных моих взорах. На каждом шаге встречались мне прекрасные места, романтические убежища блаженства, цветущие берега, которые, может быть, ничто в сравнении с леманскими, прославленными Жаном Жаком Руссо и молодым Верном³, но на которых осмеливался я поселять новую Юлию, сам быть вторым Сен-Пре* и жить там с нею в тишине уединения посреди слабых существ, почерпнувших жизнь в источнике любви и удовольствия.

Таким образом, бродил я около часа, будучи углублен в самого себя, как вдруг ясный свет месяца пролился на мрачную поверхность воды и прервал нить моих приятных мыслей. Я поднял глаза на полную луну, которая с высоты лазоревого свода, сквозь черноватый флёр ночи, посребряла лучами своими темно-зеленую картину дремлющей природы,

¹ Так мгновенно гаснет все яркое на земле, Ж.-Ж. Руссо (*франц.*).

² Мимозедом прожил я тогда несколько дней в Ростове.

³ Я не имел счастья видеть сцены Верновой поэмы и Руссова романа.

поглядел вокруг себя на все ночные предметы, кои образовали нечто подобное безмолвной вечности, поглощающей жизнь человеческую, вздохнул раз, другой, третий, и радостное чувство души моей переменялось вдруг в горестное уныние. Мысль, что все сладчайшие мечты чувствительного сердца могут на одно мгновение превратиться в существенность и потом в другое — исчезнуть в хаосе небытия вместе с тем тленным существом, которого воображение их производило, — сия печальная мысль так живо мне представилась, что я погрузился на несколько минут в глубокую меланхолию, и слезы мои полились ручьями. Уже терялся я умом в неиспытанных судах того, кто располагает жребием человеческим, уже дух мой приобщался к теням ночи и мрака, как вдруг новый предмет обратил на себя мое внимание.

При слабом луче месяца, подле стены Яковлевского монастыря, неподалеку от меня и берега увидел я идущего молодого человека в черном фраке, с потупленным взором, с белым платком в руках. На худом и бледном лице его напечатлены были, казалось, смертельные удары судьбы; из томных глаз, от слез померкших, исходили последние лучи жизни и чувства; тяжелые вздохи, от минуты до минуты из груди его вырывавшиеся, показывали стесненное, болезненное, умирающее сердце. Когда он прошел мимо меня, не видя и не чувствуя ничего, кроме своей горести, когда я разглядел глубокую печаль, обитавшую в чертах его, то сердце мое замерло и слезы выступили на глаза. Чувство сострадания и некоторое любопытство, возбужденное видом сего несчастного, влекло меня вслед за ним. Мне хотелось узнать судьбу его, и сердце мое говорило, что она должна быть примечательна для чувствительного человека. Я пошел за ним и вдруг остановился, опасаясь огорчить его, ежели он приметит за собою незнакомого, коих нескромность обыкновенно бывает нам досадна, но после нескольких минут сомнения решился не отставать от него до того времени, пока откроется мне его тайна. Молодой незнакомец, подошедши к монастырской калитке, сказал нечто дремлющему сторожу так тихо и невнятно, что я не мог вслушаться. На его слова отвечал сторож также несколькими несвязными словами, произведшими грубый отголосок; и тотчас после того отворилась деревянная калитка, загремев железным кольцом своим. Тут хотел я опять воротиться, чувствуя некоторую робость, но, собравшись с духом, прошел тихонько внутрь обители и, против чаяния, свободно пропущен был монастырским Аргусом, который, думая, конечно, что я был один из ближних молодого человека, взглянул только на меня сонными глазами и захопнул за мной калитку.

В стенах монастыря царствовало мертвое молчание; высокие его башни заслоняли ночное светило; везде была ужасающая темнота, сквозь которую едва прорывался томный луч огня, светившегося в монашеских кельях. Куда ни обращались взоры мои и куда ни ступал я, повсюду казалось мне, что я заносу ногу в оную непроницаемую мглу, где кроются хладные остатки человечества; повсюду встречались мне унылые

обиталища мертвых, расседины надгробных камней, могилы, седым мхом обросшие, повсюду представлялся печальный образ разрушения — смерти и вечности. Я чувствовал в себе необычайный трепет, но, вооруженный твердостью и мужеством, продолжал идти за молодым человеком, не останавливаясь ни на минуту и только остерегаясь того, чтобы не сделать шуму ногами и не поселить в нем подозрение о моей близости. Едва ли нежная Евридика сама, следуя за влюбленным своим Орфеем, страшилась так его нетерпеливого взора, как боялся я в то время, чтобы не оглянулся на меня незнакомец.

Напоследок по узенькой дорожке, выстланной каменными плитками и простирающейся во всю длину монастыря, приблизились мы к невысокой гробнице, из белого мрамора сооруженной и слабо освещаемой тихо горящей лампадой. Молодой человек остановился, грудь его сильно поднималась и опускалась. Несколько минут стоял он неподвижен, устремив глаза свои на место, засыпанное землею; казалось, что смертное отчаяние, подобно как Ниобу, превратило его в камень. Но вдруг зарыдал он, зарыдал так, что самая земля послышалась мне под нами стеньшею, бросился на колени пред мраморным пьедесталом и закрыл платком лицо свое, как будто бы хотя удержать чрез то слезы, которые градом катились из глаз его. Холодный пот разлился по мне, я внимал жалобным его воплям, тем ужаснее звучащим в тишине мрака, и сердце мое содрогалось. Наконец, размученный сим плачевным зрелищем, сделал я несколько шагов вперед, чтобы оттащить несчастного от ледяного мрамора, к которому поминутно прикладывал он уста свои последним жаром любви горящие, но он в жестоком обмороке покотился к трясущимся ногам моим. С трудом мог я привести его в чувство. Опаматовавшись, открыл он слабые глаза, приподнял колеблющуюся голову, которую подержал я своєю рукою, поглядел на меня с некоторым удивлением, встал на ноги с моею помощью и, после двух тяжелых вздохов, сказал мне тихим, прерывающимся голосом:

— Молодой человек! Кто ты и начто возвращаешь мне скучную... горестную... несносную жизнь? Мне нельзя жить больше в свете, нельзя!.. А сегодня умереть или завтра, не все ли равно?..

Тут, вздохнув еще тяжелее прежнего и смотря в глаза мне, он продолжал:

— Но ты не знаешь, может быть, моего несчастья... верно, не знаешь!.. Смотри... здесь, под этим тяжелым камнем... в недрах сырой земли... в тесном и мрачном гробе... лежит... Нет! Я не могу выговорить этого ужасного слова!.. Не могу выговорить ее имени!.. Ах! Ты не знал, как она мила была, умна, прекрасна... была и вдруг... Я рвался над нею, проливал горячие слезы, целовал ее огненными устами, прижимал к пламенной груди моей, но не мог согреть холодных уст ее... студеной груди... замерзшей крови... То сердце, которое так нежно любить умело, которое билось столько раз вместе с моим сердцем... сделалось вдруг каменным, нечувствительным ко мне... к любви моей!.. А там положили

се во гроб, гроб опустили в землю, завалили камнем и... Но, несчастный, ты не трепещешь? Сердце твое не обливается кровью?.. Пусти меня по крайней мере... пусти к этому бесчувственному праху и дай умереть над ним!..

В ужасном испуге он хотел броситься к могиле, но я удержал его и осмелился ему сказать:

— Ради той, которую ты оплакиваешь, ради прежней любви ее, не мучь, не убивай себя!

— Ради ее,— прервал он с некоторою лютостью,— мне не убивать себя... Мне позабыть ту, которая так меня любила?.. Никогда, никогда!.. Ее нет, а я жив еще!.. А я еще не соединился с ней во гробе?.. Ах! Я и так гнушаюсь собою! Вонзите скорее нож в мою внутренность!.. Вылейте из меня перегоревшую кровь... раскройте сердце мое... змий, змий сосет его!..

Сии последние слова произнес он таким диким голосом и с таким свирепым взором, что все гробы, казалось мне, погрязли. Потом, когда горесть размягчила в нем окаменевшее чувство, он залился слезами; я молчал и не смел утешать его. Между тем глаза мои обратились на черные литеры, вырезанные на белом мраморе, и я прочитал следующую надпись: «Здесь покоится прах любезнейшей, прекраснейшей из женщин!» Немного подальше стояли еще сии французские слова из Руссовой «Элоизы»:

«Cette incomparable femme fut mere comme elle fut epouse, comme elle fut amie, comme elle fut fille, et pour l'eternel supplice de mon coeur c'est ainsi qu'elle fut amante»⁴.

Ничему нельзя уподобить чувство, которое произвела во мне сия последняя надпись; я пожал руку моего незнакомца и сказал с сердечным соучастием:

— Пойдем туда, где ты живешь, любезный молодой человек. Там мы вместе плакать будем...

— Ты хочешь со мною плакать,— прервал он с скоростию,— так и ты любишь ее?

— Люблю, люблю,— отвечал я.

— Ах! За это и я буду любить тебя, буду во всем, как агнец, тебе повиноваться...— сказал он, и слабая улыбка оживилась и умерла на пасмурном лице его, подобно быстрой молнии, которая сверкает во мраке и скрывается в черных тучах.

Мы взяли за руки и вышли из монастыря. Чрез полчаса, не говоря ни слова, приблизились мы вдоль берега к небольшой деревне, которая была в полуторе версте от Яковлевского монастыря. Луна скрылась за густое облако; все вокруг нас чернело, все молчало, кроме одного эха,

⁴ Сил несправленная женщина была матерью, супругою, другом, дочерью равно нежными и, к вечному терзанию моего сердца, была столь же нежною любовницею.

повторявшего дикий вой деревенских собак, на нас лаявших. На правой руке светился огонь. Новый мой знакомец повел меня туда, и через господский двор, обнесенный частым забором, пришли мы к низенькому домику. В сенях встретил нас старый слуга в длинном кафтане, со свечою в руках, низко мне поклонился, поглядел на своего господина, поцеловал полу его и пошел рядом с ним, смотря ему в глаза с нежною почитательностью. Молодой человек посматривал на него и на меня, печально усмехался и был подобен, хотя и солнечному, но ненастливому дню. Потом, повернув направо в небольшую комнату и обратясь ко мне, сказал:

— Вот то уединенное жилище, где я всякий день томлюсь и сохну; но где за год перед сим...

Тут ручей слез прервал его голос. Он не договорил еще последних слов своих, как престарелый слуга уже очутился перед ним на коленях. Седая голова его склонилась к коленям стоящего господина, спина скорчилась, одна рука повисла к земле, другая держалась за полу молодого человека. Сей последний наклонился и положил одну руку на плечо старика, который, почувствовав ее на себе, приподнял голову, взглянул на него и сквозь слезы сказал прямым сердечным языком:

— Барин, любезный мой барин!

Лица их сблизились, они бросились друг к другу в объятия, слезы их смешались и... Но я кладу перо и не смею продолжать сего слабого описания. Скажу только, что в сию минуту исчезло для них человеческое неравенство. Забыв все общественные различия, они обнимались как брат с братом, как человек с человеком.

После немого умиления и восторга, которые продолжались около двух минут, хозяин мой, пришед в себя и утишив в сердце своем бурю горести, предложил мне множество вопросов о моем роде, имени и жизни. Когда я удовлетворил оным, то он прочел любопытство в глазах моих и сам вызвался (ибо я не смел просить его) открыть мне все обстоятельства своей жизни, которая доселе была для меня загадкою. Но прежде того он предложил мне успокоиться: мы распрощались и оба легли на постелю. Однако сильное волнение в крови никак не позволило нам заснуть. Мы опять встали и вышли сесть на берегу озера, на котором стоял хозяйский домик.

Ночные тени исчезали пред белеющим светом, утренняя заря сыпала бледные розы по голубому небу, легкий ветерок струил синюю поверхность воды, вся природа пребывала в благоговейном молчании, которое от времени до времени прерывалось нежною мелодиею жаворонка, голосами поющих петухов и тихим звоном колокола. Мы также молчали, как будто бы подражая окружающим нас предметам, но молодой несчастливец, вспомнив свое обещание, сказал мне:

— Я согласен рассказать вам мою историю, а особливо в сии благословенные часы, которые утешают самый скорбный дух. Так,— примолвил он со вздохом,— мне кажется, что человеческое сердце может

осиротеть, может видеть все мертвым вокруг себя— все, кроме природы и творца ея...

Я подтвердил сие мнение, оправданное его опытом, и он начал свою историю.

— Минута моего рождения,— так начал говорить почтенный мой знакомец⁵, и сердечное чувство запечатлело все слова его в моей памяти.— была минутою и сиротства. Жизнь моя навлекла смерть дражайшей родительницы и несчастному отцу моему, который с печали чрез несколько дней за нею последовал. Хотя потеря эта не могла тогда быть еще чувствительна, но, казалось, что небо, лишив меня обоих виновников дней моих, единственных путеводителей юности, любезнейших людей в жизни, хотело чрез то ознаменовать меня печатью горести и злополучия. Однако ж благодетельная природа, как будто бы награждала меня за первые удары судьбы, была мне всегда вместо нежной матери и сама образовала дух мой средн сельской простоты, между добродушными людьми, которые, будучи последние из моей фамилии, любили меня, хотя, не имея знаний и просвещения, не могли воспитать меня по новейшей системе. Природа дала мне, если смею сказать, пылакое воображение, простое, но чувствительное сердце— самое приятное, но и пагубное свойство, которым она может наделить человека.

Чувствительность есть источник бесчисленных, неизъяснимых удовольствий, но вместе вызывает причиную и вечных, ничем не изгладимых горестей. Мне еще не было десяти лет, а я живо уже и глубоко чувствовал печали и радости, ежели не свои собственные, то чужие. Сердце мое было так сильно привязано к ближним моим, что один печальный взгляд их, одно печальное слово пронизало мне прямо в душу и производило в ней некоторое уныние, так как одна их радостная улыбка была для меня неоценным счастьем в жизни. Взгляните на сих беспечных и веселых птичек, которые с громким свистом вьются над головами нашими: они чувствуют радостное обновление природы и вместе с нею веселятся, но зашумят грозные бури, забушуют осенние ветры— и унылый крик бедных птичек раздастся по опустевшим рощам и полям. Вот точный образ тогдашнего положения души моей, которая вместе со всеми предметами, ее окружавшими, изменялась в чувствах своих! Я носил в груди своей источник меланхолии и любовь к уединению, хотя без ущерба семейственным и сельским удовольствиям.

Замерло сердце мое, когда мне сказали в первый раз, что я должен оставить тот дом, ту деревню, где я вырос, чтобы ехать учиться в Московский университет. Незирая на врожденное во мне любопытство, ни на открывающуюся охоту к учению, ни на самый дух наблюдения, который обращал мое внимание на самые мелочные вещи и предметы, незирая на все это, говорю я, мне казалось, что, прощаясь с добродушными людьми, меня воспитавшими, я прощаюсь со счастьем и покоем и

⁵ Читатели позволят мне умолчать о его роде и имени.

нигде уже не могу найти их. И в самом деле, в продолжение нескольких лет, проведенных мною в училище, осиротевшее сердце мое было чуждо всех радостей и утех: игры меня не веселили, общества не производили во мне никакого приятного чувства, самое товарищество юных моих сверстников было мне тягостно. Один дух мой питался изящными науками и рассматриванием природы в уединенных прогулках. Часто с книгою или с карандашом и пергамином в руках ходил я за город сидеть под древесными колоссами, уныло возвышающимися поверх стен Андроньева монастыря. Проливая там жаркие слезы о тленности всего подлунного, всего земного, кроме одной природы, думал о деревенских друзьях своих и каждое чувство сердца своего записывал на бумаге, чтоб после сравнивать печальные мысли с веселыми и тем глубже чувствовать радости.

Наконец, просветив разум свой, уловив сердце, возвратился я в объятия друзей своих в веселую деревню, в недра простоты и сиюковства. Научившись с Ньютоном познавать законы физического мира и с Попе моральную натуру человека, я скоро образовал систему всей жизни моей. Человек — точка в пространстве творения, думал я, муравей, ползающий по этой кучке, которую именуем мы землею; человек должен презирать блеск тщеславия, ничтожность светских предприятий, лживость людского мнения и стараться только об улучшении нравственного своего бытия. Служить человечеству и наслаждаться жизнию — вот правила, в которых, по моему мнению, заключается все благополучие! Нежная подруга, тихий круг приятелей, сельские удовольствия могут довольно наполнить душу нашу, и тогда не нужно будет прибегать для рассеяния ни к шумным беседам, ни к великолепным чертогам, ни к каким пустым и холодным ощущениям. Надобно быть счастливым, говорит какой-то философ древности, чрез себя самого и в самом себе.

Рассуждения мои были справедливы, но, к несчастью, скоро примешались к ним мечты разгоряченного воображения. Чувствуи уже в сердце своем теплоту того весеннего утра жизни, когда весь мир, как пышная роза, цветет пред глазами нашими и мы дышим на земле райским эфиром, возмечтал я, что есть твердое неизменное счастье и что, удалясь от источника нравственных зол, можно быть совершенно благополучным. Это пагубное предубеждение имело влияние на всю жизнь мою и вместе с ударами рока убило дух мой. Ах! Я не видал в заблуждении своем, что нет под солнцем ничего совершенного и что необходимое зло в естественном мире делает ничтожными лучшие человеческие предприятия.

Между тем сердце мое требовало решительного выбора: желало предмета, достойного любви своей. Образ новой Элоизы, прекраснейшего из всех существ, когда-либо воображением произведенных, обитал в душе моей и служил мне путеводителем в моем искании. Но сколько ни старался я ловить некоторые черты чувств ее между знакомыми девушками, не мог встретить нигде и ничего сходного с этою несравнен-

ною и во всем совершенною женщиною. Я подумал наконец, что никто не может осуществить мечты Руссова воображения, предмета моей чувствительности, и от этой печальной мысли унывал дух мой. Одиночество тяготило меня, сердце мое чувствовало мучительную пустоту, и днем и ночью тосковало о нежной сочувственнице. Ах! Мог ли тогда угадать я, что смиренная хижина, соломенная кровля вмещали в себе ту, которая для меня так, как я для нее, сотворена была и с которою мне одной душою жить и умереть надлежало.

Я решился для рассеяния путешествовать по любезному отечеству нашему, объехал интереснейшую часть его и возвращался уже через Ростов на милую свою родину, когда прекрасное местоположение этого города пленило глаза мои, и я остановился взглянуть на картину необозримого озера и заходящего вдали солнца. Ах! Было в мае месяце, навсегда памятным для меня, вчерашний день, и в тот самый час, когда вы меня встрстили подле монастырской стены. Половина дневного светила скрылась за шар земной, и последние лучи его скользили по краям горизонта и земли. С другой стороны светлый месяц возносился на голубое воздушное пространство и тихо потрясал серебряным венцом своим; звезды, подобно бриллиантам, сыпали искры. Бледные тени ночи, минутная тишина, следующая за дневным шумом, легкое дыхание востерка, тихо шевелящего каждую травку и каждый листочек, зеленые берега озера и прекрасные его окрестности, блеск прогоняемого стада, песни веселых поселян, оживляющие воздух,— все это привело меня в какое-то неописанное восхищение. Оно, казалось, было предчувствием близкого счастья и темным образом говорило мне: «Здесь найдешь ты то, чего ищешь!» В глубокой, но приятной задумчивости приблизился я к высоким башням Яковлевского монастыря, и тут только, как будто бы невольным образом, остановило меня чувство человеческой бедности. Воображение мое живо представило мне внутренность тех мрачных убежищ, где тысяча чувствительных существ, друг для друга сотворенных, предаются в богоугодном своем намерении вечному сражению с своими страстями, вечному одиночеству, с одним творцом разделенно... Я вздохнул и пошел далее, но что же вдруг представало глазам моим?

В нескольких саженьях от берега, под густою ивою, сидела на траве молодая крестьянка. На ней была праздничная цветная телогрся, из-под которой, казалось, хотела вырваться полная, высокая грудь; на голове, вместо кокошника, лежал вильковый веноч, из-за него развсвались по плечам черные волосы, переплетенные зелененькими листочками. Голубые глаза ее⁶, подобно звездам ночным, сверкали томным огнем, на щеках переливались из цвета в цвет румянец и белизна, на устах расцвела розовый поцелуй; казалось, что это была богиня любви во образе какой-нибудь альпийской пастушки. Но сквозь самый блеск

⁶ Предупреждал критиков, требующих для черных волос черных и глаз, мы скажем, что натура не сообразуется иногда с их правилами.

красоты ее видно было стесненное сердце, изнемогающее под бременем молчания и печали. Подгорюнившись правою рукою, держала она в левой развернутую книгу (представьте себе мое удивление!)— читала несколько минут, уныло взглядывала на синие волны, вздыхала и опять принималась за книгу. Простая, но тонкая одежда и нечто, превышающее ее низкое состояние, меня поразили.

Я стоял восхищен, неподвижен, безмолвен, любовался на лице ее чертами красоты и чувственности, воображал себе вторую Элоизу и не знаю, что бы сделал в беспамятстве и восторге, ежели б она в то же самое время не встала и, услыша за собой шорох, не оглянулась. Взор ее встретился с моим взором, нежная краска стыдливости покрыла лицо ее, и после приятного поклона, за который бы отдал я жизнь мою, она потупила глаза и тихими шагами от меня удалилась. С огненным чувством, с бьющимся сердцем смотрел я вслед за нею, смотрел на ее стройный стан, на прекрасный рост и, так сказать, терялся в приливе мыслей своих. И это крестьянка?.. И она читает книги?.. Нет!.. Она не родилась в этом состоянии. Может быть, она была несчастлива... от любви и... ах! Так сердце ее любило уже?.. Оно, конечно, истощилось и за пламенный жар мой может заплатить только холодным чувством соболезнования... Но к чему такие заключения?.. Для чего не надеяться, что мы будем когда-нибудь любить друг друга, будем, верно, будем!— Вот мысли, которые тогда волновали душу мою! Любезный молодой человек! Ты, конечно, любил один раз в жизни, испытал всю силу того симпатического чувства, которое внезапно в нас вкрадывается и влечет сердце наше к другому предмету, без всякого рассуждения и рассмотрения; итак, тебе нетрудно будет поверить, что при первом изгляде и с одного раза влюбился я в милую крестьянку и с тихим удовольствием предавался нежным мечтам своим.

Между тем неизвестность о судьбе ее меня мучила; мне хотелось узнать чего бы то ни стоило обстоятельно ее род и имя, и потому я решился идти просить ночлега на том самом дворе, куда, как я видел, она скрылась. С надеждою в сердце, утешительницею всех влюбленных, но с мятущимся духом постучался я у ворот и ожидал в чрезвычайном беспокойстве, чтобы кто-нибудь прише, пришел открыть мне их. Я дрожал, не зная сам отчего, глядел сквозь щели рассеявшихся досок, прикладывал к ним ухо, но долго не видал и не слышал ничего. Вдруг послышалась чья-то походка, и этот шум, вместе со скрипом отворившихся ворот, подобно электрическому удару, потряс во мне весь нервный состав. Вышла престарелая крестьянка, впустила меня на двор и по чистой лестнице привела в большую светлицу, где за четверугольным столом, накрытым белою скатертью, сидело многочисленное семейство. Пар горячего кушанья и дым догорающей лучины, мешаясь с мраком глаз моих, застилали белым облаком все передо мной предметы. Взор мой тихонько искал симпатического взора и сквозь всю мрачность горницы приметил прекрасный образ той, которую тогда узнал бы я между

тысячами. Она сидела посреди маленьких робятишек и седого старика, который при входе моем приподнял голову и с ласковою улыбкою сказал: «Милости просим, добрый барин, покушать нашего хлеба и соли!»

Я подошел к столу, поклонился старику, а особливо милой незнакомке, и сказал первому робким голосом, что я проезжий и желал бы переночевать у него. «Изволь, изволь, барин,— отвечал он,— мы всегда рады добрым людям!» Тут пошептал он что-то на ухо моей красавице, и красавица с потупленными глазами, с пламенным лицом вышла из-за стола. Между тем и прочие все отужинали, встали и помолились на маленький образ в правом углу комнаты. Старик сел рядом со мною на дубовую лавку.

— Ты мне кажешься доволен своим состоянием, старичок?— спросил я его.

— Благодарю царя небесного,— сказал он,— мы живем весело и счастливо; но счастье наше принесла нам эта бедная сирота, которая теперь вышла. Сам бог послал ее к нам. Два года тому назад пришла она сюда в деревню— не знаем откуда— мы ее призирили, и с тех пор все спорится в доме нашем. Ежели б ты видел, барин, как она рукодельна, умна и добра! Как она ходит за нашими робятишками, как утешает нас в печали и как радуется нашей радости! Одно нам только горе, что она всегда под вечер бродит по темным рощам, сидит на берегу ручейков, грустит там и часто горько плачет. Сколько раз заставляли мы ее в слезах и как бога просили сказать, что так ее крушит и печалит, но она только вздыхает по слова наши и всегда отмалчивается.

— Бог ведаст, что это такое!— прервала старуха, в углу сидевшая,— все ее веселие в том, чтобы сидеть одной, думать, читать какую-то книжку и учить чему-то вот эту двенадцатилетнюю девчонку...

Но тут отворилась дверь, и сама Анята (я узнал уже имя моей героини) вошла с чистою кринкой молока. Руки ее приметным образом дрожали, и грудь сильно поднималась и опускалась, когда она положила передо мной деревянную ложку и отрезанный ломоть хлеба. Трепещущим голосом поблагодарил я ее за услужливость и принялся за молоко, но мысли мои во все это время были заняты одним предметом. Мне казалось, что все примечали мою робость и замешательство, и оттого не смел я прямо глядеть на красавицу. Изредка и одним только глазом примечал я, как она стояла подле робятишек и стариков, притворялась очень занятой разговорами и тихонько из-за них на меня выглядывала. Иногда взоры наши встречались, и мы оба краснели.

Ужин мой скоро кончился, и разговор с стариками возобновился. Старые люди любопытны, они хотели знать, кто я, откуда и куда еду, есть ли у меня отец, мать и прочее, и мне надлежало удовлетворить их любопытство. Когда я им все о себе рассказал и они услышали, что со мною много книг, то старуха оборотилась к Аняте и сказала ей: «Вот бы ты показала барину свою любимую книжку! Ведь он, я чаю, говорит по-французски». Анята пришла в замешательство, а это поселило во мне

необычайную робость. Однако ж я собрался с духом и попросил ее назвать мне свою книгу. Она отвечала мне с скромною стыдливостью, что на ту пору позабыла название, как вдруг из угла комнаты закричала двенадцатилетняя девочка, что книжка ее тут, прибежала с нею и подала мне — «Новую Элоизу». Судите о моем удивлении! Я тотчас бросил взор на милую читательницу, которая, казалось, в огне горела, и робким голосом начал с нею разговор. Вы можете представить себе мое восхищение и изумление, когда я услышал, что она говорит самым чистым французским языком, говорит с таким чувством и красноречием, что сам Руссо, творец Элоизы, не постыдился бы рассуждать с нею о прекрасном своем романе. Щадя стыдливость молодой девушки, мне еще совсем незнакомой, я не смел требовать ее доверности, но сердце мое хотело, казалось, выпрыгнуть из груди моей, переселиться в ее сердце и похитить там священную тайну ее жизни.

Разговор наш продолжался около часа, и я не знаю, до чего бы мы договорились, ежели б старик не взял жену за руку и со мною не распрощался. За ними пошла Анюта. Божественный взор и небесный голос ее исчезли передо мною подобно какому-нибудь величественному феномену природы, который является на один миг и исчезает в воздушных пространствах. Однако ж с веселым духом лег я на деревянную лавку, воображая, что нахожусь под одною кровлею с милой красавицей и что только одна деревянная перегородка нас разделяет. Воображение мое перелетало и то пространство. Без Рубенсовой и Рафаэлевой кисти писало оно живые картины пред моими глазами. Я видел на мягком и счастливом пухе, под эгидою элоизиной добродетели покоящегося ангела с Юлиным сердцем, с улыбкою на устах, с разгоревшимися щеками; на прекрасном лице, образованном самими грациями, напечатлены были черты дианиной невинности; грудь, подобная фидиасову рельефу, играла под тонким полотном, ее покрывающим; вокруг цвели розы; над их лучечками порхал божественный птенец в виде крылатых сновидений. В неизреченном восторге наслаждался я открытыми передо мною прелестями, вдыхал в себя сладкое дыхание красавицы, впивал в сердце всеми чувствами нектар уст ее, почерпал в ее глазах лиующееся из них пламя и насыщался каждым взором, каждым вздохом, каждым ее движением. В груди моей пылала страсть, сердце трепетало, мысли волновались, и во всю ночь вместо сна видел я беспрестанно пред собою милую незнакомку.

Едва утренняя заря показалась на небе, я встал, вышел на то место берега, где за несколько часов перед тем увидел моего ангела и почувствовал всю цену жизни. Образ ее оживлял в глазах моих красоты весеннего утра и синеегоющегося озера. Все предметы вокруг меня дышали нежностью и беспрепятственным о ней напоминанием, питали тайный огонь в душе моей. На каждой травке, на каждом листочке видел я голубые глаза и черные волосы. Чувства моего сердца летели по следам красавицы и пламенною рекою изливались перед той блаженной хижин-

ной, где она заключалась. Долго манил я себя надеждой, что она придет сидеть на берег озера; долго ожидал ее с необычайным трепетом и страхом, производимом во мне малейшим шорохом — движением листочка и шумом ветерка, и наконец отчаялся видеть ее тут, как вдруг раздался звук свирели, заскрипели ворота, и я увидел Анюгу в утреннем уборе, выгоняющую стадо свое. Она препоручила его общему пастуху, а сама приблизилась к озеру, оглядываясь вокруг себя и как будто ища чего своим взором, но вдруг, увидя меня, пришла в замешательство, покраснелась и хотела назад идти, как я остановил ее своим вопросом.

— Мне бы очень хотелось знать, — спросил я дрожащим голосом, — кого вижу я в образе такой прекрасной крестьянки?

— Вы в самом деле видите крестьянку, — отвечала она, еще более покрасневшись и потупив глаза свои в землю.

— Нет, нет, — вскричал я с сердечным чувством, — ты рождена не крестьянкою, но...

— Вы, конечно, шутите, — прервала она с скоростию.

— Я говорю правду, — продолжал я, — где может крестьянка выучиться читать Элоизу, выучиться так нежно чувствовать?

— Добрые люди, — сказала она, — могут выучить читать и писать, а чувствовать умеет и всякая крестьянка. Поверьте, что наши сердца не без чувства и жизнь наша не без удовольствия! Я по крайней мере благодарю бога за то, что родилась (тут голос ее немного прервался) в таком состоянии, в котором можно всегда веселиться и радоваться. Тихое жилище, простая пища, кроткие подруги, тенистые деревья, зеленая травка, поющие птички — все это очень приятно, особливо тогда, когда оживляется...

Она не договорила слов своих, глаза ее засверкали, щеки, как румяная заря, пылали, чувство сердечной нежности мешалось на лице ее с чувством девической стыдливости. Священный жар, которым она дышала, пролился и в мою душу; не кровь, но пламя потекло в жилах моих, и по глубине сердца далеко отзывался ее божественный голос. Мне нельзя уже было противиться влечению какой-то неизъяснимой силы; забыв все, — все, кроме стоящего передо мной божества, бросился я на колени и воскликнул: «Ты овладела душою моею... и я твой навеки!» Она затрясаясь, вскричала «боже мой!» — хотела уйти, но ноги ее подкосились. Она упала на мои руки и после минутного молчания, сквозь теплый ручей катящихся слез произнесла прерывающимся голосом: «Люблю тебя!..» Милосердный творец! В эту минуту душа моя наслаждалась небесным блаженством, утопала в море сладостей! Я заключил в свои объятия любезную — на сердце моем слышно было биение ее сердца, каждый вздох ее влетал в грудь мою и вырывался оттуда с моим вздохом, ее и мое имя попеременно умирало то на ее устах, но на моих... Но я молчу и оставляю вам чувствовать эту сцену, ее описывать невозможно.

Когда утихли первые волнения, первые восторги взаимной любви, когда сердца наши излились в пламенных чувствах, в нежных признани-

ях, в сладких слезах, тогда невинным поцелуем запечатлели мы священную клятву вечно жить друг для друга. Я открыл ей тайну моей жизни и по взаимной доверенности вошел в святилище ее сердца: она рассказала, что обязана жизнью одной крестьянке и богатому дворянину, который, увидя в ней оживающий образ покойной ее матери, воспитал ее со всею родительскою горячностью и блестящею пышностью света и хотел оставить ей в наследство все свое имение. Это возбудило зависть в ближних родственниках, и в корыстолюбивых душах их поселилась злоба к невинной. К несчастно, скоропостижная смерть пресекла дни бедного отца, и злополучная сирота осталась без помощи, без пропитания, без утешения. Гонимая родными, обременяемая посрамлением, лишенная всего, чем можно жить в свете, но имея чувствительную и возвышенную душу, она решилась оставить безумных, несправедливых, жестоких людей, скрыть воспитание свое под крестьянской одеждой и возвратиться сюда — на свою тайную родину, где могла питаться трудами рук своих и пользоваться в тихом жилище невежества всеми выгодами просвещения.

Не буду говорить вам о горьких слезах, пролитых ею о несчастном своем рождении, ни о тех чувствах, которые производил в ней этот переход от высокого состояния в низкое; скажу только, что она так, как и я, искала нежного друга души своей в тихие ночи при свете месяца в уединенных прогулках, забывая сон и спокойствие. Симпатия сотворила нас одного для другого, она сама и сблизила нас.

После нескольких часов разговора, быстро для нас пролетевших, возвратились мы к добрым старикам, объявили им радость свою и вместе с ними назначили день соединения браком, тайно от родных наших. Я сообщил ближним моим решительное намерение остаться жить в Ростове и, истребовав от них небольшое наследство, мне после отца моего доставшегося, заключил при священном алтаре неразрывный союз свой, переселился в этот маленький домик, тогда же мною купленный, и послытил себя совершенно тихой и приятной жизни, украшаемой милою супругою, и воспитанию Софии, одной двенадцатилетней девочки, которую, как вы прежде видели, взяла Анята еще до меня, чтобы чувством материнской привязанности наполнить пустоту своего сердца. Дни наши протекали в радости и счастья. Мы гуляли рука в руку по светлым берегам озера, отдыхали на мягкой траве под густыми теньями, внимали сладострастному шуму ручейков и приятному пению птичек, — говорили с внутренним умилением о том времени, когда малютки наши будут перед нами резвиться на зеленом лужку, взглядывали один на другого со слезами и в сладостном упоении твердили друг другу: люблю тебя!

Между тем прошло лето, наступила печальная зима и вместе с нею тот нетерпеливо желаемый день, когда от нежнейшей любви должен был произрасти нежнейший плод, цвет супружеского союза. Но увы! Провидению не угодно было счастье наше. Уже молодая моя роженица

приближалась без опасности к благополучной минуте разрешения, уже все готовились праздновать нашу радость, уже велено было подать торжественный сигнал тогда, когда еще одно чувствительное существо прибавится к числу прочих земных существ, как вдруг! — О горестное воспоминание! Вместо радостного знака услышал я такой жалобный вопль, что самые стены той комнаты, где я сидел в нетерпении, казалось, вместе со мною потряслись и застонали. До той минуты был я спокоен, как и все домашние, ничего не боялся, ничего не предчувствовал; но тут, как будто бы сквозь тонкий сон, увидел тень печальной сущности, и возможности меня устроили. Первое мое движение было броситься к комнате моей родильницы; двери отворились, и что же встретили смущенные мои взоры? Несчастная Анюта родила мертвого младенца, с чрезвычайною мукою и болезнию, и лежала без памяти, без всякого почти дыхания. В глазах ее угасало пламя чувства, на лице замирал живой цвет, последние силы жизни боролись с последними приступами смерти. Она томилась, испускала вздох за вздохом, владела более и более, перевела свой дух в последний раз и, наконец, о! — ужасная минута — перестала дышать и чувствовать.

Вместе с ее последним взором, вместе с ее последним чувством лишился и я памяти и силы. Пришед в себя, бросил я отчаянный взгляд вокруг себя, и вся природа показалась мне мертвою. Я облобызал последние остатки того холодного тела, где некогда заключалась другая часть души моей и где само божество вместе со мною дышало; предал его земле, со слезами моими смоченной, и воздвиг над ним печальный памятник с надписью, ее достойной. С тех пор исчезла для меня вселенная, люди чужды моему сердцу и жизнь тяжким бременем тяготит душу мою. Я брожу уныло по рощам и лугам на заре дня и во мраке ночи. Повторяю себе в мыслях, что нет ее, и стремлюсь во мрак ничтожества, во мрак тех неизвестных и таинственных мест, где пребывает другая моя половина. Единственная отрада моя в том, чтобы рыдать над ее прахом и молить там небесного утешителя о вечном нашем соединении. Сказать ли вам печальную истину? Несколько раз покушался я отнять жизнь у себя, но добрый старик, которого вы видели, мени от этого удерживает. Мысль, что мое самоубийство будет причиною преждевременной смерти его, тяжкими узами привязывает меня к жизни. Ах! Будем жить, пока мы полезны на земле хотя одному человеку.

Тут молодой несчастливец замолчал и погрузился в мрачное уныние. Я глядел на него и обливался слезами. Тот день провели мы вместе. На другое утро я с ним простился и с стесненным сердцем поехал домой.

ПРЕКРАСНАЯ ТАТЬЯНА, ЖИВУЩАЯ У ПОДОШВЫ ВОРОБЬЕВЫХ ГОР

Повесть

В прекрасное майское утро молодая сельская красавица стояла на берегу Москвы-реки у подошвы Воробьевых гор и с милою улыбкою глядела вслед за легким челночком, который, рассекая волны, удалялся далее и далее от берега. В челночке сидел старец, покрытый сединами, и правил сам веслами хотя слабою, но еще искусною рукою. Взоры его, к берегу обращенные, отвечали казалось, на улыбку красавицы, и безмолвное, но ясное выражение их чувства оживляло еще более всю природу и украшало еще более прелестную. Скоро лодка исчезла из виду, одни легкие бразды, проведенные веслами, являли следы ее взорам молодой поселянки. Она села на песчаном берегу реки и не переставала еще глядеть на ту сторону, где скрылся предмет, любезный для сердца; казалось, что веселые ангельские взоры ее ласкали и след милого старца, и кристалл светлой реки, где образ ее совершался, и все предметы в природе, которыми она тихо восхищалась во глубине души своей, не предчувствуя, что син предметы всего более украшались блеском ее прелестей. На сей раз не лицо, цветущее молодостью и красотою, не темно-русые волосы, развеваемые тихим зефиром, не стройный и легкий стан грации могли пленить в ней взоры и сердце чувствительного человека, но сладкий образ невинности, напечатленный во всех чертах ее, но милое выражение взора, полного любви и чувствительности; но счастливая улыбка на устах, которая показывала сердце покойное, ясное и не знакомое с бурями жизни человеческой.

Между тем как, устремив взоры на быстрые волны, она летела, казалось, за ними сердцем и душою, Мельтон, молодой знатный человек, прогуливаясь по скату Воробьевых гор, вполголоса пел пастушеский романс и неприметно приближился к тому месту, где русская поселянка, может быть, прекраснее всех аркадских пастушек, милее всех Флориановых Эстелл, представляла картину, достойную кисти новых Тсоокритов и Геснеров. Но явление простой крестьянки едва привлекло внимание городского жителя; едва он не прошел мимо, не удостоив ее и одного взгляда... увьи! ему надежало дорого заплатить за сие холодное презрение. В ту самую минуту, когда он быстрыми шагами пробегал мимо сельской красавицы, красавица оглянулась, и взор ее, подобно молнии,

поразил гордого юношу, и движение ее, как талисман волшебный, удержало быстроту шагов его. Он остановился на одном месте, думал, как человек, изумленный внезапным небесным явлением, и наконец, после нескольких минут молчания, приблизился к незнакомке и сказал ей робким голосом:

— Здравствуй, красавица!

При имени красавицы скромная стыдливая поселянка потупила глаза в землю; но встала, поклонилась и отвечала твердым голосом:

— Здравствуй, насмешливый барин!

— Я не смеюсь,—повторил молодой человек,—ты в самом деле прекрасна! Неужели ты этого не чувствуешь, не знаешь?

— Я знаю только,—отвечала поселянка без всякого притворства,—работать днем в огороде, веселиться вечером в хороводах и любить всего более на свете моего милого батюшку и моего милого Филиппа.

— Как, ты так молода и ты уже замужем?

— Нет, сударь, я не замужем, но у меня есть жених, которого выбрал мне отец мой и которого после него нет мне ничего милее.

— Счастлив Филипп, что он нашел себе такую прелестную подругу!

— Нет, барин, нет! (и при сем слове огненный румянец вспыхнул на лице милой невинности). Он берет меня за себя не за пригожество лица, не за богатство приданого, но за доброе имя, которое нажила я по милости и старанию моего батюшки.

— Как называют тебя, умная, добрая девушка?

— Татьяна.

— Где ж твое жилище?

— Видите, сударь, эту хижину под горою, там живет со мною отец мой... у меня нет матери... а милый Филипп мой, московский мещанин, имеет свой дом на Полянке, за Москворечьем... Я часто бываю у вас в Москве... Мне кажется, что нет во всем городе улицы веселее и лучше Полянки... Но я заговорила с тобою, барин, прости, сударь, прости! Мне время домой идти.

— Нет, красавица! Проводи меня к твоему отцу, я хочу с ним познакомиться.

— Его нет, сударь, дома, он поплыл недавно в лодке к жениху моему за некоторыми делами.

— Жалею! Между тем прими от меня в подарок этот кошелек (тут Мельтон покраснел и смешался) в знак участия, которое беру в твоём счастье.

— Благодарна, добрый барин, благодарна! Бог наградит тебя за то, что ты наделяешь бедных неимущих людей; но как же батюшка обрадуется, когда я скажу ему об этом благодетелии, он, который горевал вчерашним вечером, что у него неостанет денег на свадебный пир? Прости, добрый барин, прости.

При сем слове прекрасная Татьяна, с лицом, на котором сияла сердечная веселость, побежала к своей хижине и вмиг скрылась с глаз

молодого человека, плененного ее красотой, невинностью и душой, сотворенной для любви и нежности. Несколько раз он покушался идти всецело за нею, и несколько раз доброе расположение сердца его удерживало. Наконец он сел на берегу реки, вздохнул и задумался... Размышляя, что едва ли не один блеск наружной красоты привел его в упоение и что в удовольствии тайных желаний нет никаких средств, кроме самых непозволительных, Мельтон сам стыдился новых движений души своей. Сей молодой человек был рожден с великими страстями; огонь пылкой любви легко воспалил его чувства; но и благородный энтузиазм добродетели никогда не угасал в его сердце.

Долго он сражался с самим собою, победил на час волнение чувств своих, и, бросив быстрый взор на кровлю хижины, которая в недалеком расстоянии от него стояла красиво на берегу Москвы-реки и влекла его к себе с тайною необыкновенною силою, он удалился скорыми шагами от сего опасного места.

Между тем как Мельтон возвращался домой с мрачным и задумчивым лицом, Татьяна явилась в светлой своей хижине с радостною улыбкою, положила за образ кошелек с деньгами и села под окно подрубать кисейный платок для милого своего Филиппа. Через минуту она выглянула из окна и увидела к берегу приближающуюся лодку, в которой сидел отец и жених ее. Выбежать из хижины, перелететь пространство, которое ее отделяло от двух любимейших существ в мире, прижаться к сердцу нежного родителя и приласкать взглядом милого жениха — была для нее одна минута, но минута блаженная! Любовь в юном сердце, украшенная прелестью добродетели и освященная печатью родительского согласия, есть чувство самое живое и самое сладкое. Прелестная Татьяна имела удовольствие любить не во мраке таинства, но перед лицом всего света; могла смело ласкаться к любезному ей человеку и читала в глазах родителя то приятное одобрение, без которого нет счастья для сердец чувствительных к гласу природы. Радость свидания была на сей раз непродолжительна. Филипп, взяв ласково за руку прелестную невесту, сказал ей:

— Милая Татьяна! Едва увиделись мы, и нам уже надобно расстаться! Я хотел тебя видеть сего дня хотя на одну минуту, но дела нужные зовут меня в город. Ах, Татьяна! Дождусь ли того времени, когда мы будем неразлучны под одною кровлею, в одном городе?..

Татьяна не дала договорить ему более и, следуя непреодолимому влечению сердца, бросилась в его объятия; но вдруг, как будто бы вспомнив, что день соединения с любезным человеком должен быть для нее днем разлуки с другим человеком, не менее любезным ее сердцу, она бросила трогательный взор на престарелого отца своего, и в сию минуту слеза нежной чувствительности капнула из глаз ее. Добрый старец обтер дочерние слезы рукою отеческою, обнял ее с горячностью и с сожалением напомнил Филиппу, что дела его не терпят времени. Жених простился с невестою, с тестем; Татьяна проводила его глазами как могла

далее и наконец, взяв отца за руку, возвратилась с ним в хижину тихо и безмолвно.

Ступив на порог хижины, Татьяна вспомнила о подарке молодого господина, бросилась вперед и вынесла навстречу к отцу кошелек, вышитый золотом и полный деньгами. Семен— имя отца ее— раскрыв кошелек и увидя кучу империалов, едва не выронил его из дрожащих рук своих. Какое ж было изумление Татьяны, когда вместо радости, которую она ожидала читать в глазах родителя, на лице его изобразилось изумление, неприятность и некоторый род сомнения! Выразительное его безмолвие требовало от нее изъяснения. Татьяна начала со всею смелостию невинности рассказывать встречу и разговор с молодым, знатным баринном, но кончила с некоторою робостию, ибо она заметила, что лицо старца чувствительно переменялось. В самом деле, гнев пылал в глазах его; он устремлял на нее попеременно быстрые проницательные взоры, и бедная Татьяна с ужасом увидела в первый раз в жизни, что лицо родительское выражало не чувство любви и нежности, но чувство негодования. Несколько минут продолжалась между ими безмолвная сцена, но скоро гневный вид старца смягчился; другой выразительный взор проник во глубину дочернего сердца; он тихо вздохнул (и в сем вздохе излилась, казалось, вся тяжесть, угнетавшая его душу), взял дочь за руку и сказал ей нежным мягким голосом:

— Нет, Татьяна, нет! Ты не погубишь моей старости, ты не покроешь пятном мою седую голову, ты не омрачишь стыдом и бесчестием остаток жизни чистой перед людьми и богом. Я спрашивал твое сердце; оно мне отвечало: я покоен.

Последние слова старца вывели бедную Татьяну из недоумения; слезы, долго удержанные на сердце, полились наконец из глаз ее быстрыми ручьями; она воскликнула с трогательным умилением:

— Батюшка! Как мог ты подозревать меня и на одну минуту в порочном поведении, которым ты научил меня гнушаться? Разве нет у меня милого друга? Разве не всего дороже для меня спокойствие моего родителя? Нет! Перестав только любить тебя, перестану любить добродетель.

— Дочь моя!— возразил старец.— Люби добродетель, но берегись... и порока... Берегись и того, дочь моя, чтобы не подать на себя подозрения другу сердца... Наружность обманчива... следствия и самого несправедливого подозрения могут быть ужасны... Так, например, и в теперешнем случае, я боюсь за тебя... Жених твой, узнав о подарке молодого господина, может...

— Может,— перервала Татьяна с благородным уверением,— усомниться в моем сердце? Никогда! никогда! Он любит меня; он знает, что я люблю его и он уверен в моем сердце.

— Дай бог,— сказал старец со вздохом,— дай бог...— не договорил ничего более.

При сем слове он обнял дочь, и сладкое примирение заключило первую в жизни размолвку любимейшего из отцов с любимейшею дочерью в свете.

На другой день—было воскресенье—Семен пошел с Татьяною в одно ближнее селение, чтобы отслушать там обедню и зайти в гости к доброму приятелю. Проходя через улицу деревни, в которой их не один раз видали, они приметили с изумлением, что толпа народа выбегала со всех дворов к ним навстречу, заглядывали в глаза бедной Татьяны и, с лукавою усмешкою на нее указывая, перешептывались с значительным видом. Татьяна, невинная в сердце, краснелась и робела, как преступница, видя стечение народа вокруг себя и слыша пересмешки злых людей; но престарелый Семен презрительным и в то же время мужественным взором удалял дерзких и стыдил лукавых. Наконец, чтобы избежать сего позорища, он решился, не заходя в церковь, идти прямо к знакомому поселянину. Сей последний встретил гостей с ласкою у ворот своего дома; жена его ввела Татьяну в избу, а он остановил престарелого Семена на дворе и, отведа его в сторону, сказал ему вполголоса:

— Добрый знакомец! Я хочу исполнить долг приязни и упредить тебя о важном слухе. Одна злая женщина, известная в околотке искусством клеветать добрых людей, рассказывает везде, что она видела дочь твою стоящую с молодым городским баринном; что этот барин подарил ей кошелек, полный деньгами, и что твоя Татьяна несла его под полюю до самой хижины и там спрятала под завалиною. Мне известно беспорочное поведение твоей дочери. Я ничему не верю, но другие могут усомниться. К тому же ты знаешь, что многие в окружности завидуют красоте, добродетелям и счастью любезной твоей Татьяны; уже многие дерзают порочить честь твоей дочери. Итак, приятель, спеши упредить действие клеветы. После чистой совести доброе имя всего дороже на свете.

Старец, выслушав его, задумался, но скоро с благородным мужеством отвечал:

— Злословие недостойно опровержения!.. Не унижусь до того, чтобы оправдывать добродетельную мою Татьяну в глазах недостойных людей... Так, я уверен, милая дочь моя не будет никогда преступницею, никогда язык ее не изменит ее сердцу.

Потом, рассказав хозяйину все, что было истинного и ложного в народной молве, он возвратился с ним к хозяйке; там пробыв только несколько минут и сказавшись больным, он спешил возвратиться домой от какого-то беспокойного, тайного предчувствия. На пути отец с нежною бережливостию открыл дочери тайну народной наглости. Добрая Татьяна содрогнулась от ужаса, слыша выдумку дерзкой клеветы и видя первый опыт несправедливости человеческой, но, вооруженная твердостью невинности, сказала:

— Батюшка! Что мне нужны до людских переговоров? Лишь бы только невинность моя была очевидна для бесценного родителя и для

милого Филиппа... Ах! Поспешим домой, там, верно, ожидает нас друг моего сердца! С ним забуду и прискорбля жизни, и злобу людей, и обиды наглых — все, все на свете, кроме родителей и друга моего...

В сию минуту небесный луч блестел в глазах красавицы; лицо ее, по сердечному внутреннему чувству, оживлялось выражением счастья; и чувствительный старец, следуя за каждым ее движением, сам чувствовал небесную радость в душе своей и забывал на час горести земные.

Скоро они приближились к своему жилищу. Напрасно прелестная Татьяна, с огненным румянцем, более и более разгорающимся на щеках ее, облетала нетерпеливым оком все холмы и равнины, лежащие вокруг их хижины, все скрытные убежища, заросшие лесочками и кустарниками, все отдаленнейшие изгибы обширной Москвы-реки; напрасно взоры ее, полные огня и нежности, звали отовсюду милого друга сердца — сей милый друг не откликался на голос любви, не видал взора чувствительности, не являлся к объятиям ангельской невинности. «А это тот час, — думала она, — это тот час, в который он всегда посещал нас; беседовал с моим родителем и утешал мое сердце». При сей мысли сердце Татьяно сильно затрепетало, прелести весенней природы помрачилось в глазах ее; шум Москвы-реки, которая волны некогда ее так веселили, показался ей на сей раз унылым и беспоконным.

— Батюшка! — сказала она. — Укроемся в нашу хижину; день что-то пасмурен; посмотри, как Москва-река сильно волнуется и, конечно, предвещает нам бурю.

— Так, бурю, — отвечал с горестию старец, — я предчувствую ее; но да будет воля господня!

Опытный муж предвидел в самом деле, что страшный гром не с неба, а с земли грозит им из отдаленности. Он читал в сердце дочери и делил ее беспокойство. Они вошли в хижину: это был час обеда. Татьяна стала накрывать стол, и когда надобно было оставить пустым то место, где садился обыкновенно жених ее, она скрыла от отца лицо свое, по которому катились слезы. За обедом царствовало безмолвие; сердце изливало горечь свою и на самую пищу; принуждение, замешательство и попечение скрывать внутреннее беспокойство прибавляло к ужасу положения.

После обеда огорченный старец вкусил минуту сна и спокойствия, а бедная Татьяна села одна в угол с тоскою сердца. Рука ее, следуя некоторому движению, близкому к досаде, опустила оба окна в хижине; но между тем, как будто бы невольным образом, она взглядывала тихонько на Москву-реку и прислушивалась к каждому движению. Иногда казалось ей, что лодка пристает к берегу, что на дворе раздастся топот ног, что дверь скрипит и отворяется: в сии минуты надежда заставляла сердце ее биться несказанно; но скоро заблуждение открывалось, и то сердце, которое на одно мгновение предчувствовало все блага неба, терпело в другое все муки ада. Наконец, не имея силы побеждать душевного волнения, Татьяна вышла из хижины вздохнуть свободнее на

чистом воздухе и увидела плывущую лодку, в которой сидела престарелая женщина. Лодка приблизилась к берегу. Татьяна узнала ту старуху, которая была некогда прислана от Филиппа свахою.

В сию минуту Семен, извещенный, казалось, гласом неба, вышел к дочери. Увидя на берегу сваху, он угадал тотчас предмет сего посольства; ноги его едва не подкосились; однако ж, вооружась мужеством и обратив все попечения на дочь свою, он велел ей удалиться на несколько шагов. Молодая неопытная Татьяна не видала побудительной причины к сему удалению и с изумлением повиновалась воле родительской. Она стояла в некотором расстоянии, но ничто не укрывалось от глаз ее. Она видала, как отец ее сошелся со свахою, как они говорили с жаром, с живостию и как, наконец, расстались холодно, не отдав друг другу и поклона. Видя удаляющуюся старуху, Татьяна возвратилась к отцу, который с бледным лицом подал ей руку и сказал:

— Татьяна! Бог судия злым и добрым! Наша совесть чиста, этого довольно. Дурные слухи дошли до легковерного Филиппа. Он всему поверил, не объяснясь с нами, и прислал эту женщину с отказом.

Татьяна заплакала; отец прижал ее к своему сердцу, и взоры его как будто бы сами собою обратились на небо: он произнес с чувством сии слова:

— Боже!.. Ты свидетель слез ее... вот порука за ее невинность!.. А ты, некогда обреченный сын мой! Ты, которого, несмотря на твою несправедливость, еще люблю я! Для чего не можешь ты видеть этих слез и узнать сердце моей дочери?.. Старец излил душу свою—Татьяна рыдала в его объятиях.

Наступил вечер, солнце померкло на западе, природа под мрачным покровом среди ночного безмолвия сострадала, казалось, о судьбе несчастных. Скоро бледный месяц явился на небе; старец возвел очи к сему светилу и тайно в душе своей молил небесного отца, чтобы он даровал ему и милой дочери силу перенести их несчастье. Наконец надежало возвратиться в хижину к часу сна и спокойствия; но сон бежал от глаз их и спокойствие от их сердца.

Между тем как горсть поселилась в жилище некогда благополучной Татьяны, молодой Мельтон, творец сего бедствия, не имел о том ни малейшего подозрения. Но образ прекрасной Татьяны, как будто бы ему в наказание, ни на минуту не исчезал от глаз его; со дня на день она мечталась ему прелестнее; распаленное воображение творило мечты одни восхитительнее других, влекло его к призраку и заражало сердце смертоносным ядом.

В самом деле не мудро было ему сделаться рабом и жертвою страсти. С того времени, как нечаянная встреча произвела в его сердце глубокое впечатление, он не переставал заниматься опасным предметом, питать непозволительные желания и позволять себе безрассудные надежды. Каждый день, с восхождением солнца, являлся он на Воробьевых горах, глядел на хижину, где обитала красавица, приближался к ней

ближе и ближе; но когда оставался один шаг до предмета тайных восторгов, он удалялся скорыми шагами, как разбойник, гонимый страхом, ужасом и сомнением. Совесть устрашала молодого человека. Повторяем, что он имел великие страсти, но имел и любовь к добродетели. Романтическое воображение, пылкие чувства и слабое сердце приводили его в заблуждение, но благородный характер, честные правила и, наконец, истинная глубокая чувствительность заставляли его стыдиться своей страсти, ибо он видел, что ему нельзя быть счастливым без преступления. Итак, чтобы совершить победу над самим собою, ему недоставало только одной твердости, без которой нет ничего великого в делах человеческих. Без твердости нет и добродетели, ибо она требует жертв и усилий. А живые, сильные страсти не хотят уступить победы тому, кто слабо сражается с ними. Горе юноше, когда он согрел сию змею у груди своей и не отразит ядовитого чудовища при первом его шипении, пока оно не уязвило сердца!

К вечеру, на другой день после того, который затмил для Татьяны надежды счастья и радости бытия, гибельное ослепление привело снова молодого Мельтона к подошве Воробьевых гор. Он был еще в некотором расстоянии, когда увидел Татьяну, стоящую с отцом у хижины. Так сильно действие востреженной совести, что Мельтон долго медлил, не смел к ним приблизиться и, может быть, не победил бы своей робости, если бы Татьяна его не увидела.

— Вот он! — воскликнула печальная красавица. — Вот тот господин, которого благоденствие нас погубило! — и указала на него отцу своему.

Сей последний устремил быстрый взор на незнакомца; казалось, что он читал в чертах лица его, и наконец сказал:

— Татьяна, он добрый человек; я давно живу на свете; лицо никогда меня не обманывало.

Последние слова старца, хотя вполголоса произнесенные, были слышны молодому человеку; они его ободрили; он приблизился с большею надежностью на самого себя.

— Ах, добрый барин! — сказала ему Татьяна. — Ты хотел нам сделать добро, но сделал зло.

За сим словом, с доверенностью любезной невинности, она известила Мельтона о следствиях его подарка, и Мельтон, внимая прелестной, погружался несколько раз в задумчивость: перемена лица его изображала волнение сердца. Едва она говорить перестала, из уст его вырвались сии слова:

— Татьяна! Итак, у тебя нет уже друга?

— Есть, — отвечала Татьяна и указала на отца своего с ласковою улыбочкою, которая в первый раз после сердечного горя блеснула на устах ее.

— Неужели, — повторил молодой человек (и огненная краска покрыла лицо его), — неужели никто не будет так счастлив, как Филипп? Разве никто уже не достоин после него делить твоего сердца с родителем? Не позволят ли прекрасная Татьяна никому любить себя?

— Никому!— отвечала Татьяна с нежною горестию,— ибо я не могу никого любить так, как любила моего Филиппа... это имя не перестанет быть милым сердцу... Забуду ли когда-нибудь того, кто так утешал мою душу?.. Сего дня в другой раз солнце закатится за горы с тех пор, как я его не видала... А мне уже кажется, что с того времени прожила я век человеческого... Ах! Если бы не было у меня любезного родителя, теперь бы и белый свет мне не взмился... Жизнь скучна без милого друга!..

При сем слове Татьяна вдруг ахнула и могла только произнести: «Филипп!..» Филипп в самом деле стоял уже на коленях перед нею, и престарелый Семен был принужден опереться на плечо дочери, которая сама едва имела силу поддержать его...

— Милая Татьяна!— воскликнул Филипп.— Прости неблагодарного, но верного друга... Перестав видеться с тобою, я не переставал любить тебя... Каждый день через темные лесочки и кустарники прокрадывался к твоему жилищу, примечал все следы и шаги твои и хотел собственными глазами увидеть твою измену, в которой уверили меня злые люди... так и сего дня сердечная тоска привела в эту близкую рощу... я стоял за деревом, когда ты так трогательно говорила о любви твоей ко мне... Ах! Чувствую мучительное раскаяние... Милая Татьяна! И ты, второй отец мой! Простите виновного.

— Филипп! Филипп!— сказала Татьяна с умилением.— Как мог ты не верить любви моей?.. Но я все забываю, когда ты возвращаешься моему сердцу... И если батюшка еще раз благословит нас!..

— Милые дети!— перервал старец, подняв Филиппа и соединив его руку с рукою дочери.— Будьте впредь счастливые!— И потом, обратясь на дочь свою, примолвил с улыбкою:— И впредь да не волнуется Москва-река и не предвещает нам бури!

Счастливые дети обняли счастливого отца, который подал им руку, поклонился Мельтону и повел в хижину жениха с невестою. Увы! Казалось, что небо позволило им наконец полное счастье и что грозные тучи не помрачат уже сего прекрасного дня. Но кто может предвидеть отдаленную грозу и тайный гром, в облаках сокрытый? Новая туча невидимо собиралась над их головою.

Мельтон остался один; прекрасная Татьяна, в радости счастья, не заметила его даже и взглядом; казалось, что остаток вселенной исчез для нее с возвращением боготворимого предмета. Сия картина человеческого блаженства, которая в другое время пролила бы радость в чувствительное сердце Мельтона, на сию минуту терзала его душу всеми муками ада. «Итак, первое действие порочных страстей есть то, что они не дают нам наслаждаться благополучием других людей и заставляют нас завидовать их блаженной доле, которой собственная воля нас лишает»,— может быть, слабый, но добродетельный Мельтон сам так рассуждал с собою, ибо он стоял неподвижно на одном месте в глубокой задумчивости, как вдруг голос Татьяны, прелестной Татьяны, пробудил его от тяжкого мечтания.

— Добрый барин!— сказала она ему.— Мы тебя забыли в радости; батюшка приказал тебя звать на свадебный пир в конце нынешней недели; пожалуй, барин, пожалуй к нам откушать нашего хлеба-соли и наших овощей. Нам нечем иным заплатить за твое благодеяние.

— Ах! Нечем заплатить!— воскликнул молодой человек, но вдруг, как будто бы опомнясь, он остановился на сем слове, переменял голос и продолжал сими словами: — Прекрасная Татьяна! Я буду вашим гостем, когда ты сама зовешь меня.

Татьяна, приметив с удивлением, что молодой человек, говоря сии слова, трепетал и в лице изменялся, потупила глаза в землю, низко его поклонилась и, удаляясь к своей хижине, несколько раз оглядывалась на него с великим изумлением. Мельтон глядел вслед за нею и думал: «Боже мой! Она испугалась моего состояния... Итак, любовь моя вселяет страх, а не жалость... Вот наказание порочной страсти!..» И с сими жестокими мыслями, с растерзанною душою, с востревоженною совестью он бежал от сего места, обещая себе никогда туда не возвращаться.

Два раза Мельтон одерживал победу над собою, и два раза слабое сердце изменяло добродетельным правилам. Лишенный всей надежды, вместо того чтобы искать рассеяния, он любил питать свою горечь, прогуливался один за городом по утренним и вечерним зорям в самых уединенных убежищах полей и вверял тайную грусть сердца бездушным существам природы, оживленным одним романическим воображением. Наконец, наступил тот день, которому надлежало решить судьбу нашей героини и доверить ее счастье. Перед вечером Мельтон, несмотря на свое обещание, явился на Воробьевых горах. Солнце угасало на западе; небеса и воды бледнели от минуты до минуты; везде воцарялась мертвая тишина.

Мельтон тихими шагами сходил с вершины гор к тому месту берега, где стояла уединенная хижина, и вдали, сквозь ночные тени, сгущавшиеся в воздухе, увидел трогательнейшее зрелище. Седой старец, стоя на коленях и возведя взоры на небо, молился всевышнему; тихое прерываемое рыдание раздавалось в тишине воздуха. «Это отец прекрасной Татьяны!— говорил Мельтон сам себе.— В решительнейшую минуту ее жизни он молит, конечно, высшего о ее счастье, но она уже имеет его». С сими мыслями Мельтон приблизился к хижине. В нескольких шагах от нее находился в самом деле отец Татьяны в жалостнейшем положении: ручьи слез текли по бледному лицу, и выражение глубокой горести, присоединенное к томным летам, распространило вокруг его тени смерти. Старец долго молился с чувством; молодой человек смотрел на него со слезами. Через минуту времени он встал и, увидев Мельтона, сказал ему тихим томным голосом:

— Добрый барин! Бог посетил нас новым бедствием, и дочь моя у дверей гроба. Взойдите, загляните на злополучную, может быть, в последний раз; уже трое суток, как она лежит без памяти и без чувства!

Мельтон бросился в хижину. Там на соломе лежала Татьяна, не краса вселенной, но жертва гроба и смерти; хладная неподвижность души выражалась в очах, некогда оживленных полным чувством бытия; последний луч жизни угасал, казалось, на бледном покрове лица. Отец со слезами рассказал Мельтону о подробностях ее болезни. Все признаки означали жестокую горячку.

Мельтон, видя опасность, выбежал из хижины, взял лошадь у хозяина и поскакал в город. Через два часа времени он возвратился с доктором, с лекарем и с служанкою. Несмотря на сопротивление доброго старца, который не хотел никакой помощи для дочери, ей отворили кровь, послали за лекарствами и поручили служанке хождение. Мельтон, не довольный сею помощью, остался сам смотреть за больною и успокаивать огорченного старца.

Между тем, не видя Филиппа и угадывая новый разрыв любви, он хотел знать все подробности. На вопрос молодого человека отец Татьянин отвечал с горестию:

— Ах! Богу угодно было, конечно, чтоб минутный разрыв любви был приготовлением к вечной разлуке! Через два дня после радостного примирения Филипп с отчаянным лицом пришел с нами навсегда проститься. От мещанства должно было поставить рекрута. Жеребей пал на него; ему нечем было откупиться. Теперь, до отдачи, он находится под присмотром. Бедная моя Татьяна, расставшись навеки с другом сердца, несколько дней переносила несчастье с терпением. Я благодарил бога, что он подкрепил ее силы. Но в один вечер, возвращаясь поздно с работы, я увидел, что несчастная борется с волнами Москвы-реки... Ноги мои подкосились; я упал без памяти. Пришел в себя, увидел перед собой мою дочь, бледную, отчаянную, едва живую... Она все рассказала мне... За несколько минут передо мною, на другом берегу, провели Филиппа под присмотром... Бедная стояла на ту минуту у здевшего берега... сердце влекло ее... лодка была далеко... В безумстве отчаянной любви она бросилась в реку, надеясь переплыть ее... но в нескольких сажнях от берега силы ее уже ослабели... Сам бог спас несчастную... В то время как я упал без памяти, один добрый рыбак, увидя ее в воде, приплыл к ней в лодке и подал ей помощь... На другой день бедная слегла в постель без памяти и без чувства.

Так говорил старец. Мельтон плакал — и пламя страсти возгорало более и более в сердце юноши.

Кровоупускание имело счастливое действие перервать горячку, так что больная мало-помалу возвратилась к жизни. Мельтон в продолжение всей болезни жил под одною кровлею с Татьяною, просиживал ночи у ее постели, давал ей лекарства, служил ей как сестре, и нашел бы истинное, сладкое утешение в чувствах своего сердца, если бы к ним не примешивались тайные надежды страсти, не одобряемой рассудком. Скоро Татьяна выздоровела, но следы болезни мало-помалу исчезали; и томность ее очей, бледность лица, слабые оттенки роз, которые едва на

щеках оживлялись, делали ее вдвое милее и прелестнее. Молодой человек, в безрассудном ослеплении, под разными предложениями не расставался с жилищем Татьяны, впивал в сердце яд ее прелестей и питался надеждою, принимая выражения благодарности из уст чувствительной красавицы.

В один вечер, когда отец и дочь, сидя с Мельтоном на берегу Москвы-реки, повторяли ему об их благодарности и говорили, что нет у них награды, достойной его великодушия, Мельтон, не имея уже силы скрывать давно таимого чувства, сказал с жаром:

— Ах! Лучшая для меня награда была бы любовь прекрасной Татьяны...

Сие мгновение, сии слова, сей жар, с которым Мельтон произнес их, были ярким лучом света для ослепленного до того времени старца. Тайная досада помрачила чело его; но, удержав пылкий гнев, готовый излиться из сердца, он взглянул быстро на молодого человека и, указав рукою на Москву-реку, сказал:

— Скорее погребу ее живою в пучине этих быстрых вод, нежели отдам в жертву разврата и порока!.. А бог видит, драгоценна ли мне жизнь ее... Одумайся, барин, одумайся!.. Ты не сотворен быть злодеем.

— Так! — воскликнул Мельтон через минуту молчания. — Я не буду злодеем...

— Так, — сказала Татьяна ангельским голосом, — никогда ты не будешь злодеем... Я чувствую это по моему сердцу... и я готова любить тебя как брата... Ах! Могу ли кого-нибудь так любить, как Филиппа?..

За сим словом все долго молчали. Приближалась ночь; престарелый Семен низко поклонился Мельтону и повел домой дочь свою. Молодой человек не смел уже следовать за ними и остался один в задумчивости.

«Обет произнесен, — думал Мельтон сам в себе, — не буду преступником, не оскорблю невинности и не лишу старца последнего спокойствия». Рассудок побеждал, но сердце еще кипело. Еще надеяло выдержать молодому человеку последнюю и, может быть, сильнейшую борьбу с самим собою. Несколько раз он покушался похитить единственную дочь и несколько раз осуждал свое намерение как преступление, достойное жизни; сто раз обращался к добродетели и сто раз готов был сделаться злодеем. Вот пагубные следствия страсти, не побежденной в самом начале. Уже ночь протекала; заря горела на востоке; пробуждение птиц возвещало скорое явление солнца. Мельтон, чувствительный к сладким впечатлениям природы, окинул взором величественное зрелище, которое она представляла, вздохнул из глубины сердца и повторил несколько раз: «Так! Я не буду злодеем». Казалось, что сия минута была решительною для его страсти. Он возвратился в город.

В сие время Семен и Татьяна выходили на работу: дочь плетла ленты на ближней фабрике, а престарелый отец вертел колесо у станка,

не имея силы выносить другой работы. Возвращаясь поздно с фабрики, он говорил с Татьяною о молодом господине, о его вчерашних словах, о его благородном обещании.

— Однако ж,— прибавил он,— бог знает, что кроется в душе его... Татьяна! У меня сердце не на месте, когда я думаю, что он может увести тебя... Есть безжалостные люди... Он добрый человек по виду и по его поступкам, но кто может видеть внутренность сердца?

— Ах!— отвечала Татьяна.— У меня что-то сердце замирает с самого утра, как будто бы надобно было чему-нибудь случиться со мною... Неужели бог допустит его до злодейства?..

Так рассуждая, они проходили большую Серпуховскую дорогу; от заставы неслось густое облако пыли; карета, в шесть прекрасных лошадей, с двумя лакеями, облитыми золотом, скакала по дороге. Они смотрят на великолепный экипаж, дивятся богатству ливреи и останавливаются на минуту, чтобы лучше рассмотреть его. Карета скачет мимо их: женщина, в ней сидящая, опускает стекло и вдруг кричит кучеру остановиться. Семен с ужасом узнает служанку, которая была приставлена к больной его дочери. Она выходит из кареты прямо к нашей героине. Татьяна, поблдев, прижимается крепко к груди отца. Старец трясется на ногах, хочет говорить и не может вымолвить слова. Служанка, подойдя к ним, сказала:

— Я прислана, добрый старик, от Мельтона, чтобы привезти к нему тебя вместе с дочерью...

Старец взглянул на небо с верою и чувством; казалось, что он почерпнул в сем взгляде твердость и мужество, ибо, взяв за руку дочь свою, он сказал ей:

— Повинуемся воле божией... конечно, ему так угодно... Без его власти и злодеи бессильны...

Тут служанка дала знак лакеям; они взяли под руку старца, посадили в карету и едва успели принять Татьяну, которая сама бросилась за отцом. Служанка села к ним, и карета поскакала. Старец молчал; Татьяна плакала; женщина их успокаивала.

Скоро они въехали на двор дома, ярко освещенного, в котором гремела музыка. Там на крыльце богато одетые служители их встретили, ввели старца на крыльцо и проводили в великолепную комнату. Татьяна следовала за ним с трепетом, но старец шествовал с твердым равнодушием и с благородным величием. Явились две женщины, принесли богатую телогрею, жемчугом усыпанный кокошник, бриллиантовые серьги и подали робкой красавице, которая, не смея противиться, удалась в угол комнаты, чтобы там переодеться. По знаку служанок все слуги скрылись; остался один отец ее— и вмиг красавица является во всем блеске наряда перед очами изумленной толпы, подобно как богиня красоты, выходящая из пены вод в глазах плененных богов и человек. Зеркала повторяли тысяча и тысяча раз прекрасный ее образ; громкая музыка приветствовала, казалось, новую гостью сих мест; все дышало перед

нею радостью, великолепием и торжеством, которое представлялось для нашей героини некоторого рода волшебством.

В сию минуту является Мельтон в скромной одежде, с покойным лицом; он кланяется отцу и дочери, но старец с гордым видом едва отплачивает ему поклон, а красавица устремляет в землю робкие взоры. Однако ж молодой человек берет их обоих за руку и через длинные обширные галереи приводит в церковь, освещенную великолепными огнями, наполненную множеством народа. Толпа раздвигается—алтарь является очам—и перед алтарем стоит молодой Филипп в одежде новобрачного. Татьяна, удержанная святостию места, едва могла победить движение, которое влекло ее к другу сердца. Старец от радости и удивления стоял неподвижен. Мельтон наслаждался их смятением. Жених, подойдя к невесте и отцу и указав рукою на Мельтона, сказал:

— Вот наш благодетель!.. Он выкупил меня из рекрутов. ...Ах! не перестану никогда молить вышнего о его счастья!..

— А я,—воскликнул престарелый Семен,—а я мог сомневаться в благородстве души его!.. Прости, добродетельный юноша, прости меня!..

При сем слове отец и дочь бросились лобызать ноги великодушного молодого человека; он поднял их с ласковым видом, и сия минута была, конечно, счастливейшая в его жизни!.. Прекрасно так победать страсти и творить счастливых, забывая самого себя!.. Любовь! любовь!..

Qui l'ignore est heureux, qui le dompte est illustre!¹

Обряд торжественный совершился. Великолепный ужин при хоре музыкантов в освещенной зале ожидал новобрачных. После ужина хозяин дома вынес новую прекрасную одежду в подарок для Татьяны, светлый кафтан для Филиппа и другой, темный, самый смиренный,—для Семена; сверх того подарил первым знатную сумму денег для заведения домашнего хозяйства и простился с друзьями своими, которые осыпали его благословениями. Мельтонова карета довезла их до Воробьевых гор: там юные супруги, следуя за отцом, который не мог на них нарадоваться, сошли вниз горы, и блестящая звезда ночи осветила трех блаженнейших существ в мире под кровлею смиренной хижины.

¹ Кто ее не знает — тот счастлив, но кто сумел победить ее в себе — тот велик (франц.)

ПАРАМОН И ВАРЕНЬКА

Тени, сердцу моему любезные! Тени, коих нежности ничто теперь не препятствует! Десять крат уже весна посещала высокую могилу, где тела ваши навеки соединились; десять крат произращала она над гробом вашим польнь, и я сколько раз видел, как стебли его друг на друга склонялись, но еще доселе не бросил цветка на прах ваш. Не все делаем, что хочется. Быв под рукою учителя, я тогда мог только дать обет, но исполнить оный должен был оставить времени.

Там, где с одной стороны быстрый Днепр, скача по утесистым порогам с ревом соединяется с тихим Ворсклом; с другой же — длинною цепью простираются горы, засеваемые на их хребтах арбузами и хлебом, там, на низкой, смеющейся равнине, недалеко от берега реки, стоит уединенное местечко. Древняя его крепость, потряхивая дряхлыми плечами, гордится еще тем; что скончала подвиг Великого Петра против великого неприятеля*. Я также горжусь, что тут впервые благодарил творца за мое бытие.

После страшных оных смятений, коих память возобновляют только черепы и кости, вымытые из земли разлитием воды, здесь не помнят других возмущений. Поселянин с своею хозяйкою призывает в шалаш довольство и просит небо благословить оным и детей их. Тут не знают ни зависти, ни насилия. Невинность и любовь сочетались — чернобровый парень полюбит когда-нибудь смуглянку; и редко, редко бывает, что не удалась его намерение. Без холодных предисловий его родители или он сам говорит о новых своих страстных к суженой движениях родителям ее и в скором времени бывает счастлив. Здесь-то было жилище Вареньки и Парамона.

Как мило видеть простосердечную чету вступающую, так сказать, в поле тихого счастья! Но Варенька и Парамон лишь успели в жизни своей к сему приготовиться. Вот черта их злополучия!

Они жили в прогивных сторонах местечка; росли, не зная друг друга, но об них знали все. Качества невесты соединили голоса всех семейств желать ей честного и стоящего ее жениха, а достоинство и трудолюбие Парамона обратило внимание всех тех, кто благословлен дочерьми.

Однажды, по случаю, родители Вареньки засеяли ниву в смежности с нивою, с которой надлежало снимать хлеб Парамонушке. Рожь вызрела. (Я говорю так, как мне рассказывала мать жениха.) Родимые Вареньки выбирают в поле и начинают жатву. Спустя несколько дней выходят также и домашние Парамона. На другой день солнце поднимается выше, выше, и не знающие себя симпатические сердца становятся друг к другу ближе, ближе. Парамон уже нажал несколько снопов.

— Ах какой чернобровчик! — вскричала смуглянка, когда он приподнялся в одной руке с серпом, а в другой — с горстью ржи. — Посмотрите, матушка... — И сердце ее забилось сильнее.

— Да, дитяtko, это сын Ивана Пахомыча; отец его добрый хлебосол, да он и сам, видишь ли как рабочий.

Слова матери священные; девушка уже не своя. Парамон, со своей стороны, идет завтракать. Видит на другой ниве молодую жницу, ибо работа не позволяла ему до сего времени видеть ее; видит — она прекрасна, как светлый месяц. Он еще не знает, что сердце ее для него бьется; хочет сделать опыт, на который получил уже право от своей чувствительности, заигрывает — и они стали знакомы. Резвость и ревность в работе умножили их взаимную склонность. Они оставили нивы, дав клятву не забывать друг друга вечно.

Прилетает угрюмая зима. Любовник должен отказать себе в важнейшей части своих удовольствий; он совсем должен забыть ту свободу, с какою, по данным с обеих сторон условиям, мог бы выходить в поле, где, дождавшись своей милой, между тем как еще лишь начинает стадо спускаться с горы, без свидетелей ожидать оно в приятных лепетаньях и резвостях. Одно осталось ему удовольствию: видиться с Варенькою на вечеринках, сих часто скучных вечеринках. Как бы то ни было, это был довольно благоприятствующий их чувствованиям случай. Здесь-то страсть их созрела, и они решились увенчать ее супружеством; но не прежде объявить о сем родителям, как нашедши пристойное для сего время.

В один день — это было в мае месяце — Парамон, нарвав в огороде васильков и маков, сидя между гряд, заплетал из них венок. Мать его подошла к нему так, что он того не приметил. Увидев ее подле себя, вдруг бросил недоконченный венок и покраснелся. Такое странное его положение произвело в матери подозрение.

— Нет ли у тебя, сынок, зазнобушки? — спросила она его. Он еще более покраснел.

— Экой мошеник! А еще не скажет. Кому ты этот венок готовишь? Признайся.

Парамонушко туда-сюда, наконец, хоть со слезами, но признался.

— Так ты бы, глупенький, давно нам о сем сказал; мы бы горю пособили.

В тот же день мать сказала о сем своему мужу, и дело начато. Старик идет на поговорку к Варенькину отцу, предлагает ему свое намерение.

Парамонушке ли кто откажет? Того только и желали, чтоб зачато было со стороны жениха. Ударили по рукам и свадьбу играть отложили, как снимут с поля хлеб.

После сего что еще может препятствовать нашей чете в ее счастье! Она уже наперед восхищается тем удовольствием, которое ее ожидает. Во всем местечке говорят только о свадьбе Парамонушки с Варенькою. Старики, зная их родителей, непрестанно твердят о счастье их и их детей и замечают оно слезою. Невесты впервые чувствуют в себе неравнодушие, смотря на плотного, свежего и чернобрового молодца, который счастлив будет в объятиях другой, и, искося глаза, глядят на подругу свою; женихи же тайно упрекают Парамона в преждевременном выборе круглолицей, румяной, статной смуглянки. В короводах ничего уже не поют, кроме свадебных песен, повторяя имена сосватанных. Все готовится к сему веселому празднеству; и нежный Парамонушко то и делает, что в свидание свое с невестою применяет к ее лицу уборы: тут не так должен быть припудрен на свадьбе цветок, там не должна висеть лента такого-то цвету, а там, чтоб заманить любопытный и пожирающий взор, должно быть небольшое отверстие.

Наконец наступает жатва. «Две недели, не больше,— и я буду счастлив»,—сказав сие, Парамон выезжает с домашними своими в поле спокойно. В сие лето ему приятнее было снимать хлеб.—с лестною надеждою и с Варенькой... ибо в сие лето нивы их были друг от друга неподалеку. После работы, когда позволительно было отдохнуть, он немедленно летел на другую ниву—к своей невесте—иногда тайком от своих родителей, и они убивали скучное время их надежды вместе.

Не вовся еще жатва была кончена и жнецам оставалось по крайней мере на два-три дня работы, как в один день нахмурила черная туча; немедленно сверкал молния, гремит гром, ливень наводняет нивы, и всяк ищет для себя безопаснейшего убежища. Еще сверкнула молния, и вдали обняло копын огнем... Поднимают крик, забывают грозу, бегут... утешить соседов... соседов! Увы! Самих себя... Парамон и Варенька... у сей копын без дыханья... (он сидел, одною рукою обняв шею своей невесты, а другую положив на ее колено; Вареньки голова лежала на плече Парамонушки, как будто от страха, чтоб не видеть молнии). Их схватили, чтоб не поняло пламя, и нашли в лице жениха черноту, а у Вареньки на межгрудии желтоватое пятно...

Что чувствовали тогда обманутые родители? Ах! От одной памяти о сем сердце мое обливается кровью... Поселая пришли в ужасное волнение... «Парамон... Варенька... бог их убил... бог их убил!»—все повторяли, и слезы катились из очей их градом... С каким участием стекались смотреть на сии бедственные жертвы!.. Все местечко провожало их на могилу...

Я также, быв тогда менее способным рассуждать, но довольно чувствовать, составлял число сей горестной свиты... Я несколько раз после того посещал их прах и проливал слезы, как о родных моих.

Бедненькие, они... они, может быть, и тогда занимались приготовлениями к свадьбе, говорили друг другу тысячу нежностей, делали невинные в будущем своем хозяйстве распоряжения. Вот все тут надежды... Небо! Тебе одному известно, для чего нужны таковые жертвы. Есть миллионы бесплодных деревьев, бесполезных башен, тысячи пагубных человеческому роду тварей... Но ты—ты нередко караешь невинность, и перун твой скользит по груди злодея... Безбожная мысль! Удались от меня...

В скорости после сей трагедии я сделал несчастным надгробную, которая, разумеется, что не была вырезана по многим причинам; она состояла в следующих стихах:

Их участь райская в сем свете ожидала;
Перун, небес посол, завидуя сему,
Чтоб участь смертных сих других не возмущала,
Пустил калену в них, смертельную стрелу.

Это было содержанием прежней моей надписи; теперь, когда я научился не роптать на провидение и все подобное приписывать своей неосторожности, переменял бы оную так:

Чета несчастная! На гроб кто ваш придет,
Трикратно слезы он над вами пусть прольет:
Что вас на свете нет, что мало вам подобных
И что лишь знает вас по кучкам глыб надгробных.

СОФЬЯ

При подошве утесистых гор извиается величественная Волга. Жемчужные струи ее сверкают между золотопесчаными берегами. Мирные жилища в беспорядке рассыпаны по хребтам, а многочисленные стада их пестреют по утесам. Взойдешь на горы — увидишь в мрачной отдаленности белеющиеся паруса; опустишь взоры — суда мелькают по зыблущейся Волге.

На сей-то вершине, среди бархатной долины видно пространное село Хлебородово. Древнего строения церковь осеняется тенями высоких сосн и берез. Леса, замыкающие полукругом село, останавливают любопытный взор. Немного подалее, при спуске к Волге, на одном мысу, увенчанном кустарником, и поныне еще стоит ветхая хижина. Кровля ее разломана, окны без ставней, без стекол, ворота заперты длинным рычагом. При входе, на узенькой тропинке, лежит гранитный камень, обросший серо-желтым мхом, — вместо скамьи. Унылый горный ветер свистит сквозь расщелявшуюся избу. Он завывает — и робкий путешественник цепенеет от ужаса. Сова, свив себе здесь гнездо, пускает томные вздохи по открытому пространству. Часто, часто слышал я во время глухой полночи эхом повторяемый ее голос! Часто гуляя без цели, без намерения приходил я к тому плачевному месту. Слезы согревали сердце. Я начинал плакать неутешно, не зная совсем причины.

Причины? Ах, как нередко мы, влекомы единым побуждением, делаем и не ведаем что! Так! Струны сердца звенят иногда поневоле: строгий разум молчит. Но обратимся к повести.

На несколько шагов позади хижины — площадка, усыпанная цветами и плодовитыми деревьями, показывает вид, что тут некогда был сад. Низенькая оградочка окружает ее. Розовые кусты, наклонившие пушистые свои головки, скрывают от глаз древнюю гробницу. Разломанная мощною рукою времени, она представляет вид всеобщего разрушения. Беспрестанная сырость стерла с нее надпись, а протекшие годы загладили шероховатую поверхность. Душистый розмарин разливает окрест приятное благоухание: розмарин — друг уныния — венчает гробницу. «Кто здесь покоится?» — часто спрашивал я сам себя. — Не прах ли какого благодетельного селянина? Или злодей скрылся в мрачную могилу? Нет,

нет! Розы, розмарин не могут украшать костей изверга! Горькая полынь — вот венец его! Какой же человеконенавидец!»

Солнце закатилось. Я видел, как оно в последний раз улыбалось сквозь золотой флёр туманов. Румяная заря еще не потухла. Луна выставила серебряные свои рога на лазуревом своде. Отдаление почернело, ветры мало-помалу засыпали, и Волга, дремая, едва-едва сверкала. Тогда я вышел гулять из села моего и неприметно забрел к ветхому домику.

Тот еще не все испытал утехи в жизни, кто не прогуливался в кроткую летнюю ночь по свежему воздуху. Горе не желающему испытать оное! Горе презирающему прелестную тишину ее! Настало всюду мертвое молчание: ветряная мельница молчит, благоговейный шопот в рощах прекратился. Казалось, общий пульс жизни остановился и натура течения свое пресекла. О ночь! Милая подруга чувствительных душ, сладкое прибежище добродетельных, утешительница несчастных, отрава порочных, казнь злодеев! Освещай мне путь, наперсница ночи — стыдливая Цинтия! Да безмятежно проберусь сквозь чащу кустарников, да посетю мирную гробницу! Как ясно янтарные лучи твои рассыпаются по камню! Как мила природа в серебряной твоей одежде!

«Кто бы ты ни был, — сказал я, воздев руки на небо, — кто бы ты ни был, покоющийся в сей могиле, благословен буди прах твой!» Но что там мелькает? Что за ужас поражает меня? Я вижу старца, одянутого в белое платье. Белоснежная брада его волнуется по груди, слезы блестят на ресницах. Он открывает их, становится на колени, произносит несвязную речь и уходит.

— Пстой, постой! — вскричал я.

Старик содрогается. Он взирает на меня и узнает — это был приказчик моего села Хлебородова.

— Ах, барин! Что вы тут делаете?

— Всякий вечер прихожу я сюда заниматься размышлениями. Скажи, друг мой, не знаешь ли ты, чей этот домик, чья гробница?

— Как не знать, сударь, — отвечивал он, испустив тяжелый вздох.

Глубокое молчание последовало за его словами. Мы пришли к гранитному камню, сели на него, а он все еще не говорил ни слова. Слезы градом покатились по его бледным щекам. Ему стало легче.

— Я сделаю себе насилье, — сказал он мне. — Я готов пожертвовать для вас печалию. Но тяжело, тяжело вспоминать прошедшее.

Тут он взглянул с выразительным немым красноречием на луну, на развалившийся дом, на гробницу и начал следующим образом:

— Когда еще владел этим селом покойный ваш батюшка, тогда здесь поселился. Дослужившись до офицерства, был я во многих походах против неверных, получил несколько ран, занемог и — испросил увольнение. Потом, наскучивши светом, вознамерился я кончить жизнь свою в отдаленных странах России. Я пошел на родину. Проходя через это село,

остановился на ночлег у друга моего Варфоломея. Он лежал тогда при смерти— вот в самой сей хижине. Софья—пятнадцатилетняя дочь его—не отходила ни на минуту от его кровати. Видя немощь бедного старца, прожил я здесь более двух недель. В одну ночь, когда все утихло в селе, увидел я, что Варфоломей давал мне знак подойти к нему. Я повиновался. Он вынул из-под подушки образ спасителя и трепещущим голосом сказал своей дочери: «Прощай, милая моя! Бог да благословит тебя! Я умираю... Вот будет тебе другой отец,—продолжал он, указывая на меня.— Люби его, он добрый человек! Люби его!... А ты, друг мой, будь ей вместо родителя. Она сирота, замени мое место, бог наградит тебя за то... Прощайте!» Сказав сие, возвел очи на небо, сделал крест и—с сим крестом душа его излетела в райские селения. Так! Он был добрый человек!

Софья разливалась в слезах. Тщетны были все мои утешения. Да кто и утешить может в сем случае?— Природа действует: сердце повинуется. Часы, часы, недели проходили только в слезах. Мало-помалу начинала она потом утешаться; наконец, утешилась.

Дочь моя—так я стану называть ее—была прелестна, как юная весна. Все молодые мужчины заглядывались на нее; все молодые девушки завидовали ей. Легкое платье, обтянутое около стройного стана, венки из цветов, извивающийся на темно-русых распущенных волосах, под плечом соломенная корзинка, посох с розовою лентою— вот ее всегдашние уборы, когда ходила поливать в саду деревья или пасла наше стадо по горам! Я остался жить с нею в сем домике и развел сад. Жизнь наша текла, как мирная речка. Небольшой ежегодный оброк господину доставали мы трудами своими. Сами были сыты, лишнее раздавали бедным.

Приметьте, барин, как счастье переменчиво! Колесо его вертится непрестанно. Мы то на верх поднимаемся, то вниз упадаем: то богаты, то нищи; то веселы, то печальны; то спокойны, то смущаемся.

— Зачем роптать?— прервал я его.— Не мы одни— все равную участь терпят. Спицы колеса для всех равно вертятся.

Вздых вылетел у старца, слезы навернулись— он их отер.

— Некогда во время вечерней зари вышел я за ворота и сел на скамейку.— продолжал приказчик.— Время тогда было прекрасное. Багровое солнце, спускаясь вон за ту гору, освещало последними лучами мою хижину. Сизые облака, плавая по небу, накидывали завесу на заходящее светило. Природа показала мне величественною! Какие небесные чувствования колебали тогда мою душу! Какою благодарностию пламенел я к создателю? Я воспел гимн вечерний, встал, приблизился на край утеса и увидел Софью, ведущую стадо на Волгу. Пестрые овечки извивались по тропинкам. Дочь моя, как роза, шла с посохом позади их. Лишь только спустилась она к воде и села на камень, чтоб между тем отдохнуть, пока напьется стадо, как проходит мимо ее молодой крестьянин. Котомка висела у него за плечом, в руке держал дубинку, на

которую опирался. Алый румянец, игравший на его щеках, показывал его крепость и здоровье. Росту был он больше среднего, широк в плечах, степен и пригож. Едва подбородок его начинал еще опухать мягкими волосами. Увидев Софью, он останавливается, смотрит на нее, не говоря ни слова, спинает шляпу и кланяется. Невинная, нежная, молодая, в первый раз в жизни почувствовавшая нечто необыкновенное в сердце своем, Софья трепещет, не зная, что делать. Сидеть— не может; бежать назад— не в состоянии. Она осматривается кругом себя— но никого, кроме его, не видит. Между тем крестьянин наклоняет голову, чтоб почерпнуть шляпою воды. Софья видит это и поспешно вынимает из корзинки хрустальную кружку, из коей всегда сама пивала.

— Пстой, голубчик!— осмелившись, говорит она ему.— Пстой! Вот у меня кружка!— Тотчас подбегает к реке, черпает и выплескивает на берег; еще черпает— и опять выливает. Наконец, подает ему, сделав низкий поклон. Румянец— совсем не такой, как у вас в городе.

Чернобровый детина, утолив жажду, поблагодарил ее. Он отступал несколько шагов вперед— оглядывается; опять идет— опять оглядывается; скрывается уже за кусты— еще раз оглядывается. Софья забегает к нему вслед, смотрит на него, улыбается— задумывается. Взглянув же нечаянно вверх, видит меня, прямо смотрящего на ее движения. Посох валится из рук ее. Она торопится, хочет бежать ко мне— останавливается; стадо было еще на берегу. Оно всходит потом на вершину, и милая пастушка с ним, прихлебывая из кружки недопитые капли.

— Батюшка! батюшка!— вскричала она, кинувшись в мои объятия... и не могла докончить.

— Успокойся, Софья! Говори без робости. Ты делала, что долг тебе повелевал; ты ничего худого не сделала.

— Ничего худого?— повторила она, выйдя из задумчивости.— Так, родитель мой! Сердце у меня сильно билось, когда увидела я молодого путешественника. Никогда так оно еще не билось. Я могла даже счесть все его удары. Ах, если б вы видели, как он смотрел на меня! Точно, как будто меня давно знает. Нет! Я не ошибаюсь! Он добрый человек; злой не может так ласково, так мило кланяться, так любезно благодарить, как он. Ну, если хищные звери растерзают, разбойники нападут... Батюшка! Прикажите мне, я за ним побегу и приведу его к вам.

— Успокойся, Софьюшка! Он и еще когда-нибудь к нам придет. Тогда мы угостим его.

— Угостим, угостим хорошенько,— примолвила Софья и, поцеловав руку мою, удалилась.

— Угостим, угостим,— кричала она, бежа к своему стаду.

С тех пор она всякое утро, всякий день, всякий вечер глядела с горы, не идет ли он,— по моему обещанию. Каждую почти минуту твердила о нем, жалея, что не спросила его имени. Называла его жестоким, хладнокровным— восклицания сии обнаружили пламенную ее любовь!

Пятнадцатилетняя девушка—роза, не помятая еще нахальным ветром, девушка чувствительная, пылкая, нежная, не видавшая от роду столь миловидного мужчины, чему же дивиться? Стрелы Купидона всегда действительны! Младенец и играет младенцами—ах, нет! Часто, очень часто и важные стойки ходят с его ядовитой стрелой в груди. Он не разбирает ни пола, ни лет; ни чинов, ни богатств; ни вельможей, ни пастуха: все у него равны! Он любит, чтоб все покорялись его мощной ручонке. Натянет лук—и прощай спокойствие! Не так ли, любезный читатель? Не испытал ли когда сам это?

— Занимаясь однажды в саду копаньем гряд (продолжал старик), увидел я вбежавшую ко мне Софью. «Незнакомец-то идет, батюшка,— кричала она.— Идет; позовите его скорее». Я вышел на сторону к Волге и в самом деле усмотрел его внизу на берегу. (У любви золотой глазок. Он далеко видит.) Опершись на дубинку, погружен был в мрачную задумчивость. То взглядывал он кверху, то опускал взоры свои на сверкающие струи, то садился на камень, на котором отдыхала тогда Софья. Будучи им непримечен, сошел я к нему по тропинке, схватил его за руку. Он удивился. «Любезный странник,— сказал я ему,— ты устал! Поди ко мне. Дом мой вон там на горе». Без малейшего сопротивления повиновался он словам моим. Верно с тем намерением, чтоб узнать кое-что о красавице, которую недавно видел на сем месте. Какое же его было изумление, увидя встретившую нас Софью! Он остановился, оторопел. Я ободрил его и пригласил с собою.

Мы вошли в комнату—стол уже был накрыт. Мед, молоко, рыба и хлеб стояли на чистой скатерти. «Плутовка,— говорил я сам себе,— ты обещалась угостить его! Обещалась... Сердчишко твое, видно, занывает. Любовь тебя всему научила!»

Пообедав, рассказал мне Иван (так звали его), что он ходил из соседней деревни в Казань с письмом от своего барина. Получив ответ, возвращается домой.

Учтивость и приятная улыбка его во время разговоров понравились мне, а вдвое того—Софье. Она не спускала с него глаз, смотрела—и все еще смотреть хотелось. Хотелось иногда, взглянув на него исподлобья, тихохонько вздохнуть. Хотелось, чтоб взор этот влетел в грудь Ивана и коснулся его сердца—коснулся бы и зажег его кровь. Софья—Иван—одинакие имели желания.

Иван ушел, Софья подгорюнилась. Часто потом, задумавшись, сживала на скате горы. Овечки прыгали около ее—она не примечала. Прихаживал и я, но она иногда молчала—иногда же плакала.

(«Что это? что это такое?»—закричит какой-нибудь мизантроп, прочтя сие место, нахмурившись, как ночная птица.—Что это такое? Если Эрот вздумает позабавиться, если оружие его скользнет по груди твоей, тогда нахмуренное чело твое развеселится, кровь вспыхнет, мысли переменятся. О любезный Стери! Чувствительный философ! Ты умеешь

решить такие загадки; ты мастер проникать в сокровеннейшие изгибы сердца; ты знаешь причину слез Софьиных!)

В сие время крестьяне села Хлебородова, видя мою тихость, ум в разобраннии некоторых ссор, полезные советы, часто им даваемые, вздумали меня выбрать своим правителем. Староста их недавно пред тем умер. Все единодушно поздравляли меня с новым достоинством. Не поверите вы, барин, как лестно, как приятно прямыми заслугами получить в обществе от всех похвалу, одобрение и награду! Иван не пропускал ни одного праздника, чтоб не приходиться к нам в церковь, а от обедни—к новому старосте. Я всегда принимал его ласково. Дружба его была для меня приятна. Я позволил ему—при своих глазах—ходить иногда с Софьей по горе, брать ягоды и пошутить между собою. Я предвидел, что любовь Софьи ничем истребить невозможно, а и брак их не нанесет также друг другу погибели. Любовь детей увенчать супружеством есть первый долг родителей. А ныне сколько мы видим пагубных примеров противного тому! Любящихся—разделяют: поневоле заключают в несносные узы. Посмотрите же на плоды толь варварского принуждения!

Час от часу Софья становилась откровеннее пред Иваном, молчаливее предо мною. Однако я ласками своими довел их до того, что они сами обо всем мне рассказывали. Я был доволен их чистосердечием. Они полюбили меня еще более, и Софья забыла даже, что я не родной ее отец.—Кто умеет править сердцами других, умеет и наклонять в свою пользу, тот величайшую науку знает в свете!

Но, несчастный день! Позвольте мне отереть слезы. Я касаюсь начала несчастья милой моей четы, милых моих детей! К батюшке вашему приехал из Москвы один его родственник. Он привез с собою молодого человека, который был зол, высокомерен и распушен. Безобразное лицо его ясно показывало скверную душу. Не учась никогда и имея короткое обхождение с лакеями, сделался он сущим невеждою и подражателем всех их обыкновенных поступков. Резвясь некогда—как я от людей его слышал—с деревенскими ребятишками, набежал он на пеня, упал и вышиб у себя правый глаз. При всем же сем безобразии, увидев на лугу Софью, влюбился в нее. Евгений—так было имя его—и меня посещать начал. Страсть его обнаружилась во всяком взоре, во всяком движении. Я догадался о намерении его, стал примечать и вот что увидел.

При закате солнца, когда белые туманы клубились по долинам, Софья, напевая вечернюю песнь, имела обыкновение пойти стадо свое на Волге. Евгений узнал о том. Он летит на берег и ожидает ее. Минуту спустя идет дочь моя с корзинкою в руках и садится на камень. Молодой повеса подходит к ней. Я притаился тогда за кусток. Вот слышанный мною их разговор!

Евгений. Здравствуй, душенька!

Софья (покраснев). Здравствуйте, сударь! Но зачем вы так поздно пришли сюда? Пора вам домой идти...

Евгений. Ах, нет, Софьюшка! Если б ты знала, зачем я пришел сюда!

Софья. Зачем? Верно пить? Так моя кружка не для вас—для Ивана.

Евгений. Нет, нет! Ты не отгадала. Я тебя пришел посмотреть—посмотреть и сказать, что я не могу быть спокоен, что я смертельно люблю тебя... и что ты так сурова.

Софья. Я, сударь? Вы шутите!

Евгений. Ей-ей! Я правду говорю. Сердце мое тебе скажет, что я не могу более жить без тебя. Слышишь ли, как оно...

Софья. Я ничего не слышу! И мое и ваше молчит. Так стало неправда.

Евгений. О жестокая! Полюби меня, милая моя! И ты будешь жить в славном, большом городе. Там-то станешь в золоте ходить, на золоте есть, из золота пить, в золотых каретах прогуливаться с богато одетыми лакеями. Я тебе найму богатый дом—ты будешь моя королева. Поедем, поедем в город.

Софья. В город? Ах, нет; я боюсь. Батюшка мне много худого о них рассказывал. Там живут, говорят, людоеды. Воля ваша, сударь. Я никогда не поеду!

Евгений. Отец обманывает тебя. Не верь ему! Там люди учтивы, ласковы, любезны. Там все тебя почитать будут.

Софья. Ну! А батюшка и Иванушка здесь останутся?

Евгений. Да! Нам их не надобно. Мы одни удалимся; старик этот будет мешать нам забавляться.

Софья (*уверительным тоном*). Не бойтесь! Он, право, добрый человек! Он и теперь мне не мешает веселиться, как я хочу.

Евгений. Это дело другое, душенька!

Софья. А мне кажется—все равно.

Евгений (*приблизжившись к ней*). О город! город! Сколько в тебе веселостей! Как ты любезен для молодых людей!

Софья (*прервав его речь*). Вы ждете! Вот мне что батюшка о нем говорил однажды, я почти наизусть выучила слова его: «Беги городского зараженного воздуха, любезная дочь, если хочешь быть спокойна! В сельском уединении лучше, нежели в городе. Там должно жить, как велят, а не так, как хочется. Там бедных считают дураками, богатых—умными. Там счастье ездит в карстах, а с умом пешком бродят. Там люди не то языком говорят, что у них на сердце. Там встречают по платью—провожают по деньгам. Там...»

Евгений. Полно, полно заниматься пустяками. Вот тебе, Софьюшка, золотое колечко. Носи его и помни меня.

Тут он хотел отдать его—она не приняла. Он старался надеть ей на палец—Софья, схватя его, кинула в воду. Евгений улыбнулся, подлетел к ней, обнял, хотел поцеловать, она же, вырвавшись, бросилась кверху. Без памяти прибежала кверху на гробницу матери своей, стала на колени и

произнесла следующую молитву: «Дражайшая родительница! Подкрепи меня. Дочь твоя в опасности. Защити ее невинность. Избавь от рук злодея! Ты правду говорил, что с золотом всегда напасти ожидать должно. Я не хочу золота—хочу быть добродетельна. Подкрепи меня... Любезнейшая родительница».

Проговорив сие, возвратилась домой в великой задумчивости. Огненные глаза ее орошены были слезами. Жар выступил на лице. Она простилась со мной, не говоря ни слова. Во всю ночь слышал я тихие вздохи ее, во всю ночь не могла успокоиться. Поутру, когда чуть-чуть брезжиться начало, вышла она в поле—совсем не так весела, как прежде. Бросала встолу робкие взоры, как будто кого боялась. Колыхнется листочек на дереве—она оглядывалась назад; завет ветер унывный ветер—она пряталась за куст. Увидя переливающуюся тень, останавливалась как вкопанная, не смея идти вперед.—Ах! Она предчувствовала свое несчастье!

— Что ты так невесела, Софьюшка?—спросил я ее однажды.

— Так, батюшка!

— Нет! Это недаром. Тебе что-нибудь сделалось или давно Ивана не видала?

— Иванушку? Он третьего дня был к вечеру. Как он мил! Он и ныне обещал быть ко мне. Злых людей, батюшка, везде много, очень много.

Сказав сие, вышла. Я слышал, что она за уголку отирала слезы свои. «Для чего скрывала от меня Софья бывший разговор с Евгением?—говорил я сам себе.—Разве она не надеется на меня? Испытаем, выведем! Но это чувствительно будет ее сердцу,—сердцу нежному, пылкому, невинному. Оставить в покое? Худо! Беспокойство ее умножится. Робость превратится в болезнь, болезнь в смертельный яд. Постараюсь узнать все подробно! Проникну в тайные изгибы ее сердца!»

Я спросил ее, когда она вошла опять в комнату; она призналась; наставления мои успокоили бунтующие страсти. Настала опять тишина в ее душе. Иван посещал нас часто; любовь подвизывала ему свои крылья. Всякий раз посещение его рождало новые прелести в его любезной. Прелести умножали его горячность. Казалось, ничто не могло расторгнуть их уз любви. Уже был назначен день брака. С каким веселием ожидали они давно желанного благополучия! Ни о чем большем не твердили во всем селе, как о Софье и Иване. Мужчины хвалили Софью, девушки—Ивана. С радостью готовились уже все петь свадебные песни, пивселиться на пиру, попить, поплясать.

Между тем как сельские жители намеревались праздновать, Евгений делал самый адский план. Он нанимает коляску с лошадьми и приглашает двух лакеев. Деньги, щедрою рукою рассыпанные, все ему доставили. Никто не знал, кроме зломысленников. Он приказывает коляске спуститься вниз на берег Волги; сам идет к моему дому. Мне сделалось тогда что-то дурно, я попросил стакан холодной воды. Софья бросается к реке, и лишь только успела сойти, как негодный Евгений схватывает ее.

Он отнимает корзинку, кружку, посох — и бросает их на землю. Ни крик ее, ни слезы не могли удержать злодея от злого предприятия. Он тащит ее и повергает в коляску. Сел, ударил по лошадям, свистнул, пустился, как стрела.

— О боже! Мститель невинных! — вскричал я, прервав повесть. — Почто онемел гром твой? Почто молнии потухли? Почто десница твоя не наказала изверга?..

Слезы сверкнули в очах моих. Я увидел блеск их при полном сиянии луны. Густая капля остановилась на щеке печального отца. Я отер ее платком моим — потом свою; еще выкатилось по слезинке — я опять отер их. Мне показалось, что луна трепещет, вертится — и я вышел из смятения. Друзья мои! Друзья мои! Слезинка, остановившаяся в глазу моем, сделала сию оптическую ошибку.

— Тщетно ожидал я Софью, — продолжал старик. — Наступает вечер, наступает ночь — ее нет. Члены мои задрожали: голова преклонилась в землю. Я собираюсь с духом, выхожу из дому — вижу конские копыты на сыром песке. «Верно, Евгений ее похитил!» — кричу я, бросившись на скамейку подле моей хижины. На другой день молва летит по селу. Все шепчут: «Молодой барин пропал! Молодой барин пропал!» «Пропааа с ним и Софья», — прибавлял я. — «Как, как? Любезный старинушка! О беда!»

Весть сия, подобно громовому удару, вмиг долетает и до ушей Ивана. Стремглав бежит он к нам, спрашивает о Софье и в ответ получает: ее нет!.. Нет? Ярость, отчаяние, печаль изображаются на лице его. Он каменеет. В иступлении повергается к ногам моим; уста его запечатаны скорбью. «Ее нет?» — наконец повторяет он, как сумасшедший, раза три слова сии. Не получив ответа, опускается под гору и пробегает несколько шагов по берегу. Что же он видит? Разбросанные по песку цветы, кружка, корзинка; посох и белый платок запутались в высокой траве. Ему представляется, что она утонула. Мысль о потере милой влагает ему страшное предприятие. Жить без Софьи — умереть: ему все равно. Он снимает с себя шляпу, возводит очи на небо и бросается в реку. «Софья, Софья!..» — и мгновенно умолкает. Клопочущая бездна принимает его к себе. Струи разлились большим кругом. Вода отнесла его быстриной далеко от берега.

Рыбаки, бывшие на другой стороне, заметили что-то мелькнувшее в реку. Они приезжают, ищут и — ничего не находят. Едут далее и, опустив багор, вытаскивают обезображенное посиневшее тело Ивана. Народ сбегается — вопль раздается по воздуху. Я пришел, увидел, и что со мною тогда сделалось, не знаю.

Повествователь замолчал. Он вздохнул и насилию мог перевести дух.

— Я не в состоянии, сударь, кончить повести, — сказал он мне прерывистым голосом. — Простите, печальному старцу, простите его чувствительности. Лета, убелив мои волосы, хотя потушили пламень живости, но чувствование скорби пойдет со мною в могилу. Чувствитель-

ность моя простынет разве под гробовую доску. Счастлив тот, кого несчастье выводит из заблуждений и нерадивой беспечности! Стократно счастлив наказуемый правосудною рукою всемогущего!

Меня отвели домой. Я выхожу из беспамятства и слышу в ближайшей комнате необыкновенный шум. Софья, рыдая во весь голос, повергается в распростерты мои объятия. Она еще не знает о участи несчастного Ивана.

— Батюшка! Я не виновата! Злодей, негодный Евгений... разлучил меня с вами. Бог покарал его. Я возвращена в дражайшие ваши объятия. Я не преступилась ни пред вами, ни пред любезным Иваном. Простите меня!—слезы прервали ее восклицания.—Мы приехали было в коляске,—продолжала она под долгим молчанием,—приехали в ближайшую деревню, остановились и сделались подозрительными. «Молодой барин едет, едет с молодою девушкою,—кричали все.—Что это значит? Надобно узнать!» Стали спрашивать Евгения; он смутился—хотел бежать; его останавливают. Спрашивают меня; я пересказала о злодейском намерении варвара. Его окружают и насильно сажают в коляску. Как я рада, что меня опять к вам привезли, багюшка! Вот мои избавители,—показывая на несколько барских людей.—Вот кому обязана я за сохранение чести—а может быть, и жизни!

— Успокойся, Софьюшка! Слава богу, что тебя опять вижу! Отдохни немного!

— Нет, нет батюшка! У меня злодей отнял там на берегу все мои любимые вещи. Я побегу взять корзинку, кружку и посох.

Сколько ни держал я, сколько ни советовал,—все было тщетно. Она бежит к толпе крестьян, раздвигает их и видит утопленника. Слезы не текут более из глаз ее: кровь ее леденсет. Отчаяние подкосило ноги—она упала на мертвое тело. Уста их соединяются, как будто вдыхая друг в друга жизненную теплоту. Ее стараются отвлечь—отвлекают, но она была уже без дыхания. Удар свершился!

— Вот, милостивый государь, несчастье мое,—воскликнул старец содрогающимся голосом. Надежда моя исчезла: подпора старости сгнула в единое мгновенье. Так-то скоропреходящи все наши радости, наши утехи, наши надежды в сем мире!

С неописанною горестию похоронил я оба тела подле розового куста, посаженного Софьею. Их не хотели отпевать. Священник сказал, что утопленников подле церкви хоронить нельзя. Вот здесь прах их. Я оставил хижину, ибо не мог смотреть равнодушно на те места, где гуляла прежде милая Софья, где отдыхал я на ее коленях, где руки ее стирали капающий с меня пот во время полуденного зноя, где голос ее меня пленял, где мы разговаривали о будущем благополучии. Каждую ночь посещаю я мирную их могилу—проливаю слезы... и мне легче.

Старец умолк.

Он встает с гранитной скамьи, подходит к надгробному камню и покрывает его горячими поцелуями. Я дал свободу прискорбному его сердцу излить нежные чувствования на памятник любезных особ.

Луна, пуская янтарные лучи свои, переливалась в изгибах его платья. Она, поблдевав, скрылась вдруг за тучку; ветер завыл около гробницы; розовый куст пошевелинулся. Я почувствовал нечто оссианское*! Мне вообразилось, что любезные тени спускаются на могилу— в ребрах бурных туманных облаков. С благоговейным трепетом встал я, преклонил колени и произнес тихо молитву к господа.

— Так, голубчик,— сказал я подошедшему ко мне печальному старцу.— Так! Мы все рано или поздно будем покоиться в тесном жилище. Окрест нас шуметь будут сосны— всеселье лики никогда не воцарятся. Унывные песни потрясут воздух— потрясут сердечные фибры чувствительного путника. Слезы его будут дар теньям нашим!

Простившись с стариком, возвратился я домой при блеске луны. Было три часа за полночь! Раскрыв окно в спальне моей, долго смотрел я еще на то место, где Софья и Иван бедственно кончили жизнь свою, где кости их покоятся. Смотрел— горестная меланхолия накрыла меня черным своим крепом. Сон окрест меня рассыпал маковые цветы. Я почувствовал свинцовый скипетр его на веждах моих и— успокоился.

ИННА

Царица уныния, мрачная осень облакает природу в печальную свою мантию. Трава блекнет, цветы увядают, и холм, чернеющий вдали, смотрит на опустевшую долину. Густые, сизые тучи закрывают лазурь небесную, и лес дремучий сыплет желтый лист на унылую землю. Умолкло пение жителей воздушных. Кусточки не манят меня под тень свою. Прозрачные источники не призывают к прохладе. Томная, печальная душа моя сетует вместе с природою, мрачные мысли ее влнуют.

Хожу я по полям безмолвным, питаю себя черными исчадиями моего воображения. Тихим шагом вступаю в рощу, окружающую монастырь Х...ч...ский*, вхожу в сие святилище тишины и безмолвия и на холодных могилах с трепетом в сердце представляю себе тленность всего земного.

Древняя роща, ты, которой долговечные сосны посмеиваются бурля и свирепству зимы суровой, ты, которой темно-зеленый игольный лист осеняет гробы, вмещающие в себе прахи любезных моему сердцу, ты часто принимаешь меня в густую тень свою!

Сюда, при наступлении ночи, прихожу я беседовать с умершими. Тихие могилы их и таинственное безмолвие, как будто бы усугубляемое томным шумом древес, склоняет душу мою к чувствам уныния и горести. Слезы текут из померкших очей моих, они текут и орошают траву увядшую.

Часто посещаю я могилу злосчастной Инны, которой жизнь, исполненная бедствий, и плачевная кончина начертываются в волшебном зеркале моего воображения. Я вижу печальную тень ее под сими древними соснами. Вижу пагубное острие в груди ее. Алая кровь струится по белоснежной одежде. Темно-русые растрепанные волосы развеваются дыханием ветра. Во мраке ночи отражается страшная бледность лица, на котором замерло отчаяние. С неподвижными впадшими глазами подходит она медленно к могиле, недавно землею засыпанной. Последний сердечный вздох ее нарушает глухое безмолвие кладбища. Сострадательная луна скрывается за облако, и смерть, сжалившись над нею, покрывает ее гробным покровом.

Инна жила в ближнем селении, принадлежащем к городу. Она была прекрасна, как майское утро. Томные, лазуревые глаза ее изображали кроткую ее душу; приятный голос, стройный стан возвышали ее прелести, и целомудрие обитало на полных, округляющихся грудях ее. Но тщетно, тщетно природа расточила на нее дары свои: неразборчивое счастье забыло добродетельную Инну, и, подобно душистой розе, цветущей в дёбре пустынной, красота ее скрывалась во мраке бедности. Она одним рукоделием питала себя и мать свою, отягощенную слепотою и болезнями.

Русин, юноша с чистым, непорочным сердцем, увидел в уединенных прогулках своих младую Инну, Инна увидела Русина, и в душах их воспалился пламень первой страсти. Природа, ты руководствовала их сердцами, ты питала в них чувства, тобою влиянные.

Русин, предопределенный бластать дарами счастья, имеющий родителя, напыщенного высокомерными о себе мнениями, скрывал от него страсть свою. Он, не надеясь получить дозволения вступить в брак с Инною, томился неизвестностью и ожидал помощи от случая, благоприятного его намерению.

Зимою часто выдались они в бедной хижине Инны, ибо слепота ее матери, от которой она также скрывала любовь свою, споспешествовала их тайной страсти. Безмолвные свидания ограничивались красноречивыми взглядами, нежными поцелуями и пламенными, душу потрясающими объятиями.

Но когда весна начала рассыпать свои прелести, когда величественная Волга, соединившись с Казанкою, разлилась по лугам окрестным, отделила город от сего предместия и гордые башни его, златоверхие церкви и мечети рисовались в струях ее зеркальных, тогда Русин каждую ночь под благосклонною завесою мрака в легкой рыбацкой лодке один, с милою Инною в сердце, вверял себя скромным волнам ее. Инна, на берегу его ожидающая, бросалась к нему с распростертыми объятиями. Молчаливые звезды были свидетелями сладких восхищений любовников. Они томилась, иставали, сгорали в пламени чувств своих. Сердца их билась в одну такту. Души их сливались в одну душу.

Частые свидания не потушали огня их страсти. Они находили друг в друге оттенки новых прелестей, вкушали новые, дотоле еще не известные им восторги.

Некогда Инна по обыкновению ожидала его. Заря гасла уже на горизонте. Звезды показывались на темнеющей лазури неба, разноцветные лучи их, играя, прорывались сквозь сумрак воздушный, и западный ветер пробегал по сизой поверхности воды, подобной вспаханному полю. Она поглядывала в отдаленность взором, наполненным ожидания и надежды. Казалось, примечала чернеющуюся лодку милого друга своего и — обманывалась. Настала полночь, но Русин не лобызал еще унылую Инну. Наконец зазелась на востоке заря утренняя, и печальная обманувшаяся любовница, тяжело вздохнувши, возвратилась в свою хижину.

День показался ей веком горести. Наступил полдень, наступил вечер. Ночь провела она в размышлениях о Русине. Сон не спускался на зеницы ее, слезами орошаемые. Второй и третий день усугубили страдание Инны.

В душе ее свирепствовала буря лютых предчувствий. На четвертый день пришла она к берегу реки до восхождения солнца. Вскоре явилось оно во всем своем немерцающем великолепии. Природа улыбнулась ему во сретение; хор птиц воспел торжественную песнь, его славя, но взор и слух Инны не восхищались сими красотоми. Томимая тайною горестию, она сидела на камне, подобно бездушному истукану, и смутные неподвижные очи потупила в мелкие волны, взбегающие на плоский берег.

Вдруг из отдаленности несется по ветру надгробное пение. Инна, как молнией пораженная, вскакивает с своего места, устремляет глаза на город и видит по воде плывущие шлюпки. На первой из них яркие лучи солнца отражают блеск богатой парчи, гроб покрывающей. Светильники пылают. Лик полутонный повторяет унылое пение. Единообразное медленное движение весел усугубляет печальную важность сего обряда. Сердце Инны вострепело грозным трепетом, прорекло ей, что это гроб Русина. Едва шлюпки пристали к берегу, едва гроб поставлен на одр черный, как она в иступлении, в отчаянии, с помертвевшим лицом, с тусклым взором рвется сквозь толпу, его окружающую, в мгновение сбрасывает крышку, раздирает покров смерти, видит бледный окостенелый труп Русина и с тяжким, жизнь разрушающим вздохом повергается на нем бесчувственна.

Изумленные зрители совлекают несчастную с холодного трупа. Они свершают долг печальный и близ монастырской ограды, под тремя густыми соснами, вверяют земле плачевные остатки юноши, увядшего во цвете лет своих.

Инна долго пребывала бесчувственна. Сие подобие смерти долго держало ее в страшных своих объятиях. Наконец приходит она в себя, но не облегчая вздохами стесненной груди. С геенною отчаяния, терзающего душу ее, идет она вечером в сию рощу. Ее сердце указывает

ей могилу Русинову. Место, поглотившее всю драгоценность жизни ее, приковывает к себе окаменелые ее взоры. Она подходит и вдруг с жадным размахом руки вонзает смертоносную сталь в грудь свою, где пылал пламень любви непорочной. Казалось, тяжкий стон ее потряс древние сосны. Кровь сверкнула из раны глубокой. Инна пала на могилу любимца души своей. Мертвеющими устами лобызала сырую землю, его покрывающую, и последний вздох ее, казалось, искал соединиться с его прахом.

Утро начинало освещать рощу сосновую. Прохожий увидел несчастную Инну, ужаснулся и объявил жителям селения. Злополучная мать, беспокоящаяся об ее отсутствии, поражается плачевным известием. Она просит, чтоб повели ее к трупу дочери. Осызает в последний раз холодное тело ее и с пламенным благоговением, без пролития слез (ибо старость иссушила сей благодетельный источник природы) падает она подле усопшей на колена и молит всевышнего о успокоении души ее.

Бедную злосчастную Инну погребли на косогоре, обросшем кустарником. Не слышно было плачевных песен. Никто не шел за ее гробом. Могила вскоре обвалилась, и суевренный бежит от нее, а сострадательный кропит слезой сердечной.

ТЕМНАЯ РОЩА, ИЛИ ПАМЯТНИК НЕЖНОСТИ

Шумите уныло, березы и осины! Шумите для симпатического удовольствия чувствительной души!.. Рука любви изображала на коре вашей бесценное имя своего предмета; тень ваша освежала томное сердце любезнейшей из женщин; вы были единственными свидетелями ее слез, надежды, счастья!.. Дремлющие сосны, вы, которые мрачными сводами густых, вечно зеленых вершин своих осеняете трогательный памятник нежности, шумите для сладкой скорби друзей меланхолии!

О сердце! Как покорить тебя под свинцовый скипетр рока! Как располагать движения твои по его мановению! Куда девать тебя, когда ты соделываешься источником нашего бедствия!.. Но нет, нет! Твои врожденные законы должны быть сильнее, святее всех на свете, и твои муки сладостнее бесчувственного бытия.

Нина не могла противиться тайному удовольствию рассматривать Эраста, которого взоры говорили ей самым невольным, самым скромным образом о том, что происходило в душе его,—рассматривать так скрытно, что он не мог того приметить.

Время и прилежное внимание Нины к Эрасту осуществили мечту ее о возможности того счастья, которым воображение и сердце ее любили заниматься; время и пламенная страсть Эраста к Нине довели пылкую душу его до того периода чувствований, где разрываются все оплоты, где никакая сила не может остановить быстрого стремления сердца, где закрываются глаза наши на будущее или видят в нем одну прелестнейшую картину счастья!..

Нина находила Эраста от часу более достойным всей нежности души своей; Эраст от часу более видел в Нине... ангела сердца своего, и в один день, воспользовавшись минутами, когда был с нею без свидетелей, он схватил руку ее, прижимал ее к устам, к сердцу своему... Язык дополнил немые выражения сильных чувствований.

Рассеянное молчание, нежные взгляды, вздох, слезы—довольно! Этот ответ объяснил Эрасту участь его—участь, которую нельзя променять на все короны мира. Любовники поклялись в присутствии невидимого в вечной верности, в вечной любви, и жарчайший поцелуй запечатлел клятву их. С этой минуты Эраст и Нина почерпнули новое,

неизъяснимое удовольствие в источнике чувств своих и наслаждались им. Видеться, говорить друг с другом было для них такое счастье, которым они готовы были ограничить все свои желания, ежели бы не позволяли им другого и оставили бы только это одно. Никогда симпатия не была чувствуема живее, никогда два сердца одно для другого не были сотворены совершеннее.

Нина жила с отцом и матерью в деревне. Эраст жил в соседственном маленьком городке. Когда Эраст не мог быть у своей Нины, то Нина находила удовольствие бродить с образом Эраста в темной любимой своей роще, примыкающей дикими своими аллеями к самому их дому. Романические воображения мешались с мыслями о предмете любви, занимавшей всю душу Нины; чувства ее настраивались к неизъяснимой сладости мечтаний. На каждой гладкой коре дерева она вырезывала милое, бесценное ей имя. Проводить несколько часов в этой роще было первым наслаждением души ее после наслаждения взорами, словами Эраста.

Нина имела этот твердый, прекрасный характер, который нелегко решается, но, решась на что-нибудь один раз, остается в том непоколебимой навеки. Сказав люблю, она не могла уже перестать любить или переменить предмет любви; ничто в свете не было в состоянии ее к тому принудить.

Каждый день, каждое внимание к Эрасту подавали ей новую причину для оправдания нежной и сильной страсти ее к нему; Нина гордилась в душе своей дружбою, любовью его. Но образ мыслей родителей заставлял ее всего бояться в страсти своей.

Отец и мать Нины были из числа тех весьма обыкновенных отцов и матерей, которые предназначают цену дочерям своим, как будто какой-нибудь вещи, не думая нимало об истинном счастье их. Богатство составляло все достоинство, которого желали они будущему своему зятю, и, спрашивая о числе душ жениха своей дочери, никогда не заботились знать, имеет ли он в себе душу.

У Эраста, по несчастью, была только одна его собственная прекрасная душа. Нежное, доброе сердце, музами образованный разум, достаточные знания составляли его остальное богатство. Но как ценят в свете это богатство?.. Модная карета, щегольская ливрея получают преимущество... Кто оспорит эту истину?.. Ах, какая горестная оскорбительная истина!.. Какие люди!

Эраст умел, однако ж, обходиться без богатства. Самый умеренный доход был достаточен для нужд его. Он отказывал себе в обыкновенных удовольствиях молодости для лучших удовольствий: он собирал библиотеку, которая была любезнейшим его сокровищем, пользою, приятностью и утешением во всех прискорбиях жизни. Эраст опытом узнал справедливость сей надписи Озимандиасова книгохранилища—
Лекарство для души.

Нина не скрывает боязни своей от Эраста; говорила ему о препятствиях, которые предвидит в счастье своем. Эраст молчал, вздыхал; чувствовал в первый раз жестокость недостатка и в первый раз хотел быть Крезом.

Но любовь умеет находить утешения; надежда — вернейшая ей подруга, она никогда-никогда не оставляет ее. Эраст пробегал мыслями все возможности к приобретению права на ту, которая отдала ему полное — над душою и сердцем своим. Нужно ли еще другое?.. Ах! Нужно в глазах того, кто не понимает слов «душа», «сердце»! — Пробегал и сообщал их Нине.

Однажды, говоря между собою о различных состояниях в обществе, Эраст сказал Нине: «Знаешь ли, милая, что я никогда не желал быть любимцем счастья? Эти любимцы мне очень, очень не нравятся и не без причины. Долго, не доверяя чувствам своим, я относил отворачивание мое к ним тайной зависти, раздражению сердца; но внимательное наблюдение над сердцем моим и над ними открыли мне подлинную причину: я нашел, что люди с истинными достоинствами, с дарованиями редко или никогда не попадают в любовь к этой своенравной богине вселенной; что фавориты ее (по аналогии с ее характером) всегда легкомысленны, невежи, ничему не привлекательны, ни к чему не способны. Но теперь, милая, — продолжал он, вздохнув из глубины сердца, — ах! теперь за всякую цену я бы готов был обратить на себя благосклонный взгляд фортуны!..» Нина также вздохнула, взглянула на него с безмолвным выражением нежной благодарности и опустила глаза в землю, чтобы скрыть слезы свои. Этот взгляд был, без сомнения, драгоценнее Эраста всех даров фортуны.

Таким образом проходили дни, недели, месяцы чистой, невинной любви их. Занимаясь настоящим счастьем своим, счастьем видеть друг друга, они не хотели воображением страшного будущего отравлять его.

Дорога, которою Эраст всегда ездил к своей Нине, шла подле любимой ее рощи. Однажды около вечера, едучи к Нине, он выскочил из коляски и пошел в рощу. Это был час, когда романтические красоты природы кажутся еще более романтическими от таинственного сумрака, который, спуская тени зеленых рощей и опуская занавес вполупину на отдаленные предметы, дает воображению всю волю бродить среди призраков, им самим сотворенных, бродить в химерическом, чудесном, очаровательном мире. Для горестной души есть какое-то удовольствие во мраке вечера, есть нечто такое, что подобно объятиям друга, с которым сливается все существо наше, изглаживает впечатления горестей или, ежели остается еще след их, улаживает оные и оставляет одно чувство приятной меланхолии, с которым душа не хочет расстаться и находит удовольствие питать его. Но ослепляющий свет дня подобен ложным утешителям — людям, которые, желая облегчить рассеянными и забавами скорби наши (которых они не могут чувствовать), вместо облегчения увеличивают их. Наконец, особливая приятность майского дня, тихий

закат солнца, глубокое безмолвие природы, величественный вид дикой роши, последние гимны пернатых ее обитателей, томное расположение души, живое ощущение противоположности между мирным состоянием природы и волнением сердца — все это настроило воображение и чувства в Эрасте к таким мечтам и восторгам, которые содействуют нас в эти минуты совсем другими людьми. Быстрые необыкновенные парения мыслей, тонкие, нежнейшие ощущения сердца развивают новые способности в душе нашей; самый разум очищается тогда от всякого ложного понятия, от всякого случайного предубеждения и сияет, подобно лучезарному солнцу, над мраком заблуждения. Какие минуты для образования ума и сердца, для узрения темных, великих истин!.. Счастливы тот, кто умеет пользоваться подобными, редкими в жизни минутами!

Эраст мыслил, чувствовал и спешил в глубину роши как будто затем, чтобы собранные идеи и чувства запечатлеть в душе своей безмолвным ее сумраком. Погруженный в самого себя, он идет вперед тихими шагами. Вдруг шорох листьев в некотором от него расстоянии издекает его из задумчивости; он останавливается, слушает, шорох приближается — еще минута и... Нина явилась пред ним. Какое явление для обоих!.. Нина закричала, хотела бежать; Эраст бросился к ней, заклинал ее проводить с ним несколько минут в прекрасном этом месте, не лишая его радости счастливой встречи.

— Небо будет свидетелем чистых наслаждений любви нашей, а сердца порукою за ненарушимость невинности их! — сказал Эраст, прижимая к устам, к сердцу своему руку Нины.

— Страшное обстоятельство, друг мой, — отвечала Нина, — небо и сердца наши не осудят нас, конечно, но люди... ах! я трепещу от мысли, ежели нас увидят... Мой друг! Не довольно ли им одного вида, одного призрака для заключения о поступках наших? Берут ли они на себя труд, при всей охоте к решительному суждению, заглянуть под завесу дел, положений наших? Не радуются ли они некоторым образом, находя ее вредною славе, счастью нашему? Ах! Я узнала эту черту худо образованного сердца человеческого не из одних только книг, друг мой.

— Знаю все это, милая! И во всем соглашаюсь с тобою, но мы можем быть удостоверены, что нас не увидят здесь, — сказал Эраст и огненные поцелуи склеили уста любовников, потрясла душу, сердце — все существо их... Какое положение! Какая минута! Ах! С вами ли ангел-хранитель невинности вашей?

Они чувствовали в это мгновение новое бытие, новую душу, новое сердце: не знали, где они, куда переселило их блаженство наслаждений, что делается с ними; свет исчезал перед ними, все умолкло для них, чувства были вселенною и законом их.

Но вдруг внезапный сильный удар грома, ниспавший подле упоенных любовников, остановил их на краю бездны... Эраст и Нина содрогнулись... Как пораженные, отступили друг от друга в ужасе.

— Боже мой... Эраст, Эраст!.. Друг мой! — сказала Нина со слеза-

ми,—сердце мое трепещет, как у преступника... Ах! Я предчувствовала, боялась погибели, которую благое небо захотело отратить от меня!.. Небо печется о невинности нашей, более нас самих... Прости, Эраст, и забудь, если можно, эту минуту! Ты меня сегодня более не увидишь; я пойду прямо в свою комнату и скажусь нездоровою; мне невозможно в теперешнем состоянии души моей быть в обществе: каждый взор, казалось бы мне, видит, что происходит, что происходило в ней, а взоры батюшки, матушки!.. Прости, прости!

Сказала и побежала, подобно как Дафна от Аполлона. Эраст не мог произнести ни слова, стоял как окаменелый, смотрел на небо и увидел потом себя одного. Он воротился домой.

Ах! Кто может отвечать за чувства свои? Кто может утверждать, что строгий рассудок всегда удержит над ними владычество свое? Какой образ мыслей, какие правила, какая философия не бывают иногда принуждены уступить силе случая? Горе тому, кто совершенно, кто беспечно полагается на себя! Падение его тем опаснее, тем неизбежнее... Нина! Природа одарила тебя рассудком, рассудок предписал тебе правила, правилами утвердились счастливые навыки; рассудок, правила и навыки сделали тебя безбоязненною от порока; но со всем тем добродетель твоя на волосок от порока!.. Простое действие природы, один случай опрокидывали в минуту здание, над которым ты долго трудилась и которое обнадеживало тебя безопасностью!..

Нина! Нет такого твердого здания ни в физике, ни в морали, которое могло бы всегда устоять против руки природы. Все лучше, всего благуразумнее не отваживаться на сражение с нею... Редкий, редкий из смертных мог всякий раз выиграть его. Сам Сократ пылал тайно к прекрасной Аспазии, несмотря на то что он учил господствовать над чувствами и что не мог оправдать в сем случае своих¹. Я осмелюсь сказать всем Нинам в свете: «Как бы вы ни были счастливо образованы, но, встречаясь с Эрастами в темной роше, бегите от них, ничего не слушая, ничего не отвечая; остановясь на одну минуту, на одну секунду... вы погибли!»

Однажды Нина, после утреннего чтения или работы и после сельского туалета, пошел в обыкновенное время перед обедом в гостиную, находит незнакомого человека, с которым отец и мать Нины говорили в выражениях особенного почтения; ее рекомендуют гостю, он устремляет на нее от времени до времени глаза свои и относится к ней с разговором. Ее ответы, ее голос удерживают глаза незнакомца приметным образом более над нею. После обеда гость скоро уехал. Отец и мать Нины, проводя его, тотчас стали говорить между собою о госте, об удовольствии знакомства с ним, о его чине, о его богатстве и напоследок

¹ Сократ был женат и не молод, когда подружился с Аспазиею. Из многих обстоятельств жизни его, относительных к этой славной женщине, видно, очень видно, что он чувствовал к ней нечто более, нежели дружбу.

спросили у Нины, как показался ей этот достойный почтения гость. Сердце затрепетало у Нины при сем вопросе, и ответ ее не совсем был по их желанию.

На другой, на третий день — тот же достойный почтения гость, те же похвалы ему, те же вопросы о нем, и через неделю потребовали от Нины лучшего ответа. Нина, которой сердце сказало о цели таких допросов, решилась отделаться одним разом, чтобы из этого ни воспоследовало.

— Ежели вам угодно, — отвечала она, — чтобы я сказала истинное мое мнение о нем, то я ничего не нашла, не заметила в нем, кроме двух больших бриллиантовых перстней на пальцах его и человека простого, надменного своим чином, своим богатством, которые служат неисчерпаемым содержанием всех разговоров его...

— И ты будешь женою этого простого надменного человека! — перервав слова ее, сказал отец с жаром неудовольствия.

Нина побледнела, затрепетала, готова была упасть в обморок, но мать велела ей идти в свою комнату.

Там, оставшись одна, Нина вообразила — увидела страшную перспективу судьбы своей; слова отца повторились в ее сердце, подобно громовым отголоскам. «Нет! нет! Я не буду его женою, конечно! — говорила она сама с собою. — Небо было свидетелем одного обета моего, небо будет свидетелем и другого; ежели не Эрасту отдам руку мою так, как я отдала ему мою душу, мое сердце, то никто на свете... и монастырь будет тихой пристанью от бури, восставшей на заре жизни моей!»

Мысль о монастыре успокоила несколько душу Нины, но другая мысль возобновила ее терзания. «Как примет это известие Эраст, — думала она, — что сделается с ним!.. Он услышит страшный приговор свой к жестокой казни!.. Он умрет от горести!.. Злобная судьба!.. Но я удержу жизнь его уверением, что никакая власть на свете не принудит меня принадлежать другому, что жизнь моя будет сопряжена с ним или — монастырь... монастырь!.. Не могилу мою увидит он в этом слове?.. Ах! Он не захочет остаться после меня в свете! Его горесть, его отчаяние... Страшусь мыслей моих! Всевышний! Ты покровитель слабых, но невинных!»

Нина не прежде как на другой день явилась к родителям, которые оказывали ей чрезвычайное неудовольствие.

Где Эраст между тем? Он всякий день у своей Нины, видит нового гостя, ознакомливается с ним и нимало не знает, нимало не подозревает, что этот гость значит для него.

Надобно было уведомить Эраста обо всем, и Нина в один день, выбрав удобную минуту, сказала ему, чтобы он в пять часов после полудня был в ее роще. «Там, где мы некогда встретились! — промолвила она с горестною улыбкою, — и где теперь, я уверена, не увижу себя над страшною бездною!»

Можно вообразить, как это удивило Эраста. Вид тайности, с которым говорила Нина, последние слова ее — все изумляло его. «Что это

значит?— думает он,— свидание, и в каком месте!.. Надобно быть тут чему-нибудь особенно чрезвычайному!» И догадка его ни на чем не остановилась.

Время до пяти часов казалось Эрасту вечностию— настало, и Эраст полетел в рошу. Через минуту явилась и Нина.

— Посмотри, как бьется сердце мое!— сказала она, схватя Эрастову руку и положила ее на сердце.— Сколько я отживаюсь, милый друг!.. Но что я говорю? Могу ли подвергнуться ужаснейшей участи, которой подвергает меня судьба моя и которую здесь открою моему другу!

Эраст обмер.

— К чему ты готовишь меня, нежнейшая супруга моего сердца?— спросил он в ужасе.

— К страшному известию, друг мой!— отвечала Нина.— Так тебе должно иметь все мужество и подать мне пример собою...

— Понимаю!— прервал слова ее Эраст.— Нас разлучают?..

— И ужасным образом, друг мой!— продолжает Нина.— Руку мою хотя отдал другому— этому Крезу или Мидасу, которого ты видишь у нас с некоторого времени; он приехал посмотреть меня; к несчастью, я понравилась ему; он открыл намерение свое батюшке и матушке, которые этому обрадовались и которые требуют безмолвного, слепого повиновения от злополучной своей дочери, требуют, чтобы я отдала руку мою, и я решилась...

— Нина! Произнестъ приговор мой к смерти?— прерывает Эраст в испуге слова ее.

— Пстой, несправедливый друг! Я решилась сказать, что никогда не соглашусь быть его женою и идти в монастырь... ежели не буду твоею, промолвила я последние слова в душе моей.

— Несравненная женщина!— говорит Эраст, схватя руку ее и прижимая ее к сердцу своему.— Достоин ли я такой жертвы?.. И приму ли ее?.. Могу ли снести мысли, что ты заключила себя, так сказать, живую в гробе? Нет, Нина! Такая жертва ужаснее для меня всего, всего на свете!.. Послушай, милая,— продолжал он после мрачного молчания,— многим непонятно, я знаю, чтобы любовь была без всякого эгоизма, чтобы мы могли любить предмет любви нашей более самих себя, то есть чтобы могли отказаться от собственных наслаждений для некоторой его выгоды; но что принадлежит до меня, друг мой, я нахожу это весьма возможным и, поверь искренности моего сердца, милая!— ежели ты можешь быть счастлива с другим, то и я буду счастлив, счастлив иным образом, конечно, но я не буду даже роптать на небо, вечная, глубокая горесть осиротелого сердца моего будет услаждаться мыслию: она счастлива! А не желал ли я более всех благ на свете твоего счастья за какую бы цену ни было? Цена это— собственное мое счастье; что же, разве не почитал я за главное удовольствие жизни моей уступить тебе без исключения все, что только могу уступить? Почему же не могу уступить и счастья моего? Для чего нельзя не быть эгоистом и в этом

случае, как во всех других?.. Ежели бы я сам был творцом твоего благополучия, Нина, то без сомнения благополучие твое имело бы для меня бесчисленность прелестей; но ежели соделает тебя счастливою другой, то...

— Ах Эраст, милый друг мой! Что ты называешь счастьем?— спросила Нина с слезами на глазах.

— Я думаю, что нет двух мнений о счастье, — отвечал Эраст, — я полагаю его в тихом постоянном удовольствии сердца.

— А разве я могу иметь тихое постоянное удовольствие сердца не с тобою?— сказала Нина с сильным внутренним движением. — Ах, жестокий человек!.. Прости мне это жестокое слово, друг мой!.. Как можешь ты...— слезы не дали говорить ей, они лились рекою по лицу ее и задушили ее.

Эраст бросился к ногам ее, рыдал, клялся умереть с сильнейшею любовью к ней на свете.

— Что бы ни предзнаначала мне судьба моя, — сказал он с огнем страсти, — но обождать тебя будет сладостнейшим чувством души моей до гроба!

— Мой друг! — сказала Нина. — Я откроюсь родителям в любви моей. — открою с тою смелостию, которую дает нам невинность, чистота чувствований наших; остальное дело предоставляю судьбе моей; она бывает иногда сострадательна, справедлива.

Златой луч надежды сверкнул в мрачной душе Эраста. Они расстались с новою клятвою в любви и верности.

Не позже как через день после сего печального и отрадного свидания приступили к Нине с неперменным требованием ее согласия на замужество.

— Чего вы хотите, родители мои, для вашей дочери, — говорит она, проливая слезы. — Счастья?.. Я не могу иметь его с этим человеком, клянусь вам богом, который не желает противного сердцу союза! А богатства, почести, когда сердце...

— Перестань! — закричал отец грозным голосом. — У тебя набита голова модными химерами, романами... О, эти романы! Несколько лет назад, когда не знали девушки и имени романа, родительская воля была для них и умом и сердцем; не умели говорить о женихе, которого отец и мать предлагали им: он мне не нравится, он не любезен, он богат, чиновен — и более ничего. Чинов и богатства нынешним девушкам не довольно, надобно еще в женихе воспитание, какую-то любезность... Не так ли, сударыня? — спросил он с злобною насмешкою у бедной Нины.

— Батюшка! Ежели вы ищете единственно моей пользы и нет тут вашей, то заклинаю вас, — бросаясь к ногам его, говорила она, рыдая, — заклинаю вас не принуждать меня к этому замужеству!.. Знайте, что вы сделаете дочь вашу злополучнейшею на свете... Знайте... — слезы теснили грудь ее, мешали говорить ей.

— Встань, безрассудная!—закричал отец, поднимая ее.—Что ты хочешь еще сказать?—спрашивает он с нетерпеливостью гнева и устремя на нее свирепые взоры.

— Я люблю,—говорит Нина почти полумертвая,—и любовь моя оправдывается достоинствами предмета... Эраст...

— Любишь?.. Негодная!—прерывает отец слова ее с кипящим гневом.—Любишь, и родители твои ничего не знают.

— Любовь моя всего невиннее на свете,—продолжает Нина,—одна живая, непреодолимая склонность сердца...

— Молчи, дерзкая!—закричали в один голос отец и мать ее.—Пойди с глаз наших и думай о заглаждении вины своей раскаянием в поступке своем и полным повинованием воле родителей, которых ты столько огорчаешь!

— Монастырь будет заглаждением вины моей, ничто другое... На самую смерть соглашусь скорее, нежели на требование ваше!—сказала горестная, отчаянная Нина и пошла в свою комнату.

Эрасту в тот же день отказано было от дому. Эраст хотел говорить с родителями Нины, но его не хотели слушать. Этот поступок объяснил ему всю участь его и Нины. Оглушенный страшным ударом, Эраст не понимает мыслей и чувств своих. «Что предпринять, к чему стремиться?»—думал он, и ужасная бездна отчаяния разверзлась у ног его. В таком состоянии возвратился он домой и заперся в своем кабинете.

Что происходило между тем с Ниною в ее комнате, нужно ли сказывать? Какое воображение не представит себе в точном образе состояния души ее.

Два дня прошло, и Нина ничего не знала о решительном приговоре своем; на третий вошли к ней отец и мать ее.

— Одно из двух непременно,—сказал отец суровым голосом,—согласие на волю нашу или монастырь.

— Последнее!—отвечала Нина и бросилась к ногам его.

— Ежели ты не исполняешь нашей воли, то мы исполним твою: завтра же поведем в монастырь,—сказал отец и вышел, пылая гневом.

— Матушка!—закричала Нина, оставшись с нею и бросаясь на шею к ней.—Матушка! Неужели вы перестали любить меня, ненавидите дочь свою?.. И за что?.. Менее ли я люблю и почитаю вас?.. Ах! Вы хотите погибели моей!.. Матушка!..

Нина не могла говорить более, целовала руки ее, обливая их слезами. Природа победила на минуту жестокость сердца человеческого, и тронутая мать плакала вместе с злополучною своею дочерью, уговаривала ее, потом называла ее непослушною дочерью и оставила ее, не переменяя горестной ее решимости и не обещая облегчения бедственной судьбы ее.

Старалась ли мать преклонить к сожалению жестокого отца или нет, оставим без исследования, но только в другой день точно он исполнил обещание заключить бедную Нину в монастырь. Она приняла известие

об этом с тою бесчувственностью сердца, которая страшнее всякого чувства.

Монастырь, в который отвезли ее, был в том самом городке, где жил Эраст, другого женского монастыря не было во всем округе. Какое обстоятельство! Нина не умела разобрать впечатлений, которые произвело оно в душе ее, волнуемой ужаснейшим образом. «Я в одном городе с ним! — думала она. — Могу что-нибудь знать об нем; могу как-нибудь дать ему знать о себе... Но быв так близко друг от друга и видеть ужасную бездну, страшное пространство, которые разделяют нас!.. Боже мой!.. Какое положение!.. Что делается с бесценным другом моего сердца?.. Что будет с ним, когда он узнает о решении судьбы моей?.. Он умрет!.. Он не перенесет такого удара!.. Я знаю Эраста, чувства его мне столько же известны, как и мои собственные... Всемогущий! Ежели молитва невинного сердца доходит к тебе, в чем я и не сомневаюсь, то спаси друга моего! Укрепи силы духа его для перенесения бурь здешней жизни!.. Чистое сердце его стоит твоего внимания, твоего покрова!.. Прими и меня, слабую, под оный! Незлобность и моего сердца тебе известна! Смело приближусь с ним к алтарю твоему, ежели воле твоей угодно будет потребовать его в жертву себе единому... Ты простишь ему слабые, но непорочные чувства!»

Таким образом изливала горести души своей злополучная Нина. Но увидеть или узнать что-нибудь об Эрасте не было никакой возможности, ибо отец ее просил настоятельницу взять всю предосторожность в рассуждении этого.

Недолго было тайною заключение Нины в монастыре; на другой день весь город говорил об этом; все дивились этому, никто не знал еще истинной тому причины, каждый сообщал свою догадку, и Эраст, злополучный Эраст, узнает сию ужаснейшую для него новость. Ему сказали, что Нину постригли.

Кто может описать, что сделало с ним это известие? Для таких описаний язык не имеет выражений, природа красок, воображение картин! Бежать с пистолетами к отцу Нины, прострелить ему сердце и потом прострелить свое было желанием первого движения души его!

Но обращение к Нине, дражащей его Нине, переменяло страшное стремление души отчаянной. Почти без чувств, без памяти полетел он в монастырь, вбегает на двор. «Зачем? к кому?» — спрашивают его в монастыре. «К моей Нине!» — отвечает он диким голосом с яростным взором.

Дают знать настоятельнице и через минуту потом объявляют, что нельзя ему видеть Нины. «Для чего, варвары? — кричит он в иступлении, и:—я увижу ее против вашей воли!».

Настоятельница, слыша крик, слова его, почла, что он помешался в разуме и велела его оставить.

Долго бродил он по двору, смотрел на окна келий, звал Нину самыми трогательными именами и был подобен в самом деле сумасшедше-

му. Напоследок, потеряв всю надежду видеть Нину свою, он вышел из монастыря, обошел вокруг стены его, потом побежал домой таким же образом, как и в монастырь, и заперся снова в кабинете своем. Камердинер слышал стенания его и имя Нины во всю ночь. Знала ли Нина, что Эраст был в монастыре, неизвестно.

На другой день, вместе с рассветом, Эраст вышел из кабинета в шляпе, с паакою, с бледным лицом, с распухшими глазами и пошел поспешно за город. Камердинер хотел следовать за господином своим, но он велел ему остаться.

Любимая Нинина роща, свидетельница прошедшего и невозвратно-го счастья, обещала ему какую-то отраду, какое-то облегчение; он спешит к ней (около десяти верст было расстояния), входит в густые тени ее, сердце его содрогается, кровь волнуется страшным образом!.. Эраст не знает сам, что происходит в душе его, целует каждое дерево, твердит бесценное ему имя Нины и находит на коре одного дерева свое и ее имя, соединенные гирляндой с подписью: «Симпатией и небом!» «Это ее рука вырезала! — кричал он в совершенном иступлении. — Здесь, подле этого дерева должно умереть мне!» — повторил он несколько раз и упал в сильное обмороке на землю.

Опаматовавшись, он не понимал, что было, что делается с ним. «Сон это или смерть, — думает он, — пробуждаюсь я или воскресаю?»

Некоторое время и прохлада утреннего воздуха возвратили ему полную память, и печальная истина явилась перед ним во всем своем ужасе. Он бродил по роще до самого вечера, подходил к дому, где обитала некогда половина души его, и с трепетом бежал от него: Эрасту казалось, что страшные чудовища, лютые тигры теперь обитают в этом жилище. Целый день проводил он без пищи и, возвратясь, тотчас лег в постель.

Во всю ночь сон не смыкал глаз его. Сильный жар, ужасная тоска и бред испугали камердинера, он побежал за лекарем. Лекарь находит Эраста в страшной горячке; предлагает ему бросить кровь, Эраст противится, и через два дни хладные объятия смерти замораживают кипящую кровь его.

Весь город — все, кто только знал Эраста, плакали о нем и благословляли память его. Напоследок и родители Нины узнали о злополучном конце несчастного молодого человека, жалели (ибо какое сердце может ожесточиться до такой степени, чтобы не пожалеть о злополучном!) и вздумали воспользоваться сим печальным обстоятельством. «Потеряв всю надежду с Эрастом в любви своей, — говорили они между собою, — Нина, может быть, захочет выйти из монастыря, захочет согласиться на желанное нами замужество».

Бесчеловечные люди! Как худо известно вам, что есть нежное, чувствительное сердце!.. Что есть истинное, глубокое чувство!.. Вы судите по собственному сердцу!.. Нет, нет! Вы не имеете совсем его!.. Или бы оно внушило вам сколько-нибудь любви и сострадания!.. Камень

лежит вместо сердца в груди вашей и ваше сожаление о несчастном не иное что, как пустые слова!

Отец Нины тотчас поехал в монастырь и просил настоятельницу сказать Нине со всею предосторожностью о смерти Эраста и уговаривать ее к повиновению воле родителей. Настоятельница, которая имела довольно разума и которая сердечно жалела о Нине, обещала исполнить его желание, но не обнадеживала в счастливом успехе.

Через час после того вошла она к Нине, которая, облокотясь на столик, сидела в мрачной, глубокой задумчивости.

— Вы всегда так печальна, сударыня! — сказала она ей. — Знаете ли, что это грех? Истинному христианину должно иметь всегда, во всяком случае жизни полное упование на милосердие отца небесного.

— Знаю, — отвечала Нина с тяжелым вздохом, — знаю и не могу преодолеть чувств моих.

— Вы, верно, недовольно стараетесь об этом, — продолжала настоятельница, — искреннее, решительное желание господствовать над собою доставляет нам со временем это господство, и в бурной тленной жизни нашей оно очень, очень нужно нам! Тысячи противных обстоятельств, необходимые потери любезнейших сердцу нашему (при сих словах настоятельница посмотрела на Нину таким образом, что Нина затрепетала), потери, которые могут привести нас в ужаснейшее отчаяние, ежели мы себя не приготовим к ним; а отчаяние, вы знаете, до каких грехов доводит: ропот, хула на бога, самоубийство и тому подобное. Подумайте, сударыня, как непростительно бы было, ежели бы вы, например, имели любимца души своей и не захотели бы утешиться в невозвратимой потере — в смерти его...

— Что вы говорите? — закричала Нина. — Для самого бога, ежели вы говорите точно обо мне, ежели знаете, то не мучьте меня...

— Знаю, — прерывает слова ее настоятельница, — и хочу, чтобы вы имели великодушие все выслушать.

— Довольно, довольно! — закричала опять Нина и упала без чувств на руки игуменьи.

Добросердечная женщина встревожилась, сильно тронулась состоянием ее, выговаривала себе за недовольную предосторожность, старалась возвратить чувства Нине, успокоить ее, но более часа продолжалось ее беспамятство.

Наконец, открыв глаза и посмотрев вокруг себя с ужасом, она сказала:

— Нет его!.. Он умер с горести!.. Его убили!

Сказала с глубоким, продолжительным вздохом и закрыла глаза снова. Грудь ее колебалась, глухой стон вырывался из нее повсеминутно.

Настоятельница уведомила родителей о состоянии Нины; они приехали, подошли к ней, звали ее, но глаза ее не открывались. Мать села подле нее, взяла ее руку, потом поцеловала в бледную ее щеку, и капая слез, упавшая на нее, открыла глаза Нины, — глаза, в которых изобража-

лось ужасное сердечное страдание. Узнав мать свою, на которую долго смотрела с бесчувственным молчанием, она вздохнула, залилась слезами и томным, слабым голосом сказала наконец:

— Я умираю, матушка! И радуюсь этому: жизнь мне противна, нестерпима.

— К чему такие мысли, милая?—говорила пораженная мать.—Ты должна жить по крайней мере для родителей, которые...

— Это не в моей воле теперь, матушка!—прервав слова ее, сказала Нина.—И что вам в жизни моей? Я так мало приносила вам утешения и так бы немного принесла вперед!

Слезы мешали ей говорить.

— Смерть моя прекратит все неудовольствия ваши на меня,—продолжала она,—и за которые прошу теперь вашего прощения: умирающим не отказывают в нем.

Тут взяла она руку матери своей, поцеловала ее, рыдала и вторичный обморок лишил ее чувств.

С этой минуты пять или шесть дней она не открывала глаз своих,—не ела, не пила и сильное воспаление в крови подвергло ее опасному состоянию. Наконец, кровь ручьями полилась из горла у нее, и доктор объявил, что чрезвычайное повреждение в легком заставляет сомневаться в ее выздоровлении; все просьбы, чтобы она приняла лекарства, пищу, были тщетны. Нина была безмолвна, бесчувственна.

Наконец открыла она полумертвые глаза свои; мать подошла к ней, Нина сделала знак, что хочет говорить с матерью, и по долгом молчании прерывающимся голосом сказала ей:

— Матушка! Усладите теперешние минуты мои обещанием исполнить последнюю мою просьбу! Велите похоронить меня в моей любимой роще... (тут глубокий вздох задержал слова ее) под этими соснами...

Она не договорила, рука лютой смерти окovala язык ее и смежила ангельские глаза навеки.

Что чувствовали в сии минуты отец и мать Нины, не станем судить об этом. Страшные мысли!

Они исполнили ее просьбу. (Ах! Какую просьбу!.. Родители!) Похоронили ее в милой ее роще, под густыми тенями высоких сосен—там, где любила она сидеть с книжкою, с мыслями, с сердцем своим... Черный мраморный обелиск стоит уныло над ее прахом.

Нина, Нина! Ты лучшей участи была достойна! Природа хотела счастья твоего, она дала тебе разум, сердце, Эраста, но ах! бедственный предрассудок человеческий отнял у тебя все дары ее прежде, нежели ты могла воспользоваться ими!

М.В.Сушков

РОССИЙСКИЙ ВЕРТЕР

Полусправедливая повесть

От издателя

При издании сих писем мое намерение состоит в том, чтоб представить глазам общества странного молодого человека, описывающего с непонятным для меня хладнокровием собственный свой характер, почти все обстоятельства своей жизни и наконец смерти! Всякий, читая строки сии, сочтет их вымыслом самого автора, но увы!.. уже более осьми лет он обратился в прах; окончив добровольно жизнь свою на 17 году от рождения, и точно таким же образом, как он описал конец мнимого Вертера. Многие знают его несчастную историю, но я не желаю напоминать имя его, боясь раскрыть тем раны его семейства.

От сочинителя

Я читал *Российскую Памелу**, и мне представилась мысль Российского Вертера; а как с романов пошлин не платят, то я исполнил по ней без замедления. Вот сей Вертер, который, без сомнения, ниже подлинника*; но ежели время трех дней, употребленное на их сочинение, может извинить недостатки одного, то читатель найдет его в том состоянии, в каком он вышел из моего пера, без малейших переправок — и кто может положиться на вторые мысли в том, что в первом жару воображения написано худо?

Здесь представляется молодой человек пылкою сложения, чувствительного сердца и, может быть, весьма рано начавший питать свой разум философией, словом, такой, каков был ближе к моему нраву. Я следовал за ним постепенно в различные обстоятельства его жизни и заставлял его говорить то, что сказал бы всякий человек его свойств в подобном положении. Те, которые довольно счастливы, чтобы жить, не чувствуя бремени жизни, те, конечно, не развратятся его примером; а кто думает сходно с Вертером, того не переуберят все писания сорбонских учителей*. Итак, господа нравоучители, не хмурьтесь, а не читайте сей книги, и дело обойдется без спора. Многие охотники пространных повествований спросят, что за Вертер, который как будто свалился с

неба, которого и самое имя неизвестно и который при том думает поселить участие?

Государь мой! Какая вам нужда знать его благородство и родословие, когда меж вас немногие только похвалятся дедовскими заслугами, а своими никто? Что же касается до имени, то в нем немного нужды там, где описывается человеческий нрав; но если вы непременно хотите на свой вкус книги, возьмите старинные французские повести, где найдете около пятидесяти действующих лиц с исправным описанием дней их рождения и именин; возьмите еще те из российских сочинений, в которых нравы познаются только из имен: как здравосудовы, вертопраховы и пр. А я буду доволен, коль малое число читателей не почтут потерянную четверть часа, употребленную на прочтение сих писем; и еще более, коль два счастливые сердца среди взаимного веселия вздохнут над участью Вертера и Марии.

Приписавие

Госпоже...

Мне сердце, мысли все безделки сей внуша,
Сказало, что тебе одной я должен сю:
Итак, пускай твоя чувствительна душа
Мне будет судиею.
Я благосклонности надеяться не смею,
Но коль сильнейша страсть то может заслужить,
Скажу, что Вертера все чувства я имею,
Когда б хотела ты его Марисей быть;
Но красотой ее уменьши прелезти,
Ужели нежностью ты не сравнишься с нею?

Письмо I, от 6 июля

Любезный друг!

Наконец, мы притащились в деревню, и на другой день приказчик с старостою и со всеми крестьянами пришли нас поздравить. За ними следовала толпа молодых баб в праздничном платье, в золотых сороках и в щегольских сапогах. Позади их подвигались старухи, а отборные девки замыкали шествие. Ты не можешь вообразить их смешной важности, их грубого вида, который ваши нравоучители называют невинностию; словом сказать... я чувствую, что никогда не привыкну к деревенской жизни, где все должен снискивать в одном себе. Не подумай, чтобы я имел жестокие чувства; нет, моя чувствительность обнаруживается часто;

но чтобы находить удовольствие, смотря на трудящегося пахаря, на пчелку, сосущую цветочек, это свойственно бредить одним стихотворцам, когда они в сильнейшем градусе своего исступления. Я сам также умею расхвалить то, что меня нимало не прельщало, и для того-то сомневаюсь в истине их восторгов.

Когда случалось в конце поставить *речки*,
Для рифмы, пить туда стекались *овечки*,
И если заходил я в темные *леса*,
То скоро излетала на ясны *небеса*.

Прости, желаю, чтобы ты проводил время не скучнее меня.

Письмо II, июля 13

Приятный твой ответ, с приложением рассуждения на случай смерти... я получил. Ты удивляешься, что я описываю не с лучшей стороны мою жизнь и потом желаю тебе проводить время не скучнее меня. Но разве ты не знаешь, что я нигде не бываю отменно весел и ничем много не скучаю. Нет, друг мой, отчаяние несродно человеку семнадцати лет и который притом составил себе особливую систему мыслей. Когда я пишу, что никогда не привыкну к деревенской жизни, это не значит, что я не привыкну к уединению,—я уже люблю вкушать удовольствия оного, и для меня приятнее быть одному, нежели с глупым товарищем. Вчера приезжали к нам все соседи, но я познакомлю тебя с ними после, а теперь скажу свое мнение о присланном тобою сочинении. Я не нашел в нем ничего, кроме выписок из псалмов, которые помещены довольно некстати; да я б и не дивился, если б сие понравилось некоторым ханжам, некоторым старушкам, коим нужен пустой звук слов, хотя б он был без смысла; но ты пишешь, что целая столица читает бред сей и восхищается. Разве люди переродились по моем отъезде? Между прочим, велемудрый сочинитель признается, что бог, предвидя вред, могущий произойти от него обществу, наказал, или паче, наградил его несколькими ударами.—Какой вздор! Какое противоречие! Конечно, последний удар поразил его в мозг.

Однако ж продолжай описывать мне ваши новости, а я уведомляю тебя, каков родился горох.

Письмо III, июля 17

Лучшая моя забава беседовать с дворянами нашего околотка. Сего дня мы были у них. Какие разные лица! Нет, никакой актер не может больше

увеселить. Хозяин, который нас угощал, отставной капитан, и хотя служил только в обозе, но теперь завоевал весь уезд. Все прочие считают его высоким господином и не иначе говорят с ним, как с почтительным протяжением шеи и растопыря пять пальцев между толикого же числа камзольных петель. Супруга его могла бы быть приятной в обществе, ежели б не родилась, не выросла и не жила с мужиками. Она слыхала, что наши господа боятся грома, гор, кошек, мышей и пр., пр., чего ипачисить недостало бы ни память, ни места,—слыхала и вознамерилась того же бояться; но притворство так в ней заметно, так неприлично к ее поступкам, что она настоящая обезьяна, которая дразнит человека. Сего не довольно. Чтобы поддержать свою знатность, то со всеми она обходится надменно, заставляет гостей дожидаться ее по несколько часов, говорит с ужимками и не иначе приглашает их, как сказав на общее лицо*, что завтра будет дома. Когда мы к ним приехали, то муж и жена выскочили в сени, и сколько перед прочими горды, столько пред нами были низки. В будущем письме узнаешь последствие, а теперь скажу только, что я в существе вижу комедию *Недоросля*. Муж дурак, жена злая, сын крестьянский повеса, в другой семье настоящей Скотинин, и хотя нет здесь Софьи, однако, также по человеколюбию воспитывают простенькую сиротку, которой небольшой доход попечители еще уменьшают.

Прости, уже скоро полночь, и сон велит мне покинуть перо.

Письмо IV, июля 20

Когда поистине описания мои тебе нравятся, то вот продолжение прошедшего письма. Лишь мы вошли, тарелки загремели и казначей в изодранном кафтане начал обносить водку из домашнего вина, подслащенного медом. Обед был огромный, но я встал очень голоден; а как не щадили дешевых наливок, то скоро полились реки слов. Разговор, как можешь догадаться, начался о хозяйстве, и, слушая их поступки с крестьянами, я думал быть в обществе пьяных судей, которые откровенно сообщают друг другу вновь выдуманные средства разорять просителей. А разорять собственных своих мужиков не только бесчеловечно, но и безрассудно. Потом последовали рассуждения о политике. Один негодовал на войну, будто для пользы государственной, а в самом деле для того, что был должен поставить рекрута. Другой желал продолжения войны, будто для заключения впредь твердейшего мира, а в самом деле для того, чтобы распродать молодых ребят в рекруты дорогою ценою. Любители литературы, прочтя нечаянно *Задига*, хвалили его как святую книгу для того, что ему является светлый дух; но когда я назвал Вольтера его сочинителем, то по многих крестах решились они наложить на себя покаяние.

Наконец некто, престарелый ябедник, жаловался на суд, который в десять лет не решит только двенадцати тяжб, начатых им с родным дядею, с сестрою, с сыном и пр. Он пространно рассказывал все производство дел от начала их до того дня, чертил на столе пальцем план своих земель и, по-видимому, старался влести нас с собою в тяжбу. В заключение всего мы напились ячменного кофе с снятым молоком, ибо сливки берега на масло; и как не было карт в целом селении, то все разбрелись по разным углам; а я, наскуча быть долго немым зрителем, поехал домой.

Письмо V, июля 24

Мой друг! Ты упрекаешь меня ленистием, и я признаю, что моя муза задремала в сельской жизни. Еще раз скажу, что такая жизнь не соделана для меня: поля, леса, ручьи не оставляют во мне толь сладких впечатлений, каковые, по-видимому, испытал Геснер. Я охотно обегал все окружные места, но, увидя завтра то же и послезавтра то же, и те же виды, и те же лица, наконец всем наскучил. Человек с природы любит перемену. Однако ж, чтоб очиститься от твоих укоризн, то вот опыт моей деревенской свирели:

Вечерняя заря, явися вдалеке,
Багряный свой покров простерла над лесами;
Прохладный ветерок, качая деревьями,
Шумел с приятностью в пушистом тростнике.
Пастушка, утомясь от солнечного зноя,
Воссела, где ручей, подошву холма моя,
Излучинами тек, крутился и журчал;
Пастух, которого давно любовны взгляды
Просили от нее взаимные награды,
Со стадом перед ней нечаянно предстал,
Под стражу верным псам отдав своих ятняток,
Он робко ей поднес им сорванных цветков,
Гвоздичек аленьких и синих васильков,
И как сказать люблю, не ведаю ухваток,
Молчал, краснел, вздыхал и, начиная речь,
Старался в скорости слова сии пресечь.
Забавно было то и внятно для пастушки:
Ей сердце делало исправный перевод
Того, что думал он. Тогда, явясь, Эрот
Дал смелость пастуху, вмешался в их игрушки—
И скоро весь они забыли смертных род.

Вот, друг мой, происшествие, которому я был нечаянным свидетелем; но откинь только стихотворческие басни, узнаешь, что ввечеру,

когда воздух был довольно сыр, идучи с ружьем, я увидел крестьянскую бабу в лаптях, которая неосторожно резвилась с босым мальчишкой. Трава, смоченная уже холодной росой, заменяла им богатый диван—и они казались довольными своею участью. Сколь охотно я отдал бы свое просвещение, свое благородство, чтоб иметь грубые чувства сих людей и, питаясь своими трудами, не желать ничего.

Письмо VI, июля 27

Недавно читал я Флориана. Какой пречудный писатель! От заставляет забытья, водит мысленно по дугам и долинам, принуждает принять участие в радостях и огорчениях своих пастухов: я восхищаюсь, бегу в поля, в намерении вкусить описанные им приятности, и возвращаюсь недовольным собою. Пастухи наши не только вселить участия, но и сами ни веселия, ни печали не умеют почувствовать. Когда я бью свою собачку, она визжит и чрез минуту так весела, как была прежде; а я вывожу из того... как несносно видеть только таких людей! Иногда я смотрю на восходящее солнце: мало-помалу возношусь мыслями к создателю и уверяюсь, что он существует; иногда томный свет луны проникает в мое окошко, и я тогда углубляюсь в унылую задумчивость; но сердце мое никогда не перестает желать чего-то—чего мне недостает. Прощай, пришли ко мне несколько книг.— Мне уже и соседи мои не смешны, а становятся скучны.

Письмо VII, июля 31

От праздности я вздумал ловить перепелов и нередко почти до рассвета хожу по полям с дудочкою. Чувствую, что не охота заставляет меня бдеть, когда все покоится, но я сокращаю тем время, в которое сон отказывается меня посетить. Часто я отдыхаю на открытом воздухе; месяц опускает свои лучи на мои веки, слабо сомкнутые, и я тогда доволен, а мои мысли так бродят, так бродят, что не умею их изъяснить.

Ты не поверишь, что я начинаю смотреть с удовольствием и купно с завистию на двух птичек, которые перепархивают с ветви на ветвь и нежно лобзуются. Сколь трудно человеку понять себя! А мы хотим еще угадывать желание другого. Недавно я встретился в лесу с одною девочкою из нашей деревни. Она брала ягоды и, увидя меня, побежала. Я с тихостию погорил ей воротиться, и кузовок, в торопости ею отшвырнутый, действовал, может быть, больше, нежели мои слова. Она подошла взять его, озираясь; ее ребячий вид мне понравился, и мы скоро познакомились; но вот сколь велика человеческая слабость! Я забылся и в исступлении почитал себя счастливым. Мечта исчезла в одно мгнове-

ние, и я увидел в ней куклу, которая движется по заведенной пружине. «Ах! Для чего она не Галатее или Эстелла?» — так помыслил я, вздохнув, и возвратился домой.

Письмо VIII, августа 3

Ты смеешься моим письмам — смейся, мой друг: я сам часто себе смеюсь. Мне скучно, мне чего-то недостает, а это *что-то* я едва постигаю. Писать к тебе и получать от тебя письма, которые я по сто раз перечитываю, составляет часть моего упражнения. В те минуты я чувствую, что имею друга, чувствую, что сердце мое не совсем пусто, и тем услаждаюсь. Душа моя изливается на бумагу, и когда мы не можем быть вместе, то мне приятно беседовать с тобою письмами. — Я не могу продолжать далее: к нам в деревню приехали гости издалека. Посмотрю их и тебя обо всем уведомлю.

Письмо IX, августа 24

Вот уже две почты я пропустил, и укоризны твои не сильны были заставить меня уделить несколько минут от тех приятных дней, которые я провожу. Теперь я совершенно счастлив. Отгадаешь ли чем? Ты скажешь, что я люблю, и в том не ошибешься. Наконец, я избавился той несносной пустоты, которая меня терзала. Приезжие гости привезли с собою девицу: нет, богиню! И ежели б Венера когда-нибудь существовала, то бы позавидовала ее красоте. Представь себе русые волосы, распущенные локонами по лицу, белейшему снегу; но нет, такое уподобление давно известно и, следовательно, ее недостойно. Глаза! Ах, для чего я не живописец! Сии прекрасные глаза так глубоко впечатлились в моем уме, что я бы срисовал их заочно. Одним словом, не нахожу выражений, способных изъяснить всех ее прелестей и всей моей любви. Вообрази себе особу совершеннейшую — это она; вообрази себе человека страстнейшего — это я. Кажется, что судьба сотворила нас одного для другого. Ты знаешь, что всякая красавица может меня тронуть, но знаешь также, что я никогда не имел духа открыться, и сие чувство проходило вместе с предметом оною; а теперь я стал не я, и друг мой не узнал бы меня, когда б увидел. День я при ней, ночью выдумываю средства ей угождать и едва нашел время написать к тебе. Я сказал очень мало, хотя письмо довольно велико; но сей порок сроден любовникам. Бумага вся; итак, прости.

Письмо X, августа 17

Я болен, совершенно болен, и человек в горячке не имеет моего жара. Когда я с нею — но что я говорю? Я всегда с нею и всегда не помню себя; одну ее вижу, одни ее слова внимаю, все чувства мои устремлены к ней. Ты знаешь, что я неохотно танцевал, ибо сие невинное увеселение превращено в виновное, а теперь я рад танцевать до упаду и не дивлюсь молодым людям, которые так страстны к танцам. Конечно, сердца их заняты; но нет, они любовь превращают в забаву, для них полюбить и оставить равно как поиграют в шашки и потом их отбросить — а я один только люблю; для меня страсть моя есть должностно, утехою, законом, упражнением, словом, она мне все. — Желая тебе, мой друг, быть также веселу, как я, а ты пожелай продолжения моего благополучия.

Письмо XI, августа 21

Ты требуешь подробной повести нашего знакомства. Исполню твоё желание. Вид ее, как я сказывал, скоро подействовал над моим сердцем, и мне казалось, что я ей не противен: назови сие действием самолюбия или чем хочешь, но я угадал. Сходные нравы, сходные души имеют тайное притяжение. Я старался быть ей угодным и в том много успел. Она принимала мои услуги с приятностию, отвечая на оныя взглядами, не теми взглядами, которыми ваши городские прелестницы ловят невинные сердца, а такими, которые можно только понять, а не описывать. Наконец, я нашел средство вручить ей письмо, так что нельзя было не принять оно, не подав подозрения окружающим. Просьбы мои о решении моей участи были долго напрасны, как некогда в уединенной комнате я застал ее, держащую с восхищением бумагу. Тайное предвещие меня влекло. Я бросаюсь стремительно, вырываю оную и познаю мой почерк. Тогда я покрываю ее тысячею поцелуев: не в силах сопротивляться и на мои восклицания: «Ты моя, ты моя» отвечает подобно: «Я твоя, вечно твоя!» Да, сердца прямо нежные не страшатся ввериться друг другу: она отдалась мне, и я тем не воспользовался. С сего блаженного дня мы хотя редко бываем одни, но довольно часто, чтобы успеть осыпать друг друга взаимными ласками. Мария, так я буду называть ее, не из тех женщин, которые, оказав единожды слабость, стараются потом заглаживать ее неприступною строгостию. Она не стыдится тем, что меня любит; она тщеславится сею любовию и готова всегда меня в том уверить.

Письмо XII, августа 24

Она уехала! Да, мой друг, Мария уехала, и я не мог с нею проститься, не мог облить слезами ее груди и, слыша тайный вздох, исшедший из

глубины ее души, не мог принять сего вздоха моими устами. Я сам вижу, до какой слабости я достигнул; но не брани, а пожалей меня. Рано или поздно вся стонческая твердость исчезает в том, кто не камень носит вместо сердца, а сии прелести, конечно бы, и камень смягчили. К пущей досаде, я должен скрывать рану, причиненную мне ее отъездом, и, верно бы, мне было легче, если бы мог, по крайности, плакать свободно. Слезы суть жизненным бальзамом в печали.— Прости, я десять раз принимался писать сие письмо, и десять раз рыдания прерывали оное.

Письмо XIII, августа 28

Прошедшие и настоящие дни иногда кажутся мне сном, но несносная тоска скоро удостоверяет меня, что мучусь наяву. Ах! Когда я не знал Марию, то хотя был скучен, хотя был неспокоен, однако ж был счастливее. Но что я дерзнул сказать? Блажен тот, кто по ней страдает, кто имеет причину о ней крушиться! Целый век огорчения может ли заслужить одну минуту общества с нею? А я столько дней оным наслаждался и еще смею роптать! Конечно, лучше увидеть ее один раз и потом умереть, чем жить в веселии, не зная ее... Умереть! Но умереть гораздо легче, нежели не видеть ее более. Мне все здесь напоминает мою Марию. Пойду ли к густым липам, верным защитникам от солнечных лучей,—под ними она сидела. Прихожу ли в березову рощу,—там, отстав от подруг, она подтверждала мне свою любовь нежными ласками. Вбегаю ли на высокий бугор,—оттоле она смотрела на большую дорогу, и там, проводя ее очами, я пролил по ней первые слезы. Схожу ли вниз к реке,—тут она удила рыбу. Словом, всякое место доставляет мне горькое услаждение испускать вздохи.

Письмо XIV, сентября 1

Что ежели я увидел Марию затем, чтобы расстаться с нею навсегда? Эта мысль беспрестанно мне твердится: тщетно я от нее отдаляюсь; она гоняется за мною и сугубит мое несчастье. Скоро два месяца тому, как я живу в деревне, а теперь только узнал, что не деревня причиняла мне скуку. Сердце мое чувствовало необходимость иметь друга—я его имел; иметь любовницу, которая бы разделяла мои чувства: с нею охотно прожил бы не только здесь, но в пустыне, в степи; а без того ни город, ниже престол не составит совершенного благополучия. Когда все твари испытуют сладости взаимной любви; когда лев оставляет свою лютость в присутствии львицы, то ужли один человек не может спокойно вкушать сего жребия?

Письмо XV, сентября 5

Я получил от нее письмо—и какое же письмо! Какие выражения! Надобно иметь ее нежность, чтобы так написать, но потребны и мои чувства, чтобы так познавать цену сего письма.

Ах! Для чего я не могу составить ее счастья или получить оное с ее рукою? В первый раз я пожелал иметь богатство, и мрачные мысли отравили всю радость, причиненную мне ее строками. Сколь ужасен с нею брак, когда я воображаю его последствия! Терпеть недостатки и ввергнуть в ту же пропасть обожаемую особу, которая без меня может иметь завиднейшую участь. Но пусть бы было так; пускай любовь подкрепляла бы нас в бедности и утешала своими благами; а произвести детей на то, чтобы вкусить несносную отраву нищеты и презрения, дать жизнь несчастную невинным тварям!—Вся кровь волнуется при сем помышлении. Иногда я воображаю, что будем их воспитывать свойственно своему состоянию, образу мыслей; но кто может мне отвечать, чтобы мой сын в самом жару молодости не забыл наших советов? Он может влюбиться, как я, и быть столько ж несчастен. Так, мой друг, я презираю богатство, но признаю оное нужным в сем веке, исполненном предрассудков. Не извиняю тех любовников, которые в безрассудной страсти не думают о будущем; и хотя мучу себя, но не могу ослепиться, не могу скрыть того, что она ввек не будет моею. Токи слез заливают слова, едва чертимые дрожащею рукою.

Письмо XVI, сентября 8

Наконец я прощаюсь с здешнею жизнью и еду к полку. Испытаю, перемена места не переменит ли моей скуки, но, как бы то ни было, намерение мое принято. Я не буду питать своей любви лестными мечтаниями и, если можно, потщуся оную истребить. Дай боже, чтоб и Мария меня позабыла,—да, позабыла, и хоть несносно, но я превозмогу себя,—превозмогу и не ответствовал на ее письмо,—превозмогу более, и ты впоследствии слышишь от меня ее имя. В молчании и без надежды я буду ее обожать; но давно ли хотел истребить страсть! Нет, это невозможно. Ах! Если б она не любила взаимно, я бы не столь глубоко вкоренил сей яд в мое сердце. Еще раз, в последний, пишу об ней. Мария, дражайшая Мария! Отдаленную от глаз моих, мой ум желает отдалить имя твое от уст, от сердца; но это будет напрасно. Мой друг, я вне себя.

Письмо XVII, сентября 22

Любезный друг! Я пишу к тебе из лагеря, куда прибыл уже с неделю. Новость места, отправление должности и многолюдство—все сие разби-

вает мои мысли: я не имею времени задуматься и кажусь сам себе спокойным. Но когда остаюсь один, то вся жестокость моего состояния представляется мне живейшими красками. Мой отчаянный нрав полюбился полковнику, который принимает меня милостиво. «Милостиво! — воскликнешь ты, — когда человек говорит ласково с подобною себе тварью, то это называется, с одной стороны, честью, а с другой — милостиво!» Да, мой друг, я делал сии рассуждения, но света не переменяешь, и должно уметь выть, живучи с волками. Часто мне приходит в голову, что мне жизни беречь нет нужды, а такие солдаты полезнее государю и отечеству; тогда я воображаю: если бы все войска набирались из несчастных любовников, и в ту же минуту смеюсь своей выдумке.

Я ожидаю скоро повышения чина и любопытен знать, честолюбие не заглушит ли вопля сердца: не думаю, однако ж испытаю, испытаю все пути к счастью, и ежели оно не достигну, ежели ничто не усладит моей судьбы, то прибегну к последнему средству.

Письмо XVIII, сентября 29

Я начал играть в карты и играю счастливо. Конечно, это худое упражнение, но что делать? Оно меня занимает, оно доставляет мне способ содержать себя. Нет нужды тебя уверять, что я не пристрастен к деньгам, однако же ты знаешь, что, презирая пышность и приходи, необходимо, почти надобно оным следовать. Богач изобретает способы хвастать своим богатством, а честный человек умеренного состояния должен разоряться и ему подражать. Иногда я проигрываю целые ночи и во все то время забываю огорчительные мечты; наконец, побораемый сном, ложусь в постель, и скоро ослабшее естество опять успокаивается. Вот главнейшая причина сей новой страсти. Я начал бы и пить, если бы тем не был гнусен самому себе.

Письмо XIX, октября 5

Вот новое безумие! Мне иногда встречается мысль, что я могу составить свое счастье игрою, и я сие называю счастьем! Быть счастливу разоренным другим? Да, конечно, сударь, счастливу, когда это одно средство соединиться с моею Мариєю. Но я обещался не писать об ней. Мой ум занимает меня пустыми мечтами, а я от исполнения столь же далек, как был прежде. Немалое мне огорчение и то, что по дальности места реже могу писать к тебе и получать ответы.

P.S. Теперь только имею ведомость, что полку нашему назначены квартиры в ... и я опять буду к тебе гораздо ближе. Ах! Если б ты утешила меня своим приездом! Но я знаю твои обязанности и не хочу тебя принуждать.

Письмо XX, октября 22

Мы пришли в ... но если с переменю места продолжится ко мне переменна милости госпожи фортуны, то я не останусь в барышах. Я уже проиграл все свои деньги и после вещей принужден буду занимать.

Вижу, что ежели несчастье не перестанет меня гнать, то впадаю в пропасть; но что делать? Нужд много, помочь нечем, и, написав к родителям, которые также от долгов принуждены живые погребстись в деревне, только их оскорблю. Однако ж я не теряю надежды, будущее мне не ужасно; я имею еще здоровую голову, руки — начто отчаиваться? Когда воображаю, что должен столько трудиться для поддержания жизни, и притом несносной, то собираю тысячи различных мнений, кровь кипит, и я покушаюсь зарядить пистолеты, но скоро оставляю сие намерение, говоря спокойным духом: еще рано. Не знаю, тайная ли то привязанность к жизни и остаток надежды или я не выполнил потребного числа бед, чтобы мрачные мысли, от них рождающиеся, во мне созрели.

Письмо XXI, октября 25

Мог ли ты ожидать сего известия? Я был обижен и дрался. Конечно, мне надлежало презреть обидчика и пойти прочь; но что сказали бы о таком поступке? И, оставляя сие, человек пылкого сложения всегда ли властен удержат стремление крови? Как бы то ни было, как я ничего не терял, то при всей горячности был рассудительнее своего соперника, который не хотел лишиться мнимых благ жизни. Он пал от моей шпаги, и вот правосудие человеческое! Если б я не принял вызова, то почелся бы подлецом, а теперь подвергаюсь наказанию суда. Однако ж, рассмотря обстоятельства дела, верь, что твой друг не дождетя бесчестия, но успеет его предупредить.

Письмо XXII, ноября 1

Все переделалось, мой друг, и твои душеспасительные доказательства остались втуне. Однако ж я написал бы к тебе опровержение оных, если

б не был уверен, что ты, будучи со мною одного мнения, хотел оными отвратить мое намерение, или лучше, подозревая во мне остаток слабости, хотел чрез то извинить оную в моих очах. Как! Чтобы я не был властен откинуть такой подарок, который тяготит меня. Нет, ты не можешь так мыслить. Но, оставя сие, скажу, что полковник поддержал и защитил меня, и конец тот, что я, оставляя службу, беру чин, хотя оного нимало не достоин. Прежде нежели могу тебя посетить, я должен съехать в город... куда ты можешь ко мне писать. Я уже теперь заслуженный человек, который взял отставку, чтоб успокоиться от трудов и быть свободным.— Не забавно ли это?

Письмо XXIII, ноября 9

Кто бы это подумал? Приехав в ..., я нашел там — узнай кого? Марию с мужем... однако ж не пугайся, мой друг: я с некоторого времени совершенно не тот, каков был прежде. Такая нечаянность долженствовала меня умертвить, а я принял ее довольно спокойно; я имел силу познакомиться с моим счастливым совместником. Он человек предобрый, богат и в таких летах, что Мария не могла в него влюбиться. Малодушный! Я еще утешаюсь и сим мнением. Она поступила по должности, по добродетели: повиновалась родителям; и, может быть, — огорчилась, не получа от меня ответа на свое письмо. Ну, ежели сия причина? Так что ж? Какова б ни была причина, она произвела одно действие. Только три месяца прошло от нашего первого свидания, и в сии три месяца как мы оба переменились!.. Я, я не говорю уже о себе; но она так увяла, так лишена своей живости, что если я люблю ее, то люблю уже не для красоты, которая прежде не имела подобной.

Письмо XXIV, ноября 12

Так, любезный друг, она никогда не преставала меня любить. Я это вижу, я это чувствую, взоры ее и движения мне то доказывают сквозь принужденную холодность. Мне случалось быть с нею наедине: мы вздыхаем, краснеем и не умеем начать речи, доколе кто-нибудь своим приходом не прервет сей безмолвной сладкой беседы. Ее муж, не зная прежней нашей связи, старается привести нас к короткому знакомству; о если б он проникнул! С какою б ревностью старался меня удалить! Я безнадежен, однако ж не могу провести дня, не посетя ее: мне приятно смотреть на сии глаза, которые теперь не смеют ко мне обратиться; на сию грудь, которая не смеет вздохнуть по мне; на сии уста, которые прежде меня целовали, а ныне страшатся говорить со мною; мне приятно

внимать ее словам; мне приятен воздух, которым она питается, и в сию самую минуту, оконча к тебе письмо, полечу к Марии, которую не могу уже называть моею.

Письмо XXV, ноября 16

Неожиданное блаженство! благоприятный случай! Я получил от Марии вторичное признание; я опять слышал сие *люблю*, которое разлилось в мои жилы и всего меня оживотворило; я иссушил пламенными поцелуями слезы, неволью покотившиеся по ее щекам. Не напоминай мне обязанностей брака, плодов пагубного предрассудка, не отравляй моей радости своими укорами, ужаснейшими для меня грома. «Люби меня,— сказала она,— но не употребляй во зло слабости!» Я дал ей обещание и запечатлел оное тысячею сладчайших лобзаний. Ах! Почто я не умер в то время, как уста наши пребывали склеенными и прерываемое дыхание я принимал в себя, как бы считая воздух одного недостойным. Такая смерть была б завидна человеческому роду; но нет—с той секунды, как Мария отдалась моей страсти, жизнь моя стала мне драгоценною.

Письмо XXVI, ноября 19

Еще, еще я вкушаю те сладости, которых считал себя навеки лишенным. Расстройство моих обстоятельств, оставление службы—все сие послужило мне к лучшему, когда сему одолжен я свиданием с Мариею. Что нужды, хоть рука ее не моя, если ее сердце, если ее душа, если вся она принадлежит мне. В присутствии моем поблекший в ней румянец оживляется и затмившиеся очи кидают прежние искры; но при всем том не знаю, чему приписать сокровенную томность, часто в ней замечаемую, несмотря на ее старания от меня оную скрыть. «Несчастный! Когда ты не находишь себя в своих восхищениях, то сообщаяешь печаль обожаемой женщине, сообщаяешь и страшишься оную исследовать!»—сей глас против воли моей меня тревожит, но я бегу к Марии и при ней забываю все беспокойства, весь свет, даже и тебя, мой друг, но верь, что по Марии ты был и будешь первым в моем сердце.

Письмо XXVII, ноября 23

Жестокый друг! Почто превращаешь ты в ад жизнь, которую я считаю райскою? Но нет, несправедливо ропщу, и, поражая меня, ты исполня-

ешь долг чести, долг дружбы, долг человечества; однако ж угнетенного скорбию и во время короткого сна забывающего свои беды,—почто ускорять его пробуждением? Осталось бы довольно времени... Мысли мои расстроены—я не знаю, что говорю; но уверен, что ты извинишь, что ты презришь негодование человека в горячке. Да, продолжай подкреплять меня своими советами; против воли моей продолжай вооружать меня против моего сердца и, если можно, помоги мне побороть себя. О, если б я был некогда в числе тех бесчувственных, которые никогда не испытывали сожаления к ближнему!—Я их уподоблю скотам, от коих они отличаются только наружными чертами, а несмотря на то, завидую их участи.

Письмо XXVIII, ноября 26

Окончив последнее письмо, я был долгое время в такой унылой задумчивости, что не слышал, не видел, не мыслил ничего, и сие томное спокойствие отличалось от бездействия смерти тем только, что горячие слезы катились по моим щекам. Я их не чувствовал, совершенно не чувствовал моего бытия, но они принесли облегчение душе моей. Я вышел из своего уныния, как из глубокого сна: то, что я прежде думал, то, что писал к тебе, казалось мне мечтою. Я спросил себя о причине моего огорчения и с восхищением отвечивал: это Мария! При сей мысли весь мрак, окружавший меня, рассеялся; глаза мои наполнились огня; я стер слезы с письма, которое лежало предо мною, омоченное оными, и, отослав его на почту, пошел к Марии. Взгляд ее довершил вливать упоение в мою душу, и я не верил сам, что за минуту почитал себя несчастнейшим из смертных. Она была одна и не заметила во мне беспорядка. Я сел возле нее и, взяв по обыкновению ее руку, прижал с горячностью к моим устам. Мы смотрели долгое время в молчании друг на друга, как наши лица нечаянно склонились и мои губы крепко соединились с ее губами. Нет, не могу живо изобразить сего положения. Она оперлась с нежностью на мое плечо, а я краснел, сгорал, истеявал от страсти, но, сохраняя ее спокойствие, не предпринимал далее. Вот как проводим мы дни в такой любви, которая не много отлична от дружества. Не много отлична! И я столько слеп, чтоб не видеть, как мое сердце изобретает хитрости для уловления рассудка! Еще, прошу тебя, продолжай сообщать мне свои советы: хотя я знаю сам все то, что ты мне можешь сказать, но оно будет сильнее, исходя от тебя.—Друг мой, ты видишь, до какого состояния я достигнул.

Письмо XXIX, ноября 30

Мое обхождение с Мариею становится ежечасно опаснее, и еще вчера, когда наши души хотели излететь чрез уста, мы слышали шорох в

ближней комнате: едва успев отскочить от ее кресел, я принужден был скоро уйти для сокрытия моего смятения—так, я уже теперь бегаю посторонних глаз; а ежели б меж нами было одно дружество, долженствовал ли бы я бегать? Ты не уверишь меня, чтобы природа запрещала любить женщину, которую предрассудок назначил невольницею другому,—это, конечно, действие предрассудка; но со всем тем, когда он властвует людям, то я должен сохранять наружно его уставы; не для себя: ибо тот же предрассудок поставил бы в честь моего проворства такое дело, которое нанесет бесчестие Марии,—но для ней, для ней, а она мне дороже самого себя.

Письмо XXX, декабря 3

Свершилось, мой друг, свершилось мое несчастье, и муж Марии начал подозревать наше согласие. Вот величайший удар, каковой мог со мною случиться! Страхуюсь еще о том помыслить и желал бы усумниться в сей бедственной истине, но она слишком очевидна. Он обходится со мной очень сухо; даже говорил ей с насильною холодностию, чтобы не принимала моих посещений в его отсутствии; ибо, хоть он не сомневается в нашей невинности, но свет так ныне зол, так клеветлив,—и потом оставил ее, не дождавись ответа. Я пришел к ней через несколько минут, и как двери мне были везде отворены, то нашел ее в спальне, проливающую слезы. Бросаясь ко мне на шею, она повторила слова своего мужа и заклинала меня видеться с нею реже. Чего ж потом надеяться? Разве сделать ее больше несчастной, а себя больше виновным, прервав согласие двух супругов?

Письмо XXXI, декабря 7

Когда я рассуждаю о свете, то нахожу в нем два рода людей: обманщиков и обманутых; а если есть некоторые ни того ни другого числа, то их так мало, так мало, что они могут назваться выродками. Снедаемому скукою и почти в безумии, мне вздумалось прибегнуть к лекарству богословов и испытать, не найду ли услаждения в чтении святых книг: но что ж? Если полагать утешением несчастному видеть еще себя несчастнее, то я сие нашел. Разумные законники приписали начало бед и зла началу веков. С первых часов мира мы зрим картину послушания в Адаме, картину обольщения в демоне, картину ветренности в Еве, которую она сообщила всем своим дочерям. Злой Каин торжествует над благочестивым Авелем, и напоследок, всемогущий творец не может найти другого средства к искоренению зла, как наказать свое создание всеобщим потопом. Он

сохраняет семя людей в сынах Ноевых; но только что опасность миновалась, то из толь малого числа зло успело найти место в душе Хама. Ах, друг мой! Когда извлекаая сокрытое под сим нравоучением, сравнивая сии дела с нынешними делами, то уподобляю честного человека Ноевой голубице. Пускай враны питаются мертвыми трупами, а смиренная голубица, искав тщетно убежища в целом мире, должна возвратиться в ковчег, из коего вышла. Помедлю еще и скоро докажу собою, сколь много я презираю приятности нашей жизни.

Письмо XXXII, декабря 10

Вот уже исполнилась неделя моему последнему свиданию с Мариєю: так протекут еще недели, месяцы и целые годы, а я не буду сидеть с нею, не буду предупреждать ее малейших желаний, не буду — нет этого уж много. Однако ж еще превозмогу себя и дам время созреть моему намерению, — да, намерению навеки с нею расстаться. Уединение мне приятно, приятнее всех забав сего света: я углубляюсь мало-помалу в моих мечтаниях и напоследок остаюсь по несколько часов в таком забвении, что мое горестное существо не тяготит меня. Когда я случаюсь в обществе, то в мыслях теряюсь. Моя природная острота не может уж веселить беседу, и сколько мне все несносны, столько и я всем скучен. Одно уединение; это рождает во мне мысли, что от меня зависит навеки предаться сему бесчувствию. Но не пугайся, мой друг, пустых звуков отчаяния, я еще от сего далек.

Письмо XXXIII, декабря 14

Нравоучительное твое письмо я получил и не думал, чтоб ты мог так хорошо употреблять проповеднический слог, собирать тысячу ложных доводов и заключить опровержением того, в чем ты сам твердо уверен. Между прочими софизмами ты говоришь, что больше твердости сносить бремя жизни, нежели иное свергнуть. Возьми тысячу злодеев, которые несут достойную казнь, быв лишены чести, свободы и всех удовольствий, — они ропщут и живут, и ты неужли найдешь в них больше твердости, нежели в Катоне, который добровольно прешел к неизвестной вечности. Ты мне советуешь заниматься письмом и книгами. Итак, сообщая к тебе отрывок начатых мною сочинений; читай и зри мое повиновение:

Что в свете жизнь? Она претяжкое есть бремя.
Что сей прекрасный свет? Училище терпеть.
Что каждый миг есть? Зло и будущих зол семя.

Зачем рождемся мы? Поплакав, умереть.
Что элато, почести? Младенчески игрушки,
Которыми всегда играет смертных род.
Счастлив, кто в жизнь свою не покидал гремушки,
Взглянул и зрит себя могилы у ворот;
Но пусть бы оными играли мы без спора,
Насильством не чиня один другому слез,
Напротив, кто достал побольше сего сора,
Тот всех пятой гнетет, главу свою вознес.
Почто же цепь ее с спокойным оком вижу?
Сегодня ль, завтра ли она должна упасть,
Итак, коль я себе свободы час приближу,
Могу ли новую тем заслужить напасть?
Не оскорблю тебя сей мыслию, владыко!
Незлюбив ты, и я отца в тебе найду;
А хоть навек умру, то бедство невелико,
К тебе или к земле с отвагою иду.

Письмо XXXIV, декабря 17

Приспел последний час моей жизни. Я увидел еще раз Марию и совершенно успокоился. «Прости,— сказал я ей,— мы долго не увидимся, но в благополучнейшие дни опять соединимся, так я почти в том не сомневаюсь». Она рыдала и закланала меня еще помедлить отъездом, считая, что от грусти я решился, преодолев себя, ехать в деревню к моему отцу, а я совершенно окаменел, глаза мои были сухи; но, возвратясь к себе, слезы полились ручьями по моим щекам. Это была последняя дань слабости. Признаюсь, что я был безрассуден, хотел найти счастье в сердечных чувствах; а если б следовал примеру тех людей, которые довольны всякою участью... Но в моей ли воле было им следовать? Я мог хвалиться спокойствием души, как и они, мог в том уверить других, а обмануть себя— это невозможно. Иногда покушаюсь я верить предопределению вместе с законом, но вспомя, что в моей воле разрушить теперь мой состав или жить долее, смеюсь себе, Зенону и тем, которые ему следуют. В самом деле, когда б предопределение располагало делами людей, то всякий злодей, исполняя устав своего рока, не заслуживал бы наказание ни в седьмом веке, ни в будущем. Я никогда не забуду слова сего филозофа, которого покравший раб извинялся тем, что рок судил ему быть вором; хорошо, сказал он, но тот же рок судил тебе и быть сеченым. Ты видишь, мой друг, что я теперь не в отчаянии и доколе мог сам подозревать, что оно мною управляло, то удерживался от своего предприятия, а теперь, хладнокровно свеся добро и зло сей жизни, рассудил, что мне не можно более ожидать благополучия в оной, и решился перестать жить. Когда ты будешь читать сие письмо, то камень покроет бесчувственное тело твоего друга. Итак, не спешу ко мне

в надежде спасти меня. Прости, живи и будь благополучен! Утешай, сколько можно, Марию, она уже тебя знает из моих разговоров. Она готова найти в тебе приятеля, и ваша обеих ко мне привязанность расположит почитать взаимно друг друга. Но именем нашей дружбы прошу тебя, поезжай сам к моим родителям, уведоми их осторожно о моей смерти и в нужде замени им сына.

Письмо XXXV, в ночи на 18 декабря

Любезный друг! В последний раз хочу беседовать с тобою, и когда все мои мысли должны были обратиться к вечности, то ты один с Марию наполняете мое сердце и вас одних жалею я оставить, а без любви, без дружества все нити, привязывающие меня к жизни, давно бы уже были прерваны или я бы жил, но жил, подобно скотам. Я уверен, что ты приедешь плакать над моим гробом; плачь, мой друг, твои слезы мне драгоценны. Они облегчат стесненное скорбью твою сердце, и, коснувшись моим костям, еще — еще, я думаю, приведет их в движение — застылая кровь воскипит еще раз в ослабших жилах, и дух мой с горней высоты возрадуется доказательству бескорыстного дружества. Однако ж не огорчайся много моею участию, но ты рассудителен, и слова сии будут излишни; а ежели когда-нибудь ты случисься в подобном положении, то последуй за мною. Вот лучший совет, который могу дать тебе с краю могилы, куда спешу низринуться. «Какое преступление! — вскричат наши мудрецы, — отнять от общества гражданина!» — «Но государи мои! Ежели сей гражданин умножал только число несчастных тварей, не быв ни к чему полезен, то в сию минуту природа производит на его место многие тысячи людей, и я теперь оказываю не меньше важную услугу человеческому роду, возвращая земле принадлежащую ей горсть праха».

Вот, друг мой, что я имел тебе сказать, но чувствую, что каждое слово продолжает секундою время моей жизни, которая тогда только имеет свою цену, когда готовы с нею расстаться. Я хотел написать себе надгробие, но почел сие бесполезным. Денег после меня останется довольно на то, чтоб купить мне гроб; итак, я не имею неудовольствия быть одолженным человеками и после моей смерти, а если тело мое и будет кинуту на поругание, то для меня уже все равно. Час бьет, все вокруг меня покоится, один я нахожусь не в объятиях сна и готовлюсь предаться оному навеки. Прости меня, а я в мыслях тебя воображаю в тот самый миг, когда рука готовится затянуть петлю.

Сие письмо было надписано: «Для вручения ему после моей смерти». Оно лежало на столе запечатанное, а с ним другое на имя мужа Марии, в котором он совершенно оправдывал ее невинность, признаваясь, что любил ее страстно, но никогда не смел открыться. В письменном столике

нашли отпускную слуге его, который долгое время при нем служил один.

За несколько недель он начал мало спать и чрез целые ночи ходил по комнате, читал, садился писать, потом ложился на постелю во всем платье, а на рассвете вставал и, напившись чаю, бегал по городу целое утро. К обеду он всегда возвращался домой и запирался один до восьми часов вечера, в которое время он обыкновенно ужинал; он ел тогда без выбора все то, что ему подавали, и часто выдумывал самую простую пищу. В первый день после его смерти слуга его, удивляясь тому, что он долго не выходил, прождал до 10 часов утра, а тогда выломал замок, призвав хозяйских людей; не нашед его в постели, думали, что он пишет в другой горнице, которая также была заперта; они стучались, но, не слыша ответа, опять вышибли дверь и нашли его висящего в углу. Веревка была прoderнута в кольцо, которое за несколько дней он сам ввернул.

Свечка была погашена им в то самое время, когда пошел исполнить свое предприятие, и на окне лежала английская трагедия *Катон**, разогнутая в сем месте:

Сомнениями объят, отвергнуть должно их.

(берет кинжал)

Живот и смерть моя теперь в руках моих.

Вот исцеление или отравы люта—

Из света изведет меня одна минута.

Катонов твердый дух весь должен страх презреть,

И равно для него заснуть иль умереть.

После него остались многие философские сочинения, которые никогда не были и не могли быть напечатаны. Оставшиеся деньги по приложенной к оным записке он велел раздать нищим, а попам—ничего, и для того нищие со слезами провожали прах его до места, где он был положен, а попы предали проклятию его имя.

БЕДНАЯ МАША

Российская, отчасти справедливая повесть

Простаков, пожилой и отставной обер-офицер, посредственного достатка, посредственного разума, но весьма доброго сердца, жил со старухой, своею женою, одинаковых с ним свойств, в городе***. Главнейшее их упражнение состояло во сне, в хождении по праздникам в церковь и в употреблении со своими соседями и приятелями домашних наливок.

Была у них племянница Маша, оставшаяся сиротою после отца и матери. Дядя и тетка, будучи бездетны, любили ее как бы родную свою дочь. Смирна, послушна, прекрасна и любезна, она входила у всех в любовь. Ей было семнадцать лет. Всякая мать говорила своему сыну: «Дай бог тебе такую невесту, какова Маша! Какая она хозяйка»¹. Всякий сын говорил сам себе: «Дай мне бог такую невесту, какова Маша! Какая она красавица!»

Молодой человек семнадцати лет желает приобрести себе поскорее в свете некоторое звание; девушка же семнадцати лет желает поскорее выйти замуж. Маша, будучи молода, хороша, зная хозяйничать, не намеревалась идти в монастырь. Дядя и тетка, также ведая, что нельзя ей жить век с ними, хотели выдать ее за доброго человека.

Многие за нее сватались, но иные не казались ей, другие—ее родственникам. Наконец, сыскался такой жених, который знал искусство нравиться и молодым и старым.

Милов (так можно его назвать) был лет двадцати пяти, статен, ловок, боек, учтив и щеголь. Он не жил в сем городе, но приехал в оный за некоторою нуждою. Наслышавшись о достоинствах Маши и ее приданом (которое, правда, было не очень велико, однако же и не мало), вздумал ее посмотреть. Он сыскал одну старушку набожной физиономии, которая исправляла лет с двадцать должность свахи, и просил ее, чтобы она рекомендовала его родственникам Маши. Поднес ей несколько чарочек, обещал дать за труды несколько рублевиков, и она взялась за дело.

Проворная сваха пошла прямо от Милова к Простакову. Входит в комнату и, помолвившись, кланяется низехонько хозяину и хозяйке.

¹ Тетка препоручила Маше смотреть за домом, и она отправляла с похвалою сию должность.

— Мне есть до вашей милости нужда,— говорит она им.
— Какая, голубушка, какая?— спрашивает ее Простаков.
— У вас есть товар, а у меня— купец.
— Садись-ка, садись... дай-ка, жена, нам наливочки.
— Сватается, батюшка, за вашу племянницу молодец смиренный, постоянный и, как красная девушка, хмельного в рот не берет.
— Хорошо, старушка, хорошо, да таков ли он, полно?— сказала Простакова свахе, поднося ей рюмку крепкой наливки.
— Чтобы мне, старой ведьме, сей час захлебнуться, коли я вам лгу...
— Сами изволите увидеть, коли прикажете ему к себе побывать.
— Пусть пожалует, пусть пожалует; мы рады дорогому гостю.
На другой день Милов, одевшись как можно лучше и сопровождаемый свахой, идет невесту смотреть, а себя показать. Простаков принимает его ласково и сажает возле себя.
— Прикажи-ка, старуха, подать дорогому гостю вишнепочки,— сказал он жене своей.
— Покорно благодарю, я не пью наливки,— отвечал воздержанный жених.

— Так белого, коли не изволишь кушать наливки?
— Прошу не беспокоиться, я ничего не пью.
— Маша!— говорит Простакова племяннице (которая тогда из другой комнаты поглядывала на Милова в замочную щелку).— Маша! Войди сюда.

Маша, наряженная в праздничное платье, потупя глаза, входит в горницу, кланяется Милову с робостью, который подходит к ней с вольным, но и почтительным видом, берет белую ручку и целует. Маша, у которой до сих пор никто еще не целовал рук, покраснела. Тетка улыбнулась.

— Поднеси-ка гостю медку,— сказала она ей.

Маша подносит, стакан трясется у ней на подносе. Милов, благодаря за труд, выпивает без отговорок. Невесту посадили возле жениха. Она краснела и бледнела попеременно во все то время, как он у них пробыл.

Милов понравился с первого раза дяде, тетке и племяннице. Как он уже ушел, то Простаков сказал жене своей:

— Каков, старуха, молодец?!

— Хоть бы кому!— отвечала его сожительница, которая, видно, имела некоторый вкус в мужчинах.— Как тебе он, Машенька, кажется?.. Скромная Машенька потупила глаза в землю и сделалась немой.

— Посмотри, какой красавец! бел! румян! как одевается! Сваха мне говорила, что он еще мастер играть на гуслях.

— И на скрипке, тетюшка,— примолвила Маша.

— Пойдешь ли ты за этого жениха?— спросила тетка.

— Мне он не противен,— отвечала племянница томным голосом.

Дело пошло на лад. Благоразумный Простаков порасспросил у своих знакомцев о поведении Милова, которого они видели несколько раз на

дороге и в церкви. Не слыша об нем ничего худого, сделал он с ним условия о приданом и отдал своей жене повеление приготовить к свадьбе напитки. Милов просил усиленно будущего своего тестя и тещу, чтобы поскорее сделали сговор. Они исполнили его просьбу. Я почитаю за излишнее говорить о том, что девки в сей торжественный день пели свадебные песни, что хозяева с гостями опораживали покаялы, подносили свахой, и что жених с невестой подслащивали наливки своими поцелуями.

Известно всем, что после сего дня, в который застенчивая невеста в первый еще раз прилепляет свои уста к устами того, с кем поменялась кольцами, он имеет право ходить к ней и просить ее поцелуев. Вы, которые уже получили то, чего желают девицы, вы, конечно, помните, как приходил к вам жених после сговора, как приносил он вам гостинцы, как отплачивали вы за оные сладкими поцелуями, как целовал он вас наедине и в присутствии подружек, завидовавших тогда вашей участи; вы, конечно, легко можете себе представить упражнения Маши и Милова до самой и после самой той минуты, в которую они вышли из церкви по совершении в оной бракосочетания и взаимного поцелуя при насмешках смиренных девушек, при хохоте холостых глупцов и при крике ребят.

Простаков отвел у себя в доме особую для молодых комнатку, потому что Милов, как я сказал прежде, был человек заезжий и при том дядя и тетка ни за что бы не расстались со своею племянницею. Маша любила весьма горячо своего мужа, думала, что и он ее много любит, потому что много ее целовал и никогда с ней не бранился, хотя было тогда у мужей в их городе обыкновение бранить раза два или три в неделю своих жен для того, чтобы они их почитали.

По прошествии нескольких месяцев после свадьбы Милов стал собираться в**, где, как он сказывал, находился при месте. Говорил, что едет туда для приведения в порядок некоторых своих дел, а более для того, чтобы посредством своих благодетелей перепроситься к какой-нибудь должности в***. Маша, привыкши к своему мужу, хотела с ним вместе ехать. Милов, вспомоществуемый Простаковым и Простаковою, истощил все свое красноречие для отвращения своей жены от сего намерения, уверял ее, что он скоро возвратится и что она, будучи беременна, не может перенести беспокойств дороги. Не забыл сделать и обыкновенного обещания отъезжающих писать часто письма. Накануне их разлуки выпросил он у Маши деньги и жемчуг, которые взял за нее в приданое. На другой день, когда наступил час прощания, молодые супруги крепко-крепко обнимались, осыпали бесчисленными поцелуями лица и руки друг у друга, слезы у них текли ручьями. Милов насилу мог дойти до кибитки, долго в нее не садился, наконец, вздохнувши тяжело, сел и велел извозчику ехать потихоньку, оглядываясь все назад и смотря на Машу, которая стояла у ворот и плакала. Едва потеряла она его из виду, то и упала в обморок.

С горести она было занемогла, но крепкая ее природа, утешения ее

родственников, время и надежда излечили ее от болезни. Что делала она по выздоровлении? Плакала и разговаривала с дядею и теткою о своем муже. Гадание на картах сделалось главнейшим ее упражнением. Если червонный король ложился неподалеку от червонной крали,—какое удовольствие блистало тогда в глазах ее! Она брала его, целовала, прижимала к своему сердцу. Но если черная пиковая масть, возмущающая несчастие, окружала любимую карту, то как тосковала в то время суеверная Маша! Ей казалось, что любовный ее Милов или подвержен опасностям, или болен, или и не жив.

Через несколько месяцев после отъезда своего мужа Маша произвела на свет прекрасного мальчика. Кто может изобразить чувства матери при рождении первого ее младенца! Маленький Милов был живой портрет большого. Можно догадаться, скучала ли Маша ходить за своим сыном и питать его своим молоком. При крещении дали ему имя отца его. Радость Маши возмущалась только отсутствием и молчанием ее мужа. Она посылала к нему на каждой почте большие письма, но не получала от него в ответ ни одной строки, не знала, что об нем придумать, плакала и молилась богу.

Простаков писал к своим знакомцам, живущим в**, прося их уведомить себя, приехал ли туда его зять и здоров ли; но получил от них в ответ, что он не приезжал в сей город и никогда не жил в нем. По своему ли благоразумию или по совету жены своей положил он не сказывать о сем Маше до некоторого времени.

В один день, как он не знал, что думать должно об Милове, получает письмо от своего знакомца, который пировал на свадьбе его племянницы и который поехал недавно в один город за своею нуждою. Грамотка сия была следующего содержания:

«Государь мой Пантелеймон Трифонович обще с государынею Саламандию Тарасьевною, желаю вам на многие лета здравствовать.

Усердно поздравляю вас с наступившею святою чегырдесятницею, желаю вам душеспасительно оную проводить; уведомляю при том, во-первых, что я приехал сюда жив и здоров, а во-вторых, что нашел здесь вашего зятя, сиречь мужа вашей племянницы, господина Милова. Да будет вам, государю моему, ведомо, что он находится не у дел, а женат уже года три на другой жене, не на русской, а на немке, живет здесь с нею и ест по постам скромное. Советую вам как старинный друг приказать вашей племяннице, чтобы она о сем не печалась, а подала бы лучше на него просьбу куда подобает. За сим остаюсь ваш верный слуга

Филимон Фатов

П.П. Здесь варят изрядное-таки пиво, но только по глупому обыкновению кладут в него мало хмелю, вина же цельного и хорошей водки нескоро найдешь».

Прочитавши сие письмо и проклявняя бессовестного своего зятя, Простаков решился последовать совету умного своего приятеля. Позвал Машу, вынул пагубное письмо из кармана, надел очки и прочел оное перед нею вслух с возможною декламациею.

Бедная Маша сделалась бела, как хлопчатая бумага, ахнула и чуть не уронила с рук своего сына. Тетка вырвала его у нее. Он заплакал, Маша услышала и, не говоря ни слова, взяла его к себе на колени. Долго хранила она глубокое молчание и глядела на образа, всплеснув руками. Наконец заблестели слезы на черных ее ресницах и полились ручьями на маленького Милова.

— Что теперь сделаешь, Машенька,— сказал ей Простаков, раскаиваясь в своей неосторожности.

— Что сделаю, дядюшка?.. Поеду к нему с сыном.

— Да разве ты не слыхала, что он живет с другой женою, которая еще и не нашей веры?

— Слышала, дядюшка, все слышала!

— Тебя разведут с ним, коли ты на него попросишь... Что тебе у него делать?

— Мне просить на моего мужа? Что мне у него делать?.. Я буду у него все делать, стану стараться угождать ему... и злодейке моей,— примолвила она, зарыдавши.

— Немке-то! Басурманке-то! — вскричала тетка.— В своем ли ты уме, Машенька?

Разумный дядя, почесывая у себя в голове и не зная, чем отвратить племянницу от сего намерения, сказал ей:

— Они уморят тебя, Машенька, по постным дням с голоду. Ты ведь не захочешь мяса, как другие, в среду и в пятницу... Проклятый! У нас он не всякий день пил и наливки, а теперь со своей женою изволит, чай, кушать по постам кофе со сливками.

Сильные доводы Простакова и Простаковой не могли убедить Машу, они принуждены были отпустить ее с сыном к вероломному Милову.

Приехавши она благополучно в тот город, где жил ее муж, осведомляется о его квартире и, взявши с собою своего сына, идет прямо к нему в дом. Входит в прихожую и слышит в другой комнате голос Милова. Сердце у ней затрепетало. Она боится туда войти. Двери были неплотно затворены, Маша подходит на цыпочках и смотрит в них потихоньку. Что она увидела! Изменник сидел на стуле, соперница ее сидела у него на коленях, будучи полуодета. Обняв его одною рукою и положив нерадиво голову к нему на плечо, она целовала его нежно. Он держал другую ее руку, прижимал оную к губам и груди своей и говорил ей: «Как я люблю тебя, моя милая Шарлотта!» Маша не могла долго смотреть на сию картину. Вдруг входит она к ним. Ноги у ней подгибаются. Шарлотта, увидя прекрасную молодую женщину, одетую просто и трясушуюся от страха, говорит ей ласково, оправляя на себе корсет:

- Кого тебе надобно, душенька?
- Мужа, судирьня, моего мужа.
- Какого мужа? — спрашивает изумленная Шарлотта.

Милов, поблудивши, как преступник, которого терзает совесть и страх приготовляющейся для него казни, бросается к ногам своих жен, признается им во всем, просит прощения и заключает тем, что не может жить без них обещ. Маша всхлипывает и рыдает, Шарлотта стараясь, но, не могла скрыть свои слезы, бросает ужасный взор на изменника и выходит с поспешностию из комнаты. Милов хочет удержать ее за платье, но в самое то время заплакал сын его, которого еще он не видывал. Он встает, берет его к себе на руки, покрывает лицо его горячими слезами и поцелуями и, вздыхая, отдает его обратно Маше, у которой взял, сам же идет искать Шарлотту.

Несчастный едва успел отворить двери в ту горницу, в которую она вышла, как испускает страшный крик. Маша бежит на оный и видит свою соперницу, распростергую на полу и всю в крови. В обнаженной груди ее, которую недавно ласкала рука Милова, был вонзен большой ожиг, кровавые пузыри выскакивали из глубокой раны, кровь текла ручьем по полу с ее платья прямо к ногам ее мужа. Чувствительная Маша кладет на стул своего сына и приближается к умирающей для подания помощи. Милов вытаскивает пагубное железо из груди ее и бросает оное. Маша старается остановить течение крови, снимает у себя с шеи косынку и перевязывает оную рану, на которую от жалости капали ее слезы. Шарлотта бросает на нее выразительный взор, потом, обращая блудящие глаза на своего мужа, стоящего возле ее на коленях и держащего ее руку, говорит ему слабым голосом:

— Или для тебя недовольно было одной моей любви, что ты разделил свое сердце, которое, клядся, только мне принадлежать будет? Какую подала я тебе причину к такой ужасной измене? Вспомни хоть один мой поступок, хоть одно слово, которым бы я тебя огорчила. Позабывши верность, забывши честь, для гнусной корысти ты причинил одной погибель, а другой... Я прощаю тебе... Живи счастливо с другою женой... Вспомни когда-нибудь и обо мне,— присовокупила она, вздохнув весьма тяжело.

Сей вздох был уже последний. Отчаянный Милов падает без чувств головой о край железного сундука, кровь потекла у него из темя и смешалась с кровью Шарлотты. Бедная Маша не знает, что делать. Вдруг отворяется дверь и входит в горницу лекарь, приведенный служанкою, которая видела начало сей страшной сцены. Он берет окостеневшую руку умершей, щупает неподвижный пульс, слышит и видит, что она мертва, и с лекарским телодвижением говорит важно, что нельзя уже ей помочь. Потом осматривает лежащего в обмороке, вынимает из кармана скляночку и возвращает ему чувства крепким спиртом. Милов встает. Безмолвен и мрачен смотрит он с минуту на мертвую Шарлотту, потом окидывает глазами все лежащую на полу, схватывает нож, запекшийся в

крови жены его, и хочет пронзить им себе сердце. Испуганный лекарь, жирная служанка и трепещущая Маша не могут его обзоружить, наконец сия последняя вырывает у него нож, перерезав у себя пальцы. Врач бросается к окошку, раскрывает его и, возвышая голос, призывает на помощь всех, мимо ходящих. В одно почти мгновение комната наполняется многочисленной толпою всякого рода людей и по приказанию призвавшего их вьжут назад иступленному Милову руки и относят его на кровать в другую горницу. Он падает вторично в обморок; лекарь, перевязав у него на голове рану, хочет пустить ему кровь.

В то время как сей привилегированный губитель человеческого рода наполнял кровью бесчувственного Милова уже четвертую тарелку, опровергая с ученистю возражения робкой и не знавшей медицины Маши, извещенные отец и мать Шарлотты о плачевном приключении и частью причинах оного, приезжают в сей дом, наполняют все комнаты своим воплем, берут окровавленный труп однородной своей дочери и увозят его с собою, клянясь погубить преступника.

Милов занемог пресильною горячкою. В чрезвычайном жару не узнавал он никого. Имя Маши и Шарлотты было беспрестанно у него на языке. То просил он у них прощения в гнусном своем обмане, то заклинал их обеих со слезами любить друг друга, то видел он, как Шарлотта целовала Машиного сына, то как Маша обнимала и ласкала Шарлотту. Маша и лекарь не отходили ни на час от постели больного. Первая поправляла у него в головах подушки и нагревала лекарства, лекарь же писал рецепты и лил насильно всякие микстуры в рот больного.

Недели через две жар и бред прошли в Милове. Он был в чрезвычайной слабости, плакал мало и говорил также. Выслушал со вниманием у словоохотливой служанки пространное повествование о погребении Шарлотты, притворялся спокойным и поел несколько похлебки с цыпленком, сваренной Машей по приказанию лекаря.

На другой день Маша встала часу в пятом поутру. Подошла к кровати своего мужа, посмотрела, спит ли он, перекрестила его и стала одеваться. Собравшись совсем и наказав своим домашним, чтобы не разбудили Милова, пошла с сыном в церковь. Там она молилась со слезами, отслушала заутреню и раннюю обедню, за которой причастила своего сына, вынула заздравную часть и отслужила благодарный молебен.

Маша, возвратившись домой, велит открывать ставни в комнате, где лежал больной, думая, что он скоро проснется, сама же входит в нее, скинув башмаки у порога, отдергивает занавесы у постели и приподнимает пологоньку одеяла. В ту самую минуту открывают одно окно, и дневной свет, проходя сквозь оное, показывает Маше утопающий в крови труп Милова. Простыня, подушки, одеяло, пол — все было обогрено в оной. Бедная падает на тело своего мужа, испуская дикий вопль, и остается без движения несколько часов.

Несчастный в отсутствие ее разрезал у себя на руках и ногах жилы перочинным ножом, который позабыл на столе лекарь. и таким образом истек весь кровью. На полке у него нашли письмо, написанное им перед кончиной к своей жене. Оно состояло в сих строках:

«Я решился и заслуживаю умереть. Любезная Маша, не плачь обо мне; злодей не достоин слез твоих.

Я любил тебя, клянусь в том при последнем часе моей жизни самым богом, меня наказующим... Но я любил прежде еще Шарлотту и... а ты не знала ее, она во всем тебе была подобна... Я погубил вас обеих! Правосудный боже! Воздай злодею по делам его.

Маша, любезная Маша! Согласись жить для несчастного нашего сына; заклинаю тебя в том горестным концом моим».

Всякий чувствительный читатель может себе представить, как рвалась несчастная вдова Милова. Она называла себя убийцею своей соперницы и своего мужа, проклинала тот час, в который приехала в сей город, сетовала на судьбу, что даровала ей сына. Священный долг матери и христианки препятствовал ей кончить жизнь свою.

Но ничто не могло удержать Машу быть свидетельницею позорных похорон ее мужа. Самоубийцу зывезли за город на большое поле, разрыли там могилу, в которой была положена Шарлотта, и похоронили труп его вместе с ее трупом. Маша из всего имущества, оставшегося после Милова, взяла себе только один его сплует, возвратилась в дом своих родственников, где через несколько месяцев и умерла с грусти.

ИСТИННОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ БЛАГОРОДНОЙ РОССИЯНКИ

Госпожа N*** происходит из достаточной и довольно знатной российской фамилии N***. Она родилась в N***. Отец ее был человек весьма надменный, а мать — женщина тщеславная и злая; но воспитание дочери своей дало ей приличное благородной девице и соответственное фамилии и состоянию своему. Природа осыпала ее благими дарами своими, и госпожа N*** на четырнадцатом году была выведена в свет.

Красота ее и таланты скоро сделали ее замечательной в оном и привлекли к ней толпу обожателей. Окружали ее, хвалили не только что мужчины, но и женщины — восхищались ее разумом, ее прелестями, и во всех обществах говорили что-нибудь о госпоже N***. Могли не соглашаться в совершенстве красоты ее, но достоинства ее признавала и самая зависть.

Между многими был более всех пленен ею граф N***. Человек молодой, богатый, знатный, но развратный, испорченный дурными примерами большого света, в котором фортуна дала играть ему блистательную роль. Многие красавицы искали победить его своими прелестями, но любезная N*** без всякого старания, без всякого желания сделалась победительницею над ним.

Граф N*** не мог жить без нее — везде, где была госпожа N***, там был и граф N***, делал тысячу услуг ей, обнаруживал страсть свою, и — наконец — открылся ей в оной.

— Я обожаю тебя, прекрасная, — сказал он ей в одном собрании, — но ты не замечаешь меня. Ежели сердце мое и рука — достойные тебя дары, то пламенная любовь приносит их тебе.

— Вы мне много делаете чести, граф, — отвечала госпожа N*** и оставила его.

Граф до чрезмерности был удивлен ею, ибо он не ожидал столь неудачного приема, оскорбился и предстал к ее родителям. Предлагает им о браке с дочерью их. И ослепленные наружными выгодами родители соглашались, обещают, не сказав ничего о том дочери своей, — и граф успокоен.

Она узнает об оном и с огорчением в сердце, со слезами в глазах просит родителей не принуждать ее к сему браку. — Предоставьте

собственному моему выбору,—говорит она,—того, кто должен составить счастье всей жизни моей, граф мне не нравится». Но ее заставили молчать: называли безрассудною, которая не видит благополучия своего и потому отказывается от него; велели принимать графа со всею ласковостию. И пылкий, нетерпеливый граф требует ускорения своего желания.

День свадьбы назначен—он настал—и бледная, полумертвая N*** подходит к алтарю, произносит перед ним клятвы одними устами, а не сердцем: ибо сердце ни к чему принудить невозможно, ослабевает, и жестокий обморок прерывает на некоторое время церемонию—она приходит в чувство—и все совершилось.

Но человек с развлеченными чувствами, с поврежденным сердцем, привыкший ко всечасной перемене предметов удовольствий своих,—долго ли может питать чистое, священное чувство постоянной любви? Граф в конце первого же года женитьбы своей почувствовал пресыщение страсти своей. Прелести обожаемой супруги исчезли в глазах его; они не производили более восторгов в душе его, не возбуждали более новых желаний в его сердце, одним словом сказать: граф начал скучать женою своею, начал искать новых увеселений, заводить интриги, проводить время в обществе распущенных людей и, пользуясь всеми светскими забавами, не позволял жене своей и самых невинных; всечасно огорчал ее, не имея причины огорчаться ею, и из страстного, нежного, покорного любовника сделался строгим, жестоким мужем...

Какой ужасный переход! ах! для чего одно и то же сердце удобно к таким противоречиям!.. Сердце?... Нет!.. Там нет сердца, где нет совести, чести, чувствительности!.. а другое что-нибудь на его месте... Графиня выговаривала, плакала, жаловалась, но все понапрасну.

Между тем умер отец ее, осталась одна мать, но какая мать! Бесчеловечная, жестокая,—мать, которая не брала участия в судьбе дочери своей, и сия несчастная смелости не имела говорить с нею откровенно. Все начинало удручать ее, и единственное ее утешение, ее отрада были слезы, которые облегчали размученное ее сердце.

Скоро потом открылось, что она беременна. Невинная графиня утешалась тем и думала: будущий плод принесет улажнение горестям моим; супруг, увидя меня матерью, обратится ко мне, будет снисходительнее, ласковее, воздержнее, сделавшись отцом, почувствует, может быть, долг свой, почувствует сожаление и возродится в нем, может быть, угрызение совести и раскаяния, и сия чувства возвратят мне супруга.

Но она обманулась; граф отнюдь не переменялся, продолжал ту же распущенную жизнь, проматывал имение, предавался самым гнусным страстям и часто по целой неделе не выдвигал его несчастная графиня.

Тогда уже почувствовала свое она злополучие, глаза ее более не осушались от слез, душа томилась и, огорченная до бесконечности, начинала искать отмищения.

Между прочими, которые посещали графа, ездил к ним чаще всех

князь N***, офицер гвардии. Он был влюблен в графиню, когда она еще была девицею, но никогда не имел смелости открыть ей страсть свою. Графиня также предпочитала его многим; находила его достойным и любезным человеком; чувствовала к нему наклонность сердца своего, но, охраняя долг брачного союза, она страшилась чувства сего.

В один день она была более, нежели когда-нибудь, огорчена мужем своим. В сие время приезжает князь, находит ее одну— графа не было дома— в слезах, в горести, в отчаянии. Тронутый князь берет нежное участие в печали ее, смешивает слезы свои с ее слезами, успокаивает, утешает ее— и не чувствительным образом открывает ей долгопитаемую страсть свою.

— Я никогда не имел дерзости говорить тебе о чувствах моих, графиня,— сказал он, стоя на коленях перед нею,— молчал о страсти моей к тебе, которая воспламенила душу мою прежде, нежели судьба отдала тебя в руки тирану, благополучие твое предпочитал собственному своему, но ты проливаешь слезы! И недостойный виновник оных развывает язык мой.

— Ты мне мил,— сказала графиня решительным голосом,— и я не стыжусь признания моего; слабость моя оправдана твердостью, с которою сносила я все ожесточения, деланные мне. Я отдаю тебе сердце и душу мою— будь другом моим.

Они клялись в вечной любви, и графиня в первый раз в жизни была сию минуту счастлива. Любовники предавались восторгам чувств своих и наслаждались оными. Но увы! они не могли предвидеть той громозной тучи, которая собиралась над ними; которая должна была поразить их... вечною разлукой.

Злополучная графиня! Участь твоя— быть преступницею; но сердце твое сотворено любить добродетель! Пороки мужа твоего совратили и тебя с путей ее, довели до отчаяния— до погибели.

Недолго любовники были счастливы. Судьба произвела графиню N*** для испытания всей бедственности человеческой. Она разрешается от бремени дочерью.

Во время ее болезни граф замечает, что князь с излишней заботливостию участвовал в восстановлении ее здоровья; замечает страстные его взгляды, наблюдает все его поступки и находит в них причину к подозрению. Ревность, пронесшая, конечно, не от любви, но от самолюбия, воспаляет его. «Должно отмстить оскорбителю моим,— рассуждал так он в себе,— и я накажу их». Приказывает тотчас в доме, чтобы никого не принимали и чтоб графине никто не дерзал ни о чем докладывать. Выговаривает ей самыми грубыми словами, обходится с нею самым неповазительным образом, даже и в низком состоянии.

Чувство злости разлилось в сердце его, омрачило разум и učinило его неистовым. Он ни на минуту не оставлял в покое бедную графиню.

Надобно ей было уведомить князя о своем положении, она написала к нему письмо следующего содержания:

«Состояние мое самое бедственное, и я ниоткуда не вижу себе помощи! Надежда умирает в сердце моем!.. Одна цепь несчастья представляется мыслям моим!.. Граф подозревает нас; ревность, возбужденная самолюбием, а не долгом супружеским, почитает себя оскорбительным, которая доводит его до безумия. Он никого не хочет принимать к себе; отдал приказание в доме отказывать всем и мне ни о чем не докладывать, ни в чем не повиноваться... Итак, любезный мой князь, невозможно тебе ни видеть меня, ни писать ко мне. Все пагубно, все опасно для меня!.. Смерть одна—избавление!..»

Хотя никто уже не ездил к графу и никуда жена его не выезжала, однако же он все терзался внутренним беспокойством, терзался—и напоследок решился запереть ее в верхних комнатах, не разлучая с дочерью.

Графиня, узнав о том, бросилась к ногам его, просила отменить ужасный приговор сей, сжалиться—не над нею, но над невинным младенцем, плакала, рыдала, но ничто не помогло, не тронуло варварского сердца его. Она, успокоясь несколько, отправила к князю письмо. Вот его содержание:

«Я осуждена на заточение. Жестокий тиран мой заключил меня в темницу, где должна я проводить горестный остаток жизни моей! Есть еще утешение мне: невинный ангел мой будет со мною—дочь моя. Но, ах! какая судьба ожидает ее! Боже мой? Ужасен гнев твой!.. Прости, единственный мой друг! Не беспокойся много о злополучной».

Князь, прочитав письмо, в первом движении хотел лететь к ней, извлечь ее из рук варвара, но рассудок остановил его.

Два года протекло заключение графини. Казалось бы, что граф должен успокоить ревность свою и дать покой несчастной графине. Нет, хотя жизнь вел он распутнейшую во всех частях, но никогда не забывал, что он был огорчен ею. Всячески разведывал о князе, и нашелся такой злой язык, который сказал ему, что жена его переписывается с князем.

Известие сие разгорячило в нем всю желчь. Буря восстала в душе его. «Как! Меня продолжают бесчестить!.. Нет! Я не оставлю без наказания сего!» И приходит ему мысль разлучить графиню с дочерью. «Ей ужасная казнь будет это»,—думает он, приказывает взять от нее одну и отвести в Смольный монастырь*. Тогда был первый набор в оном и принимали различного возраста.

Сердце мое в сию минуту забилось—перо падает из руки, оно не может изобразить трогательнейшей сей сцены, сей, когда приходят к нежной матери разлучить ее с любезнейшею дочерью—трехлетним младенцем, требующим еще всей матерней попечительности,—единственною отрадою в горькой судьбе ее! Графиня ухватила бедное дитя, прижала крепко к груди своей, маленькие ручонки оплелись вокруг ее шеи.

— Убейте меня.—закричала она,—и после возьмите сироту сию!

Обморок лишилась ее чувств, но когда опаматовалась она, то не имела уже дочери.

Удар сей казался ей невозможно снести! Воображение ее начертало вдруг картину ее жизни.—картину ужасную, от которой отвращаю я слезами полные глаза мои!.. «Я одна,—думала она,—одна в целом мире!.. Всеми оставленная, заключенная, как невольница, презираемая, как преступница,—могу ли я более жить?..» Она призывала смерть, но смерть не приходила к ней!.. В слезах хотела найти облегчение—но не было слез!.. Чрезмерная горечь превратила сердце ее в камень и уподобила истукану! Она ничего не предпринимала, ничего, по-видимому, не чувствовала.—казалось, что она покойна. Но, ах! спокойствие сие... был ужасный яд в душе ее!..

Попадаются ей нечаянно игрушки милой ее дочери—она хватает их, прикладывает к устам своим, поднимает томные глаза на небо—быстрый вздох вырывается из онемелого сердца ее и горячая слеза, пробиваясь по изгибам ее, смягчает, согревает ее—и возвращает ее к нечувствительности.

— Ты отторгнута от души моей, милая невинность!—вскричала она.—Жестокосердый отец твой пронзил кинжалом несчастную мать твою!.. Где ты? в чьих руках? что будет с тобою? Всемогущий боже! Ты спаси невинность—пусть я одна понесу казнь твою!..

Но каковы бы ни были печали, время уменшает их. Графиня начала понемногу успокаиваться, размышлять о положении своем. «Я еще в весне жизни моей,—думала она,—и ничего не вижу, ничего не надеюсь к отраде моей!.. В сем страшном заключении должна проводить остальные дни мои и ожидать всегда новых поражений! Неужели не могу спастись я от разящей меня руки?.. Неужели нет никаких способов?.. Но к кому же, несчастная, я прибегну? кому откроюсь? Никто не смеет здесь даже и болеть о мне! Должна мучиться и терпеть!.. Вот участь моя!»

Хаживал в дом к ним один купец, человек молодой, без всякого просвещения, но с добрым сердцем, с чувствительною душою. Знал печальную историю графини и видя страдания ее, он искренне брал участие в жалостной судьбе ее и делал по возможности своей ей услуги.

Графине приходило на мысль открыть ему намерение свое, которое посланось в мыслях ее.—намерение оставить дом, мужа своего, или лучше сказать,—своего мучителя и вверить ему жребий свой. Думала, колебалась и, наконец, решилась.

— Тебе известны почти все обстоятельства жизни моей,—сказала она ему, быв одна с ним¹,—а мне известна твоя честность, твое добродушие, твое сострадание обо мне; я решилась оставить ужасный для меня дом сей и вручить тебе судьбу мою вместе с собою,—будь покровителем моим, супругом и целым светом!..

¹ В сие время граф охотился с собаками в деревне.

Тут слезы рекою полилися из глаз ее.

Измученный, испуганный сим предложением, купец стоит перед нею безответен: она думает, что не понимает ее, повторяет, рыдая, речь свою; он не находит слов отвечать ей; мысли его рассеялись, он смотрит на нее неподвижными глазами.

— Ты можешь решиться,—говорит графиня,—ты...

Он не дал договорить ей:

— Нет! Я решился жертвовать тебе, графиня, мою жизнь, ежели такая жертва может быть тебе полезна, но согласиться с желанием твоим—устрашаюсь!.. Да! Устрашаюсь причинить тебе новое злополучие. быть виновником новых слез твоих—это страшнее мне самой смерти.

— Для меня нет нового злополучия,—говорит графиня,—будущие, каковы бы они ни были, не могут быть важнее прошедших, которые испытала я. В состоянии самом низком, в самом бедном я могу быть счастлива, избавившись тирана моего. Ежели несчастья трогают тебя, будь избавителем моим!

Растроганный чувствительный молодой человек представляет опасности, каким графиня подвергает себя, она ничего не внемлет, и великодушный юноша подает ей напоследок руку, клянется вечно почитать, любить ее и жизнь свою ограждать покой ее жизни.

Она назначила час побега. Молодой человек приготовляет ей крестьянское платье, сам надевает простой сермяжный кафтан и ожидает ее в кустах за городом. Она выходит счастливо из дому до восхождения солнца, передевается, и, пользуясь еще мраком ночи, они пускаются в путь.

Поутру в доме не находят ее, тревожатся и, помня строгое приказание господина своего, бросаются всюду искать ее. Но невинные преступники были осторожны: они днем спускались в глубокий ров или уходили в густоту леса и при бледном свете луны продолжали путь свой. Таким образом пришли они в деревню, где жил его дядя, готовый принять, и где надеялись проводить спокойно жизнь свою.

Слух о побеге графини рассеялся в тот же день по всей столице. Необыкновенное сие происшествие заняло весь город. Иные относили оное дурному ее поведению; другие приписывали отчаянию, в которое повергнута она мужем. Граф в бешенстве, рассылает курьеров по всем городам,—но как ни старался, как ни разыскивал—все было тщетно. Невидимая рука охраняла их от его поисков.

Графиня начинала вкушать приятности жизни,—жизни простой, единообразной, всегда покойной, и в мирной хижине добродушного старика, дяди избавителя своего, отдыхало сердце ее от долговременного томления, она жила у него под именем его племянницы. Ничто не нарушало тишины их. Графиня работала, как крестьянка, не чувствовала скуки и была довольна.

Деревня сия была на большой дороге, часто проезжие господа останавливались в опой. Тогда она скрывалась и уходила или в огород, или на чердак.

Однажды приезжает ввечеру полковник N*** и останавливается на ночлег в самой той избе, где жила графиня. Она по обыкновению ушла и села на берегу речки, протекающей позади их жилища.

Восхищена будучи картиною заходящего солнца, она вспоминает прошедшее, сравнивает с настоящим, и слезы градом катились по бледным щекам ее.

«Времена, счастливые времена! Вы исчезли,—исчезли, как сновидение, как исчезает теперь последний луч сего светила,—времена, когда я была девицею; жила в доме родительском, не зная никаких горестей; когда дни мои посвящались наукам, некоторые часы—певинным удовольствиям. Могла ли воображать я, что вам последуют столь бурные, столь ужасные! Что солнце на горизонте моем померкнет прежде полудня жизни моей и что вечный мрак покроет ее!.. Нет, будущее льстило мечтательности моей весьма много, я думала, что, вышед в свет, найду талантами моими возможное счастье в нем; что всякий день будет приносить мне с собою новое удовольствие и что вся мой будет исполнен одними радостями, наслаждениями! Но увы! Что есть судьба человеческая? Где сильная сия рука, которая в одно мгновение с высоты блаженства низвергает в бездонную пропасть бедствия?.. В одно мгновение разрушает огромное здание надежды и в отчаянии оставляет стенать над горестными развалинами опой?.. Какие преимуществы счастья? Один миг!—и мы в бесконечном расстоянии от оногo... С измученными чувствами от ужасного потрясения, с растерзанным сердцем от малодушия, с утомленною душою от горестей... а рожденный в нищете, он равными, тихими шагами совершает путь жизни своей и, оглянувшись назад, не испускает вздохов, не проливает слез! Кто не признает сию истину? Увы! я узнала ее печальным опытом!.. Ценою покоя моего приобрела понятие о неложном благе и научилась распознавать обманчивый призрак оногo! Жизнь моя есть нагавительный пример превратности сего обольстительного счастья, которое люди чают найти вне души своей, ищут с утратой ее покоя, с повреждением ее свойства и увидят—но поздно!—что гонялись за дымом. Из состояния графини я перешла в состояние бедной крестьянки и нахожу себя в тысячу раз счастливее теперь. Мечта разума моего исчезла, но первые впечатления остались в сердце—ах! они мешают наслаждению его в настоящем моем покое и невольным образом заставляют вспоминать о прошедшем!..»

Так философствовала чрезвычайная сия женщина и в восторге томногорестной души своей запела нечувствительно арию из французской оперы Deserleur, не приметя того, что стояла за нею лакей полковника N***, который, будучи удивлен тем, что крестьянка пела по-французски с такою нежностью, с такою чувствительностью, удалился осторожно от нее и поспешил сказать о сем своему господину.

Полковник N*** поспешно идет к тому месту, где она сидела, и застает ее, продолжающую свою арию, останавливается и слушает. Она нечаянно оборачивается и видит его — приходит в замешательство. Полковник N*** с безликим, с ласковым видом подходит к ней, она опускает глаза в землю, он вглядывается в лицо ее, и хотя печали, бедность, труды много сделали перемены в ней, однако же прелести все еще блистали, он узнает черты ее и приходит в изумление.

— Боже мой! — восклицает он. — Что я вижу?.. Не обманывают ли меня глаза мои?.. Нет — это точно она, она — это графиня!

При сем слове она затрепетала, ноги ее подогнулись, она упала на колени и по некотором молчании, залившись слезами, говорит ему:

— Так, вы видите злополучную графиню, но ежели вы великодушны, то, конечно, не нарушите бедственного ее покоя!..

Тронутый до глубины сердца своего полковник говорит ей:

— Нет, графиня, я особливим удовольствием почту оказать вам мои услуги и ничем не буду веселиться столько, сколько возможностью быть для вас полезным. Надобно вам знать, графиня, что супруг ваш промотался совершенно и живет в деревне; в столице, не имея давно никакого о вас слуха, почитают вас погибшей. Но я нахожу вас!.. где?.. в каком образе?.. О всемогущий!..

Графиня была почти бесчувственна, слезы рекою катились из глаз ее, она едва имела сил благодарить его, и он уезжает.

Между тем попечительность друга ее о сбережении ее покоя рождает в сердце ее нежную любовь к нему.

— Пусть осуждают меня людские законы, — говорит она ему, — я даю тебе руку мою, хочу вечными, неразрывными узами соединиться с тобою. Благодарность требует от меня сего, и совесть — сей единственный судия не дел, по чувствам наших — не порицает поступка моего.

— Но муж твой жив еще, это почитается преступлением.

— Он жив, — отвечает она, — но не имеет более священного права супружнего: не соблюдая долг одного, он разорвал узел, связавший нас, и я свободна, свободна и — отдаю сердце мое с рукою моему благодетелю, избавителю...

Он не противился более, и они сопряглись брачным союзом.

Скоро после сего получает она от полковника N*** письмо, в котором пишет он, чтоб ониехали в портовый город A***, где они будут иметь место. Они приезжают в сей город, и мужа ее определили к таможене.

По прошествии некоторого времени он занемог. Бедность начинала удручать их. Будучи честен, он не пользовался, подобно другим, непозволенными средствами от места своего, и оно едва доставляло пропитание им. Состояние их становилось от часу хуже.

Но великодушный полковник, благотворитель их, не забывал об них, осведомлялся и, узнав о положении их, пишет к ним, чтоб они переехали в P***, что граф умер и что им безопасно можно жить там. Они

приезжают в П***, и ему дают офицерский чин и место. Но с честностью, с правотою—кто наживается от места? Они были бедны по-прежнему.

Несколько лет проходит горестной жизни их. Несчастливая отваживается наконец прибегнуть к родному брату своему, который жил в М*** и который нимало не вспомоществовал ей. Она пишет к нему письмо следующего содержания:

«Гонимая судьбою, презренная людьми, несчастная сестра твои осмеливается писать к тебе!.. Злосчастная, но невинная в сердце своем осмеливается ожидать твоей великодушной помощи, твоего сожаления!

Увы! Пред глазами света, пред собственными твоими я могу казаться преступницею!.. Но пред судилищем моей совести—пред судилищем верховного судии, я без трепета, без страха отдаю отчет в делах моих и уверена, что они не привлекут на меня гнева его.

Ежели я оставила мужа, то уехала в нем моего тирана—и в муже ли иметь его!.. ах! это противно природе, человечеству!.. Ежели я отдала сердце мое и руку другому, то должна была тем моему избавителю!—так, одним сердцем могла я заплатить благодеяние, дружество, другого нет возмездия им!..

Вот источник злополучий моих! Вот все преступления мои! Суди меня теперь!.. Но пусть истина произносит приговор мой!

Милосердный боже! Неужели я не отру вовек горьких слез моих! Неужели и единокровный со мною не тронется ими и оставит несчастную ее страданиям!.. Нет! Человеку ли свойственна такая жестокость! А брат... Слезы омывают печальные черты пера моего!.. Ах! прости мне их, горесть иметь в них отраду, облегчение».

Вскоре получает она от брата следующего содержания ответ:

«Ты легкомыслием своим, безрассудностию причинила себе все злополучие и сделала пятно фамилии нашей. Разоритель твой ввергнул тебя во все бедствия. Один способ тебе остается, чтоб извлечь себя из оного,—оставить его. Иначе не ожидай от меня ты ничего».

Тронутая холодностию, равнодушием его к ее бедственному состоянию сия несчастная пишет к нему следующее:

«Нет! Ах нет! Сердце не удобно к такому подлому поступку. Могу ли я осознать его! Он благодетель мой; он жертвовал собою для спасения моего и счастье мое предпринимал жизни своей, нежная, великодушная дружба его вливалась в сердце мое отраду, утешение тогда, когда я готова была погрузиться в ужасное отчаяние,—я ободрилась, и надежда озарила мрак скорби моей, и лицо его прояснилось вместе с сердцем моим, и я забывала злополучие свое!.. И я ли его оставляю. И оставляю в то время, когда нужна ему помощь моя?.. Боже мой! Пусть прежде небесные громы поразят меня, нежели придет сне в мысль мою! Я с удовольствием буду разделять с ним все бедствия!.. Пучок соломы, кусок черствого хлеба с ним—довольно для меня!»

Раздраженный упрямством брат ее оставил ее и отказался помогать ей. В нищете, в бедности она с бодростью снискивает пропитание своими трудами. Родственницы ее, добродушные княжны, живущие в М***, определили ей малую сумму, которая подкрепляет нужды их.

Не в состоянии будучи она иметь служанку, сама носит воду, сама варит пищу, сама моет белье. Муж ее непрестанно одержим болезнью. Она священным долгом почитает охранять покой его так, как охранял он прежде ее,—и провидение ниспосылает им помощь—утешение.

ИСТОРИЯ БЕДНОЙ МАРЬИ

Нежные души! Чувствительные сердца! Вам хочу говорить о Марье, вам повествую плачевную историю несчастной ее жизни. Милые красавицы! Вам посвящаю труд мой. Счастлив, счастлив буду, если бедствия Марьи тронут сердца ваши и извлекут слезу сердечную. А вы, холодные души, каменные сердца! Не читайте сей повести—я не для вас пишу!

В окрестностях Москвы белокаменной, в прекрасной деревушке, лежащей на берегу Москвы-реки, жила Марья, дочь богатого откупщика, милая, прелестная девушка, каких мало на свете и какими только Москва богата. С добрым сердцем, прекрасным лицом, ангельскою душою, Марья ожидала только человека, которому бы могла отдать свою руку и сердце. Ей не нужно было богатство—ей надобен только был человек, который бы любил ее; но кто мог не любить Марьи?

Марья еще в младенчестве лишилась матери, с тех пор тайное предчувствие несчастья всегда ее терзало; будучи одарена от природы всем, Марья с самого младенчества носила в душе своей какую-то печать меланхолии, которая, как камень, лежала на ее сердце и изображалась во всех чертах ее лица. Для того ли создано было сие прекрасное творение, чтобы страдать и в стенаниях окончить дни свои?

Марья в припадках меланхолии своей часто ходила по рощам и долинам одна в сердечной скорби своей. Прекрасные места, ветвистый дуб, журчащий ручеек составляли все блаженство Марьи. Часто в тихом уединении просиживала она до глубокой ночи. Отец ее не был охотник до прелестей природы и часто бранил ее; Марья была невинна в душе своей, и упреки отца не могли к ней относиться. Иногда в тихий, весенний вечер Марья садилась, пригорюнившись, у окна, смотрела на синее небо, на светлый месяц, иногда жемчужная слеза сверкала на черных ее ресницах и при томном свете луны блистала, как прозрачный алмаз.

Но о чем же грустила Марья?—Ах! Это трудно изъяснить! Марья не знала любви. Она всех мужчин любила как братьев своих. Могла ли она грустить? Сердце человеческое неизъяснимо, есть, есть такие минуты, в которые сердце чувствует тоску, томную грусть без всякой причины и,

может быть, эти минуты, когда человек забывает все на свете и, так сказать, входит в самого себя, суть сладчайшие минуты в жизни...

Много женихов сваталось за Марью, но она ни одного не выбрала — ей хотелось иметь такого мужа, какого она составила себе в воображении, то есть доброго, нежного, чувствительного, мужа, близкого к ее свойствам. Ах, не всегда мы получаем то, что желаем; Марья, однако ж, нашла такого человека, которого полюбила страстно; но, видно, судьба не хотела ее счастья.

Однажды Марья, ходя в роще, увидела на дереве, под которым любила сидеть и предаваться размышлениям, сии слова: люблю тебя! Марья вздохнула, как невзвешенный ребенок задумалась, для которого язык любви был еще нов, непонятен, и на той же коре робкою рукою написала несколько слов в ответ.

Назавтре невольное чувство влекло ее в рощу. Она входит, бежит к любимому дереву и видит розовую гирлянду над ее словами. Марья затрепетала, испугалась, хотела бежать — вдруг является молодой прекрасный человек. «Марья! — говорит он, — любезная Марья!» — и в слезах бросается к ее ногам. Кто может изъяснить, что чувствовала Марья в сию минуту? Она узнала в любовнике Милона, который всегда для нее казался всех милее, и бросилась в его объятия. Тут нежные любовники поклялись в вечной верности, и пламенный поцелуй был залогом их клятвы. Всякий день Марья приходила в рощу и с другом сердца своего проводила вечер. Как были приятны для них эти минуты! Я знал Марью уже после — она всегда с сердечным удовольствием вспоминала о сих прогулках и, бедная, заливалась слезами.

Марья, зная непреклонный нрав отца своего, не смела открыть ему любви своей. Милон был бедный поселянин — этого уже было довольно, чтобы разлучить их навеки! Со всем тем Марья несколько раз хотела сказать о любви своей отцу: имея такое чувствительное, доброе сердце, могла ли она таить от него свою любовь? Но Милон, предвидя плачевную участь, удерживал ее. Еще будет время, любезная Марья, говорил он, насладимся теперь теми блаженными минутами, которые пройдут и, может быть, никогда уже не возвратятся! Марья слушала его и целый год таила от отца свою любовь к Милону.

Между тем один богатый купец предложил Марье свою руку. Она не соглашалась; отец требовал ее согласия. Марья терзалась, плакала и, наконец, принуждена была открыть ему свою любовь. «Батюшка! — говорила она, — я люблю! Если вы хотите счастья вашей дочери, то назовите Милона вашим сыном». — «Милона! — сказал отец. — Никогда! Я заклинаю тебя прервать все связи с ним, если хочешь иметь мое благословение!»

Ни просьбы, ни слезы, ни отчаяние — ничто не помогло, отец был неумолим. Марья отерла слезы свои, скрыла горечь и старалась казаться веселою. Отец предложил ей жениха.

— Ни за кого на свете, — сказала Марья, — кроме Милона.

— Ныне же,— сказал ожесточенный отец,— ты будешь в объятиях Эраста!..

Слова сии совершенно поразили Марью, она хотела идти за отцом своим, но ноги подкосились—она упала в обморок. Придя в память, Марья увидела себя в объятиях Милона.

— Несчастный!— сказала она,— каким случаем?..

— Марья,— сказал Милон,— время благоприятствует, оно дорого для нас теперь, воспользуемся им, убежим.

— Нет!— сказала Марья.— Отец может сделать меня несчастною, но я никогда не преступлю моей обязанности. Нет, Милон, не говори мне о победе, не оскорбляй меня. Я надеюсь, что отец послушает меня.

— Но, Марья, любезная Марья, помысли!..

— Слова напрасны,— сказала Марья,— удались, я люблю тебя, но не сделаю подлого дела!

— Как?— вскричал Милон,— и ты противишься моему счастью? И ты не краснеешь, сказав, что любишь меня? Ты?.. О боже!

— Милон, дражайший Милон!— кричала Марья, но уже было поздно!..

Назавтра отец велел Марье одеться и идти в церковь. Марья повиновалась и отдала руку свою человеку, которого она нисколько не любила. Выходя из церкви, Марья увидела Милона, бледного, отчаянно-го; он подошел к ней, схватил ее руку, взглянул на нее страстно и пронзил сердце свое кинжалом.

— Постой!— закричала Марья и бросилась на тело несчастного.

Напрасно хотели ее отвлечь от тела—все усилия были тщетны.

— Нет,— говорила она— нет, жестокие люди! Вы не велели мне любить его, дайте умереть у ног его!

Умирающий Милон собрал последние силы свои, взял ее руки и сказал: «Марья! Я любил тебя. Бог тому свидетель!..» С этим словом он выдернул кинжал из груди своей и закрыл глаза навеки.

В отчаянии, горести Марья оставила отца, мужа, родину. В бедной хижине провела она остатки дней своих, в горести и тоске. Бедная! Там, в цветущей молодости, окончила она дни свои, произнося имя Милона, имя, любезное ее сердцу.

Бедная! Никто не посетит могилы твоей, никто не почтит слезою твоего праха! Ты умерла в горести, в одиночестве, далеко от родины, от друзей!.. Гордые памятники покрывают иногда трупы злодеев, горсть земли скрывает добродетельную женщину, страстную любовницу, нежную дочь, и место, где она лежит, забыто и презрено.

ЛЕГКОВЕРИЕ И ХИТРОСТЬ

Повесть

Эраст был знатен, богат и молод; ум, воспитание, любезность в обществе, сердце доброе, чувствительное делали его одним из первых молодых людей столицы. Живучи в лучшем кругу людей, он имел в виду много выгодных партий: всякая мать желала иметь зятя, подобного Эрасту, всякая девица отдала бы охотно ему руку и сердце, от него зависело быть совершенно счастливым; но романтизм его удалял от мыслей такие союзы. Ему хотелось иметь жену, воспитанную не в вихре городской жизни, но в сельской простоте, столь же невинную, кроткую, как и сама природа.

Эраст поехал в деревню и был столько счастлив, что нашел все эти качества в Эмилии, дочери одного очень небогатого дворянина. Природа (говоря языком романистов) ничего не могла создать лучше. Прекрасный стан, черные огненные глаза, а более всего любезность Эмилии пленили Эраста. Он открыл ей страсть свою, невинная Эмилия не скрывала пред ним чувств своих, и невольное люблю вырвалось из ее сердца.

Первые дни супружества были непрерывные восторги. Эраст никогда не наслаждался с таким удовольствием жизнью, никогда не воссылал к богу таких искренних благодарений. В объятиях нежной Эмилии он наслаждался тем счастьем, которое многим кажется химерою, счастьем, неизвестным для людей, которых союзом был интерес, а не любовь.

Весна и лето прошли неприметно для молодых супругов. Наконец настала осень. Листья опали, трава пожелтела, цветы увяли; что делать в деревне? Эраст, живший всегда в городе, в первый раз еще наслаждался приятностями сельской жизни. Любовь заглушила на время мысль о городских удовольствиях; но с переменю времени Эраст переменял свои мысли. Угрюмый вид полей не утешал его, ему хотелось быть опять в городе, может быть, по привычке к рассеянной жизни, а может быть, и тщеславие побуждало его показать свету Эмилию.

Эраст сказал о своем намерении жене своей — Эмилии, хотя и с сожалением, согласилась на его желание, и чрез неделю молодые супруги были уже в М-е.

В числе многих приятелей Эраст имел одного друга (по крайней мере, он так думал), они жили и воспитывались вместе; но характеры их

были совершенно различны. Сколько Эраст был добр, столько Эдмон был коварен и хитр. Он знал слабую сторону своего друга и, пользуясь его легковерием, умел совершенно овладеть его умом и извлекать для себя пользу. Эраст стремился к одной добродетели. Эдмон предпочитал всему интерес. Эраст, менее пронизательный по свойству добрых душ, видел в Эдмоне одну только добрую сторону и любил его от чистого сердца, Эдмон любил его потому, что находил в том свои выгоды.

Приехав в М-у, первое старание Эраста было видеть Эдмона. Он обнял его со всею горячностью истинной дружбы.

— Мой друг,— сказал он,— наконец я тебя вижу! Мне прискорбна была разлука с тобою; но ангел красоты и добродетели утешал меня.

— Радуюсь, мой друг, радуюсь,— отвечал Эдмон,— хотя и жалею о том, что другой заступит в сердце твоём место, которое я занимал прежде.

— Нет, нет!— сказал с жаром Эраст.— Сердце мое будет делиться между любовью и дружбою, они составят счастье моей жизни!

Назавтра Эдмон был представлен Эмилини. Эраст, сидя за столом между женою и Эдмоном, с чувством сказал:

— Как тот счастлив, кто имеет друга верного и жену любезную!

Слезы сердечного удовольствия навернулись на его глазах, и эти слезы были первые, которые он пролил после своей жснитыбы.

Всякий день друзья были вместе, всякий день более и более утверждаалась связь любви и дружбы. Эраст и Эмилиа не предвидели бури, которая скоро должна была грянуть над их головами и разрушить их блаженство.

Эдмон, которому имя друга давало право быть всякий день у Эмилини и Эраста, Эдмон, столь же сластолюбивый, сколь и коварный, с первого дня еще почувствовал страсть к Эмилини и не только не старался обуздать оной, но твердо положил под личиною дружбы достигнуть своей цели и разрушить счастье супругов. Ежедневные примеры доказывали ему любовь Эмилини к Эрасту, ее невинность и добродетель, но, имея порочное сердце, мог ли Эдмон верить добродетели? Воспитанный без правил, без веры, без чести, предположив цель, он жертвовал всем для достижения оной. Спокойствие людей почитал безделкой, счастье супругов— химерой. Некоторые удачи в интригах с женщинами, ему подобными, утвердили его в пагубной мысли, что верность не есть удел женщин. Бывая ежедневно у Эраста, он более пленялся Эмилинею. Сто раз хотел открыть ей страсть свою, и всегда невинный вид Эмилини его удерживал. Он удивлялся своей робости. «Неужели,— думал он,— эта провинциалка будет противиться стрелам моего искусства в интригах, когда и славейшие кокетки не могли противостоять им? Нынче же решу эту неизвестность...» С твердым уверением садился он в карету, скакал к Эмилини— один взгляда ангельской невинности его обезоруживал.

Есть люди, в которых препятствия не только не ослабляют, но еще умножают желания. Таков был Эдмон. Самая трудность победы превра-

тила желания его в сильнейшую страсть. Скоро не мог уже он провести дня без Эмилини. При всей своей хитрости, при покрове дружбы страсть сия так живо изображалась во всяком слове, во всяком взгляде, во всех чертах лица Эдмона, что Эраст с малейшим прониканием мог бы открыть сию тайну; но он везде там видел дружбу, где действовала одна страсть. Скоро отсутствие Эдмона соделалось заметно в свете, ибо по общей превратности вещей там скорее заметят отсутствие интригана, нежели доброго человека. Где дедался Эдмон? Он не был на бале, в концерте? — Эдмон извинялся, как мог, и все минуты посвящал Эмилини.

Оджды Эраст был отозван обедать. Эмилиня осталась дома. Эраст, уезжая, просил друга своего разделить с нею время. Эта минута подала надежду Эдмону, он с радостью принял предложение.

Оставшись с Эмилиєю один, он решился открыть ей страсть свою, ему оставалось только выбрать способ. Самым лучшим казалось ему то, чтобы поселить неприметно ревность в сердце Эмилини, охладить любовь ее к мужу и потом... Но скоро ли можно ожидать плодов от сего умысла? И мог ли равнодушно ожидать их Эдмон! Притом же, если они объяснятся? Если узнает Эраст вероломство мнимого друга? Эта мысль неприметно вовлекла Эдмона в глубокую задумчивость. Он сидел, потупя глаза, и молчал.

— Я долго смотрю на вас,— сказала, наконец, Эмилиня,—какая причина вашей задумчивости? Даже я замечаю, что вы с некоторого времени совершенно переменились?

— Ах, Эмилиня! Если бы мы знали, в какое замешательство приводит меня ваш вопрос!

— Вы меня удивляете, Эдмон. Простите меня, я не думала вас огорчить.

— Огорчить? Ах, нет! Клянусь вам, нет! Огорчения может иметь счастливый; но человека, привыкшего к несчастью, ничто уже огорчить не может и слезы, мука для счастливых, есть блаженство для несчастного.

— Bravo! — сказала шутя Эмилиня,—давно ли вы имете такие романтические мысли, Эдмон? Эту счастливую идею я советовала бы вам поместить в первом романе, который вы будете, конечно, теперь писать, или в тихую, майскую ночь проговорить ее спутнице несчастных — луне!

— Шутите, Эмилиня, шутите над моею горестию.

— Но что же, если смею спросить, причину вашей тайной горести?

— Одно ложное на себя упование,— отвечал Эдмон.— Ах, Эмилиня! Я прежде много полагался на свое равнодушие, я не знал, что есть случаи, в которых человек не властен в чувствах своих. Я думал, что рассудок может управлять сердцем; но теперь вижу, что рассудок есть раб страстей.

— Что такое?

— Эмилиня! Не спрашивайте меня. Я сказал, может быть, больше, нежели должно.

— Эдмон! Я вас не понимаю!

— Эмилия! Эта минута для меня драгоценна! Я хотел скрыть в сердце моем ту тайну, которая против воли моей излилась сама собою. Эмилия!— продолжал Эдмон, взяв ее за руку.— Эмилия! Я люблю... жизнь или смерть, решите теперь.

— Боже мой! Эдмон! Что вы делаете?

— Нет, божественная женщина! Клянусь, что я не встану с коленей до тех пор, пока не услышу своего приговора.

— Эдмон,— сказала Эмилия,— вы меня обижаете. Я не ожидала, чтоб разговор наш кончился таким странным образом. Простите меня, если скажу вам, что я думала найти более добродетели в друге моего мужа. Встаньте, говорю вам, и оставьте меня в покое.

Эдмон с ужасом выслушал Эмилию. Уже он воображал все следствия пагубной своей неосторожности. Одна секунда— и все бы погибло; но он вдруг призвал на помощь адское коварство и, скрип в глубине сердца весь стыд и злобу, овладевшую им, вскочил и с торжественным видом сказал Эмилии:

— Ангел добродетели! Теперь знаю всю цену счастья Эраста, сейчас бегу сказать ему.

— Что такое?— спросила с беспокойством Эмилия.

— Эмилия!— сказал Эдмон,— простите моему притворству. Я вас почитаю, но страсть моя есть выдумка.

— Выдумка?

— Так, Эраст уговорил меня сыграть эту комедию. Признаюсь, я с трудом согласился на его желание.

— Эраст мог сомневаться в моей добродетели?— сказала с удивлением Эмилия.

— Нет, нет, Эмилия! Эраст... не думайте... но я сам не знаю, что говорю... Я так рад... Так похищен... Я еду к нему ... Прошу вас, заклинаю, не говорить ему ни слова. Через несколько времени мы найдем случай отплатить ему.

Эдмон поцеловал руку Эмилии и вышел, не дав времени ей опомниться. Весь яд злобы разлился по жилам его, когда он сехал домой. Мщение истребило любовь в сердце его, и он положил отомстить Эмилии, хотя бы то стоило самой его жизни.

Эмилия не знала, должно ли ей было верить словам Эдмона. «Эраст мог сомневаться в моей верности,— думала она,— быть не может! Но неужели Эдмон обманщик? Его радость, его восхищение не могут быть следствием отказа. Итак, Эраст предал меня испытанию человека постороннего? Должно ли мне говорить ему об этом?»

Следствием сих размышлений было то, что Эмилия решилась не говорить ни слова Эрасту и ожидать, что он скажет; а как Эраст молчал, то Эмилия и обвиняла его в душе своей. Будучи нежна и чувствительна, мнимый поступок мужа не истребил в ней любви, но сделал ее задумчивою и рассеял природную ее веселость. Одно слово Эмилии— и все бы могло

объясниться; но оскорбленное самолюбие одно вопило в сердце и препятствовало ей входить в объяснение.

Эраст, любя Эмилию и признавая в душе своей себя совершенно невинным, сокрушался о ее холодности. Несколькo раз просил он сказать причину такой перемены. Слезы были обыкновенным ее ответом. Эраст, не могши ничего узнать от жены своей, прибегнул к посредству другого и открыл Эдмону горесть свою. Эдмон только того и ожидал.

— Мой друг,—сказал он с притворным соболезнованием,—мой друг, это натурально. Эмилия молода, хороша, мудрено ли, что она сделалась задумчивою? Может быть, кто-нибудь нашел путь к ее сердцу. Посмотри прилежнее, и ты найдешь причину ее тайной горести.

— Нет, нет, Эдмон! Грусть Эмилии должна происходить от другой причины. Я знаю ее чувства. Ты был всегда мало уверен в добродетели женщин; но Эмилия не такова: она добродетельна.

— Не спорю, мой друг,—сказал Эдмон,—но женщина всегда женщина, то есть творение непостоянное, слабое. Несчастлив тот, кто много надеется на женское сердце, эта крепость сдастся на капитуляцию першому счастью.

— Эдмон, ты обижася ее, я не простил бы тебе, если бы не знал всегдaшнего образа твоих мыслей.

— Прибавь, справедливого,—сказал Эдмон,—ибо в этом случае, зная хорошо женщин, я не могу ошибаться.

— Согласен; но Эмилия?..

— Эльвира или Эмилия—все равно. От госпожи и до служанки,—продолжал Эдмон,—все женщины имеют одно в предмете: нравиться. Разумеется, что одеваются и румянятся не для мужей. Самая пламенная страсть в брачном союзе превращается в холодную дружбу. Для дружбы не нужно ни румян, ни бриллиантов. Монтань говорит, что друг мне мил для того, что он—он, я ему мил потому, что я—я. Напротив, женщины одеваются для того, чтобы привлечь внимание.

— О! Уже ты слишком строг,—сказал Эраст.

— Ничуть,—продолжал Эдмон,—это истина. Сперва женщине хочется быть любезною в обществе, а там привлечь особенно чье-либо внимание, а там... и не увидишь, как любовь вкрадется в сердце, а там...

— Нет, мой друг, нет!—сказал Эраст,—ты говоришь все о женщинах обыкновенных, но Эмилия?..

— Согласен,—отвечал Эдмон,—что Эмилия не похожа на обыкновенных женщин; но это самое может родить желание победить ее. Та победа приятнее, которая труднее. Женщину также много побеждает привычка. Если бы я был женат и жена моя была всякий день вместе с молодым, любезным человеком, каков, например, Милон...

— Милон?—спросил с удивлением Эраст.

— Да, если бы, говорю...

— Эдмон!—сказал Эраст,—это делается для меня непонятно: говори яснее или молчи.

— Мой друг,— сказал Эдмон,— я поставил Милона только в пример, впрочем, если бы он и чувствовал страсть к Эмили...

— Милон? Страсть к Эмили? Нет, Эдмон! Ты не знаешь жены моей или слишком ожесточен против женщин, Эмилия добродетельна. (Эдмон коварно улыбнулся.)

— Что значит эта улыбка,— продолжал Эраст,— она привела в содрогание мое сердце. Скажи, объясни мне...

— Чего ты требуешь?— сказал иронически Эдмон.— Эмилия добродетельна, ты знаешь!

— Нет, Эдмон!— прервал с жаром Эраст.— Здесь шутки не у места. Где страдает честь, там шутки не у места. Заклинаю тебя именем дружбы, скажи, что значат слова твои? Неужели я должен подозревать Эмилию в неверности?

— Подозревать?— сказал Эдмон.— Бедный муж! Узнай больше: Милон есть счастливый любовник жены твоей.

— Как?— вскричал Эраст.— Милон! Но почему ты знаешь?

— Я скажу тебе, но клянись сохранить тайну. Несколько дней тому назад я вошел нечаянно к жене твоей и увидел... Милона в ее объятиях! Я хотел уйти, но Эмилия меня видела, и вот причина ее грусти.

Пусть вообразят себе все бешенство Эраста. Эдмон был друг его, он говорил с таким невинным лицом, с каким говорят истину; мог ли он ему не верить?

— Я прошу тебя только об одном,— продолжал Эдмон,— умерить гнев свой и не говорить ни слова Эмили. Она не рождена порочною, и время обратит опять к тебе ее сердце.

Эдмон очень знал, что пылкий Эраст не выдержит ни минуты, но он употребил сию хитрость для того, чтобы дать более правдоподобия своей лжи.

Эраст, пылая нетерпением, взял шляпу и пролил луч радости в сердце Эдмона, который был вне себя, найдя случай отмстить за свою обиду. Эраст, опомнясь несколько от первого гнева, решил не говорить ни слова жене своей. В таком расположении приехал он домой; но тут уже самый случай помог коварному Эдмону. Идучи к жене, Эраст встретил Милона, который выходил от нее. Весь жар ревности закипел в Эрасте, и он не мог уже скрыть своего бешенства.

— Мой друг!— спросила с беспокойством Эмилия.— Что с тобою сделалось? Ты так бледен, так растрачен! Не случилось ли чего с тобою?

— Мудреный вопрос, Эмилия; порок еще гнуснее, когда он прикрыт личиною невинности!

— Ты говоришь так непонятно!

— Жена вероломная!— прервал Эраст вне себя.— Теперь я вижу, что любовь твоя ко мне была не что иное, как гнусное притворство. Я видел сам то, о чем меня сейчас известили.

— Мой друг...

— Так, мне изъяснили причину твоей грусти, и я сей час удостоверился в истине. Скажи, зачем ты принимаешь посещения Милона? Зачем избирает он всегда то время, когда меня нет дома?

— Эраст,— сказала Эмилия в слезах,— неужели ты сомневаешься в моей добродетели? Узнай лучше свою Эмилию! Я невинна. Кто бы ни был тот, кто вооружает тебя, клянусь, что я невинна. Если тебе неприятны посещения Милона, я велю ему отказывать; но скажи, кто поселил в тебе подозрение?

— Кто бы мог думать,— сказал Эраст,— чтобы эти слезы, этот невинный вид были орудием злодейства? Нет, я не в силах более терпеть! Эти притворные слезы могли бы истребить мое подозрение, но я не по одному подозрению так поступаю: Эдмон видел тебя в объятиях Милона.

— Эдмон?— спросила с удивлением Эмилия.— Так этот злодей смущает наше спокойствие? Теперь я понимаю! Несчастный друг, узнай больше: две недели тому назад твой друг открывался мне в любви.

— Эдмон? Хитрая женщина! Лишив спокойствия, ты хочешь лишить меня и последнего блаженства— друга! Но не найдешь во мне легковороного!

— Эраст!— сказала Эмилия.— Ежели уже я лишилась любви твоей, то по крайней мере верь моей чести. Эти слезы пусть будут свидетелем того, что я говорю истину!

— Как?— сказал Эраст с удивлением.— Эдмон открывался тебе в любви?

— Презрение было моим ответом,— сказала Эмилия,— я хотела тебе об этом сказать, но коварный Эдмон уверил меня, что он поступил против воли своей по твоему приказанию.

— По моему приказанию?— спросил Эраст еще более удивленный.

— Так,— отвечала Эмилия,— кто бы мог не поверить его невинности, его радости? Я поверила им и признаюсь, мысль, что ты мог подозревать меня, что ты подвергнул меня испытанию, была единственною причиною моей горести. Мой друг, ежели бы я не любила тебя, я бы перенесла это равнодушно; но ах! и в самом ожесточении я еще любила тебя!

— Эмилия! Дражайшая Эмилия!— сказал Эраст.— Прости меня, прости моему легковорию! Но Эдмон? Которого я люблю, как друга! Нет, это жестоко! Жестоко быть так обманутой, жестоко думать, что добродетель так редка на свете! Сей час еду к нему и разорву союз дружбы навеки!

Эраст, приехав к Эдмону, осыпал его упреками. Эдмон, ко всему приготовленный, выслушал его с притворным равнодушием.

— И ты мог верить женщине ожесточенной?— сказал он.— Неужели ты мало уверен в дружбе моей? Неужели мало показал я тебе опытов моего усердия? Если бы я пленился женою моего друга, ты знаешь меня, знаешь мою откровенность, я бы сказал тебе первому. Ты знаешь

правила мои; если бы я чувствовал, что не в силах победить страсти, я бы удалился от вас. Надобно быть извергу, чтобы нарушить спокойствие друга, надобно быть слишком легковерну, чтобы поверить сказке, худо сплетенной женщиною! Ежели бы это было в самом деле, неужели ты думашь, что жена твоя не сказала бы тебе о том прежде? Ты не исполнил обещания, сказал ей, что я тебе открыл за тайну, и Эмилия в отместку выдумала нелепость, чтобы очернить меня в глазах твоих.

Эдмон говорил это с таким хладнокровием, с таким притворством, что Эраст покраснел, что мог подозревать в измене человека столь добродетельного. Однако ж он еще колебался. Эдмону надобно было нанести решительный удар и получить опять всю доверенность легковерного своего друга.

— Я ли вызвался сказать тебе о вероломстве Эмилии? Не сам ли ты спрашивал меня о причине ее грусти? Я бы мог скрыть от тебя эту тайну; но могла ли тогда быть спокойна совесть моя! Я открыл тебе все как друг, а ты теперь считаешь меня злодеем! Но я лучше хочу быть злодеем в глазах твоих и лишиться дружбы твоей, нежели сохранить ее бесчестным образом. Эраст!— продолжал он, взяв его руку.— Прости мне, что я любил тебя много. Мы теперь расстаемся, но если тебе нужны будут утешения и советы, если угнетенное сердце твое в мрачном одиночестве будет терзаться, приходи ко мне и найдешь то же сердце, вылающее к тебе дружбою. Теперь прости! Позволь обнять тебя в последний раз!

Слезы лились по лицу Эдмона, когда он говорил это; Эраст, рыдая, бросился в его объятия:

— Эдмон! Эдмон! Прости моему легковерну! Друг мой, прости меня! Но что мне делать? Сердце мое слабо, слезы жены...

— Обыкновенная пружина, которою они владеют мужьями своими!— сказал Эдмон.— Но я не хочу тебя более раздражать. Мой друг, прости ее слабости.

— Простить?— вскричал Эраст.— Простить тогда, когда она, будучи преступницею, хотела разлучить нас? Никогда!

— Но что же ты хочешь делать?

— Удалить ее,— отвечал Эраст,— и если не мог найти счастья в любви, то найду его в пустыне мрачных лесов!

Эдмон с намерением взял сторону Эмилии, чтобы самим себе противоречием скорее согласить Эраста к разводу и притворным великодушием более убедить его в свою пользу.

— Нет, мой друг,— сказал он,— ступай к Эмилии и прости ее слабости...

— Ехать к ней?— сказал Эраст,— еще раз видеть преступную жену? Нет! Я решился и не перемену своего намерения! Не хочу видеть ее, хочу даже, чтобы она не знала места, где я в горести буду влачить остаток дней моих!

Эдмон сам не верил успеху своей хитрости. Он желал развода, но опасался, что Эмилия добродетельною жизнью своею обратит опять к себе сердце Эраста. Ему нужно было истребить любовь в сердце Эмилии. Для сего хотел он, чтобы Эраст не уезжал из столицы, но явился снова в свете, не сомневаясь нимало, что интриги его и пылкое сердце Эраста поселят в нем страсть к другой женщине; чрез это он думал ожесточить Эмилию, сделать надежнее разрыв ее союза и после овладеть ее сердцем, ибо, несмотря на зlobу и мщение, он все еще любил Эмилию. Эдмон все силы употребил для достижения своего намерения; но что может коварство против невинности и добродетели?

Однако ж боясь, чтобы в первые дни разрыва Эмилия не нашла случая обличить его коварства, Эдмон будто против воли согласился на отъезд Эраста. Чрез два часа лошади были готовы, Эраст, оставя записку к Эмилии, сел в коляску и поехал в деревню Эдмона.

Эмилия долго дождалась Эраста между страхом и надеждою. Зная хитрый нрав Эдмона, она опасалась, чтобы он не переменял его мыслей. Наконец получает она записку следующего содержания: «После известного Вам происшествия, мы не можем жить вместе. Я не хочу, чтобы разлука наша навлекла некоторую расстройку в вашем состоянии,— оставляю вам мой дом и назначаю ежегодного содержания пять тысяч рублей. Простите, вы меня больше не увидите. Эраст».

Кто может описать удивление и горесть несчастной Эмилии? Ей оставалось еще одно средство: ехать к Эрасту и уверить его в своей невинности. Она то и сделала, но ей сказали, что он час тому назад уехал неизвестно куда.

Это был новый удар для чувствительной Эмилии, она не хотела оставаться в доме мужа своего, жить его доходами и решилась с малюпким сыном своим ехать к отцу, где она провела лучшие лета жизни, не в изобилии, но в невинной простоте, в совершенном спокойствии. Приготовясь к отъезду, она взяла сына своего на колени. Слезы ее лились на грудь невинного младенца, который, обняв ее ручонками, казалась, говорил ей: «Маменька! Не плачьте, еще есть на земле творение, которое вас любит более всего на свете!»

— Бедное дитя! — сказала Эмилия. — Ты не знаешь, что в сию минуту получаешь величайшее из несчастий, теряешь отца! Бедная сирота! Что будет с тобою? Сирота? Что я сказала? Нет, ты не будешь сиротою, у тебя есть еще мать, которая будет жить только для тебя.

Эмилия не могла говорить более от слез и рыдания. В самое это время входит Эдмон.

— Эмилия! Вы плачете? — сказал он.

— Эти слезы, — отвечала Эмилия, — должны быть вам известны. Вы виновник их и некогда дадите в них отчет пред лицом бога.

— Эмилия, я вас не понимаю!

— Скажите, где муж мой? Возвратите отца этому ребенку и мне мужа.

— Я не знаю...

— Злой человек! Неужели ты позавидовал счастью людей, которые любил тебя искренно? Мы несчастны; но кто ж виновник нашего несчастья?— Тот, которого мы почитали другом! Зачем вы пришли сюда? Ругаться моим несчастьем или радоваться успеху вашей злобы? Если эти горючие слезы приятны для вашего сердца, то пейте их и утолите свою жажду. Ах! Избавьте меня вашего присутствия, оно тягостно для невинного сердца!

— Я бы оскорбился вашими упреками,— сказал Эдмон,—если бы их заслуживал. Эмилия, выслушайте меня.

— Несчастье семейства,— сказала Эмилия,—несчастье этого младенца, лишенного отца чрез вас, довольно говорит в ваше оправдание.

— Чрез меня? Эмилия, я говорю вам еще, что я вас не понимаю.

— Не понимаете?— сказала Эмилия.— Разве не вы вселили в Эрасте мысль о моей неверности? Не вы ли уверяли его в страсти моей к Милону, тогда когда сами имели дерзость открыться мне в любви?

— Эмилия,— говорил Эдмон,—теперь я вижу, что мы оба грубо обмануты. Я ни слова не знаю о Милоне. Эраст нынче мне сам сказал об этом; я старался истребить в нем такую мысль, говорил по собственному опыту, но советы мои действовали худо, и Эраст оставил меня. Я приехал вас уведомить об этом. Дайте мне кончить. Теперь я знаю причину его поступка—не добродетель ваша была в подозрении, не я старался разлучить вас. Нет! Клянусь вам моею честью! Узнайте, что Эраст влюблен в Эйлалию и оклеветал и вас и меня для того, чтобы иметь предлог к разводу с вами. Конечно, эта выдумка доказывает его хитрый нрав, которого ни вы, ни я не могли заметить прежде. Теперь вы видите, что я невинен,—возвратите мне дружбу вашу, столь для меня драгоценную, и верьте, что я для оправдания себя в глазах ваших все меры приложу возвратить Эраста в ваши объятия.

Эмилия с терпением выслушала Эдмона.

— Не думайте,— сказала она,—найти во мне столько легковерия. Эраст поступил со мною дурно, но я уважаю его и вы никогда не успеете поселить во мне ненависти к нему. Я знаю его сердце, оно пылко, но не склонно к пороку. Вы оклеветали меня, нарушили мое спокойствие и хотите еще очернить в глазах моих мужа, которого я люблю...

— Эмилия...

— Нет, довольно! Я узнала изверга, тигра в образе человека и более не хочу его видеть. Оставьте меня и не заражайте воздуха, питающего невинность.

— Эмилия! Я оставляю вас, но не кляните меня, я не заслуживаю ваших упреков. Клянусь, что я невинен. Ах! Мог ли я желать вам зла, когда сердце мое пылает к вам любовью? Эмилия! Еще раз у ног ваших клянусь в любви моей. Сжальтесь над несчастным, который еще в первый раз чувствует сей пламень в груди своей... Боже мой! Я не знаю, что я

говорю, что я делаю... Эмилия! Одно слово, один взгляд—и Эраст будет опять наш...

— Он здесь!—сказал Эраст, войдя в комнату.—И здесь для того, чтобы наказать вероломство друга!

Кто может выразить удивление Эмилии и Эдмона?

— Боже мой,—закричала Эмилия,—Эраст! Ты опять мой!

— Ты опять моя!—сказал Эраст обнимая Эмилию.—А ты, бесчестный человек, что скажешь теперь в свое оправдание?

— В самом деле,—сказал Эдмон, не могши скрыть своего смущения,—я кажусь пред тобою виноватым, но мой друг...

— Злодей!—сказал Эраст.—И ты смеешь называть меня другом! Я, невинная жертва твоего коварства, следуя советам твоим, уже оставил город; но невольное чувство, которого я победить не мог, влекло меня сюда. Приезжаю—и вижу не Милона, но тебя на коленях пред женою моею. Разве не слышал я...

— Мой друг,—сказал Эдмон,—тебе показалось...

— Прочь, изверг!—закричал Эраст.—Прочь! И не доводи меня до необходимости наказывать твое предательство.

Эдмон еще хотел оправдываться, но, видя, что уже это поздно, уехал, разгласил по городу о несогласиях Эраста и Эмилии и прибавил множество анекдотов насчет добродетели Эмилии. Свет, любя злоречие, ему верил. Но Эмилия и Эраст своею добродетельною жизнью заставили умолкнуть злобу. Эраст впоследствии жизни своей имел много приятелей, но не искал уже друзей и часто говорил, что добрая жена есть лучший друг на свете.

ПЛАМЕД И ЛИННА

Не станет утраченный путник
Сидеть на диком сем холме:
Он, оглявшись, минует кости,
Что будут спать железным сном.

Херсониды

Благочестие воздвигло на одном из крутых берегов Д*-на два монастыря—мужской и женский—в близком один от другого расстоянии. Величественный вид первого привлекает взоры плывущих мимо путешественников, поражая удивлением. На самом крае грозного мелового утеса возвышаются четыре готические остроглавые башни, от древности мхом и травой поросшие; они связуют в углах полуразвалившуюся каменную ограду, обнесенную вокруг отшельнических келий. Сперва были на берегу ворота, но яр, время от времени обрушиваясь, дошел почти до стен монастырских, отделившихся, наконец, от стремнины одною узкою тропинкою: ворота навсегда затворили, оставя небольшую калитку. Из нее видны обширные степи той стороны Д*-на, опущенной лозовым кустарником, за которым по низким местам струятся озера, покрытые пестрыми стадами диких птиц; смертоносное орудие стрелка не посылает в них страха убийствами: смелые стопы его не могут проникнуть до жилищ их, окруженных отвсюду намытом и непроходными болотами; вправо мелькает едва за отдаленностью видимая старинная крепость, влево—дремучий сосновый лес, начинаясь перед монастырем, простирается за горизонт; по одной стороне его течет извилистый Д*-н, а по другой—зеленеют луга и пашни.

Некогда находился в сем монастыре инок, отличный богоугодной жизнью и праведными делами, человек, любезный душою и сердцем, благодетель и заступник неимущих, друг природы, любимец мирян и монахов; недавно еще в храме сей обители воссылал юный Пламед молитвы свои ко всевышнему, обливался теплыми слезами веры и надежды, приносил в жертву ему любовь нелицемерную и благодарил за утешение, обретенное у алтаря предвечного. Без сожаления обращал он

угасший взор свой на прекрасную землю, им покинутую, на землю, на которой он потерпел одни горькие неприятности.

Пламед лишился отца своего в отроческих летах; мать его скоро дала руку другому, и сын, происшедший от нового супружества, изгнал Пламеда из ее сердца. Каждый день получал он одни досады, а брат его — нежные ласки. Малейший проступок Пламедов наказывался жесточайшим образом: самую печаль его принимали за непочтение; слезы, проливаемые им от незаслуженных гонений, называли злостию и молчание, с которым он наконец сносил несправедливые поступки родной матери, — упрямством.

Чувствительное сердце, безвинно терзаемое, всегда готово погубить само себя, всегда готово принести свое счастье и свободу на жертву. Оно нежно ко всему и жестоко голько к себе. Пылкий Пламед, раздраженный матерью, возненавидел жизнь свою, и отчаяние привело его к стенам монастырским. Не повидая радостей в сем мире, суровая жизнь инокв показала ему приятную, с горестною душою его сообразною, и он, выдержав искуc, постригся на девятнадцатом году.

Келия Пламедова находилась подле самой калитки; он выбрал ее для того, чтобы иметь беспрепятственно перед глазами величие творца своего, столь разительно усматриваемое в дикой природе. Отсюда, сквозь частую железную решетку маасньского окна, удивлялся он ему в благотворном веянии кротких ветерков весенних и в стонающих ревах бури; в светлом дне и мрачной нощи; отсюда встречали взоры его лучезарное солнце, когда оно, подъямаясь из-за лесу, освещало постепенно желтые нивы, зеленые луга и, наконец, реку; с первым лучом оно начиналась песнь Пламедова богу, с последним блеском не переставали его славословить уста и сердце молодого монаха; или, когда в угрюмой тишине безмолвной нощи внимал он, и, как водные потоки, изливаясь из хлябей воздушных, катились с глухим ревом по белым рытвинам крутояра в черной Д*-н, как плеск дождевых капель, ниспадавших на его кипящую поверхность, далеко относил унылый гул, как медленный стон отголоска повторяли низкие своды Пламедовой келии; тогда душа его наполнялась священным ужасом; в сии часы сетования природы, — в часы, когда треск громов, преследующий пламенные стези быстрой губительной молнии, возвещает горе грешникам, когда трепет и страх объемлет чувства преступника, повергался Пламед пред изображением всемогущего и молил его о своей матери.

Монахи любили Пламеда искренне: где нет зависти, там всегда искренность управляет движениями сердец; где нечего желать, где нет различия, там не может быть и зависти. Пламед служил образцом для всех инокв, все старались сравняться с ним, не превзойти его. Два раза был он послан к татарам, в степи необитаемые, и плодом его апостольства было обращение несколько сот их семей на путь истины. Поселяне, жившие в окрестностях монастыря, почитали Пламеда святым; Пламед почитал себя счастливым, удаленным навсегда от сует и

страстей непостоянного мира. Два года провел он в обители, наслаждаясь спокойствием, определенным для пранедников, посвящая каждый день молитвам или благотворительности. Два года!.. Слишком много для смертного! Свирепый рок позавидовал блаженному его состоянию и втайне готовил искушение, которому противиться — значит противиться самому себе; бороться с сердцем может одна неучувствительность или человек, вышедший из круга человечества; не трогаться красотою лучшего произведения природы может только бездушный мизантроп или... нет, я лучше соглашаюсь думать, что такое творение еще не существует.

Всегда при пострижении нового инок или монахини назначаем был Пламед проповедовать слово божие. Чувствительное сердце есть источник неиссякаемого убедительнейшего красноречия. Он говорил, и слушатели думали видеть пред собою благовестителя Егвы*, думали слышать патриарха времен древних, тех времен, когда избранные богом начальники народов беседовали с ним лицом к лицу и сообщали людям изволения предвечного. Голос Пламеда проникал в сокровеннейшую глубину души, слова его доходили до сердца, возбуждали благоговение в молящихся, в ставленниках же — разрывали последние нити привязанности к миру; не со вздохом преклоняли они чело свое под острие священного орудия, а с радостными слезами взирали на обряд, причислявший их к лику избранных.

Два года протекли, первый весенний праздник определен был для пострижения новой монахини; Пламед приготовился говорить поучение и вступил в храм женского монастыря с тою чистою радостью, которая блистает на лицах горних певцов, когда они являются пред престолом всемогущего, дабы в стройном согласии гимнов своих излить пред ним сладостные ощущения, их наполняющие.

Невеста искупителя, облеченная в власницу, стояла посреди храма; голова ее поникла, долгое черное покрывало опущено было на лицо, волнистые сгибы флёра трепетали на груди ее, как листья поблекшей розы, колеблемые тихим ветром на холмах уединенных; каждое бисие сердца можно было видеть, каждую слезу, которая прорывалась сквозь таинственный покров, желал бы сострадательный Пламед остановить или слить вместе с своими слезами. — Сострадательный? — Так! Жалость и сострадание влекли его к ставленнице, но сие сострадание смешивалось с горестию, дотеле неизвестной юному иноку. Неволєю обращались на ставленницу глаза его; невольное чувство возбуждало в нем прискорбное неудовольствие вместо радости о благом ее намерении; Пламед смотрел на нее пламенеющими взорами, желал, чтобы она воззрительна в мир, покидаемый ею навеки; желал, чтобы невидимая сила отторгла ее от алтаря, пред которым готовилась она произнести обет, ничем не переменный, клятву, которую ничто уже не сможет уничтожить; желал, чтобы она бежала за врата печального единообразного уединения; бежала? одна? Кровью облилось его сердце при этой мысли; слезы

облещена на глазах... Увы! Несчастный впервые вспомнил, что и он лишен свободы! Что и он не имеет уже воли, не может располагать собою.

Мрачная тоска овладела им, когда приблизилась роковая минута: когда деву подвели к игумену и покрывала сняли; томный взор ее устремился на Пламеда: сей взор проник в его душу, бурное пламя разлилось по внутренностям. В нерешимости, с судорожным движением приблизился он к ставленнице, преклонившей колени; глубокий вздох вылетел из груди ее—орудие священнодействия зазвенело в руке игумени—Пламед вострепетал, свет и вера исчезли перед ним, иступление овладело иноком, он забыл все и страшным голосом воскликнул: «Остановитесь!..» Поздно, локон белокурых волос упал с чела Лиины, и злополучный иннок повергся без чувств на помост храма.

Горестно было пробуждение Пламедово. Он опамятавался в своей келии, открыл мутные глаза, в которых изображалось душевное терзание, искал прекрасную и находил одни подозрительные лица монахов; все смотрели на него с удивлением, все готовились спрашивать и упрекать, никто не намеревался утешить несчастного. «Служители веры,—говорил им Пламед,—служители бога правосудного! Отныне я недостойн сообщества вашего, отныне жизнь моя должна наполниться страданиями, дабы загладить вину мою перед тем, кого я дерзнул оскорбить. Я заслужил изгнание из обители: пойду скитаться и искать смерти». Никто не понял его; все почли Пламеда за потерявшего разум и вышли безмолвно.

Едва остался он один, как повергся перед распятием. Рекою лились слезы из глаз его, стенания наполняли уединенную келию. Пламед молился как отверженный богом, просил помощи у того, кто никогда не оставлял его, но тщетно: судьбы всевышнего непостижимы. Он не внял молитве инока. Линна носилась беспрестанно в воображении Пламедовом, одна Линна занимала его душу, одна Линна наполняла то сердце, которое принадлежало единственно богу; он трепетал сам себя, искал и убегал братии, боялся остаться в монастыре и страшился появиться в мир; ужасны были мучения его при свидетелях, страшно отчаяние в одиночестве.

Скорьбь душевная изнурила его тело: Пламед впал в жестокую болезнь. Она успокоила мятущуюся его совесть; она вовлекла его в новое заблуждение. Человек, ослепленный страстию, старается во всяком положении найти отраду, старается тогда всякое зло облещи в убранство добра; отчаяние нечувствительно вкрадывается в его душу; потеряв надежду жить счастливо, силится он самый гроб препратить в чертог веселия; приемлет смерть предвестником спокойствия, мечтает, что там, в могиле, ждет его мир беспрепятственный, сон сладостный. Но ах! Быть может, что и там, где отверзутся врата вечности, где посреди мириад веков вест хоругвь бессмертия, где жизнь не будет иметь конца, может быть, что и там воспоминания не разлучатся с нами. И какая зверская душа пожелает забыть все покинутое в подлунной? Какой неблагодарный

бросит старых друзей, как ветхую одежду? Смертному сродно ожесточиться в минуты горького злополучия, но сии минуты пройдут, и его сердце, согретое чувством умиления, ощутит паки привязанность к подобным себе; мысль, что не все люди одинаковы, не все нечувствительны, примирит его с ними и с самим собою. Какой отчаянный умирал, не желая не умирать? Какой тигр разрывал без слез цепь существования? Где тот изверг, которого бы рука вонзала в грудь свою кинжал без содрогания? Миг перехода от жизни к смерти, кто знает, каким чувством наполняет душу умирающего? Кому известно, какое мучение соединено с концом бытия нашего? Смерть! Смерть! Увы, она едва ли не самое лютейшее из зол, обременяющих сей свет! Одно слепое сумасбродство выбирает худшую дорогу из дурных путей, ему предлагающих.

Время протекало, болезнь Пламедова час от часу увеличивалась; он благословлял ее и с радостно смотрел на приближение своей кончины. Заблуждение заставляло его отвергать всякую помощь. Пламед умерщвлял себя, думая, что умирает по изволению всевечного. Несчастный дерзал удивиться своему великодушию; ах! отчаяние всегда скрывается под личиною твердости! Змея всегда таится под приятными цветами!

В одну из тех прекрасных ночей, которыми осень украшает страны полуденные, сидел изнемогающий Пламед под окном своей келии. Медленно катилась полная луна по синему небу, усеянному бесчисленными звездами, ни одно облако не затмевало кротких лучей ее; сердитый Д^н стоял, как зеркало, изображая в себе и окрестных озерах светящиеся сферы; угрюмое безмолвие прерывалось только боем часов монастырских. но едва протяжный звон колокола умолкал, и все паки погружалось в мертвую тишину. Возведши из окна взоры на небо, переносился Пламед мысленно к мирам, рассыпанным над его головою; душа его летела в превьспреннюю, жажда соединиться с обитателями горних селений; он погрузился в глубокое размышление, как вдруг тихий голос пробудил его. Имя Пламедово произнес некто под окном келии. Он стал вслушиваться, и имя его опять повторилось.

— Кто зовет меня?—спросил удивленный инок.

— Женщина!—отвечал голос.—Женщина, гонимая свирепостию судьбы, желает тебя видеть, говорить с тобою.

— Гонимые близки сердцу моему!—сказал Пламед и, собрав все силы свои, повлекся колеблящимися стопами к ограде, отворил калитку и при свете месяца увидел повергающуюся к ногам своим Линну.

Линна. Пламед! Пламед!..

Голос ее замер, язык не мог произнести более ни слова; она стояла, не смея поднять глаз своих.

Пламед. Линна?

Линна. Так! Погибающая Линна пришла молить тебя о помощи. Все почитают Пламеда человеком, угодным богу...

Пламед (*поднимает Линну*). Скажи, что могу я сделать?

Линна. Все-все! Возвратить мое спокойствие, мое благополучие.
Пламед. Что возмущает мир души твоей? Ты под покровом бога: под защитою его невинность и добродетель не терпят несчастий.

Линна. Невинность и добродетель! Но преступление и порок?

Пламед. Раскаяние грешника приятно ему, оно примиряет его с богом милосердным.

Линна. Раскаяние! Но в душе моей обитает не раскаяние, а одно преступление, я не могу раскаиваться, могу только быть преступницею. Будь судиею моим, примири меня с богом, с моею совестью, с моим сердцем: увы! оно виною зол моих!

Пламед (*горестно*). Влечения сердечные часто не от нас зависят; невольный преступник — невинен.

Линна. Ах, Пламед, мое преступление невольно. Не имея ни отца, ни матери, забытая родными, покинутая всеми людьми, устремилась я к богу, посвятила себя на служение ему, нашла в нем отраду, счастье. Теперь все исчезло. Обитель кажется мне ужасною темницею; сестры мои — существами безжалостными, холодными; алтарь всемогущего... Святой отец! Я не смею выговорить! — Я потеряла все! Ты подкрепляя веру в ослабевающих, твои слова изливали надежду в души несчастных: успокой меня.

Пламед. Ты обманываешься. Линна: ты прибегаешь к смертному, дожидаясь прибегнуть к богу.

Линна. Бог забыл меня! Он не слышит более молитв преступницы, я изменила клятве, данной мною ему, я дерзнула преступить обет священный.

Пламед. Какое мучение терзает тебя?

Линна. Мучение лютейшее! (*С жаром*). О Пламед! Притворство мне неизвестно, я воспитана далеко отсюда. Там, где осуждаются злодеи проводить печальную жизнь свою, там, где вечная зима покрывает поля не зеленью и цветами, а снегами глубокими, — там увидела я свет: выросла под законами природы, покорялась чувствам своим — не правилами принуждения, обыкновенного в сей стране. (*Схватъ слезы*). Дочь матери чадолубивой, дочь нежной природы не привыкла таиться от подобных себе, но люди жестоки — я обманулась — горсть убила меня — и Линна решила оставить, решила забыть человек. Увы! Я поступила несправедливо с собою, несправедлива сделалась против них; минутное ослепление, сродное неопытности, прошло; исчезла ненависть, и любовь, сия душа чувств наших, возвратилась в мое сердце. Природа и сердце мое превозмогли тщетные усилия слабого рассудка. Долго спорили в груди моей долг и склонность, противный сану моему, долго, но любовь торжествует.

Пламед (*изменяясь в лице*). Любовь? Линна! Любовь?

Линна. Любовь, которую называет мир беззаконною страстию! (*Слезы капают градом по лицу ее*). Пламед! (*Берет его руку*). Я незнакома с хитростями света; сердце мое полно; ему должно обнаружить себя перед

тобою; не стыд удерживает меня, а мысль, страшная мысль, что ты...
(Вдруг стирает слезы и говорит твердым голосом.) Чтоб ни случилось, я готова! Готова выслушать смертный приговор! (Голос изменяет ей.) Твой образ наполняет душу мою.

Пламед (скоро прерывает ее). Мой?

Линна. Дай, дай мне обнаружить тайну души моей. Не отъеми у меня твердости в этот час, который дорого стоит сердцу Линны. Я погибла, если буду искренняя, погибла, если не откроюсь перед тобою. Может быть, ты дашь мне силы свергнуть с себя тягостное бремя преступления, или, может быть, ты оплачешь несчастную, поможешь мне оплакивать себя, или... твою проклятие... Нет! нет! Эта мысль ужасна, ты имеешь сердце, ты должен иметь его.

Пламед. Линна, ты приводишь меня в трепет.

Линна. Мужчина трепещет от признания женщины? Трепещи же, если ты малодушен! Ужасайся вместе со мною жребию, который ниспослал мне небеса! Дрожи... Увы! Я теряю рассудок! Не верь словам моим, Пламед: Линна убога горестью, пламя пожигает внутренности ее; мне надобны слова необыкновенные, я не умею изъяснить чувств своих языком смертных, муки мои выше человечества; я должна говорить или как ангел, или как фурия. Нежность и бешенство рвут душу мою; дыхание спирается в груди моей, меня тяготит тайна, ты должен ее знать, должен избавить от нее Линну. Так! Или Пламед разделит со мною скорбь мою, или ад поглотит ее вместе с несчастной.

Пламед. Боже мой! Что хочешь ты сказать?

Линна. Или мало тебе сказали взоры мои, мои мучения, мой страх?
Пламед! Стрелы любви проникают и сквозь сию одежду; высокие стены монастыря не защищают сердца от нее, любовь...

Пламед. Остановись, остановись, Линна!

Линна (накидывает на лицо покрывало). Презирай Линну! Гнушайся мною! Я люблю тебя!

Не так бы вострепетал странник, когда, идучи ночью, внезапно увидел бы он при блеске яркой молнии бездонную пропасть, в которую уже занес он утомленную ногу, как ужаснулся Пламед, взглянув теперь на Линну; ее признание поразило его, как гром; он прислонился к ограде, холодный пот крупными каплями выступил на лице его, и он остался безмолвен.

Линна. Ах, я вижу, ты окаменел от страха; мое признание ужасает тебя, ты отвращаешь от меня взор свой... (Упадает к ногам его.) Удержи, удержи то проклятие, которое готовится произнести над беззаконницей; удержи! Я была невинна, мои чувства вовлекли меня в заблуждение; я довольно наказана! Любовь к тебе, как змея, грызет сердце бедной преступницы; в жилах моих льется не кровь, а яд смертоносный; гибель, грозная гибель распростерта надо мною в сем мире, гибель ожидает меня за гробом! (Обнимает колени его.) Святой отец, не причастный страстям света, любезный богу и людям...

Пламед. Не приписывай мне имен сих: было время, когда они были мне приятны, теперь я не достоин их, я тот же человек, тот же раб греха!

Линна. Кто бы ты ни был, ты для меня—все! Скажи, если невольное преступление не есть преступление, то почто же страдания мои только мучительны? Виновна ли я? Прекрати их, возрати тишину сердцу слабой женщины.

Пламед. Боже! Подкрепи меня! (Ей.) Линна! Молись и терпи; молись, бог спасет тебя, он один может спасти тебя.

Линна (вскакивает). Нет, не он, а ты! Бог для меня страшен! Я не смею молить его!

Пламед. Безумная! Трещи раздражать его! В деснице богастителя громы и молнии.

Линна. Громы и молнии, но я ношу весь ад в душе моей! Пусть грянут громы и заглушат во мне пагубное чувство, пусть огонь небесный ниспадет на несчастную и соединится с пламенем, пожигающим меня.

Пламед. Ты в отчаянии? Ах! Призови в помощь веру, она удалит от тебя ледяные объятия сего чудовища...

Линна. Могу ли я? Я могу только любить тебя или погибнуть.

Пламед. Вспомни свой долг и мой.

Линна. Мне известен один долг, одно чувство заключает в себе все мои обязанности: оно соединено с моею жизнью, без него прервалось бы мое дыхание, без него разрушился бы состав мой; (в иступлении) любовь одна—мой долг, закон и бог! В тебе одном мое счастье и спокойствие! Любовь—мой рай и ад!

Пламед. Пощади меня!

Линна. Ты не чувствуешь моего мучения, жестокосердый! Ты холоден, как камень!

Пламед. Почто я не могу быть им, чтоб не слышать тебя, Линна? Но увы! Слова твои поколебали бы самое бездушное существо! Твои жалобы смягчили бы сердца железные, извлекли бы слезы у диких животных!

Линна. Ты тронулся?

Пламед (берет ее руку). Линна, Пламед—человек!

Линна. Ты страдаешь мне?

Пламед (в замешательстве). Я жалею тебя.

Линна. И не ненавидишь меня?

Пламед. Сожалению ненависть не свойственна!

Линна. Прочь железное сожаление: от его дыхания замерзает чувствительность! Чувствительность, нежная подруга любви!.. Пламед! Твоя рука трепещет? Пожимает мою руку? (Восхищается с восторгом.) Где я?

Пламед. В объятиях Пламеда, милая Линна!

Линна. Ах, чувствует ли твое сердце то небесное удовольствие,

произнося мое имя, которое обворожает меня, когда я говорю сама себе *Пламед?*

Пламед. Линна! Не ввергай себя и меня в бездну ужасного преступления.

Линна. Ты сказал, что невольный преступник невинен.

Пламед. Нас разлучает бог!

Линна. Бог! Но не им ли создано то сердце, в коем я не властна истребить любви моей к тебе?

Пламед. Не обвиняй его, он дал нам волю.

Линна. И запретила наслаждаться? Отняла радости?

Пламед. Он ограничил только их.

Линна. Но сии границы стесняют душу мою! Сии оковы воспрепятствуют мне жить, лишают всего, что может утешать меня.

Пламед. Наши клятвы, наш обет служить ему...

Линна. Разве приятно ему жертва, раздирающая сердце мое? Разве финнам, ему приносимый, состоит из стенаний и вздохов? Разве он услаждается, взирая на слезы творения своего, и негодует, когда существо, им произведенное, благословляет его песнею радости?

Пламед. Все радости, все удовольствия сего света должны быть для нас чужды.

Линна. Может ли чадолюбивый отец осудить детей своих на жизнь печальную? Может ли он взирать без жалости на их терзания? Нет! Он велик! Он не требует невозможного. Пламед! Мое сердце говорит мне, что бог простит любовь мою, что он благословит ее.

Пламед. Ты заблуждаешься, Линна! Смерть и наказание страшное постигнут пагубную страсть.

Линна. Показание! Чем заслужила я его? Смерть? Смерть постигает порочного и добродетельного: она предел неизбежный, она последнее мое прибежище, когда ты отвергнешь несчастную.

Пламед (*с нежностью*). Но чего желаешь ты от меня? Я не могу быть твоим.

Линна. Не можешь?

Пламед. Не должен: я принадлежу навсегда богу; ты также.

Линна. Что ж осталось нам?

Пламед. Безмолвствуя, сносить горестный наш жребий: лить в тишине слезы.

Линна. И быть в разлуке с тобой?

Пламед. Линна!

Линна. И быть в вечной разлуке?

Пламед. Линна!

Линна. Никогда-никогда не видеть тебя?

Пламед (*с притворным равнодушием*). Так повелевает вера.

Линна. Она велит убивать себя лютейшею скорбью? Она ведет к отчаянию? Нет, Пламед! Обет, ею на меня возложенный, превышает мои силы, тогда я свободна от него.

Пламед. Клятва, запечатленная верою.— неразрешима.

Аинна. Увы! Или она не может простить прегрешения? Или жалость чужда закону бога милосердия? *(Молчание. Пламед смотрит горестно на Аинну, которая после некоторого времени обращает взор свой на реку.)* Смотри, Пламед, на той стороне, там, за сими болотами, в лесу дремучем, разве нет пещеры, которая бы послужила нам убежищем? Там, забытые смертными, разве не можем мы вести жизнь безызвестную, посвященную любви к богу? Разве не можем мы там все наши дни употребить на испрошение у него прощения? Ах, Пламед! Без тебя я не буду знать его: с тобою буду любить. Каждый час будет напоминать мне: бог соединил тебя с Пламедом: благодари его! Каждое дерево, всякий куст будет для меня алтарем и храмом, у которых я стану благословлять его.

Пламед. Аинна!

Аинна. Птицы соединят свое пение с нашею молитвою, и отец небесный услышит нас: он обратит к нам взор свой, укротит праведный гнев и простит нас.

Пламед. Аинна!

Аинна. Там, под кровом ясного неба, с тобою будем мы наслаждаться бытием нашим. Светлое утро встретит нас вместе; мрачная ночь не разлучит Аинны с Пламедом.

Пламед. Аинна! Аинна!

Аинна. Мы принесем творцу вселенной в жертву благодарность сердечную, посвятим ему наши молитвы и слезы—себе оставим любовь, одну любовь! *(Пламед закрывает руками лицо.)* Непреклонный. Почему скрываешь от меня лицо твое, открой его: дай мне прочесть на нем приговор мой.

Пламед. Прочти его, прочти твое торжество! Пламед уже преступник *(Аинна бросается к нему в объятия.)* Нет! Ангел не может обнимать преступника!

Аинна. Боже! Аинна живет и любит? Любит и любима? *(Колокол звонит.)* Рассветает! Спешим удалиться, друг души моей!

Пламед. Бежим, бежим отсюда! Пусть непроходимые дебри сокроют нас и любовь нашу от очей человеков!

Аинна. Кроткая звезда утра! Тебе вверю себя и моего возлюбленного! Пламед! Внизу под горою маленький челнок: он отнесет нас к тому берегу. Властитель земли и неба! Управляй несчастными, будь кормчим их и покажи путь к тихому пристанищу!

Пламед *(берет ее за руку и подводит к краю утеса)*. Здесь должны мы спуститься. *(Смотрит на свою келию.)* Прости, обитель спокойствия! Тусклая лампада, ты сама погаснешь пред изображением спасителя. Пламед уже не возжет тебя никогда! Никогда не будет он при томном свете воспевать похвал вездесущему! Никогда не возвращусь я к вам, стены тихого уединения, укрывшие меня от злобы людей; неблагоприятный покидает вас навсегда! Прости, обитель спокойствия. *(Оттирает слезы.)*

Прости! Ты не увидишь меня более! *(Обнимает Линку)* Пойдем! *(Хочет спуститься.)*

«Остановись, злодей!» — загремел страшный голос за калиткою. «Остановитесь, преступники!» — раздалось под сводами ворот. Игумен и множество монахов поспешили к несчастным. Линку приметили, когда она вышла, и дали знать настоятелю. Звон колокола значил не рассвет, но сбор отшельников.

Полумертвая Линна прижалась к груди Пламедовой, которого все члены трепетали от страха. «Мы погибли!» — говорил Пламед, держа в дрожащих объятиях прекрасную монахиню, — мы погибли! Нам разлучат!» — «Разлучат!» — произнесли уста Линны, покрытые смертною синевой; вдруг яркий румянец разлился по бледным ее ланитам; глаза засверкали огнем отчаяния. «Разлучат!» — возопила она диким голосом. — Никогда! Никогда! *(Смотрит быстро в глаза Пламеду.)* Любезный Пламед, готов ли ты последовать за Линною?»

Пламед. Всюду!

Линна *(хочет вырваться из объятий его)*. Пусти ж меня и не замедли соединиться в жизни безызвестной.

Пламед. Куда ты? Что ты предпринимаешь?

Линна *(показывает на реку)*. Умереть! *(Обнимает его)* Прости! Мы увидимся в том мире! *(Монахи подходят к ним; Линна сидит вырвавшись из рук Пламеда.)* Пламед! Не удаляй от меня минуты радостной свободы! Жестокий Пламед! Ты хочешь продлить мучительную жизнь мою?

Пламед. Нет! Пламед удивляется тебе, боготворимая Линна! Спешит исполнить волю твою, не хочет быть ни одной минуты без Линны! Вечность! Линна!..

Крепко обняв он ее, оттолкнул руку монаха, который намеревался схватить его за одежду, и с крутизны кинулся в быструю пучину. «Пламед! Линна!» — повторили еще один раз мрачные расклеванные горы. С шумом разверзлась бездна и поглотила несчастного инока с его любезною.

На третий день прибило волною обоих любовников к противной стороне реки; они находились в том самом положении, как бросились с утеса: едва можно было разнять их руки.

Люди преследовали Пламеда и Линку по смерти: память их проклинали, тела лишили погребения. Сострадание некоторых земледельцев заключило тайно бранные остатки погибших в один гроб, и одна могила сокрыла их. Никто не дерзнул поставить на ней обыкновенного знака; никто не хотел сожалеть о Пламеди и Линне, вслех с ужасом бежал от их могилы. «Здесь, — говорили, — лежат преданные анафеме! Здесь бродят их тени, лишенные пристанища, гонимые совместно и мучимые гадами тартара! Здесь скитаются преступники: Пламед и Линна».

Давно уже, давно стоят одни печальные развалины обоих монастырей; две ветхие деревянные часовни и груды камней напоминают стран-

нику, что здесь жили некогда люди, что здесь были храмы творца вселенной.

Долго помнили Паламеда и Линну в окрестностях, теперь могила их неизвестна. Может быть, густой камыш растет над нею, может быть, пушистые вершины тростника колеблются над гробницею несчастных, может быть, вьют на ней гнезда лебеди и томным голосом воспевают по вечерам песнь надгробную.

ЗЛОСЧАСТНЫЙ

Истинное происшествие

Проезжая через Украину в Херсон, остановился я для ночлега в местечке С*** у одного зажиточного купца. Хозяина на ту нору не случилось дома; солнце еще не закатилось; погода была хотя осенняя, но сухая и не слишком холодная; окрестности показались мне прекрасными; заняться было нечем, и я пошел бродить вокруг селения. «Какие живописные места! — говорил я, вышед на ровный луг. — Счастливые здешние жители! Всякий ли час вы благодарите бога за то, что живете в объятиях прелестной природы, щедро наделяющей вас дарами своими? Завидую участи вашей, если только привычка видеть всегда одинакие предметы не ослабила чувствительности вашей. Кто жил всегда в шумной столице, тот в восторге сердца готов целовать землю, на которой вы обитаете».

Долго смотрел я на величественную картину природы, прислонившись к сухой высокой иве на берегу ручья, ископавшего в вешнее полновожье глубокую крутоберегую ложбину. Влеве, за обширным лугом, чернелся древний бор; передо мною, на гладком косогоре, было просторное сельское кладбище, обнесенное ветхою деревянною оградюю и заросшее мелким березником, сквозь который инде мелькали кресты и белелись надгробные камни. Тихая река, опушенная молодым раkitником, обтекала его. С правой стороны видна неизмеримая степь, чрез которую лежит прямая и широкая дорога, обсаженная по сторонам полуоблетевшими ивами и осинником, изредка краснеющим. Холмики, разбросанные по степи, и деревни, принадлежащие помещикам, с обширными садами и рощами, а за ними темная заднепровская гора, подобная густому облаку, висящему на краю горизонта, ограничивали мое зрение.

В задумчивости смотрел я то на заходящее солнце и бегущие серые облака, то на пустынную степь и поля, с которых весь хлеб был уже собран, то на многочисленные стада птиц, с томным криком отлетавшие в теплые полуденные страны, то на светлый ручеек, который, извинаясь по равнине между кустами диких вишен, падал в глубокий ров тонкими струями и рассыпал в виде прозрачного бисера мелкие капли свои по гладкой поверхности водоема; слушал нежное воркованье голубей, уединенно сидевших на старой часовой; внимал тихому шуму вечернего ветра — и погружился в сладкое забвенье.

Вдруг послышался мне печальный голос. Я оборотился. Человек, которого платье не показывало ничего похожего на бедность, а волосы покрыты были сединою, проходил близ меня. Бледное, иссохшее лицо, томные и впалые глаза обнаруживали душевную горечь его. Держа на руках болонскую собачку, дрожащую от осеннего ветра, он шел тихо и, озираясь часго назад, испускал тяжкие вздохи. Бедный страдалец, приметив меня, остановился и с горькою улыбкою сказал:

— И ты тоскуешь, добрый человек!.. И ты бродишь один!.. Я теперь был у нее... видел ли ты, как горько я плакал?.. Я простил ее—и она простила меня... Да покоится прах ее с миром!..

Я заметил, что губы его посинели и все мускулы в лице трепетали. Посмотрев в ту сторону, где было кладбище, он опять взглянул на меня, и жалобным голосом произнес:

— Здесь, под тенью двух высоких тополей, она покоится; а прекрасная душа ее летает там, выше солнца и луны, в обители праведных... Скоро ли, скоро ли увижусь с нею?..

Несчастный зарыдал и скорыми шагами пошел к селению. С искренним состраданием в душе я смотрел вслед за ним до тех пор, пока он скрылся из виду. Мое сердце вступилось за несчастного. «Он лишился любезнейшего предмета,—думал я,—тоска жестокая, подобная тяжкому бремени, тяготит его; чувство ненаградимой потери расстроило его рассудок. Ах! Сколько есть горестей, от которых никакая философия исцелить не может!» Печальное воображение живо представило мне все бедствия, каким только слабый человек бывает подвержен. Не довольно того, что страдаем от скорбей физических, повреждающих наше здоровье и подавляющих душевные способности; не довольно того, что терпим гонение от злобы и зависти, мучимся от страстей необузданных, падаем под игом нищеты и презрения,—даже и среди шумного веселия сердце ноет и терзается! Ах! Часто опыт уверял меня в сей жестокой истине; часто друзья и знакомые слышали печальные мои вздохи, невольно из груди вырывавшиеся, часто видели слезы, орошавшие лицо мое! Такая тоска была предчувствием судьбы, ожидавшей меня в будущем. Я перебирал в мыслях все, что в продолжение краткого бытия моего случилось со мною. Не имея еще понятия о том, что значит наслаждаться жизнью, я узнал уже всю лютость злосчастия, всю горечь уныния; а удовольствия лишь показывались—и вдруг исчезали. Робкое сердце, оставленное в юности самому себе, лишенное милых предметов нежности, с которыми могло бы цвести и радоваться, без которых вянет и сохнет,—сердце мое привыкло даже при малейших огорчениях трепетать, подобно беззащитной сироте, приходящей в ужас от сурового взгляда людей, не знакомых с чувствительностию. Печальные мысли о жребию земнородных, закатывающееся солнце, которого бледные лучи терялись во мраке древнего бора, унылый шум ветра, подобный стенаниям людей, оплакивающих бесприютное сиротство свое,— все это

столь сильно растрогало меня, что я возвратился на ночлег с сердцем, стесненным от горести.

Хозяин с радушием встретил меня у ворот; извиняясь, что по время моего приезда отлучился в ближнее селение; просил расположиться в его доме, как в своем собственном, и старался обласкать меня, как родного. Надобно признаться, что гостеприимство есть отличительное свойство добродушных малороссиян. Они принимают неизвестного путешественника, как старинного приятеля, с веселым лицом, с ласковыми словами, с откровенными объятиями. Искренность их при первом свидании, заботливость при обслуживании страннику, утомленному от дальнего пути, часто приводила меня в восхищение и заставляла забывать, что нахожусь не у близких родственников.

Хозяин ввел меня во внутренность домика. Почтенная супруга его разливала чай. Не могу изобразить, сколько я удивился и даже обрадовался, нашедши тут же гонимого судьбою. Он сидел за столиком, углубясь в размышление; правою рукою переворачивал листы Библии, а левою гладил свою собачку. Лишь только увидел меня, встал и на поклон мой отвечал равною учтивостию. Казалось, сей страдалец не узнал меня. Хозяин спрашивал меня о причинах, возбудивших во мне охоту к путешествию, хвалил добросердечие соотечественников своих, говорил о выгодах и удовольствиях, находимых им в сей стране, изобильной и мирной.

Несчастливец между тем ходил по комнате, потупив голову и не говоря ни слова. Между тем я рассказывал хозяину о превратностях, случившихся в судьбе моей. Старик, вслушавшись в повествование о моих горестях и как бы от глубокого сна пробудился, быстро взглянул на меня и спросил твердым, но не грубым голосом:

— Сколько тебе лет, добрый человек?

— Осьмнадцатый год, любезный старик!

— Много еще горестей увидишь на свете; много еще слез прольешь в жизни; а я скоро буду спокоен. Пройдет один год, не более, и сердце мое перестанет обливаться кровию. Сего дня был я на кладбище и слышал голос из могилы, в которой покоится милая моя Маша: этот ангельский голос обрадовал меня уверением, что через год опустят меня в сырую землю,— и все мое горе кончится. Так ли, мой друг?— примолвил он, оборотясь к хозяину и пожав его руку; потом с улыбкою посмотрел на нас, поклонился, запел стих из псалма и вышел.

— Жалко смотреть на него!— сказал мне хозяин.— Более года прошло, как он потерял рассудок. Мудрено, что до сих пор переносит еще бремя жестоких горестей.

Я изъявил желание узнать историю жизни сего несчастливца. Хозяин охотно согласился удовольствоваться мое любопытство и начал свои словами:

— А... более двадцати лет известен был между московскими кушачами как человек прямодушный и основательный в делах своих. Посредством

знания торговли, честности при продаже товаров кушам иногородним и бескорыстных услуг, оказанных покровителям и приятелям своим, скоро приобрел он почтение, любовь и богатство—три отличия, которые редко бывают вместе. Казалось, счастье водворилось в его семействе. Имя от роду 55 лет, он наслаждался здоровьем, потому что всегда был деятелен и воздержан. Добрая жена, верная подруга, делившая с ним и печали и радости, сын, которого воспитание составляло главный предмет попечения родителей, видевших в нем плод любви своей, подпору старости, богатство, приобретенное трудами и доставлявшее ему способы жить для благополучия семьи своей и для вспомоществования бедным,—сии дары милосердного промысла, дары, которыми редкие из рожденных от жен наслаждаются, умел он ценить выше всего на свете. «Пред богом и перед людьми могу сказать, что я и царям не позапидую!»—часто говаривал добродушный старик.— Не знаю, чем я заслужил милость отца небесного!

Но кто не знает, сколь превратно земное счастье и как часто обманываемся в лестных надеждах своих? И добрый старик испытал это над собою. Жена его простудилась и слегла в постелью. Ни старания искусных врачей, ни молитвы мужа, ни слезы сына—ничто не помогло: она закрыла глаза свои навеки. Бедный вдовец едва не умер с отчаяния; долго оплакивал кончину любимой подруги своей; долго не мог забыть милой жены, с которою более двадцати пяти лет жил в любви и согласии. Наконец время, самое действительное лекарство от болезней душевных, облегчило тоску его. Прошло три года; старик, наскучив одиночеством, вздумал жениться— для восстановления порядка в доме. По крайней мере, так говорил он друзьям и знакомым. Его намерение скоро исполнилось. Молодая восемнадцатилетняя девушка разогрела почти застывшую кровь его—и вдовец женился. Приятные черты лица, скромные взоры стыдливости, томности и печали, свойственные сироте беспрютной, робость и застенчивость, приличные угнетенной невинности, незнание светских шумных забав, почтительность к старшим, привязанность к благодетелям—кого не расположили бы в ее пользу? Простодушный вдовец не мог противиться очарованию юных прелестей, покорился любви, вспыхнувшей в груди его, и соединил судьбу свою с ангелом. Иначе он не называл ее в первые дни после брака.

Новая хозяйка начала вводить новости в доме. Тихая обитель умеренности превратилась в шумное жилище роскоши. Бывало, пять или шесть вкусных блюд, приготовленных кухаркою, составляли обыкновенный обед старика—при новой хозяйке хитрый француз начал истощать искусство свое для оживления вкуса нового Лукулла, для угождения супруге его, изнеженной и прихотливой. Бывало, степенный купец любил проводить вечернее время в разговорах со старинными приятелями, сидя в комнате, чисто прибранной, с чашкою чая или со стаканом пуншу в руке, рассказывал об успехах и неудачах своих в делах торговых, шутил и веселился с ними—при новой хозяйке явились

щегоольские мебели, фарфоровые и серебряные сервизы; на пышном диване, к которому бедный старик почти не смел прислониться, покоились молодые ветренники, утомившиеся от танцев, и пили прохладительные напитки, какими только сластолюбие пресыщаться может. Бывало, старинный хлебосол обедал в годовые праздники, именины и крестины с друзьями, знакомцами и даже с приказчиками, а во время святков приглашал к себе соседей с дочерьми их, которые играли в жмурки, кружились и пели подблюдные песни; отцы и матери, глядя на них, радовались; а хозяин веселился, доставляя удовольствие гостям своим,—при новой хозяйке загремела огромная музыка для забавы льстецов, прославлявших ее прелести, и подлинал, удивлявшихся ее вкусу,—людей праздничных и легкомысленных, между которыми добрый старик был совершенно лишней.

Скоро Л... приметил, что чрезмерные расходы начали превышать доходы его. Хотя он считал себя счастливым, имея прекрасную жену, но боялся, чтобы не прожить все имение, беспokoило его день и ночь. Хотелось бы ему видеть супругу свою скромною и бережливою, похожею на покойную его Софию, умную и трудолюбивую хозяйку; хотелось бы напомнить ей, что честь должна быть дороже и любезнее чувственных удовольствий; но мысль, что милая супруга может оскорбиться и почесть дружеские советы колкими упреками, заставила бедного старика быть скромным. Не смея сказать дражайшей половине своей, что неостанет у него имения на ее прихоти, он только изъясил сожаление, что ее здоровые может расстроиться от частых балов и ночей, без сна проводимых, а доброе имя может пострадать от безмозглых ветренников, с утра до вечера толпящихся в его доме. Что ж? Подействовало ли дружеское предостережение? Дражайшая вздохнула, задумалась и залилась слезами. Старик, оробевший и встревоженный ее горестию, бросился на колени, целовал ее руки, просил прощения и говорил: «Буду жить для тебя одной, ничего не пожалею для твоего удовольствия». Наконец красавица улынулась—и посевший младенец успокоился. Он чувствовал, сколь велико расстояние между двадцатью и шестьюдесятью годами, видел дряхлость свою и ее прелести и решился снова угождать ей исполнением всех затейливых ее прихотей.

Протекло пять лет. Расходы день ото дня увеличивались, а доходы уменьшались. Хозяин становился слабее и ленивее; приказчики начали пользоваться оплошностью его и думали только о своих выгодах. Шелковые фабрики пришли в упадок. Остались одни доходы, получаемые с капитала, но и сего последнего пособия недоставало на непомерные издержки. «Пусть еще в одно предприятие,—говорил старик,—счастье помогает смелым людям. Удастся получить выигрыш и вознаградить потерянное,—милая жена похвалит предприимчивость мою, будет любить меня с большею нежностью».

Не откладывая вдале намерения своего, седой Л... является к торгу, чтобы снять на себя питейный откуп в одной из отдаленных губерний. В это время вышел из пансиона сын его, умный и любезный юноша.

— Батюшка! — сказал он ему. — Здоровье ваше день ото дня слабеет, силы приходят в изнеможение; кто же будет управлять вашими откупами? Если надежда обманет вас, то мы навсегда пропали. Оставьте свое предприятие, не изнуряйте себя лишними беспокойствами.

— Под лежащий камень и вода не течет, друг мой! Нужно поправить расстроенное наше состояние, иначе впадем в долги неоплатные.

— Станем жить умереннее и бережливее.

Молодой А... отсоветовал; мачеха его склоняла старика взять откуп. Первый предвидел опасности, последняя — одну прибыль. Малодушный старик, угождая жене своей, не уважил сыновних убеждений, и дело кончилось по желанию любезнейшей.

С сего времени мачеха возненавидела пасынка. Изнеженная рабскою услужливостью мужа своего, она не терпела ни от кого противоречия. Советы молодого человека, несогласные с желаниями молодой ветреницы, могли иметь следствием своим уменьшение удовольствий ее. Она проникла его намерение — и злоба закипела в ее сердце.

Молодой А... часто напоминал отцу о слабостях мачехи; старик пускал все мимо ушей или, не говоря ни слова, качал головою. Первый часто намекал последнему о соблазнительном обращении ее с сиятельным вертопрахом; старик, казалось, открывал глаза и приходил в негодование; но через час любовь снова ослепляла его — и бедный сын оставался в проигрыше и втайне оплакивал заблуждение родителя. Случалось иногда, что нескромный А..., упоенный страстию, пересказывал жене своей об отзывах, слышанных от сына, оскорбительных для ее чести. Ветреница притворялась спокойною, презирающею злословие — и между тем таила в душе злой умысел против пасынка.

— Батюшка! — сказал однажды молодой человек отцу своему при мачехе. — Не намерены ли вы сами ехать в Херс... для управления откупом?

— Нет, друг мой! Мать не хочет пускаться в дальний путь, а без нее и золотые горы мне не дороги.

— Если позволите, с охотою приму на себя хлопоты по делам вашим.

Мачеха (*обратись к старику*). Он еще молод, не знает торговых оборотов...

Молодой А.... По крайней мере буду вернее и старательнее всякого наемщика.

Мачеха. Нельзя верить этому. На свободе, в удалении от надзора родительского, долго ли молодому человеку испортиться?

Молодой А.... Батюшка знает меня и смело может положиться на мое усердие.

Мачеха. Легко станется, что, познакомясь с ветрениками, ты не пожалеешь ни здоровья, ни денег для доставления себе удовольствий.

Молодой А.... Вы жестоко меня обижаете. Кто получил доброе воспитание, тому честь кажется драгоценностию, превышающею все сокровища света, тот умсет управлять собою.

Отец. Перестань умничать, сын мой! Молодой рассудок ненадежен; у кого нет ни уса, ни бороды, на того нельзя еще положиться.

И бедный сын принужден был замолчать.

Мачеха нашла услужливого и проворного комиссионера. Старик, не входя в дальние исследования, с полною доверенностью препоручил ему дела свои. Между тем досада на пасынка не давала покою злой мачехе. «Этот человек, так много мечтающий о своих достоинствах, поклялся противоречить моим желаниям, ограничивать мою волю; но я скоро заставлю его раскаиваться в дерзости. Не потерплю, чтобы он жил в одном доме со мною. Старик мягкосердечен, любит сына с нежностью; рано или поздно послушается советов его и почувствует свое ослепление. Что будет со мною, если желание сего негодяя очернить меня перед легковерным отцом своим исполнится? Нечего мешкать: надобно сбить его с рук во что бы то ни стало»,—так размышляла мстительная женщина и решилась погубить невинного.

Старик в самом деле горячо любил сына, единственную отрасль своей фамилии, портрет покойной жены, о которой часто вспоминал с сожалением. Видя несогласие между им и мачехою его и не находя средств ко примирению их, сокрушался в душе своей. Но как он удивился, когда увидел, что мачеха вдруг сделалась отменно ласковою и услужливою, начала заботиться о пасынке, как о своем сыне! Толь неожиданная перемена обрадовала отеческое сердце. Молодой Л... умел чувствовать благосклонность мачехи и старался доказывать благодарность свою угождениями, покорностью и почтением. Около года мир и согласие царствовали в этом семействе. Всякий занимался своим делом — и был доволен: ветреница по-прежнему веселилась на балах; супруг ее считал доходы от питейных сборов, а сын его занимался упражнениями, благовоспитанному юноше свойственными. Бедный старик не предвидел грозной бури, собиравшейся над сегою головою его; бедный молодой человек не воображал, до какой степени ненависть раздраженной женщины простираться может.

Л... вставал иногда рано, занимался коммерческими делами или писал к приказчикам, а дражайшая его нежилась до полудня на мягких пуховиках. В одно утро, когда он пересматривал счета, присланные от комиссионера, вдруг вбегает к нему жена его, бледная, растрепанная, вне себя от горести и гнева. Старик оцепенел.

— Что с тобою делается, моя милая?—спросил он ее дрожащим голосом.

— Твой сын... ехидна породила его!.. Твой недостойный сын—не могу собраться с силами—злодей хотел обесчестить меня... стыд и смятение связывают язык мой...—сказала и поверглась в объятия старика, пораженного ужасом.

Старик затрепетал от ярости, схватил со стены заряженный пистолет и бросился в спальню, думая застать в ней сына. Вбегает — и никого не видит. Подушки и покрывало лежали в беспорядке, колпак, часть

изорванного воротника от рубашки и туфли сыновнины разбросаны были по полу.

— Злодей! Где он?— кричит разъяренный старик диким голосом.

Горничная в смятении отвечает, что сын его ушел в свою комнату.

— Он нигде не скроется! Он смоем кровью своею пятно бесчестия, мне нанесенного!

Графский скороход, в это время вошедший из других дверей, рассказывает, что молодой Л..., встретясь с ним в коридоре, бежал со двора.

— Он хочет избегнуть мщения моего, но казнь найдет преступника!— примолвил старик.

Силы его истощились— он побледнел и упал без памяти в руки скорохода. Старания привели его в чувство.

— Где я?— кричал он.— Вынесите меня отсюда! Обещанное ложе напоминает позор мой; никогда нога моя не вступит в сию комнату, никогда сон не сомкнет глаз моих на этой постели!

Лекарь убеждал его успокоиться. Быстро окинул он взорами все предметы; закрылся подушкой, как будто хотел скрыться от самого себя; долго молчал, залился слезами и воскликнул:

— Боже! На то ли ты дал мне радость быть отцом, чтоб я на старости выпил горькую чашу поругания? Увы! Я всего лишился! Недостойный сын... но это слово в последний раз вырвалось из уст моих. Пусть проклятие везде преследует его! Пусть угрызения совести терзают его сердце, которое так часто билось на груди моей и веселило мою душу!

Жестокая лихорадка обнаружилась в несчастном. Лекарь, выслав всех из комнаты, остался при нем с неутешною супругою.

Между тем невинный молодой Л... с покойным духом возвращался домой с утренней прогулки. Вдруг приворотник с грубостью останавливает его, объявляя приказ, а вместе и проклятие раздраженного отца. Приговор смертный менее поразил бы чувствительного сына; долго не мог он вымолвить ни слова; сердце его сжалось, кровь охладела, глаза померкли, колени затряслись, руки опустились: он стоял у ворот, подобно окаменелому. «Чем я оскорбил родителя? Преступление, в котором оклеветали меня, должно быть чрезвычайно велико. Бог видит мою невинность». Несколько раз повторил он спол слова и не знал, что придумать. Совесть его была чиста, сердце спокойно; никакое злоумышление не входило ему в голову. «Я должен увидеться с родителем во что б то ни стало. Невозможно, чтоб он обвинил меня, не выслушав оправдания. Увидев мои слезы и отчаяние, он не отринет меня!»

Сии мысли подкрепили его. Слабою рукою отворил он калитку, но приворотник оттолкнул его. Между тем люди, бегая взад и вперед, перешептывались и взглядывали на несчастного как на злодея, на казнь ведомого. Горько было чувствительному видеть такое зрелище. Он ожесточился, толкнул приворотника и с поспешностию перешел через двор. Лекарь попался ему навстречу:

— Бога ради, не ходите к батюшке, вы уморите его! Бегите, пока есть еще время!

— Мне бежать из родительского дому!..

Дедьяр пожимал плечами; А... терзался отчаянием.

— Нет! Вы меня не отгоните отсюда!— говорил он людям, которые хотели свести его со двора.— Умру под сими стенами, умру, пораженный проклятием отца неумолимого, и смертью докажу мою невинность, преданность к родителю; горячие слезы раскаяния будут литься надо мною, но не согреюг охладевшего сердца.

Прохожие, желая узнать причину отчаяния молодого человека, останавливались и предлагали вопросы, но, не получив ответа, с сожалением оставляли его. Несчастный долго стоял у ворот: никто не выходил из дому. Наконец отчаяние лишило его последних сил— он впал в продолжительный обморок.

Припоротник, тронувшись бедственным его положением, отвелит его в ближайший дом. А..., пришедши в себя, видит друга, с которым учился в пансионе, и со слезами рассказывает о случившемся происшествии. Друг его, предуведомленный обо всем, искренно сожалеет о нем.

— Что со мною случилось?— говорит с рыданием А...— Пробудясь сего дня и любясь прекрасным восхождением солнца, думал я: вот еще один день прибавился ко многим прошедшим, в беспечной радости мною проведенным!.. Но теперь— жестокая участь! Теперь я изгнан из дому родительского, обременен проклятием...

Холодный пот выступил на бледном лице его.

Природа, благодетельная к несчастным, отринутым людьми, подкрепила его силы. Друг, стараясь успокоить гонимого судьбою, объявил, в чем обвиняют его.

— Теперь вижу, что гибель моя неминуема!— вскричал А...— Ах! ты мачеха!.. Но кто мог бы подумать, чтобы в прекрасном теле шипели змеи людые?.. Дражайший родитель! И ты мог поверить адской клевете? Не смею винить тебя; знаю, до какой степени хитрость и коварство простираются могут. Но я не отчаиваюсь: бог будет моим помощником; в нем вся моя надежда.

Невинность оправдать нетрудно, одному пороку нужны коварные вымыслы. Несчастный догадался, что мачеха, желая избавиться от досадного надзирателя, решилась оклеветать и погубить его.

Успокоившись несколько, послал он за старинным другом родителя своего, человеком прямодушным и добрым. Зинон— так назывался сей почтенный человек— приехал. А..., утоная в слезах, рассказал ему все обстоятельно. Добродушный старик решился оправдать невинного:

— Сию минуту еду к твоему отцу и открою ему истину. Легковерный выйдет из заблуждения, а злая мачеха— такие изверги не заслуживают сожаления— истерзается со стыда и досады.

Прокходит несколько часов— ходатай не возвращается. «Что со мною будет? К кому прибегну?»— говорил гонимый и обливался слезами! Друг

нежными ласками старался утешить его. Наконец великодушный Зинов возвратился.

— Нет, мой друг! Сего дня посольство мое неудачно!—сказал он.—Как бы то ни было, подкрепляя себя надеждою, что дело кончится в твою пользу.

— Чего надеяться, когда батюшка неумолим!..

— Не отчаивайся! Твой отец ничему не внемлет потому, что болен горячкою. С помощью божию все примет другой вид. Лекарь сказал, что жестокий припадок скоро кончится и завтра поутру надобно ожидать облегчения. Мачеха твоя не допускала меня к больному, но я наотрез сказал, что непременно хочу видеть старинного моего друга. Поклявшись, что не буду беспокоить больного, вошел я в его комнату. Он узнал меня—и залился слезами; произнес твоё имя—и затрепетал от гнева. Я старался успокоить его, но, опасаясь горестных следствий болезни, не говорил ни слова в твоё оправдание. В следующие дни надеюсь успеть совершенно.

— Не оставь меня!—сказал молодой человек и повергнулся в его объятия.

В непрерывной тоске и горькой неизвестности провел он с другом своим остаток дня. Наступила ночь, питающая мечты встревоженного воображения. А... терзасмый отчаянием, пошел в сад. Желание увидеть родителя и уверить в своей невинности вливало некоторую отраду в сердце, обремененное горестию. Луна показалась на небе; не было ни одного облака на синем горизонте; ветерок едва шевелил древесными листьями: молчанье природы изредка прерывалось перепархиванием испуганных пернатых и жужжаньем майских жуков, кружившихся около вершин кудрявых берез. А..., погруженный в задумчивость, перешел липовую аллею.

Приблизившись к дому отца своего, видит он сквозь опущенные в окнах занавеси зажженную свечу, подле постели больного поставленную. Заботливости и беспокойство домашних везде приметны были.

— Дражайший родитель!—вскричал несчастный, залившись слезами.—Какой неприязненный дух поселил в тебе мысль о злодействе сына, всегда любившего тебя?.. Какие мучительные мысли терзают теперь твоё сердце? Слышу проклятие из уст твоих—и падаю под бременем отчаяния!

В сию минуту подходит к нему друг его, берет за руку, просит возвратиться назад, но, видя непреклонность, почти на руках выносит его из сада.

Несчастный А... не мог заснуть во всю ночь: горестные размышления не выходили из головы его. С бледностию на лице, с тоскою в сердце встал он при первом появлении зари. Перед обедом явился услужливый Зинов.

— Друг мой!—сказал он ему.—И сего дня не могу обрадовать тебя приятною вестью. Медик запретил мне говорить с отцом твоим. Нынче я

уверился, что мои объяснения действительно могли бы увеличить болезнь его: он так слаб, что переход от гнева к нежности и от печали к радости легко может умерить его. Надобно дожидаться благоприятнейшего времени.

Тоска совершенно истощила силы молодого человека: он слег в постель. Друг его не знал, что делать. Добродушный Зинов бранил легковверных стариков и проклинал злых мачех. Наконец, получив от медика позволение увидиться с раздраженным отцом, он полетел оправдывать оклеветанную невинность.

За несколько минут до Зинова приезда старый Л... получил письмо от своего комиссионера. Распечатав пакет дрожащею рукою и прочитав несколько строк, он затрясся, глаза его помутились, письмо выпало из рук, паралич отнял последние его силы. Все домашние встревожились и не знали, чем отвратить опасность.

— И сего дня успел я не больше вчерашнего! — сказал Зинов, возвращаясь к молодому Л... — Старик не в состоянии выслушать меня.

Бедный сын, заметив его слезы и смущение, пришел в отчаяние.

— Ежели есть в вас хотя искра сострадания, — вскричал он, — то оставьте мне удовольствие повидаться с родителем; отеческое сердце не может быть непреклонно к рыданиям злополучного сына. Буду служить ему в болезни; мои неусыпные попечения подействуют над ним лучше всякого лекарства. Если нужно, повергнусь к ногам мачехи и не отойду от нее до тех пор, пока не получу обещания, что она умилостивит родителя, против меня раздраженного.

Не успел Зинов сказать, что готов исполнить его желание, как медик пришел с ужасною вестию: старика не стало на свете! Излишне было бы описывать, в каком положении находился несчастный Л..., сраженный этим известием. Отеческие старания Зинова, братская любовь верного друга, молодость и пособия искусного доктора могли только исхитить его из челюстей смерти.

В тот же день великодушный старик пошел в дом покойного узнать о причине смерти его и принять меры в рассуждении имения, которому подлежало перейти в руки законного наследника. Ему сказали, что комиссионер уведомлял о сгорении одной из лучших винниц с хлебным магазином. Сие несчастье, причинившее убытку до полумиллиона рублей, сразило бедного Л..., который и по другим коммерческим делам адел один убытки, терпел одни потери. Молодая вдова, одетая в траур, крестила Зинова; за нею шел граф, один из первых друзей ее, и седой приказный служитель с очками на Абу и с кипюю бумаг под мышкою. Последний прокричал визгливым голосом волю покойного, состоявшую в том, что имение его как благоприобретенное, все без остатка отдано было любезнейшей его супруге.

— Явная несправедливость! — вскричал старик. — Бог меня не помилует, если не прибегну к покровительству законов, если допущу клевету, жестокости и злобе восторжествовать над невинностию.

Вдова, взглянув на него с иронической улыбкою, удалилась со свитою своею!

Старания добродушного Зинова остались без успеха. Кредиторы, встревоженные смертию старика, которому вверили свои капиталы, просили правительство принять к обеспечению их нужные меры. Имение покойного продано было с публичного торгу, и займодавцы получили удовлетворение. Молодая Л... осталась ни с чем: бедность, стыд и презрение от честных людей составляли праведную казнь за ее злодейство. Великодушный Зинов, вызвав с собою осиротевшего юношу, которого называл не иначе, как сыном своим, уехал с ним в Нежин. Там имел он богатый дом и производил весьма выгодную торговлю. Пленившись добродетелями и знаниями молодого человека, решился вознаградить его потерю: препоручил ему все свое имение, выдал за него дочь свою.

Зять Зиновых чувствовал цену благополучия, которым наслаждался. Нежные попечения благодетеля, горячность достойной супруги, привязанность прежних и новых друзей, почтение ото всех знакомых рассеяли мрак печали его. Трое детей, сын и две дочери, совершенно изгладили в нем следы горести. Наслаждаясь непинными ласками прекрасных малюток и любовью милой подруги, он почитал себя счастливым и благодарил милосердное провидение. Лишь только протекли двадцать лет в тихих семейственных удовольствиях, как новые тучи горестей скопились над головою его: смерть постигла благотворительного Зинова; старшая дочь, достигши совершенных лет, умерла от оспы; сын, возвращаясь с ярмарки, утонул в Днепре. Такие несчастия, вскоре одно за другим случившиеся, помрачили ясные дни жизни его. Л... сокрушался и проливал слезы; но, подкрепив себя упованием на промысл, перенес потери свои с твердостью человека, привыкшего к несчастиям. Наконец время исцелило сердечную его рану. Вся горячность сего отца семейства обратилась к супруге и последней дочери. Воспитанный в лучшем пансионе столицы, он решился образовать ум и сердце юной Марии. Чтобы вернее успеть в том, принял к себе в помощь просвещенного, доброго и опытного наставника. С заботливостию, известною одним попечительным родителям, старался усовершенствовать душевные способности ее. Надежда видеть в ней украшение женского пола и опору старости своей облегчала труды его.

Природа осыпала дарами своими прекрасную Марию. Темно-русые волосы, упавшие локонами по гибкому стану, манили к себе взоры, пленявшиеся белизною лица ее; черные глаза, под длинными бровями и густыми ресницами, блитали подобно заре утренней; румянец юности аела на круглых щеках ее; улыбка хотя скромная, но всегда значительная возвышала прелести. Ум ее обогащен был всеми познаниями, приличными ее полу; сердце, благодетельное без слабости, великодушное без гордости, твердое без упрямства, решительное без опрометчивости и осторожное без подозрения, билось в груди ее. Такова была Мария на

двдцатью году от рождения. Попечительный родитель радовался ею, как бесценным сокровищем, а добрая мать восхищалась, как ангелом-утешителем своим. Знакомые ставили ее в пример детям, а умный наставник видел в ней образец воспитания.

Мудрено ли, что Мария, украшенная такими совершенствами, привлекала на себя внимание молодых людей, отличных по внутренним достоинствам и богатству? Но красавица смотрела равнодушно на всех искателей руки ее. Науки и благодеяния составляли два предмета, питательные для души ее: ко всему прочему казалась она хладнокровною. Но любовь не замедлила отомстить ей за равнодушие. Наступила осень—и гусарский полк остановился в Нежине. Молодой майор, начальник оного, красивый лицом, остроумный в разговорах, веселый и ловкий в обращении, обратил на себя взоры тамошних жителей. Ни один из офицеров не мог равняться с ним в искусстве пленять наружными совершенствами. Не было ни одного вечернего собрания, куда бы не приглашали Евгения: он везде был первым. Начинал ли танцевать—юные красавицы не спускали с него глаз своих; выходил ли из круга милых девиц—и веселее за ним же улетало. Лишь только увидел он прекрасную Марию, как и пленился ею. При каждом свидании страсть пылала сильнее в груди его. Евгений не замедлил открыться красавице в любви своей. Скромная девица, сколько ни старалась таить внутреннего чувствования, принуждена была признаться, что и она при первом на него взгляде потеряла равнодушие.

Отец Марии скоро заметил страсть, воспылавшую в сердце дочери, и сокрушался в душе своей: от его пропитательности не укрылось, что Евгений был ветренник, готовый обольстить невинность. Желая вывести дочь свою из заблуждения, дал ей почувствовать, сколь опасно пленяться наружностию человека, коего все достоинства состоят в гибкости и умальных взглядах, и какие горести готовит себе девушка, которая, не посоветовавшись ни с рассудком, ни с родителями, предается пылкому стремлению чувств своих. Мария обещала уважить советы родителя, но сколько ни старалась преодолеть любовь свою, присутствие Евгения делало бесполезными все ее усилия: сколько ни удалялась от него,—милий образ везде следовал за нею. Бедная девушка скучала, томилась и грустила. Находя все добродетели, все достоинства в Евгении и не предвидя возможности соединить с ним судьбу свою, вопила родителя в жестокости, роптала на бедственный жребий, доставшийся на ее долю, и проливала горькие слезы. Зная непреклонность отца своего, она не смела вступить за любовника; но, надеясь на постоянство его, думала, что он со временем успеет переменить невыгодные о себе мысли. Евгений домогался заслужить доверенность и любовь Марииных родителей, но не видал ничего, кроме холодной учтивости, и решился идти другою дорогою для достижения своей цели. Мария получила письмо следующего содержания:

«Завтра еду в Кременчуг для исполнения препоручений, возложен-

ных на меня от начальства. Неужели должен я навеки расстаться с тобою, любезнейшая Мария? Умру с отчаяния, если это сбудется. Позволь мне проститься с тобою. Ожидаю тебя сего дня вечером на желтом холме,—там, откуда ты всегда любила смотреть на заходящее солнце. Исполнение моего желания докажет, сколько ты меня любишь; но ежели в одиннадцать часов не увижусь с тобою, то не будет на свете и верного твоего

Евгения.

Какой удар для нежной Марии! «Он едет—и я не увижу его! И сердце мое осиротеет!.. Не очерню ли себя преступлением, ежели соглашусь проститься с ним в уединенном месте и без свидетелей?»—такие мысли занимали ее с утра до вечера. Настал роковой час, но Мария все еще не решилась. Прощаясь с родителями, едва могла скрыть от них слезы, едва дошла до своей комнаты. Горничная подает ей записочку; в ней написано: «Около двух часов жду тебя с нетерпением. Ты можешь быть утешительницею жизни моей или виновницею смерти; выбирай то или другое!»

Мария прочла—и решилась исполнить желание возлюбленного.

— Пойдем, друг мой, со мною!—сказала она горничной.

— Куда, сударыня?

Мария опомнилась:

— Оставь меня, я сама разденусь.

— Вы нездоровы, побледнели и дрожите, сударыня!

— Я хочу быть одна.

Горничная вышла. «Надобно спасти Евгения!»—сказала Мария и в темную осеннюю ночь вышла тихонько из дому. Изнуренная от усталости и трепещущая от страха, едва добрела до рокового холма и пала—в объятия страстного любовника.

Качание коляски вывело ее из забвения.

— Боже мой! Где я?

— В объятиях счастливейшего Евгения.

— Несчастная! Что я сделала?

Измученная и оробевшая Мария старалась укрыться от самой себя. Евгений, желая успокоить ее, истощал все красноречие, внушаемое пламенной любовью. Мария рыдала неутешно.

— Что будет со мною?—сказала она умирающим голосом и прижалась к груди Евгения.

— Милый, бесценный друг! Поверь, что любовь моя к тебе не охладет и за пределами гроба. Твой жестокий отец...

— Не укоряй его, пощади мою чувствительность.

— Пламень любви пожирал меня; я не мог жить без тебя и решился тайно жениться на тебе.

— И без его воли?

— Он простит нас—и мы будем счастливы. Теперь ты моя—и никакая власть разлучить нас не может.

Любовники приехали в Кременчуг. Мария тосковала, Евгений Утешал ее — и порок восторжествовал над невинностью.

Мария напоминала о браке, но любовник откладывал его под разными предлогами. Легковерная не почитала его способным ко гнусной измене и терпеливо дожидалась дня, в который он обещал назвать ее супругою. Проходит месяц, она слышит те же клятвы и ничего более. Подозрение и беспокойство обьяли ее душу. Нечаянно узнает она от инвалида, служившего в одном полку с Евгением, что любовник ее давно женат на богатой дворянке. Гнев овладел ее сердцем.

— Злодей! Клятвопреступник! Где он? — вскричала Мария, будучи вне себя от ярости.

Хозяин рассказывает, что г. майор уехал поутру в армию на Кубанскую линию и заплатил за квартиру за год вперед. Мария не сказала ни слова, не пролила ни одной слезы, притворилась равнодушною и заперлась в своей комнате.

Собачка ее поутру разбудила хозяина визгом своим. Он встал и подошел к дверям — они были заперты; постучался — не было ответа; наконец посмотрел в окно и увидел — ужасное зрелище! — увидел несчастную, лежавшую на полу в крови своей. Разломали дверь и узнали, что отчаянная Мария ножом прекратила жизнь свою. На столике нашли следующее письмо:

«Дражайшие родители! Когда вы получите сию бумагу, не будет уже на свете дочери вашей. Дочери? Нет! Вы лишились ее в ту минуту, когда она потеряла стыд и доброе имя. Вероломный Евг... не могу без омерзения дописать сего имени. ...Злодей обманул и оставил меня. Да постигнет его небесное мщение!.. Простите меня, дражайшие родители! Ваше проклятие терзает мое сердце, палит всю внутренность... Затушу ли сей пламень моею кровию!.. До чего я дожила, несчастная! И слезы при воспоминании о любезнейших родителях не льются из глаз моих, не облегчают бремени, лежащего на груди моей... Вижу меч, опущенный над головою моею... Как ужасен гнев верховного мстителя!.. Прочь, прочь, образ изверга природы! Не возмущай последних минут моих!.. Лейся, кровь преступницы!.. О! как тяжко проклятие родителей!.. Рука моя немощ... клонит сон смертный...»

Скоро Маринины родители получили сие ужасное письмо. Мать не пережила потери своей; сердце бедного отца умерло для всех жизненных радостей. Осиротевший в нежном младенчестве, изгнанный из родительского дому, подавленный проклятием отца, ниспавший с высоты счастья в горькую нищету, лишившийся любезной дочери, потерявший милого сына, оставленный сердечным другом, верною супругою и, наконец убитый потерю милой дочери. — сей несчастливец, одинокий в пространным мире, потерял употребление разума. Бедный долго скитался с собачкою, которую покойница любила, — скитался в окрестностях Кременчуга по заднепровским пустыням, бегая людей, как зверей плотоядных. Через несколько времени сострадательные люди уверили его, что

Маша лежит подле утонувшего брата своего в С... . Он пришел туда, посадил два тополя на том месте, где, по мнению его, покоился прах Марии, и почти всегда провождает дни и ночи под этими деревьями или в старой часовне.

На другой день рано поутру я выехал из С... . Страдалец попался мне на дороге с посохом и собачкою. Он узнал меня и кивал головою; потом отворотился, отер слезы и пошел скорыми шагами к тополевым деревьям. Углубленный в размышление о превратности земного счастья, я и не приметил, как лошади домчали меня до первой станции.

МОДЕСТ И СОФИЯ

Il est du véritable amour, comme de l'apparition des esprits:
tout le monde en parle, mais peu de gens en ont vu¹.

Rochefoucauld

Молодые люди! Не читайте ни Элоизы, ни Вертера; не воспламеняйте своего воображения ни Юлиями, ни Шарлоттами*: их нет в обществе! Ни огненная Лиза, ни томная Нина, словом, ни одна девушка не будет вас любить романически... «Как?—вскричат модные наши писатели.— Как? Ты вооружаешься против красавиц? Осмелываешься лишать их обожателей и думаешь, что тебя послушают? Бедный Мизогин! Мы напишем строгую, ученую критику на твою книгу—и маранья твоего никто читать не будет и женщины восторжествуют!» Милостивые государи! Ваши сонеты, ваши песенки, которыми вы так щедро наделяете все еженедельные и ежемесячные издания, не ясно ли доказывают, что и вы терпите от красавиц? Что слезливые Музы ваши не защищают вас от стрел Купидоновых? А вы, прелестные, не сердитесь на покорного, страстно обожателя... Так, я любил вас, любил нежно, пламенно; люблю еще и теперь, но позвольте сказать истину. Сладки слова ваши, восхитительны улыбки, райские наслаждения приносят ласки ваши, но как они и непостоянны, как обманчивы! Признайтесь, красавицы, признайтесь хотя сами себе, не приятно ли вам переменять любовников... Вы потупляете прекрасные глаза свои, краснеете... Итак, не сердитесь, прелестные, и послушайте следующую повесть.

— Неужели вечно останешься непреклонным? Неужели глубокая горесть и мрачная задумчивость будут уделом едва только расцветшей жизни твоей? Неужели не откроешь души своей другу покойного твоего отца, твоему другу? Молодой человек! Волосы мои побелели, кровь стынет в жилах моих, я смотрю в могилу; но сердце мое не охладело, и дополучая людей я не могу видеть сухими глазами. Если ни советы, ни помощь мол не могут облегчить твоего несчастья, я буду с тобою плакать.

¹ Истинная любовь подобна призраку: все о ней говорят, но никто ее не видел.
Ларошфуко (франц.).

Разделенная горестю не так тягостна для сердца. Модест! Я не хотел напоминать тебе об этом, но твое упорство принуждает меня. Вспомни, когда твой отец, закрывая глаза навеки, прижал тебя к слабо бьющемуся своему сердцу и, указав на меня, сказал: «Он заменит тебе отца! — с того времени исполнял ли я свою обязанность? И это ли награда за все мои о тебе попечения?»

Так говорил благоразумный Честон, сидя в темной, меланхолической аллее с двадцатипятилетним Модестом, который печально смотрел на падающие желтые листья. Сначала молодой человек был равнодушен, но последние слова сильно поразили благородное сердце его.

— Нет, почтенный Честон! — сказал он с жаром. — Нет! Я могу быть несчастлив, неблагодарным же — никогда, никогда! Вы называете меня упорным, нечувствительным за то, что не хочу поверить вам моих горестей? Ах, почтенный друг! С молодыми людьми случаются такие несчастья, которым в старости только смеются; но я готов лучше сносить ваши насмешки, нежели оскорблять вас. Слушайте...

Природа дала мне чувствительную, страстную, пылающую душу; воспитание усилило эти наклонности. Семи лет я с жадностью читал хорошие и дурные романы, а десяти был влюблен в одну милую девушку. Отец мой послал меня учиться в университет; приобретаю некоторые познания и воспламенив воображение романтическими героинями, я вступил в общество — с образованным умом, но без знания людей. Вы жили в свете и так легко можете себе представить все, что я вытерпел. Всякое мое телодвижение было осмеяно, всякое слово — пересужено. Молодые люди находили обильную материю забавлять красавиц своих насчет новичка; красавицы хотя украдкой и посматривали на меня довольно приятно, но боялись быть явно ко мне ласковы. Мнение света есть компас их: он руководствуется им — по крайней мере для вида, — руководствуются и тогда, когда оно бывает несправедливо: кто же проникнет истинные их мысли? Сколько перенес я неудовольствий, горестей! Мужчины ненавидели, женщины терзали меня. В каждом человеке желал я находить друга, брата — надо мною смеялись и обманывали меня; предавался любви со всею пылкостью юноши, искал блаженства, забываясь — но волшебство исчезало, и я находил только кокетство и ветренность. Не буду описывать вам моей привязанности ни к степенной Мелании, которая прогнала меня за то, что я с самым невинным видом и нежным голосом сказал: ах, милая, у вас седые волосы! — ни к чувствительной Эмили, которая падала в обморок, услышав о смерти любимой своей собачки и равнодушно проходила мимо несчастных, я оставил ее; ни к прекрасной Юлии, которая разбрала меня невежею, болваном, когда я, слушая умные ее разговоры о персидских шаялях, парижских наколах и пр. и пр., начал зевать. Без наставника, без руководителя, подобно неопытному мореходцу, я носился в пространным океане света, носился и претерпел кораблекрушение.

Однажды я был в клубе, сидел и смотрел на танцующих. Вдруг взор

мой встретился со взором Лидии — я потупил глаза; взглянул опять — и лицо мое запылало: Лидия все еще смотрела на меня и смотрела так мило и приятно!.. Почтенный друг! Заставив меня рассказывать мои дурачества, вы должны вооружиться терпением: любовники всегда бывают многоречивы, даже вспоминая о неблагодарных.

Глубокий вздох вырвался из груди Модестовой, и он продолжал:

— Трещца, я осмелился просить Лидию потанцевать со мною польский. С прелестным взором удовольствия она подала мне руку и чрез несколько минут начала со мною разговор:

— Вы так редко бываете в собраниях.

— Я имею очень мало свободного времени, сударыня.

— Позвольте ли дать вам наставление?

— Всякое наставление принимал я с благодарностию, а ваши слова будут мне законом.

— Молодой человек не должен слишком убивать себя делами, а особливо, если он любезен: женщины также имеют на него право.

— Не могу быть столько самолюбив, чтобы принять это на свой счет

— Излишнее смирение есть скрытная гордость. По крайней мере, вы не откажетесь быть завтра у меня?

— Я почту за счастье...

Тут польский кончился, а с ним и разговор наш. Стали разъезжаться; я проводил Лидию до кареты. «Сдержите ли вы слово?» — сказала она и бросила на меня такой взгляд, от которого навеки улетело от меня спокойствие. Скажите, мог ли я быть равнодушным?..

Старый Честон улыбнулся и покачал головою...

— Может быть, вы захотите узнать, кто была Лидия? Знатная, богатая вдова...

— И верно прекрасная? — спросил Честон.

— Смеетесь, почтенный друг, смеетесь над моею безрассудностию: в двадцать лет чувствуют и мыслят совсем иначе, нежели в пятьдесят. Так, Лидия была прекрасна! Если бы я писал роман, то сказал бы... нет, я бы не стал ни описывать, ни сравнивать ее прелестей. — я сказал бы просто: пусть всякий составит образец красоты и скажет: это Лидия!

На другой день я пришел к Лидии. Собрание было многочисленное и блестящее, но меня тотчас отличили. Лидия, несмотря на толпу, ее окружавшую, говорила только со мною, только мною одним занималась. Протанцевав несколько кадрилей, контртанцев — нужно ли сказывать с кем? — вышел я отдохнуть в пустую комнату. Тут стояла Кулидонова статуя, и на подножии написаны были два известных стиха:

Кто б ни был ты, пади пред ним!

Был, есть иль должен быть владыкой он твоим*.

Я прочитал их и задумался... Вдруг является Лидия.

— Прекрасно! — сказала она. — Застенчивый, невинный Модест перед статуей Амура! Уж не с просьбой ли к нему? Но отчего так печален?

Я смеялся:

— Лидия! Чтоб быть счастливым в свете любвию, чтоб этот бог услышал сердечную просьбу, надобно иметь достоинства, богатство, а я...

— Неправда, Модест! Достоинство для любви—верность; богатство—чувствительное сердце.

— Если бы в самом деле это была правда,—продолжал я трепещущим голосом,—что отвечала бы Лидия, когда бы обещали любить ее вечно, пламенно?

— Модест!—и в черных, огненных глазах ее изобразилось недоумение и страстное, кипящее сердце...

— Лидия!—вскричал я, бросаясь перед нею на колени.—Отвечай Модесту!..

От сильного внутреннего движения Лидия опустила на софу, глаза ее закрылись...

— Лидия! Лидия! Одно слово решит судьбу мою!..

— Модест!—сказала она томным голосом.—Сердце мое знает, как тверды уверения и клятвы светских людей; но я надеюсь,—продолжала она с нежностью,—я надеюсь, что ты будешь любить меня.

— Вечно, вечно, милая Лидия!

— Вечно!—повторила она, склонив голову на плечо мое...

Наконец после безмолвных, но красноречивых восторгов Лидия сказала:

— Наше отсутствие могут заметить, пойдем к гостям.

С того времени часто бывал я у Лидии, часто проводил с нею длинные зимние вечера, говорил с жаром о любви своей и видел к себе любовь взаимную. День ото дня страсть моя увеличивалась и возрастала; день ото дня Лидия становилась ко мне нежнее и пламеннее. Воображение мое занималось только Лидиею: душа носилась в мире блаженства, которого ни теперь, ни тогда не мог бы я описать совершенно; я был счастлив! Но:

Для чувств любви сердце тесно,
Ты в недра дружества пролей,—

сказал один из наших поэтов. И у меня был друг!—тут горестная улыбка показалась на лице Модеста.—Милон имел все свойства воспитанного, любезного светского человека: богатство, которое заменяет в наши времена и склонности сердечные, и самую любовь; знатный чин, который служит ныне вместо истинных достоинств; красоту, перед которою красота души ничего не значит; знание света и венец молодого человека—ловкость в обращении. В самом деле Милон производил чудеса: не одну девушку заставил он проливать слезы раскаяния, но все любил Милона; разрушил спокойствие многих семейств, но во всех домах скучали без Милона; развратил тысячу молодых людей, но все

отцы ставили Милона в пример детям своим. И такого-то человека считал я другом! Ему-то открывал чувства, мысли, все планы, все надежды свои! Вы удивляетесь, как мог я ему верить? Ах, часто змея скрывается под цветами.

Однажды после беспокойного сна я встал очень рано. Какое-то тайное предчувствие возмущало душу мою и погружало меня в задумчивость: так отдаленные звуки грома предвещают нам бурю!.. Вдруг вошел ко мне слуга Лидии и подал письмо; в восхищении срываю печать, вижу почерк Лидии, читаю...!

«Нет, любезный Милон, общий наш воспитанник Модест совсем не делает нам чести: он или совершенное дерево, или совершенный ангел; но ни в том, ни в другом случае для меня не годится. Ты знаешь мое в рассуждении его намерение: я хотела из дикаря сделать любезного, светского человека и между тем желала, для перемены, рассеять себя. Но первое мне не удалось, последнее же — заставляет зевать! Он залюбил меня до смерти; но как? какими-то больными, а по его словам, страстными вздохами и плаксивыми взглядами! Весело ли это? Модест был бы самый лучший любовник лег за триста, когда глупые наши прапрадеды таскались из одного города в другой, из одного государства в другое, из одной части света в другую, дурачились и едва не бились богатырскими своими лбами в медную стену для какой-нибудь красавицы! Тогда Модест превзошел бы всех донкишотов, если бы я захотела быть его Дульцинеею; но, к счастью, эти времена прошли; ныне не так любят. Бедный Модест! Сказывают, и я не могу довольно насмеяться, что прежде женщины искали в мужчинах постоянства, нежности, какой-то сердечной привязанности; ныне проба возвысилась, и мы ищем богатства, чинов, уменья жить в свете; прежде, чтоб понравиться женщине, надобно было иметь добродетели, года два вздыхать, даже плакать; ныне — умей танцевать, будь забавен, ловок — и победа несомненна. Самая любовь имеет ныне другую цель. Послушай, что говорит Фарос умных женщин, Нинона Ланкло, которой письма к маркизу Севинье можно считать любовным катехизисом всех светских людей: «Любовь как страсть есть слепой инстинкт, который надобно умерять, — желание, влекущее нас к одному предмету, в котором мы не можем дать себе отчета... Подражая древним нашим рыцарям, считая ее чувством возвышенным, вы делаете из любви печальную, даже опасную глупость». Слава нашему просвещению! Я показывала эти слова Модесту, но он уморил было меня скучным опровержением, а от смеха, который мне надобно было удерживать, я едва не задохнулась. Однако ж я написала уже две страницы, от которых ты, верно, зевашь, но не сказала еще ни слова о деле. Вот в чем оно. Не можно ли как-нибудь избавить меня от

¹ Хотя в это время не было письма с Модестом и он после показал его Честону, но мы, предупреждая любопытство читателей, сообщаем его здесь.

скучного простака: он мне становится несносен. Всего ожидаю от твоего искусства. Прощай».

Представьте мое положение! Я не знал, что думать, что делать. В беспамятстве схватил перо, написал следующие слова: «Не нужно искать средств, чтоб я презирал тебя и гнусного твоего поверенного: Модест знает Лидию и Милона». Отдал слуге, велел подать лошадей и простился навсегда с столицей. ... Пол хитрый и коварный! Прости навеки. Прелестницы больших городов! Ищите новых обожателей: никогда, никогда уже вы не заманите меня в свои сети. Прости свет со всеми твоими выгодами для людей холодных и честолюбивых, со всеми твоими муками для чувствительного сердца!

Я снова возвратился к природе, в ее нежные, материнские объятия, буду беседовать с гениями древних и новых веков, с сердцем своим и искать счастья в себе самом!

Честон. Молодой человек, молодой человек! Рассмотрел ли ты самого себя? Знаешь ли, от чего отказываешься?

Модест. Пять лет, проведенные мною в обществе, пять лет терпения, кажется, слишком ясно показали мне, что любовь—мечта!

Честон. Мечта! Посмотри на целую природу, и ты увидишь, что любовь есть великий закон ее: спроси сердце свое: что значит та пустота, которую никакие удовольствия, ни самая слава наполнить не в состоянии? Что значит та скука, которую никакие веселости общества рассеять не могут? Что значит его тайные беспоконья, его темные желания? Спроси его, чего оно ищет?.. Сердца! Сердца!—будет ответ его. Так, друг мой, любовь доставляет нам восхитительные, небесные удовольствия; любовь есть роза жизни...

Модест. Жаль, что редкие наслаждались ею, и почти всякий, кто только протягивал руку, больно, очень больно укалывался.

Честон. От неумения срывать ее. Молодых людей можно разделить на два класса: на обманывающих и обманываемых. Первые ищут в любви низких удовольствий или занимаются ею от рассеяния, для забавы: они подобны бабочкам, садятся на каждый цветок и ни в одном не находят сладкого меда. Другие с распаленным воображением, с необузданным сердцем считают всех женщин существами небесными, ангелами; без выбора, без осторожности привязываются к первой встретившейся им девушке, бывают обмануты—и проклинают любовь, самих себя, человечество. Нет! Ни развращенные Ловеласы*, ни томные Зигварды не достигают истинной цели.

Модест. Думаю, что здесь нет середины: заставляя других страдать или сам терзайся...

Честон. Должна быть и есть. Молодой, неопытный друг мой! Ищи. ищи подругу для своего странствования в сем мире; думай, что женщина есть верный товарищ на пути к счастью. Жизнь наша исполнена слабостями и печалами: кто же бескорыстнее, кто нераздельнее милой супруги будет считать наши несчастья своими несчастьями, наши

радости своими радостями? Кто лучше может поддержать нас в падении, облегчить наши горести? Чей совет действительно, чье утешение красноречивее? Модест! Ищи сердца, которое бы билось согласно твоему сердцу: оно никогда тебе не изменит. Души, сотворенные одна для другой, разлучаются только гробом... что я говорю? И на холодный, бездушный прах льются горячие слезы, и по смерти друг наш живет с нами в печальных, но сладостных воспоминаниях!.. Однако ж становится поздно: прости! Желаю, чтоб оледенелая душа твоя согрелась огнем шестидесятилетнего старика.

Они расстались. Модест встал, нагнув шляпу на глаза, закинул руки на спину и пошел в густоту леса; в душе его сражались различные мысли: различные страсти волновали его сердце. Ветер сорвал с него шляпу — он этого не приметил; дождь полился из серых облаков — он его не чувствовал. Не думая о времени, совершенно забывшись, он шел далее и далее. Вдруг раздался громкий лай собак и вывел его из задумчивости; он осмотрелся и при свете огней увидел себя в чужой деревне. В темную осеннюю ночь, в бурю, в дождь, заблудившийся, он не знал, что делать. Вернуться назад? Но кто укажет ему дорогу? Пробыть всю ночь под открытым небом? Но его здоровье, самая жизнь подвергались опасности. Попроситься ночевать в крестьянской избе? Но он был без шляпы, и добродушные поселяне, бог знает, что могли подумать. Итак, он решился идти в барский дом, который стоял от него в нескольких шагах.

Входит, спрашивает о господине дома, ему называют Прямодушина, и он приказывает доложить о себе. Через минуту двери отворились с шумом... семидесятилетний старец обнимал его дрожащими руками.

— Ты ли это, любезный Модест? — сказал Прямодушин. — Какой счастливый случай заставил тебя переменить свое намерение: жить и умереть нелюдином? Софья! Софья! Поди сюда, у нас такой дорогой гость!

При слове *Софья* мрачное облако покрыло лицо Модеста: он повернулся назад, чтоб убежать из дома, и опять оборотился к Прямодушину — благопристойность удержала его. Неловко подошел Модест к Софии; проговорил несколько несвязных слов и спешил сесть подле Прямодушина. Старик повторил вопрос свой: какая благотворная звезда вывела его из заточения? Модест в коротких словах рассказал все с ним случившееся, внутренне проклинал время, свою задумчивость, жалея, что не остался во всю ночь на дожде, и говорил сам в себе: я опять с людьми и с женщиной!

Прямодушин начинал с ним говорить о покойном отце его, рассказывал, как они вместе служили в турецких и грузинских походах; пенял, что он не хочет быть знаком с приятелями своего отца... Модест отвечал «да, нет, нет, да» и задумывался. Добрый старик приметил глубокую, сердечную горесть молодого человека.

— Спой и сыграй нам какую-нибудь песенку, София,—сказал он, вспомнив, сколь сильно действовала на него музыка, когда он шел против неприятеля; ему хотелось растрогать печального своего гостя.

София покраснела, взяла гитару, заиграла и запела:

Надежда! Спутник милый
Всех странников земных,
Гонимых злобным роком:
Живи, живи со мной!

Клякх пустынь ужасных,
Жестокою судьбой
Простертых перед нами,
С тобой не перейдем?

Друзья ли изменили?
Оставленный! Не плачь:
Еще сердца найдутся
Согласные с твоим!

Неверная ль забыла?
Несчастный! Слез не лей,
Надейся—и подругу
Ты милаю найдешь.

Кропишь ли ты слезою
Своих любезных прах?
Утешься! Там—за гробом—
Ты верно встретишь их...

Тут Прямодушин зарыдал, София оставила гитару и бросилась обнимать его. В первый раз с того времени, как Модест оставил столицу, глаза его наполнились слезами: он старался их скрыть и дивился самому себе.

— Мы увидимся с нею,—сказала София.

— В вечности, друг мой, в вечности,—отвечал старик дрожащим голосом.—Любезный Модест,—продолжал он,—извини горечь нашу: могила жены моей еще свежа... Но уже полночь, тебе нужен покой.

Покой не посетил души Модестовой: сон не смыкал глаз его. Он лег на постель и опять встал, ходил по комнате, с радостью увидел первые солнечные лучи и ушел домой, не простившись с хозяином.

Прямодушин был русский, столбовой дворянин; но к длинному листу родословной присоединял он и личные достоинства: честность, добродушие, гостеприимство—отличительные свойства предков наших. Добрые называли его благодетелем, отцом; порочные,—порочные также любили его, ибо он был друг людей и слабости их возбуждали в нем не

ненависть, но горесть и сожаление. Прослужив тридцать лет в армии, он захотел успокоиться, вышел в отставку и возвратился на свою родину в Ч**. В старости гораздо чувствительнее одиночество: приближаясь ко гробу, мы более и более привязываемся к жизни и, подобно утопающим, хватаемся за всякую соломинку, чтобы прожить несколькими минутами бытие свое — даже хотя в воспоминании других. Прямодушин с горестию видел будущее: уединенный, неокропаемый ничьими слезами гроб представлялся мыслям его, и он часто, очень часто восклицал: «Я не жил на свете!»

Томимый скукою, душевною пустотою и тягостным чувством одиночества, он решился жениться; выбрал небогатую, но украшенную всеми добродетелями девушку. Она любила его как отца; добрый Прямодушин знал, что резвый сын Цитерской богини* благосклонен только к юности, — знал, и не требовал более. Через год родилась у него дочь — София, и он, казалось, помолодел двадцатью годами, казалось, считал себя бессмертным. Не щадила ничего для образования ума Софии; на груди нежной родительницы, в ее объятиях она училась чувствительности; была утешением отцу и всем для матери. Мария — так звали супругу Прямодушина, — уважая мужа, страстно любила дочь свою: в весне жизни нельзя отказаться от любви.

Среди попечений о воспитании Софии, среди семейственных удовольствий добрый Прямодушин и не видал, как прошло осьмнадцать лет. Счастливые минуты летят быстро; но на свинцовых крыльях влечется время горести. Жизнь его, после бурных волнений, текла, подобно тихой реке, неприметно несущей воды свои в море: он спокойно приближался к океану вечности; но

Кто не был век знаком с тоскою;
Кто в жизни горьких слез не дил?
Кто, нисходя во гроб — к покою,
Сказать нам мог: я счастлив был!

Жестокая судьба не исполнила сердечного желания Прямодушина: быть оплакану своею супругою. Она занемогла; умирая, пожала тихо руку своего мужа, взглянула на горестную, почти бесчувственную дочь, которая стояла на коленях подле смертной ее постели; от нее перевела глаза на образ — благословение ее матери, сказала умирающим голосом: «Господи!» — и ее не стало. София ушла без чувств, отчаянный Прямодушин принял последний вздох милой супруги... Не буду описывать ни мрачной, безмолвной горести старца, ни воплей, ни терзаний нежной дочери: сердца чувствительные поймут меня: я пишу не для холодных.

Время есть лучший утешитель. Сначала жестокие страдания раздрают сердце несчастного; потом в слезах изливается горесть его и, наконец, остается только одно меланхолическое, сладостное воспоминание. Так водный круг, расширяясь мало-помалу, становится неириметен. Красные

весенние дни казались печальному Прямодушину и осиротевшей его дочери днями осенними, мрачными: он не вспомнил о полевых работах, об экономии; София не слыхала пения жаворонков, не видала, как цветы распускались. Пришло лето. Прямодушин приметил, что траву пора косить, а София посадила вокруг могилы матери своей кусты розанов. Наступила осень, и Прямодушин смотрел за житником, за уборкою хлеба; София прогуливалась в саду и роще. В сие время случай привел к ним Модеста.

София говаривала: «Есть два рода женщин; одни нравятся при первом взгляде, другие—при втором; одни—прекрасны, другие—добродетельны». София принадлежала к последним; София ни в чем не могла равняться с вами, блистательные светские красавицы! Она была провинциалка! Не имела ни тех поражающих, победоносных взоров, которые рождают вместе и надежду и отчаяние; ни того прелестного и вместе коварного лица, которое, кажется, говорит: будь счастлива и опасайся! Нет! Голубые глаза ее были зеркалом нежного сердца; ее лицо, милое и доброе, показывало кроткую, чувствительную душу. И наружность не обманывала. София не хотела отличаться в свете; скромная фиалка была эмблемою ее поведения; но всякий хорошо образованный человек, поговорив с нею несколько минут, с сожалением оставлял ее. София не хотела выказывать своей чувствительности, редко плакала при людях; но вид несчастного раздирает ее сердце: она спешит облегчить судьбу его помощью, советами, слезами. Не искала толпы обожателей, но—подивитесь ее невежеству!—желала иметь одного милого, верного друга. Короче сказать, красавицы! всякий вежливый, умный мужчина отдал бы благоговейное почтение вашим прелестям и пожелал бы иметь Софию подругою жизни своей.

Извините, прелестные, что я осмелился сравнить вас с Софиею: трудно прогнаться сердцу, а оно руководствует мною при сочинении сей повести: притом же ваши достоинства сделались виднее и следствие доказало их превосходство.

Так, София не сделала почти никакого впечатления на Модеста. Возвратясь в уединенное жилище свое, он хотел приняться за чтение, развернул Юнга, перебежал глазами с одной страницы на другую и не понимал ничего; взял Циммермана и через несколько минут закрыл книгу... «Разве это не любовь?»—скажут читатели (если я буду иметь их). Как вы недалковыидны, милостивые государи! Модест был только рассеян: советы Честона, счастливая или несчастная встреча с Прямодушным расстроили его мысли. Он хотел собрать их, придумывал весьма многие, сильные доказательства в похвалу уединения, скорыми шагами ходил по своему кабинету, брался за то, за другое—и ничто не могло занять его; останавливался перед висящими по стенам картинами, смотрел—и не видал ничего; позвал слугу—и забыл, что хотел сказать ему; подошел к окну—и в первый раз приметил, что мрачные сосны не пропускали солнечных лучей в его комнату. Наконец он вышел в сад:

прошел мимо ручья, осеняемого высокими густыми ивами,—ручьи, на берегах которого он так часто сживал, смотрел на быстрые струи его, задумывался и мечтал; бродил по аллеям и тропинкам; со скоростью молнии протекала мысль в голове его... Между тем сказали ему о приезде Честона.

Он холодно встретил его и крепко пожал ему руку.

— Сердечно радуюсь, мой милый друг,—сказал Честон,—что ты оставил свое намерение: ты был у Примодушина...

— К несчастью, правда,—отвечал Модест,—но чему вы радуетесь? Тому ли, что меня станут теперь беспокоить пустыми, скучными посещениями, что я сам должен буду выезжать, и—может быть—увлеченный поневоле, возвращусь опять к людям—на горе и страдания; по нет! ничто, ничто не принудит меня оставить жизнь уединенную и счастливую!

Честон. Уединенную и счастливую! Ты заблуждаешься, молодой друг мой. Нет! Мы родимся для общества: имеем ум, который мертв без людей; имеем сердце, которое холодно и мрачно без нежной привязанности; и печали и радости мы должны делить с другими.

Модест. Чтоб после быть предметом насмешек и видеть, как друзья испровергают наше благополучие.

Честон. Надобно дать ему непоколебимое основание. Есть люди, которые, будучи обмануты несколько раз, становятся сами обманщиками, коварными; есть люди твердые, с чувствительным сердцем, но без благородия; они делают человека ненавидцами; наконец, есть люди—самые несчастные,—подобные той тростинке, о которой говорится в басне*: они гнутся по воле случая и обстоятельств.

Модест. Что ж остается делать?

Честон. Живучи в свете, нельзя избежать огорчений, злобы, зависти; но хочешь ли, чтобы эти исчадия человеческой слабости не нарушали твоего душевного спокойствия? Желай благополучия всякому, делай добро, сколько сделать в состоянии, и открывай сердце свое одному истинному, испытанному другу. Лабрюер сказал: «Узнай наперед, чего ты должен ожидать от людей вообще и от каждого в особенности, и потом пускайся в свет». Скольких избежали бы мы неприятностей и несчастий, если бы наблюдали сие правило! Но книги наши исполнены наставлениями, а жизнь—слабостью. Опыт и здравый рассудок показывают, что люди не все добродетельны и не все порочны: я жил, друг мой, на свете; смотрел, замечал, рассуждал сам с собою и, становясь ногой в гроб, говорю: есть люди! есть сердца!

Показав содержание разговора, я не буду пересказывать его от слова до слова: материя такого рода утомительна, и читателям моим должно беречь время на романы Радклиф, Дюкре-Дюминила, Сталь и проч. Скажу только, что Честон, прощаясь с Модестом, взял с него обещание ехать через два дня вместе к Примодушину.

Уединение временное полезно и приятно: там разум, обогащенный

бесчисленными опытами и впечатлениями, судит вернее и в удалении от света, в густой тени лесов, среди приятных долин научается познавать людей; там сердце, полное различных чувствований, сильнее наслаждается счастьем, с большею твердостью переносит злополучия или воспоминает прошедшие радости; там воображение носится в мире мечтаний, строит замки воздушные, и быстрый полет времени для нас неприметен. К вам обращаюсь, леса, рощи и сады П-ие! Примите искреннюю, сердечную благодарность мою. Сколько раз приходил я искать в тенях ваших утешения! Сколько раз, гонимый роком и людьми, я уединялся во мраки ваши и находил в них спокойствие! Сколько раз, истерзанный в нежнейших чувствах своего сердца,—когда я скучал жизнью, когда свет казался мне адом, вы проливали во грудь мою сладкую надежду! Цветите, зеленейте, рощи и сады П-ие! Цветите для счастья сердец чувствительных! Воспоминание об вас будет всегда приятно душе моей; оно сделалось частью моего существования!

Уединение неперестанное стесняет, сушит ум и заранее кладет сердце в могилу: никогда, никогда анахорет не будет благополучен. Хорошо сказал один наш стихотворец:

Про жизнь пустынную как складно ни пиши,
А в одиночестве способен жить не всякий.
Утешно нам и грусть и радость разделить.
Мне скажут: а лужок? а темная дуброва,
Пригорки, ручейки и мурава шелкова?
Прекрасны! что и говорить!
А все прискучится, как не с кем молвить слова.

В течение двух дней Модест не смотрел беспрестанно на часы, не скучал; но ему хотелось, чтобы время прошло скорее, и на третий день уже не с мрачным видом встретил он Честона. Вместе поехали они к Прямодушину. Дорогою Модест по большей части молчал или на вопросы Честона отвечал односложными словами; на лице его приметно было внутреннее беспокойство; казалось, он нимало не занимался окружающими его предметами, однако ж, проходя залу, невольно взглянул в зеркало.

Прямодушин, увидя Честона и Модеста, оставил свою трубку, София положила книгу.

— Добро пожаловать! добро пожаловать!—сказал старик и просил садиться гостей своих.

Честон сел подле Прямодушина, Модест, робко и застенчиво,—подле Софии. Оставим стариков; пусть они разговаривают о посеве и урожае хлеба, пусть рассказывают друг другу сельские новости; пусть вспоминают молодые лета свои. Посмотрим, что делает наш затворник. Минуты две сидел он, потуля глаза, вертел в руках шляпу и не говорил ни слова; наконец, София сказала:

— Как приятна сельская жизнь!

— Правда-с,— отвечал Модест.

— Я родилась и выросла в деревне и потому, быть может, слишком к ней привязана; но мне кажется, что в сельском только уединении находим мы истинные удовольствия.

— И душевное спокойствие.

— Прошедшею зимой я с батюшкой и матушкой была в Москве: сначала новые предметы занимали меня или, лучше сказать, я была так рассеяна, что не имела времени ни об чем подумать; но чрез месяц все явилось мне в настоящем виде; принимай беспрестанно гостей или ездь всякий день сама в гости и вечно принуждай себя — вот жизнь светская! Я соскучилась и просила батюшку и матушку воротиться скорее в деревню.

— Но сельская жизнь имеет свои невыгоды: например, чем можно заменить в деревне клубы, театры, все удовольствия столицы?

— В Москве, повертевшись целую ночь на бале, я возвращалась домой с головною болью и с пустотою душевною; на другой день мои знакомые говорили мне: не правда ли, что вчерашний вечер провели мы очень приятно? А я думала: заменяет ли этот блеск и шум тихие, но продолжительные домашние удовольствия, дружеские общества, приятные прогулки, занимательные книги?

— Не многие с вами согласятся... позвольте узнать, какую теперь книгу читаете?

— Это «Новая Элоиза».

— Превосходное творение! Но, признаюсь, мне нравятся более такие романы, в которых люди представлены в естественном их виде. В самом деле, сударыня, ныне любовь только в книгах: в свете одни расчеты корыстолюбия. Сам Руссо, изобразив нам прелестную, божественную Юлию, не велит искать ее в обществе: и всякий молодой человек, думая найти блаженство в любви, найдет — слезы и горесть.

София покраснела и не отвечала ни слова; Модест почувствовал ошибку свою и замолчал... Тут пришли доложить, что обед готов. После стола Прямодушин предложил идти прогуляться по деревне. Модест шел подле Софии и не смел начать разговора.

Лишь только София показалась на улице, то множество крестьянских детей окружило ее. Одни кричали: «Здравствуй, добрая наша барышня!» Другие тянулись целовать ее руки и платье; София ласкала их рукою, словами, приятною улыбкою. Крестьянки, стоя у ворот, умилно смотрели на Софию и учили грудных детей своих лепетать: барышня! Крестьяне, проходя мимо, снимали шляпы и кланялись ей приветливо — у всех на лицах блистала радость и удовольствие. Модест был тронут; но что почувствовал он, когда чрез несколько минут упала к ногам Софии старая, дряхлая женщина и вскричала: «Ангел-хранитель мой!» — «В другое время, в другое время поговорю с тобою», — сказала смешавшаяся София и приказала слугам отвести ее домой. «Нет, нет!» — закричала старуха. — Дай поцеловать ноги твои. Ты спасла меня от смерти. Розовая

вода возвратила мне зрение, лекарства подняли меня из гроба; но ласковые твои слова, твои материнские попечения заставили меня опять полюбить жизнь! О! Награди тебя бог, милая, добрая барышня! Награди тебя бог!» Слезы полились из глаз Модеста, сердце его было полно раскаяния; он с нежностью взглянул на Софию и готов был упасть к ногам ее.

Глубоко отозвались в душе Модеста слова Честоновы: «Есть люди! есть сердца!», и с сей минуты все для него переменялось. Природа в глазах его сняла с себя печальную одежду; человечество явилось в истинном своем виде. О женщины! Какою непостижимою, магической силою вы повелеваете нами! Один ваш взор — и земля кажется нам адом; один ваш взор — и все превращается в долину Темпейскую*; один ваш взор — и великие дела удивляют вселенную! Могуущественные волшебницы! Для вас нет ничего невозможного! Читатель! Не считай этих слов пустою риторическою фигурою: загляни в историю — и ты увидишь, что говорю истину; спроси свое сердце и скажи, если ты любил и любил страстно, справедливы ли слова мои?»

Красота предметов зависит от расположения души нашей. Приведи печального на цветущую долину: она покажется ему бесплодною пустынею; заставь счастливого, восторженного своим благополучием, слушать томное адажио: оно превратится для него в веселое аллегро. Мрачная осень показалась Модесту приятною весною, холодная зима — самым благоразговоренным летом. Почти каждый день бывал он у Прямодушина и каждый день открывал в Софии новые, милые черты ангельской души ее. Не стану описывать удовольствий, которые могут чувствовать два сердца, связанные сходством мыслей, нравов, взаимным уважением. И как слова изобразят их? Поутру София любила рисовать или заниматься рукоделием. Прямодушин с трубкою, а Модест с книгою или газетами, которые он читывал старику, садились подле ее столика. При всяком удобном случае Прямодушин вспоминал лета своей молодости, рассказывал любопытные анекдоты о временах Екатерины I, Анны, Елисаветы; Модест слушал его с непритворным вниманием и изредка взглядывал на Софию. Иногда старик задумывался, смотрел на клубящийся из трубки и исчезающий дым, и в глазах его изображалось какое-то уныние: но когда приходил он в себя и видел, что Модест разговаривает с Софиею, на лице его показывалось сердечное веселье. После обеда София брала гитару, играла, пела, и душа Модеста волновалась и радостно, и печалию, и сладостными мечтаниями — всегда приятными, всегда восхитительными. Часто ходили они к больным и бедным крестьянам, и везде благодарные слезы утешенных, и везде благословения благодетельствованных сопровождали Софию, и при всяком случае Модест удивлялся более и более Софии. Вечером садились они у камина, читали лучшие романы, смеялись, плакали, восхищались, сообщали друг другу свои чувства и мысли и всякий раз удивлялись, когда било двенадцать часов, и всякий раз, расставаясь, говорили: «Я завтра с вами увижусь? Завтра вы будете у нас?»

Так проводили они день, так провели осень и всю зиму. Время летит быстро, если заняты ум и сердце. Друзья наши и не видали, как наступила весна. Душа всегда может наслаждаться, когда расгуст для нее цветы удовольствий; но весною кажется, вместе с природою обновляются наши чувства. Модест находил везде жизнь и радость; но София не разделяла восхищений своего друга. Она сделалась задумчива, искала уединения и по несколько часов проводила на могиле своей матери. Скоро заметил Модест тайную горечь Софии; просил, умолял ее открыть ему сердце свое; но София вздыхала, краснела и молчала. Бледность лица ее испугала Прямодушина. «Не больна ли ты, София? — говорил он с беспокойством. — О! Сохрани тебя бог!.. Нет! нет! Он услышит мою просьбу: ты закроешь глаза мои!» София пржималась к груди нежного родителя и на слова его отвечала слезами.

«Так, красавицы! (говорит Карамзин)*. Ваша жизнь с некоторых лет не может быть счастлива, если течет она, как уединенная река в пустыне; а без милого пастушка целый свет для вас пустыня и веселье голоса подруг, веселье голоса птичек кажутся вам печальными отзвуками уединенной скуки. Напрасно избираете лучшую из подруг своих в предмет нежных побуждений вашего сердца! Нет, красавицы, нет! Сердце ваше желает чего-то другого: оно хочет такого сердца, которое не приближалось бы к нему без сильного трепета; которое вместе с ним состояло бы одно чувство, нежное, страстное, пламенное».

Правда ли, прелестные? Ваш любимец, конечно, знает тайну сердец ваших. Собственный опыт уверяет меня, что это истина, кроме... кроме того, что вы подражаете завоевателям и каждая победа заставляет вас стремиться к новым победам. Однако ж кроткая София хотела завоевать только Модестово сердце или, лучше, — отдать ему в плен свое собственное.

Но Модест, спросит читатели, Модест любил ли Софию? Опыт — учитель жестокий, которого, однако ж, уроки для всякого мыслящего человека всегда сильны, всегда благодетельны, — опыт рассеял все романтические сны его, которые, подобно воздушным огненным метеорам, приятны для глаз, ослепленные воображением, но всегда заводит неосторожного путника в топкие болота. Предметы явились ему в истинном виде: в людях увидел он людей, в любви — истинную цель ее. Сначала Модест находил в Софии любезную собеседницу, потом милую девушку, потом искреннего друга, потом со всяким нежным чувством его сердца соединялся образ Софии, потом счастье жизни и София имели для него одно значение. Но он не смел и думать, чтобы София любила его: обманутое сердце бывает недоверчиво.

В один день Модест встал очень рано и вышел прогуляться. Легкие туманы поднимались на воздух; солнце восходило, яркие лучи его позлащали голубое, ясное небо; птицы пробуждались, и рощи и леса оглашались их пением; цветы и травы блистали перлами росы; громкий звук рогов собирал пестрые стада; земледельцы с веселым выезжали на

работу. Модест шел в приятной задумчивости; вдруг рыдание поражает слух его; он останавливается, смотрит вокруг себя и видит, что он в нескольких шагах от могилы супруги Прямодушина, подвигается еще несколько вперед, прислушивается... ему кажется, что он слышит вздохи Софии; тихо раздвигает древесные ветви, и что же представляется глазам его?—София стояла, опершись на памятник, приклонив голову к черной мраморной урне; светло-русые ее волосы, распустившись, лежали в беспорядке по волнующейся груди; лицо ее было бледно; слезы катились ручьями... Модест хотел к ней броситься; но она обняла урну и сказала:

— Матушка, милая матушка! Для чего так рано ты меня оставила? Ах! кому открою страдающее свое сердце? Я люблю, люблю без надежды! Модест! Модест! Можно ли ненавидеть всех женщин за то, что одна изменила, одна была причиною твоих мучений? Для чего не видишь ты моего сердца страстного, пламенного?..

Но Модест уже лежал у ног ее.

— София! Единственная, несравненная София!—вскричал он.—В самом ли деле ты меня любишь? Неужели я столько счастлив?..

София упала на руки к Модесту. В сие время подошел Прямодуший; горьсть дочери беспокоила его; он не спускал с нее глаз. Модест упал перед ним на колени, держа в объятиях Софию:

— Батюшка! Благословите детей ваших!

Прямодуший не колебался, соединил руки любовников, поднял слезящие глаза на небо и сказал: «Милая Мария! Молись о их счастье!»

НЕСЧАСТНАЯ ЛИЗА

Истинное происшествие

Я то писал, что слышал, видел,
И нет тут выдумки моей.

К. И. Долгорукий

*Катерине Николаевне Крыловой
посвящает Сочинитель*

О женщины! пол слабый и прелестный! Вы, которые созданы облегчать горести наши и приятною кротостию научать нас терпению; вы, без которых кляд бы из нас блаженство земли и самое бытие! Дар дражайший небес! У ног ваших прошу: ежели рок, играющий стонами; ежели хищному тигру подобный родитель определит гибельное сокровище ценою сердца вашего; ежели повиновение проливает на скорбь томные отрады; ежели имя супруги — не смею сказать: имя матери — для вас священо, бегите первых стрел любви, отвратите слух ваш от первой песни прельщения¹! Да не погубит вас чувствительность ваша, как погубила она женщину, которой плачевную и невымышленную историю здесь сообщая!

Лиза в младенчестве лишилась родителей и была под опекою родной бабки своей, госпожи В*, женщины строгих правил и старинного воспитания. С самых юных лет приученная к безмолвному во всем повиновению, Лиза не знала других для себя законов, кроме воли строгой опекуни своей. В сем положении наступила пятнадцатая весна Лизы, и прелести души и лица привлекли многих искателей руки ее и сердца. Между прочими искателями счастливым был Арист, любезный молодой человек, обладающий искусством нравиться прекрасному полу.

¹ Так говорит Г.Эмин в прекрасном романе «Игра судьбы». Я воспользовался его словами к началу моей повести.

Взоры Лизы искали его взоров; немой разговор их, слишком понятный для сердца, изъяснил им взаимное чувство любви непорочной. Лиза дала слово принадлежать Аристу навсегда. Уверенный в любви ее, он готовился просить у госпожи В* позволения соединиться с Лизою, как вдруг нечаянный случай отзывал его на некоторое время в отдаленный город. С горестным чувством Арист должен был расстаться с Лизою и все планы любви отложить до своего возвращения.

Во время его отсутствия господин Ма-в, который давно занимался Лизою и, не могши ей понравиться, старался приобрести любовь и доверенность бабки ее, зная, что Лиза во всем зависит от ее воли, изъяснился с нею в чувствах своих к Лизе и просил позволения на брак. Госпожа В* согласилась; позвали Лизу, и господин Ма-в предложил ей свою руку. Лиза ужаснулась, представляла тысячу отговорок, плакала, рыдала, но решительная воля и строгость госпожи В* все опровергли — и Лиза обвенчана с господином Ма-вым.

Вскоре после сего возвращается Арист, слышит о замужестве Лизы, воображает, что она изменила ему, грустит, вздыхает, но делать нечего; она уже замужем.

Арист находит случай видеться с Лизою в одном знакомом доме и говорит ей:

— Лиза! Ты забыла свою клятву не принадлежать никому, кроме меня.

— Я и теперь твоя в сердце моем, но я невольна была в руке моей!

Тут рассказывает ему обстоятельства своего брака и снова уверяет его в любви своей.

— Чем ты докажешь мне любовь и верность свою? — восклицает несчастный любовник.

— Всем, чем ты хочешь, — отвечает ему Лиза, — для тебя на все я решаюсь...

Арист предлагает ей в ту же ночь уехать с ним. Лиза согласилась. Он оставляет ее, приготовляет все нужное к отъезду и под благодетельным покровом ночи увозит Лизу из объятий ненавистного супруга.

Не знаю, что происходило в доме его, знаю только, что любовники очутились в С.П.Б. Спокойно и счастливо текли дни их в мирной неизвестности. Тихая радость обитала в чувствах друзей-любовников. Арист определился к должности в штат К — конторы.

Довольно долгое время любовники провели в завидном состоянии любви и нежности. Каждый день, каждый час приносил им новые удовольствия.

«Предчувствием бедствия (говорит Карамзин) называем мы обыкновенно уныние и тоску безызвестной причины; но иногда таится оно в каком-то необыкновенном и неизъяснимом сердечном удовольствии. Счастье, готовясь оставить нас, представляется сердцу во всей красоте своей и ласкает его с отменной живостью. Судьба, поднимая руку с мечом, другою сыплет цветы на жертву свою». Сие замечание писателя,

знающего человеческое сердце, оправдало несчастье, постигшее любовников.

Арист, находясь при должности, командирован был в город Л* Т-вской губернии. На почтовых отправляется он из С.П.Б. Лиза не разлучилась с ним и поехала под именем жены его; но от беспокойства в дороге она занемогла; болезнь ее от часу умножалась; и когда они приехали в Е*, то она не могла далее продолжать путь. Он останавливается с нею в Е*; ему отводят квартиру в доме одного купца.

Здесь Арист никак не мог пробыть более суток, и для того поручает Лизу искусству тамошнего медика, прощается с душою чувств своих и по комиссии, не терпящей времени, спешит в Л*, обещая Лизе через три дни непременно возвратиться, ибо от Е* до Л* только семьдесят верст.

На третий день Аристово отъезда приезжает в Е* офицер, отправленный к нему из конторы для некоторых пособий по его комиссии. Он приходит к городничему, спрашивает Ариста. Ему отвечают, что он был и уехал, а здесь осталась больная жена его, от которой он подробнее узнать о нем может. Офицер удивляется, утверждает, что Арист не женат, и с любопытством идет к Лизе на квартиру.

Городничий, который в то же утро имел просьбу от купца, хозяина Лизы, что проезжающий офицер оставил в его доме неизвестно какую женщину, одну, больную, что она может умереть, сделать ему хлопоты и что он просит освободить от нее дом его.— городничий, желая удовлетворить просьбу купца, посылает с приезжим офицером полицейского чиновника узнать, кто она подлинно, и если не жена Аристова, то вывести ее из дому или взять под стражу.

Теперь пусть всякий по собственному чувству представит себе положение Лизы, пусть всякий вообразит молодую женщину, ушедшую от мужа, оставленную любовником в неизвестном ей городе, очень больную, без друзей, без приятелей и вдруг увидевшую пришедших к ней неизвестных офицеров, из которых один с коварным сожалением смеется замешательству ее, а другой грубым образом требует ясного доказательства, кто она, уверяя ее в открывшейся известности, что она не жена Аристова, и грозит ей строгостию закона.

Толпа любопытных, вошедших с ними в ее комнату, умножает смятение несчастной... Стыд, горесть, досада и болезнь повергают ее в сильный обморок и производят потом удар апоплексический, лишивший ее употребления языка! Офицеры и зрители с равнодушием оставляют ее... умирать. В сие время возвращается Арист, летит к предмету любви своей, надеется обрадовать Лизу своим присутствием и вдруг видит ее умирающую, неподвижно смотрящую на него и не могущую произнести ни одного слова. В слезах и стенании повергается он на грудь ее, которая колебалась еще от тяжелых вздохов... Лиза просит знаками пера и бумаги — ей подают — она дрожащею рукою пишет несколько слов² и

² Видевшие у него сию бумагу сказали, что на ней написаны были только три слова: «Умираю, любя тебя; — умираю довольною, что ты принял последний вздох сердца, всегда тебе верного!».

подает бумагу своему любовнику. Он с трепетом читает последние чувства любезной, схватывает ее в свои объятия, и она в них умирает! Дух ее вылетает из прекрасного тела при последнем поцелуе любезного... Он лишается чувств!..

Прибегают хозяева, видят ее мертвую и его умирающего, зовут лекаря — он помогает несчастному, возвращает ему чувства... Арист снова рыдает над холодным телом Лизы, делает ей погребение и в отчаянии, в помешательстве разума скачет в С.П.Б., оставляет службу и в начале апреля, при первом появлении весны, возвращается в Е* к праху любезной. Своими руками обкладывает могилу ее зеленым дерном, обсаживает разными кусточками и цветами, обгораживает перильцами своей работы и на поверхности ставит картину³, произведение горестного чувства невозвратной потери своей. Окончив сей плачевный памятник, несчастный любовник провождал у него все дни свои, а нередко и целые ночи. Городские жители сказывали, что он всегда плакал, ходил вокруг могилы, становился на колени, целовал землю и в рыдании, прижав к зеленому дерну, оставался долго неподвижным.

Я сам плакал, внимая ему повествованию людей добрых и воображая несчастного любовника, когда душа его делилась между небом и землею, стремясь к остаткам тленного бытия любовницы и к тому, что составляло жизнь и красоту его.

Так! Я верю Карамзину, что в сие время, когда сердце рвется к милым усопшим, подымается некоторым образом таинственная завеса вечности: мы чувствуем дыхание бессмертных, осязаем, кажется, эфирное существо их. Живость сих восторгов заставляет нас думать, что они не совсем мечтательны и что смерть не есть совершенный разрыв сердец, которые жили одним чувством. Если мы, оставленные, умеем нежно хранить память любезных, то неужели они в другой сфере бытия совсем нечувствительны к нашей горести? Разве бессмертие научило их неблагодарности и непостоянству? — Какие законы не уступят силе любви, когда

³ Написанную на доске масляными красками. На одной стороне изображен гроб со стоящею над ним урною, пред которою рыдает богиня меланхолии. Под урною на гробе видны вензельные имена Ариста и Лизы с надписью над ними: *Утехою слеза*. Вверху картины в треугольнике изображен крест, по сторонам которого погашенная свеча и пылающее сердце. Под ним надпись:

*Счастлива под крестом Лизетта тем судьбою,
Что в год восемнадцатый преставилась к покою.*

На другой стороне картины следующие надписи:

*Поставлен 3-его апреля 1805, а кем, — несчастие заставляет умолчать.
Здесь благочестно предано земле тело усопшей Е. П. М-ой, урочденной В-ой,
родившейся 1788 апреля 24, скончавшейся 1805, декабря 27, прожившей 17 лет 8 месяцев и
3 дни.*

*Цветок лилейный распустился,
Поблек, завял и в мгле сокрылся.
Итак, чувствительный! протри слезу нежности — и тебе предстят вечное блаженство!*

надобно утешить милого, и что останется нетленного в душе, если в ней любовь исчезает?..

Видев каждый день на кладбище несчастного любовника в слезах и стенании, знакомые и любопытные подходили к нему, старались развеселить его; но он был неутешен и находился в некотором нежном помешательстве ума. С каждым, кто встречался ему, начинал говорить о предмете любви своей и горести; рассказывал свою историю самым трогательным образом, и разговор его всегда начинался и оканчивался одною Лизою.

В сем горестном положении провел он более двух месяцев; наконец, скрылся неизвестно куда. Одни говорят, что пошел в монастырь, другие уверяют, что в быстрых волнах Дона окончил жизнь и любовь свою.

Кто с милой сердцу разлучился,
Тому нетрудно умереть:
Тот без науки научился
На смерть с холодностью смотреть.

(К. Ш.)

Памятник, сооруженный несчастным любовником, находился в версте от города, на кладбище близ большой О* дороги, и ежедневно привлекал к себе проезжающих и любопытных. Вскоре перильцы и кусточки изломаны, цветки оборваны, измят дерн зеленеющий, самая насыпь над могилою несколько повреждена; но картина была безвредна — и самое своевольное любопытство уважало ее!

В начале лета я, приехав в Е*, тотчас услышал историю несчастных любовников. М. А. Е., любезная, чувствительная девица, первая рассказала ее мне точно таким образом, как она здесь сообщается, — и я поспешил видеть памятник чувствительности. Увидев его, почтил горячею слезою и сердечным вздохом прах Лизы, срисовал картину, списал все надписи и в то же время, написав следующие стихи, оставил их на могиле:

К праху несчастной Лизы

В объятиях любви скончала жизнь свою,
И сердце на груди у друга охладело!
И нежность, и любовь, и чувство хотело
Украшать милый прах и память чтить твою.
Любовник нежности у гроба собирает⁴
И взор чувствительных любовью привлекает.
И я свою слезу на прах твой уронил
И вздохом искренним несчастную почтил!

⁴ Этот стих для меня не очень вразумителен.

Я часто видал сей памятник истинной нежности, но не видал несчастного любовника: он незадолго пред тем скрылся.

Всякий раз, когда мне случилось ехать по сей дороге, я останавливался у привлекательной могилы, подходил к ней с новым чувством сожаления, смотрел на картину, прочитывал надписи, воображал несчастную судьбу любовников и, вздохнув, говорил с любезным поэтом:

Ах! В гробе мертвые спокойны:
Их время горевать прошло:
Смерть только для живых есть зло:
Могилы зависти достойны:
Ничтожество не страшно в них!*

Всякое доброе дело и всякое нежное чувство испытывает здесь скорее эпиграмму, нежели похвалу. Это в порядке вещей обыкновенных — и это не миновало памятника любви!

В четвертый день после того, как поставлена картина над могилою Лизы, любопытных так было много, что они, теснившись около картины и рассматривая по-своему, вышибли ее из столбиков, в которых была она утверждена, и Арист, бывший в это время у одной из своих знакомых, пришел по обыкновению на кладбище, увидел картину на земле, поднял ее и утвердил по-прежнему. Но он тут же нашел и следующую цыдулку:

Здесь три дни К-н томился и страдал,
И три дни памятник стоял:
В четвертый день другой в любви уж изъяснился,
И памятник — увы!.. свалился!

Нежный любовник не оскорбился сею эпиграммою; глубокое чувство горести не могло быть тронутο насмецкою. Прочтя ее, он думал с поэтом:

Против дословия нет средства никакого;
Внимание отвратим от звука слов пустого.

Четыре месяца картина спокойно стояла над могилою Лизы, привлекая к себе ежедневно чувствительных и любопытных. Люди холодные смеялись ей; добрые и чувствительные вздыхали и смотрели на небо в тихой меланхолии, списывали надписи и картину. Я сам у некоторых видел ее.

Наконец, в начале сентября приезжает в Е* господин В*, муж покойной Лизы, берет от духовного и гражданского правительства свидательства о смерти жены своей, истребляет памятник чувствительности, украшающий ее могилу, и даже изглаживает все признаки оной, так

что вскоре после того я не нашел уже ни малейшего следа сей могилы, привлекательной для моего сердца. Пожалев о слабости ближних, я вспомнил прекрасные стихи нашего Лафонтена:

Розы ль дышат над могилой,
Иль пламень над ней растет;
Все равно, о друг мой милый!
В прахе чувства уж нет!*

Довольный своею местию над прахом несчастной, супруг Лизы удаляется, обремененный упреками всех чувствительных.

Таким образом исчез монумент любви несчастной,—исчезла могила Лизы для любопытных взоров; но она осталась и сохранится навсегда в памяти людей чувствительных, которые видали и посещали ее.

ВАРЕНЬКА

Анекдот

Недалеко от Старой Р-ни, на берегу реки О...* есть небольшое село, окруженное с трех сторон дремучими сосновыми лесами, желтым сыпучим песком и, наконец, тенистыми непроходимыми болотами. Местоположение не весьма приятное для резвой, игривой радости, но питательное для чувств, сокрытых в сердце горестном; это самая та услаждающая пустыня, в которой несчастный изгнанник света смело может сказать: «Полюю жить!» или «Перестану жить!» Но здесь жизнь его скорее может назваться жизнью, нежели там, в пыли и в громе: здесь уединение, украшенное любезным видом меланхолии, скорее даст ему почувствовать цену жизни; здесь, между простодушными поселянами, он лучше научится познавать цену добродетели и благополучие души невинной! Великие познания, известные под именем просвещения, едва ли могут быть нам тогда полезными, когда черная грусть потемнит горизонт надежд наших; они будут требовать умственных развлечений, а такие развлечения, бог знает, вредны или полезны нам; но в кругу простосердечия, где все имеет свои границы, где возможность счастья основывается не на мудрствовании, а на единой силе великого бога: там мы страдаем, но страдания наши облегчаются дружбою, утешаются любовью—вот два гения человеческой жизни, которые уже давно рассталсь с кумирами большого света—философами нового просвещения, ложного благополучия!

В 196 году, будучи изгнан коварством и клеветою из счастливого моего жилища, я пустился на волю Божию. Имя мое было поставлено в числе других изгнанных и может быть, достойных своей участи! Но что делает робкая невинность, когда ядовитая и мощная злоба будет извергать на нее свои пламенные грозы: тогда ей остается или погибнуть, или спастись бегством: до бога высоко, до царя далеко!

Мрачное селение на берегу О... было границею моего изгнания: добрые крестьяне приняли меня с дружелюбием, с ласкою, и я забыл свои горести, забыл на время ту жестокую разлуку, которая отделила меня от друзей, милых сердцу. Имя света исчезло в памяти моей: дикая, невольная радость уступила место равнодушию, и я был почти счастлив. Конечно, счастлив, потому что сердце мое могло ощущать дружбу;

дружба влекла к покою, покой соединял с надеждой, а надежда есть сам бог наш. Кто не терпит надежды, тот верует в бога; а кто верует в бога, тот счастлив. Бог утверждает спокойствие наше, смягчает или разрушает бремя бедствий, нас отягощающих, поселяет твердость в слабую душу нашу и ограждает терпением. Ах! Кто верует в бога, тот не может быть несчастливим!

Благоделитель мой, принявший меня под кров свой, был закяточный, добрый крестьянин; он полюбил меня, как сына, и тайны семейства его были моими тайнами. Варенька, единственная дочь его, милая, любезная девушка, была первым развлечением моих горестей; она любила меня, я любил ее и получил себе верную, неизменную ее дружбу... Я старался образовать ее понятия, учил ее всему тому, что знал сам, и был вознагражден за то или благодарностию отца, или ласкою дочери. Многие будут удивляться мне и скажут, что за мысль быть учителем поселянки? что за мысль образовать ее понятия и научить ее чувствовать выше сферы настоящего ее бытия? Другие не будут верить мне и станут утверждать, что нет способов, нет возможностей, которые бы прервали глубокий сон невежества. Я не буду оспаривать ни тех, ни других, а скажу только, что мысль несчастной моей философии была та единственно, чтоб в недрах дикой необработанной природы найти себе друга и сотворить другое подобное себе существо, с одинакими чувствами, с одинакими мыслями, поселить в нем одинакие со мною познания. Мудрствования света, будучи очернены грубостью ложного просвещения, не могли скрывать в себе желаемого мною предмета. Там злость развращения искоренила невинность при самом ее рождении; но здесь, в пустынной неизвестности, в диком саду природы я легко мог найти дикую розу, прелестную своею наружностью, но не имеющую аромата, который разливался бы на все ее окружающее: я легко мог найти ее и перенести в сад, обработанный искусством добродетели, перенести и старанием своим преобразовать ее в лучшую из всех роз, там растущих, хранить под защитой руки моей, под влиянием души и сердца моего!

В пятнадцать лет воспитанница моя имела все первые понятия о должностях супруги, матери, хозяйки, дочери; она постигла смысл закона небесного, восхищалась вместе со мною великостию гениев, образователей наших, премудростию строителя миров! Часто не только дни, но и самые ночи мы с нею прохаживали по унылым окрестностям, беседуя об изидности устроенного мира и величии строителя его, о правах жизни человеческой, основанной на обетах священной дружбы и на горячности любви взаимной. Нередко восход солнечный встречал нас в сих наших прогулках и первая молитва наша при встрече огнистого Сириуса была излагаема нами вместе с утренними песнями невинных обитателей лесов и полей — мы восхищались богом нашим и молились ему с чистой признательностию сердца. Так текла жизнь моя посреди тишины и спокойствия, владычествовавших только между добрыми: и где может обитать спокойствие, как не в душах добрых, в сердцах чувствительных?

Никто не смел перетолковать связи моей с любезною девушкою в худую сторону: в кругу простоты и невинности злоречие не существует! Отец Вареньки любил меня искренно, чистосердечно, любил, как сына; он не хотел знать имени моего, состояния, звания и требовал только от меня взаимной любви к себе, братского дружелюбия к своей Вареньке; и в самом деле, чувства взаимной благодарности сделали нас истинно ближними; я привык к Вареньке, она привыкла ко мне, и привычка обратилась в связь неразрывную, вечную: мы поклялись друг другу во взаимной любви! Следуя одним только влияниям природы, я позабыл все мечты мнимого неравенства, которое так жестоко сохраняется в оставленном мною свете, предложил руку и сердце милой моей очаровательнице: она была согласна. Добрый отец назначил день брака, и счастье наше было не за горами! Благодетельные лучи его сияли прямо над нами. Один только шаг еще, и двери вечного благополучия готовы были открыться для согласия любви и дружбы. Я восхищался и был в совершенном упокоении всех надежд моих, но вдруг жестокая рука злобы человеческой совершенно разрушила и последнее торжество счастливого несчастья!

Один из недостойных хранителей священных законов премудрости посетил бедную хижину нашу. Его приняли с открытой радостью, в мгновение исполняли всю грубость его желаний, и он гордился гнусным могуществом своим над убогою слабостию: взоры его без содрогания останавливались при виде ран моего бедствия: он презирал меня, презирал всех; но не презрел светлого образа моей Вареньки; он полюбил ее, и с тех пор посещения его были весьма часты.

Грубов, так назывался жестокий соперник мой, был сын одного небогатого дворянина, не имел никакого образования; служа несколько времени в отдаленном гарнизоне, он был отставлен от службы в первом офицерском чине и, возвратясь на свою родину, чрез проницательство и низкость свою получил место земского судьи и преданся совершенно стремлению гнусных страстей своих. Объезжая весьма часто удел свой, он легко мог отличить красоту Вареньки, желал обладать ею и был всегда против чаяния своего от нее отвергнутым. Непреклонность предмета желаний его возродила в нем обыкновенно сродную подобным людям свирепость; он начал стараться всячески притеснять отца своей любимицы.

День брака нашего был назначен, и мы пред алтарем великого сердцеведа обязались ненарушимою клятвою верности: вдруг Грубов является в селение и требует именем правительства отца моей любезной к суду! Робкая невинность преклонила колена пред правом сильного; глаз ничтожного изгнанника не был принят, и почтенный старец, отягченный оковами, заключен в тюрьму: его обвинили в злодеяниях, вымышленных злобою и клеветою. Бедный старец томился под бременем несправедливости, страдал и, наконец, был забыт в непроницаемой неизвестности судьбы его. Тщетно я старался найти путь к правосудию, открыть

пред лицом одного коварство нашего гонителя, посрамить его и наказать бесцельно законами чести; но никто не хотел ни слушать, ни принижать меня; всякий старался убежать от меня как человека презренного, подозрительного; и слезы, соединенные с молитвою, оставались единственными облегчителями нашей участи! Гонения Грубова не насытились одним злодеянием: они были необузданны и бесчеловечны! Поселянам было предписано не иметь со мной никакого сношения, не делать мне никаких пособий, всячески притеснять меня и, если можно, забыть, что я человек и пользуюсь жизнью, чувствами и всеми правами человека! Но добрые сердца их не могли последовать увещанию порока—они были все еще мне друзьями.

Я был беден, так беден, что не имел ни малейшего утешения, которое могло бы облегчить мои страдания. Все надежды угасли в душе моей; но молитва и вера подкрепляли, не оставляли меня на пути жизни моей, усеянном терниями: молитва оживляла твердость духа моего, а вера была ходатайницею моею у престола всевышнего, который и ниспослал мне друга,—друга, облегчителя скорбей моих; с ним я подкреплял себя шитою терпением, с ним я равнодушно слушал тот грозный рев грома, который воздвигало мое несчастье. Молитвы мои соединялись с молитвами любимицы сердца моего, и общие слезы наши текли пред великим изображением бога богов. Ах! Тот еще не беден, кто имеет друга, которому может верить сокровенности души своей; кто вместе с другом может спокойно взирать на бури жизни. Друг для человека есть такая потребность, без которой он почти не смеет наслаждаться правами человечества.

Добротель простодушная не оставляла нас, и мы, страдая, умели не понимать страдания своего и утешали себя привязанностию чистосердечия. Правило философа—человека, известного по чувствительности сердца своего, было правилом, надеждою нашею. Моя подруга, нередко видя меня погруженного в мрачную, унылую задумчивость, пробуждала меня сими великими его словами: «Правосудие людей не есть небесное правосудие»¹. Мы должны с тобою оплакивать одно ослепление человеческое, стенать о заблуждении ближних наших, молиться о них, терпеть и надеяться на помощь того, который располагает мирадами миров!—И я не роптал на судьбу свою! Бедствия отняли жизнь мою; но они же мне и возвратили ее вместе с милою, бесценною подругою. Мы были несчастны, но спокойствие духа нашего не могло равняться ни с одною богатою радостию порока, который вечно беспокоен.

Итак, мы наслаждались счастьем горестным, если только существует подобное счастье в мире. Оно, конечно, существует; тот, кто в палатах Крезовых роскошничает, окруженный негою, кто знаком только с одною радостию, с одними удовольствиями, питающими каждую мечту его, тот,

¹ Карамзин.

для которого каждый час жизни знаменует веселость райскую и не допускает размышлять о терниях, растущих за его стенами, тот наслаждается всеми дарами счастья, самую эссенцию радости, которая очаровывает всю его душу, все его сердце!.. Но тот, кто посреди шумящих бурь злобного рока еще может встречать минуты, исполненные любовью, может разделить свой вздох, свою слезу, свои чувства с милою подругою, равно чувствительною и равно чувствующею, тот также счастлив, но его счастье горестное: оно не освещается постоянным лучом радостной надежды! — Однако ж и это горестное счастье не могло долго быть уделом нашим; оно с быстротою молнии исчезло в глазах наших: бедный старик, отец моей Вареньки, умер в заточении; коварство Грубова было обращено на меня, и он успел в своих происках над беззащитностью, он успел, и меня осудили на дальнейшее изгнание, осудили на жестокую разлуку с любимицею чувств моих. Ах! Как жестока бывает эта минута! Какое мучение, будучи живым, умирать и для того только, чтобы жить еще жизнью, которая горестнее, которая несноснее самой смерти! Конечно, разлука есть гроб, заключающий в себе половину сердца, половину души, жизни, которые, отделись от другой милой им половины, существуют, не существуя!.. Ужасное, самое ужасное состояние! Мучение, которого не мог изобрести сам тартар, и которое могла изобрести злоба человеческая!

Мрачная страна преступлений, С... была назначена мне уделом. Последняя радость — удовольствие любви — исчезло в глазах моих, в моем сердце; а горечь везде оставила следы свои! — Я был взят как злодей, преступивший права человечества, и без всякого оправдания повлечен в бездну неизвестности! Неумолимые не могли тронуться слезами друга души моей, и последнее *прости* едва успело излететь из уст наших. «Варенька! Ах! Бедная моя Варенька! нас разделили с тобою, — вскричал я, — и мне должно умереть!» Ах! Может ли существовать тот, у кого отнимут душу? А я был лишен ее!

Горечь моя обратилась в лютое отчаяние — я потерял рассудок; но не потерял чувств любить мою любезную, и в самых иступлениях моих вспоминала о милой сердцу были гениями, хранителями моими! Я оживала, когда представляла себе милый образ ее; когда твердила бесценное имя Вареньки; и потом опять лишался бытия своего при жестокой мысли о злобе людей, которые, так мне казалось, хотели все вообще с жестокостию играть моею судьбою! Они были в глазах моих камнями, одушевленными дыханием Василиска*; сердца их не могли иметь сострадания; холодность и себялюбие были символом их — и несчастный, погибающий в пучинах бедствия, должен был погибать пред глазами себе подобных, из которых ни один не хотел подать ему руки помощи затем только, что погибель ближнего не поколеблет лютого эгоизма на железном его троне!

Т... крепость была крайним пределом моего изгнания; здесь, в бесплодной пустыне, между стенами преступления, мне суждено было

жизнь—и как? жить, лишенному всех признаков жизни, погребенному живою в ужаснейшем гробе! Меня заключили в страшную темницу, определенную для смирения жесточайшего варварства; бедная пища была слабым подкреплением моим; сырость, мрак, холод составляли верных собеседников моего уединения; а гремящие цепи моих товарищей, заключенных со мною в ближайшем соседстве, составляли утешительный концерт! Одна толстая была моею спасительницею и утешительницею: я некогда спас ее от силы других мышей, ее притеснителей; разделяя с нею бедную трапезу свою, приучил ее к себе, и она была оборонительницею моею от множества других, которые нарушали спокойствие последнего моего утешителя, сна.— они зирали меня; но с тех пор, как привязанность ее ко мне усилилась, она не допускала их причинять мне беспокойства: мыши трепетали одного сурового оборота моей защитительницы и с робостию от меня убегали. Так не оставляет PROVIDЕНИЕ невинного и в самой бездне мук, в которую низвергнут он злобою человеческою! И что такое значит коварство людей, когда сам бог подает святую десницу свою невинной жертве, осужденной на погибель ослепленным? Давид был спасен посреди разъяренных львов, которые пред кротостию святого соделались агнцами; отроки, осужденные на сожжение, посреди свирепствовавшего пламени были неведимы и вкушали блаженство небесное.— Так, друзья мои! Для кого есть надежда, богом ниспосылаемая, тот не умрет смертию вечного, тот будет спасен, будет благополучен! Молитесь и веруйте: вот путь к истинному, спасительному счастью! И демон-искуситель ваш сокрушится в прах пред взором вашего великого бога!— Где бог, там нет бедствия; в ком бог, тот благополучием своим равен благополучию ангелов и херувимов.

Я не мог исчислять времени своего заточения и представлял себя совершенно погибшим, как вдруг двери темницы моей отворились и мне был дан еще несчастный товарищ. Темнота не допустила видеть мне черты лица его, но голос—какой это был голос! Он напоминавал мне все минувшие блага дней моих! Сердце мое не обманулось; оно узнало его: это была бесценная супруга моя!

— Это ты, моя милая! Ты, гений, ангел-хранитель мой!—вскричал я, прижимая ее в своих объятиях.

— Я!—сказала она, и чувства оставили нас!

Так всегда действует над человеком и влияние радости и желчь горести; чувства его, будучи пренесполнены того или другого, не могут сохранить своего равновесия и оставляют человека. Кто может во всех случаях господствовать над своими чувствами, тот, не знаю, может ли называться человеком: одна только чувствительность, которая есть душа жизни, составляет человечество в человеке.

— Какой бог,—сказал я, опамятавшийся,—доставляет еще свет душе моей и среди мраков ада!

— Бог милосердия!—вскричала Варенька.

После взаимных постворгов и после благодарной молитвы из глубины

сердце наших она рассказала мне чудесный и непостижимый случай нашего соединения.

— Когда увезли тебя,—так говорила она мне,—я в беспомыслии осталась на руках доброго нашего соседа и потом едва не заплатила жизнью от мучительных следствий отчаяния; тогда Грубов оставил меня, и казалось, уже насытил свое мщение; но едва я начала приходить в самое себя, как он опять привел в действие всю гнусность своих притеснений. Я решительно положила избегать его, и он поклялся мне наказанием. «Ты погибнешь!»—сказал он мне однажды.—И погибнешь ужасно; не забудь, что жизнь и честь твоя в моих руках!» Угрозы его заставили меня покинуть место моей родины: я бежала от них и хотела пред святылищем правды обличить все притеснения и гонения варвара; но беспомощность и беззащитность моя не могли найти желанного пути. В отчаянии я решила искать тебя, и через два года бедственных и неизобразимых странствий я нашла тебя, мой друг! Нашла опять благополучие жизни моей! Так, конечно, благополучие, потому что и под сводами вечного мрака, и посреди мучений тартара невинность может питаться счастьем любви и дружбы!

— Но, друг мой!—сказала я ей.—Каким случаем ты могла достигнуть того, чтобы тебя заключили вместе со мною?

— С помощью слез, с помощью несчастья, с помощью молитвы и бога: глас умоляющей невинности, решимость предприятия моего, любовь и верность подействовали на душу коменданта, и он согласился на мое желание: я вписана в число преступников и заключена вместе с тобою; теперь темница наша обратится в рай; мы будем жить в ней счастливо; верные товарищи наши, любовь и дружба,—вечно с нами, и мы умрем здесь счастливыми... так, счастливыми; здесь мы не увидим и не услышим более взора и голоса злобы человеческой: она царствует на земле,—там, между людьми, а здесь, в уединении, внутри нас, хранятся все блага!

Я не мог отвечать ей; слезы любви и благодарности катились из глаз моих—мы пали на колена и пропели гимн признательности к пекущемуся о нас великому гению богов и человек, богу истинному! Не умею точно определить, много ли продолжалось такое счастливое бедствие мое, во все время которого я почитал себя блаженнейшим человеком, жил, дышал и чувствовал моею любимницею, моею благотворительницею, которая, жертвуя собою, решила спасти жизнь мою жизнью своею. Солнце не освещало темницы моей; но я наслаждался верным подобием его: глазами моей Вареньки; я не мог разделять времени; но с милой сердцу и самая вечность кажется одним мгновением. Кто любит, любящим взаимно и живет подле своей любезной, для того часы не нужны, чтоб знать время. Где любовь истинная, там не будешь знать ни зимы, ни лета, ни осени; одна только весна будет с тобою; касаясь сцен любви, покрытых вечными розами, что можно видеть, кроме весны! А когда сердце милой будет биться под счастливой рукою, тогда и последняя

мысль о переменах времени исчезнет. Ах! сколь сладок сон жизни нашей в объятиях любезной!

Так текла бедная пустынная жизнь двух любовников-супругов! Счастливый сын радости! Ты дивисься блаженным мечтам несчастливца? Это оттого, что ты никогда не испытывал великого могущества бедствий; спроси друга горестей, изурненного скорбью зол человеческих: он собственным примером своим заставит тебя верить чрезвычайным невозможностям, которые преодолевают сердца, напитанные желчью бедствий; он даст тебе понятие о той великой школе жизни, которая образует истинных человек! Знаменитых людей мало бывало счастливых: радость их нередко сияла только в одной наружности, и сын великого, воспитанный любовью отца своего в неге счастья, редко наследовал великость отца своего — и не мудрено: он уже не был тогда питомцем природы, но возрастал под влиянием человека! Для меня воссиял день благодати, день райский! Единое мгновение уничтожило крепкие запоры тиранизма; двери темниц открылись, и я дышу свободою, моя любезная дышит свободою! Рука милосердия возвратила мне все, и мы опять вступили на землю любви, в страну родимую. Я мог уже опять назваться членом общества, мог жить беспрепятственно под кровлею отцов моих и принести друзьям и родным моим вместе с избавлением своим новую жизнь благополучия! Так, я, конечно бы, принес им счастье; но они уже переселились за пределы вечности, убитые рукою несправедливости: они страдали и погибли от могущественной, кровной секиры фурии — злобы!

Теперь я опять живу в том же месте, где первый луч солнца осветил первое воззрение мое на свете; где мать моя с благословением сердечным приветствовала пришествие мое и где ласки ее и попечения сохраняли жизнь мою. Так, здесь я наслаждаюсь бальзамом любви и нектаром дружбы; здесь я молюсь за великого гения — спасителя моего; удивляюсь добродетелям своей любимицы и утверждаю как философ, обучившийся в школе терпения, познавать всю цену жизни, что «ни равенство, ни неравенство людей не может сделать благополучными; что добродетель равно бывает подвержена бедствию, как и злодеяние; ибо жители света скорее избирают для себя путь последнего, нежели первый; более пекутся о выгодах собственных, нежели о выгодах ближнего и...». Но оставим это; я нашел мое благополучие, и вы, последователи мои, вы также можете обладать им: раскройте сердца ваши, познайте все изгибы оных, научитесь терпению и без отчаяния носите тот тяжкий крест, который определение судьбы налагает на вас: тогда вы будете истинно счастливы, тогда найдете подобию моей Вареньки, под именем которой скрывается терпение, вера, надежда, любовь, все добродетели. Она не оставила меня среди всех бедствий жизни моей, и когда я забыл в отчаянии моем спасительное их действие, будучи заключен в темницах Т..., тогда Варенька предстала предо мною и спасла меня! Помните также, что и жесточайшая адская злоба преклоняет колени свои пред кроткою невинностию!

И. И. Лажечников

СПАССКАЯ ЛУЖАЙКА

*Повесть*¹

Мы встретились в первый раз с родственником несчастного Леонса на Спасской лужайке. Не знаю, что влекло нас друг ко другу,— я почувствовал к нему какую-то взаимность; он полюбил меня!

Желтый лист падал на землю; серые тучи бежали по воздушному пространству, и скоро осень сказала нам в унылом завывании ветров. Новый знакомец поверил мне в еще время тайны осиротевшего сердца, поверил только на гробе друга. После того недолго томился он сам в бедной юдьян нашей и отдал богу душу, которая уже более года тосковала по милом, незабвенном брате.

Я расскажу вам в нескольких словах историю любви несчастного его родственника; она занимательна для сердец чувствительных.

Леонс был в Петербурге, когда пришло к нему известие о смерти матери его. Всякий сын может поверить, как сразила его сия громовая весть. Потерять вместе и друга и наставницу, разрушить так скоро все милые мечты будущего, осиротеть в таких цветущих летах было бы слишком жестоким ударом для всякого холодного сердца; посудите же о состоянии Леонса, нежного, чувствительного сына! Приятели в утешение ему говорили об оставшемся отце; а сердце несчастного молодого человека отвечало им: Леонсу быть сиротой вечно!..

Год прошумел уже свинцовыми крыльями над головою его, со времени как мать его скончалась; но милый, бледный образ ее все еще мечтался несчастному в туманном призраке; еще печальный гроб стоял в отдалении и томный голос шахоретов протягивался под мрачными сводами; еще не смел он, казалось, отнять губ своих от оледенелых уст бездальной! Искренность печали Леонсовой тронула его приятелей; они старались употребить тысячу способов на ее развлечение, тысячи путей искали к его сердцу, чтобы найти один, который мог бы возратить его свету и рассудку. Ничто не имело своего действия—и Леонс, как и прежде, остался верен своей горести.

¹ Прислужение истинное, случившееся в Польше и рассказанное мне моим приятелем, офицером русской службы, квартировавшим в тамошнем краю. Мени просил переменить место действия по причинам, которые не смею и не умею изъяснить.—А.

Вскоре случай привал его в дом г-жи Т*, богатой вдовы и соседки его по деревням. Там сердце Леонса расцвело: там Леонс почувствовал цену жизни и узнал вторично, что существо наше красится только существом другого. Он увидел Агату, милую дочь поной знакомки своей, полюбил ее и был счастлив взаимностью. Агата до семнадцатой весны своей была жива, как поднебесная ласточка: но с самой минуты, когда показала Леоне, веселость невзвешенных лет исчезла и место ее заняла кроткая унылость. Часто большие черные глаза ее с нежностью встречались со взорами молодого человека, старались убежать их и опять искали с ними встретиться. Везде находились они один для другого: во многолюдстве почитали себя только вдвоем; в уединении забывали о свете и его блестящих забавах. Г-жа Т*, хотя семь месяцев сошла в жизни своей*, была еще привязана к шумным удовольствиям и наблюдала со всею точностью приличия так называемого хорошего тона. Потому случалось нередко, что прекрасная дочь ее оставалась наедине с нашим Леонсом и старою своею теткою. Никакие тайны не были сокрыты друг от друга; упражнения, должности семейственные, забавы, труды—все было между ними в разделе; невзвешенные любовники вели даже оба в одном журнале* пронищности жизни своей. Часто тетка заставляла их в ту самую минуту, когда рука Леонсова водила нежною рукою Агаты; всегда с добродушным вырывала у наших друзей поверенные листки и находила на них следующие замечания: «В такой-то день, в такой-то час я полюбил тебя. Мне верилось тогда, что матушка с Агатой снискала мне душу свою в образе небесного жителя, и я, как добрый христианин, не отрекаюсь даже теперь от прежней веры своей». «Два сердца очень хорошо разумеют друг друга, не говоря ни слова». «В девять часов вечера ходила я с теткушкой на огров***. Самый нежный пух ложился рядами вокруг отлани догорающей зари; скоро исчез и последний румянец, рассыпалась и последние снежные облачка! — Боже! — подумала я,—мелькнут так и наши радости!.. Неужели самая любовь живет два вершка сердца на несколько минут; неужели легкая гень несчастья может разорвать союз их—и навеки! Боже! Не дай мне такой участи!.. Делить вместе и горе и наслаждение или принять на устах друга последний вздох любви и испустить на них же последний вздох жизни... вот жребий, которому я всегда завидовала!.. С этою мечтою сцепились другие, столько же горестные». Они были прерваны близкими шорохами, похожими на походку человека, желающего украситься. Я отминулась и не видела никого. Несколько времени спустя Леонс признался мне, что этот человек был он сам,—признался, как он узнал меня и в некотором расстоянии следовал за мною; как он видел меня, вопевшую в шажкем жилья богатого здания, где сокрывалась несчастья и горести одного бедного семейства. Он приметил, как проводил меня чувствительный сын больной Саары; как он из благодарности бросился к ногам моим. Я плакала и возирталась домой с сердечным удовольствием, что двух существ могла сделать счастливыми. После того целые три дни не выла

И. И. Лажечников

СПАССКАЯ ЛУЖАЙКА

*Повесть*¹

Мы встретились в первый раз с родственником несчастного Леонса на Спасской лужайке. Не знаю, что влекло нас друг ко другу, — я почувствовал к нему какую-то взаимность; он полюбил меня!

Желтый лист падал на землю; серые тучи бежали по воздушному пространству, и скоро осень сказалась нам в унылом завывании ветров. Новый знакомец поверил мне в сне время тайны осиротевшего сердца, поверил только на гробе друга. После того недолго томился он сам в бедной юдоли нашей и отдал богу душу, которая уже более года тосковала по милом, незабвенном брате.

Я расскажу вам в нескольких словах историю любви несчастного его родственника; она занимательна для сердец чувствительных.

Леонс был в Петербурге, когда пришло к нему известие о смерти матери его. Всякий сын может верить, как сразила его сия громовая весть. Потерять вместе и друга и наставницу, разрушить так скоро все милые мечты будущего, осиротеть в таких цветущих летах было бы слишком жестоким ударом для всякого холодного сердца; посудите же о состоянии Леонса, нежного, чувствительного сына! Приятели в утешение ему говорили об оставшемся отце; а сердце несчастного молодого человека отвечало им: Леонсу быть сиротой вечно!..

Год прошумел уже свинцовыми крыльями над головою его, со времени как мать его скончалась; но милый, бледный образ ее все еще мечтался несчастному в туманном призраке; еще печальный гроб стоял в отдалении и томный голос анахоретов протягивался под мрачными сводами; еще не смел он, казалось, отнять губ своих от оледенелых уст бесцельной! Искренность печала Леонсовою тронула его приятелей; они старались употребить тысячу способов на ее развлечение, тысячи путей искали к его сердцу, чтобы найти один, который мог бы возратить его свету и рассудку. Ничто не имело своего действия — и Леонс, как и прежде, остался верен своей горести.

¹ Примечание истинное, случившееся в Польше и рассказанное мне моим приятелем, офицером русской службы, квартировавшим в тамошнем краю. Меня просили перенести место действия по причинам, которые не смел и не угадать. — А.

Вскоре случай призвал его в дом г-жи Т*, богатой вдовы и соседки его по деревням. Там сердце Леонса расцвело; там Леонс почувствовала цену жизни и узнал вторично, что существо наше красится только существом другого. Он увидел Агату, милую дочь новой знакомки своей, полюбил ее и был счастлив взаимностью. Агата до семнадцатой весны своей была жива, как поднебесная ласточка; но с самой минуты, когда покатился Леонс, веселость невзвешенных лет исчезла и место ее заняла крошечная унылость. Часто большие черные глаза ее с нежностью встречались со взорами молодого человека, старались убежать их и опять искали с ними встретиться. Везде находились они один для другого; во многолюдстве почитали себя только вдвоем; в уединении забывали о свете и его блестящих забавах. Г-жа Т*, хотя семь люстров сочала в жизни своей*, была еще привязана к шумным удовольствиям и наблюдала со всею точностью приличия так называемого хорошего тона. Поэтому случалось нередко, что прекрасная дочь ее оставалась наедине с нашим Леонсом и старою своею теткою. Никакие тайны не были скрыты друг от друга; упражнения, должности семейственные, заботы, труды—все было между ними в разделе; невинные любовники вели даже оба в одном журнале* происшествия жизни своей. Часто тетка заставляла их в ту самую минуту, когда рука Леонсова водила нежною рукою Агаты; всегда с добродушным вырывала у наших друзей поверенные мистик и находила на них следующее замечание: «В такой-то день, в такой-то час я полюбил тебя. Мне верилось тогда, что матушка с Агатой спускала мне душу свою в образе небесного жителя, и я, как добрый христианин, не отрекаюсь даже теперь от прежней веры своей». «Два сердца очень хорошо разумеют друг друга, не говоря ни слова». «В девять часов вечера ходила я с тетушкой на огров***. Самый нежный пух ложился ризами вокруг отлива догорающей зари; скоро исчез и в медный румянец, рассыпался и последние снежные облачка! «Боже!—подумала я,—мелькнул так и наши радости!». Неужели самая любовь живет два верных сердца на несколько минут; неужели легкая гень несчастия может разорвать союз их—и навеки! Боже! Не дай мне такой участи!.. Делить вместе и горе и наслаждение или принять на устах друга последний вздох любви и испустить на них же последний вздох жизни... вот жребий, которому я всегда завидовала!.. С этою мечтою спешила другие, столько же горестные». Они были прерваны близкими шорохами, похожими на походку человека, желающего украситься. Я оглянулась и не увидела никого. Несколько времени спустя Леонс признался мне, что этот человек был он сам,—признался, как он узнал меня и в некотором расстоянии следовал за мною; как он видел меня, вошедшую в нижнее жильё богатого здания, где скрывались несчастия и горести одного бедного семейства. Он приметил, как проводил меня чувствительный сын больной Саары; как он из благодарности бросился к ногам моим. Я плакала и возвратилась домой с сердечным удовольствием, что двух существ могла сделать счастливыми. После того целые три дни не выку

мого Леонса, целые трое суток была я в страшном беспокойстве. Наконец он является ко мне с раскаянием и слезами и признается в своей ошибке, из которой ревность его состроила было неблагодарность и сделала бы меня навсегда несчастною. Мы оба проливали слезы — и я простила ревнивца от всего сердца».

Таким образом протекали месяцы, и любовь их день ото дня получала новую силу. Агата не смела в ней открыться матери, потому что г-жа Т*, предприняв особенные для себя правила и приучив себя почитать дочь свою ребенком, положила тем самым между собою и ею большую преграду. Для того милая Агата была гораздо искреннее с доброю теткою и не таила от ней ни одного движения души своей. Что касается до последней, то она не теряла из виду любимой родственницы и, узнав чувствования добродетельного Леонса, обещалась при благоприятном случае поговорить г-же Т* в их пользу.

Нынешний век изобрел новую любовь, называемую любовью без провождения времени. Началом ее было желание провести без скуки несколько часов и превратилось в побуждение среди занятий суетных находить занятие порочное. Поклонники ее многочисленны, считая все бездушные существа от мумии бесчувственного старика до учеников модного света. Леонс, молодой человек с умом, с чувствами, не мог не презирать сию новую любовь и для того сделал обет в сердце своем любить Агату единственно — до гроба!.. Увидим, не изменил ли он клятве своей.

Конец апреля согревался умеренным дыханием весны; ласточка прилетела на родимое гнездо и в надежде умножить семейство свое начинала устраивать для него покойную колыбель. В сие время, когда все дышит свободнее, когда все принимает новую жизнь, непостоянство нрава или некоторые затруднения по хозяйственным делам призывали г-жу Т* в подмосковную. Решено было ехать немедленно. Леонса короткою запискою уведомили о горестном отъезде и просили не покидать больную тетку, остававшуюся в городе; просили также не забывать печальную, осиротевшую Агату. Молодой человек был в отчаянии, плакал, целовал в восторге бесценные строки, ходил к доброй родственнице, говорил об Агате, возвращался домой, засыпал с мыслью об Агате и просыпался с тою же мыслью. Через несколько дней приносит на имя его другую записку в дом г-жи Т*. В ней заключалось только следующее: «Несмотря на трудность пути, на расстояние места, на новые огорчения и препятствия, не перестает думать о тебе верная по гроб

Агата».

Нельзя описать радости молодого человека. Слезы градом катились из глаз его; он стал на колени перед сестрою г-жи Т*, положил ее руки в свои, прижимал их к своему сердцу и расстался с нею не прежде полуночи.

Но радости мелькают в сем мире, как метеоры! Проходили недели, и в грудь нашего Леонса вкралась скука—собеседница разлуки; прошли месяцы, и он узнал, как тяжело быть разделену дальностию мест с любезным нам существом. Воспоминания о прошедшем не имели уже для него тех живых красок, которыми любил он отгнать картину жизни своей; и самая надежда уже изредка улыбалась ему в будущем. Вы знаете, что неизвестность мучительнее самого несчастного опыта,—больно, очень больно любить, не зная, любят ли еще нас!.. Письмо от отца вывело его из глубокой задумчивости, в которую он был погружен с жестокой минуты горестного разлучения и в уединении и в кругу приятелей. Сим письмом призывали его немедленно в деревню. Леонс привык повиноваться. Он прощается с друзьями, которых добрая, чувствительная душа найдет и между холодных юрт лапландцев: прощается с мирными пенатами хижины своей и отправляется в назначенный путь с каким-то неизвестным предчувствием.

Что растолковал ему опыт в сем предчувствии? Что ожидало Леонса в доме родительском? отгадаете ли?.. Объятия отца, нового супруга, приветствия мачехи и взор, печальный, угасающий взор Агаты!.. Леонс не хочет верить глазам своим, отказывается доверять слуху; но Леонс не может не верить сердцу своему, никогда не лживому, никогда не выдающему обман за истину. Бледный, трепещущий, как приговоренный к смерти преступник, он принимает без всякого участия ласки отца и бывшей г-жи Т*, новой супруги его. «Братец!..» — сказала Агата, и слезы помешали ей говорить. Несчастный чувствовал слишком много значение этого слова, и действие, какое произвела над ним сия неожиданная сцена, было самое ужасное. Можно поставить себя на его месте! Если бы вы любили так истинно, так страстно, как любил Леонс; если бы та, которая составляла для вас все счастье в мире, с невинною душою, с любовью на глазах прижала вас к груди своей; вы слышали бы трепетание робкого сердца, принимали бы изменяющееся ее дыхание — и если бы в сию минуту грозная, сильная рука вырвала милою из объятий ваших и показала бы вам ее вдали, в цепях, без надежды соединения: скажите, что происходило бы тогда в душе вашей?.. Ах! Когда можно было бы не любить, кто велел бы нам, минутным прищельцам на сей непостоянной земле, кто велел бы нам предать сердце свое столь быстрым радостям любви? Через несколько часов оказались в Леонсе сильные признаки горячки. Во все время болезни его несчастная Агата не отходила от него ни на минуту, а когда советовали ей поберечь себя, она говорила: «С братцем умереть мне приятнее, нежели жить без него!..»

Сила искусства, попечения родства и, наконец, искренние молитвы любви возвратили Леонса к жизни; но что значит жить без надежды? — Быть мертвым, только не в гробе!.. Несчастный, выздоровев, не мог излечиться от страсти своей; напротив того, благодарность, присоединившись к ней в сердце, еще более раздула пламя ее. С своей сто-

роны Агата не могла таить чувствований своих к молодому человеку.

Жилница несчастных любовников лежала на берегу Москвы-реки. На противной стороне закрывался небосклоном шумный сосновый бор, из которого протягивалась на немалое расстояние прямая аллея и примыкала к древнему саду с кладбищем. Спасская лужайка служила опушкой сему бору и красилась лесочком, в котором дрожали осины, слетавшись дружно с могучим вязом, образовали уединенный круг. Здесь в сумраке вечера бродил всякой день Асене; сюда-то уносил он от взоров людей, равнодушных к его горестям, сюда-то уносил он страсть безнадежную. Часто зари заставляла слезы на глазах его; иногда под окнами милой Агаты слышными были звуки любимой песни. Звуки были самые трогательные!.. Вот некоторые куплеты, удержанные в памяти его родственником:

Судьбы определенье
Ведит тебя забыть!..
Уже ли преступаешь
Любезное любить!..

Что мнения людские?
Что света нам слова?
Природа нам святые
Свои дала права.

Природа нам велела
Друг друга ввек любить:
Ужель она хотела
Преступников творить?

Товарищ сердцу верный,
О Спасский зирный луг!
Не здесь, в сей жизни бедной,
Но там живет мой дух.

Нередко бури осенние заставляли его на Спасской лужайке: завывали встры, сверкали молнии — и он, как бедный изгнанник из отеческого жилница, молил небеса сразить его последним ударом. Но небеса были глухи к мольбам и берегли его для новых страданий.

Вскоре отец приметил к Агате страсть его и решил соорудить план для ее разрушения. Беатусов, молодой сосед их, был принят в дом как человек богатый, обладающий несколькими винокуренными заводами, несколькими стаями Дианной прислуги*, как автомат, играющий довольно важную роль в модном свете, и, наконец, как жених Агаты. Ей предложили руку простодушного Беатусова. Власть, законы, страх — все

было употреблено для вынуждения у нее согласия. «Даво руку, но не сердце!»—сказала она матери и почти решилась жертвовать всем жестокому долгу.

Ничто не утилось от страстного Леонса: он обо всем известен. Он хочет навсегда удалиться от милой Агаты, но прежде требует у нее свидания. Она должна прийти одна, без проводника, без помощи!.. Можно ли отказать последнее *прости* тому, для кого жила и хотела умереть?.. И где ж, в какое время назначено видеться? Боже! Что делает твоё создание в иступлении страсти?.. Глухая полночь, осенняя непогода, волнующаяся река должны быть свидетелями последних клятв, последнего вздоха любви!.. Челнок и верный друг Агаты приняли ее у берега.

— Любишь ли ты еще меня?—спросил несчастный дрожащим голосом.

— Боже! Скажи ему, люблю ли я Леонса!—отвечала она и крепко прижалась к груди его.

Он трепетал, лихорадка струилась по его жилам.

— Милый друг! боишься ли ты смерти?—сказал он голосом иступления.

— Смерти? С тобою... Нет!

— До гроба—клятва наших сердец! Умрем вместе, когда мы не могли вместе жить!..

— Готова, мой друг!.. Навеки твою!..

Чуть слышал он роковые *навек*, чуть слышал, как она молчалась в его объятиях... и имела еще силу оттолкнуть углубленную ладью от берега, имела еще дух стать на один край ее... С этим движением челнок опрокинулся... легкий шорох ... еще шорох... все утихло!.. Один гений преступления летал тогда над зыблущимся гробом несчастных любовников. Говорят, что он и поднес на том же самом месте виден, в слезах молящим небо простить двум жертвам любви. На другой день нашли тела злополучных друзей, вместе плывущие над водами. Руки бедной Агаты оплелись вокруг Леонсова стана; черты лица на обоих выражали одну горесть и, казалось, упрекали людей в их жестокости. Лесок Спасской лужайки осенял их могилу. Дрожащие осины стонут и теперь над прахом их и напоминают бедному страннику о непостоянстве жизни, в которой судьба почти всегда ставит мрачный гроб подле цветущей розы и там, где мы надеялись улыбаться, велит проливать горькие слезы.

роны Агата не могла таить чувствований своих к молодому человеку.

Жилнице несчастных любовников лежало на берегу Москвы-реки. На противной стороне закрывался небосклонном шумный сосновый бор, из которого протягивалась на немалое расстояние прямая аллея и примыкала к древнему саду с кладбищем. Спасская лужайка служила опушкой сему бору и красилась лесочком, в котором дрожащие осины, сплетшись дружно с могучим вязом, образовали удлиненный круг. Здесь в сумраке вечера бродил всякой деть Леонс; сюда-то уносил он от взоров людей, равнодушных к его горестям, сюда-то уносил он страсть безнадежную. Часто зря заставала слезы на глазах его; иногда под окнами милой Агаты слышны были звуки любимой песни. Звуки были самые трогательные!.. Вот некоторые куплеты, удержанные в памяти его родственником:

Судьбы определенье
Ведит тебя забыть!..
Уже ли преступленья
Любезное любить?..

Что мнени людские?
Что света нам слова?
Природа нам святые
Свои дала права.

Природа нам велела
Друг друга ввек любить:
Ужель она хотела
Преступников творить?

Товарищ сердцу верный,
О Спасский мирный дуг!
Не здесь, в сей жизни бедной,
Но там живет мой дух.

Нередко бури осенние заставляли его на Спасской лужайке: завывали ветры, сверкали молнии — и он, как бедный изгнанник из отеческого жилища, молил небеса сразить его последним ударом. Но небеса были глухи к мольбам и берегли его для новых страданий.

Вскоре отец приметил к Агате страсть его и спешил состроить план для ее разрушения. Беатусов, молодой сосед их, был принят в дом как человек богатый, обладающий несколькими винокуренными заводами, несколькими стаями Дианшиной прислуги*, как автомат, играющий довольно важную роль в модном свете, и, наконец, как жених Агаты. Ей предложили руку простодушного Беатусова. Власть, законы, страх — все

было употреблено для выпуждения у нее согласия. «Дая руку, но не сердце!»—сказала она матери и почти решилась жертвовать всем жестокому долгу.

Ничто не утало от страстного Леонса; он обо всем известен. Он хочет навсегда удалиться от милой Агаты, но прежде требует у нее свидания. Она должна прийти одна, без проводника, без помощи!.. Можно ли отказать последнее *прости* тому, для кого жила и хотела умереть?.. И где ж, в какое время назначено видеться? Боже! Что делает твое создание в иступлении страсти?.. Глухая полночь, осенняя непогода, волнующаяся река должны быть свидетелями последних клятв, последнего вздоха любви!.. Челнок и верный друг Агаты приняли ее у берега.

— Любишь ли ты еще меня?—спросил несчастный дрожащим голосом.

— Боже! Скажи ему, люблю ли я Леонса!—отвечала она и крепко прижалась к груди его.

Он трепетал, лихорадка струилась по его жилам.

— Милый друг! боишься ли ты смерти?—сказал он голосом преступника.

— Смерти? С тобою... Нет!

— До гроба—клятва наших сердец! Умрем вместе, когда мы не могли вместе жить!..

— Готова, мой друг!.. Навеки твой!..

Чуть слышал он роковые *навеки*, чуть слышал, как она молилась в его объятиях... и имел еще силу оттолкнуть углую ладью от берега, имел еще дух стать на один край ее... С этим движением челнок опрокинулся... легкий шорох ... еще шорох... все утихло!.. Один гений преступления летал тогда над зыбущимся гробом несчастных любовников. Говорит, что он и поднесь на том же самом месте виден, в слезах молящим небо простить двум жертвам любви. На другой день нашли тела злопущных друзей, вместе плывущие над водами. Руки бедной Агаты оплелись вокруг Леонсова стана; черты лица на обоих выражали одну горесть и, казалось, упрекали людей в их жестокости. Лесок Спасской дужайки осенил их могилу. Дрожащие осины стонут и теперь над прахом их и напоминают бедному страннику о непостоянстве жизни, в которой судьба почти всегда ставит мрачный гроб подле цветущей розы и там, где мы надеялись улыбаться, целит проливать горькие слезы.

КОММЕНТАРИИ

В настоящем издании представлены русские сентиментальные повести, написанные в период между началом 70-х годов XVIII века и 1812 годом. Выбор повествовательного жанра объясняется тем, что именно в нем в наибольшей степени отразилась специфика русского сентиментализма как литературного направления.

Материал сборника расположен в хронологической последовательности, что дает возможность проследить историю жанра от первых до последних его образцов. В комментариях представлены: биографические сведения об авторе, источник публикации произведения, примечания к тексту и три словаря — именной, мифологических имен и названий и словарь устаревших слов. Издатели XVIII века не всегда называли авторов публикуемых ими произведений, отсюда несколько анонимных повестей и в данном сборнике.

Большая часть произведений печатается по первому и, как правило, единственному их изданию. Немногие отступления от этого принципа специально оговорены в примечаниях.



Сказка «Коллин и Лиза» напечатана в журнале «Вечера», 1772, ч. I. Автор неизвестен.

П. Ю. ЛЬВОВ

Павел Юрьевич Львов родился в 1770 году в Рязанской губернии. Происходил из дворянской семьи. Воспитывался в Московском университетском пансионе. Начал службу в гвардии, затем вышел в отставку и был несколько лет губернским прокурором в Петербурге. Умер в 1825 году.

В литературе Львов известен как писатель-сентименталист. В 1789 году вышел его роман в двух частях «Российская Памела, или История Марии, добродетельной поселеники»; в 1790 году — повесть «Роза и Любим» и в 1801 году — повесть «Александр и Юлия». Его перу принадлежат также следующие работы по русской истории: «Храм славы российских героев от времен Гостомысла до царствования Романовых» (1803) (в 1822 году вышло второе издание этой книги под названием «Храм славы великих россиян»); «Пожарский и Минин — спасители отечества» (1810); «Боярин Матвеев» (1815); «Достопамятное повествование о великих государях и знаменитых боярах XVII века» (1821). Кроме того, многие произведения Львова печатались в журналах «Зеркало света», «Северный архив», «Отечественные записки» и др.

Роза и Любим. Спб., 1790.

Стр. 33. *Д.и.р.* — имеется в виду Иван Иванович Дмитриев (1760—1837), поэт-сентименталист, единомышленник и друг Н. М. Карамзина.

Прелесты и Пленницы— условные имена героинь-красавиц в русской поэзии конца XVIII—начала XIX века.

И. Ф. Шмидт(ов)—возможно, имеется в виду немецкий писатель Фридрих Вильгельм Август Шмидт (1764—1838), автор идиллий.

...Филиппе, отец российской Памелы...—один из героев романа П. Ю. Львова «Российская Памела, или История Марии, добродетельной поселянки» (1789), однодворец Филипп, отец Марии (она же «российская Памела»), героини этого произведения.

Даша, деревенская девушка—напечатана в журнале «Новости русской литературы», ч. 6. М., 1803.

Стр. 68. *...женским мудрецам написанной...*—Ж.-Ж. Руссо, уроженец Женевы.

...рихардствою Памелы...—Памела, героиня одноименного романа английского писателя XVIII века Самюэля Ричардсона.

М. Н. МУРАВЬЕВ

Михаил Никитич Муравьев родился 25 октября 1757 года в Смоленске, в семье военного инженера. Учился в гимназии при Московском университете, затем был зачислен в Московский университет, но через несколько месяцев по семейным обстоятельствам вынужден был оставить его. С 1772 года находился на военной службе, которую начал солдатом Измайловского полка, а закончил бригадиром. В 1785 году был назначен наставником пансионеров князей—Константина и Александра, преподавал им русскую словесность, историю и нравственную философию. В 1800 году получил чин сенатора, а в 1803 году был назначен товарищем министра народного просвещения и попечителем Московского университета. На этих постах Муравьеву удалось сделать много полезного для развития в России наук и образования. Умер 29 июля 1807 года.

Литературная деятельность Муравьева отличается переходным характером. Он начал ее как правверный классицист сборниками «Басни в стихах» (1773), «Оды» (1775), а закончил стихотворениями и повестями в духе сентиментализма. Его повести «Обитель предместий» и «Эмилиевы письма» (1790) предвосхищают прозу Карамзина.

Обитель предместия—первоначально повесть печаталась в «Периодических листах», предназначенных для учебных занятий Муравьева с великими князьями. Материал в ней расположен по пятницам каждой недели, начиная с первой пятницы августа 1790 года и кончая первой пятницей ноября того же года. В 1810 году повесть была вторично опубликована Н. М. Карамзиным. Печатается по: Муравьев М. Н. Полн. собр. соч., ч. 1. Спб., 1820.

Стр. 70. *Хотелось мне иметь землицы угол...*—начало VI сатиры Горация из II книги «Сатир», переведенное М. Н. Муравьевым.

Стр. 73. *... капитану-командору...*—капитан-командор в России XVIII века—флотский чин между капитаном I-го ранга и контр-адмиралом 4-й степени.

...не имел счастья сражаться на Ревельском рейде или в заливе Выборгском.—Имеются в виду морские сражения, имевшие место во время русско-шведской войны 1788—1790 годов.

Стр. 76. *... славаго стихотворца...*—имеется в виду поэт Василий Иванович Майков (1728—1778).

Мемель, Ковала, Пумахалунд, Саватайпаль—места, где происходили военные сражения в русско-шведской войне 1788—1790 годов.

Стр. 77. *Бавкида*—героиня одной из «метаморфоз» («Филимон и Бавкида») римского поэта Овидия (I в. до н. э.). Ее имя и имя ее мужа Филимона сделались нарицательными именами идеальных супругов.

Стр. 80. *... при осаде Трои.*—Имеется в виду завоевание греками в конце XIII или в начале XII в. до н. э. города Трои, расположенного на северо-западе Малой Азии.

КОММЕНТАРИИ

В настоящем издании представлены русские сентиментальные повести, написанные в период между началом 70-х годов XVIII века и 1812 годом. Выбор повествовательного жанра объясняется тем, что именно в нем в наибольшей степени отразилась специфика русского сентиментализма как литературного направления.

Материал сборника расположен в хронологической последовательности, что дает возможность проследить историю жанра от первых до последних его образцов. В комментариях представлены: биографические сведения об авторе, источник публикации произведения, примечания к тексту и три словаря—именной, мифологических имен и названий и словарь устаревших слов. Издатели XVIII века не всегда называли авторов публикуемых ими произведений, отсюда несколько анонимных повестей и в данном сборнике.

Большая часть произведений печатается по первому и, как правило, единственному их изданию. Немногие отступления от этого принципа специально оговорены в примечаниях.

Сказка «Колли и Лиза» напечатана в журнале «Вечера», 1772, ч. I. Автор неизвестен.

П. Ю. ЛЬВОВ

Павел Юрьевич Львов родился в 1770 году в Рязанской губернии. Происходил из дворянской семьи. Воспитывался в Московском университетском пансионе. Начал службу в гвардии, затем вышел в отставку и был несколько лет губернским прокурором в Петербурге. Умер в 1825 году.

В литературе Львов известен как писатель-сентименталист. В 1789 году вышла его роман в двух частях «Российская Памела, или История Марии, добродетельной поселки»; в 1790 году— повесть «Роза и Любим» и в 1801 году— повесть «Александр и Юлия». Его перу принадлежат также следующие работы по русской истории: «Храм славы российских героев от времен Гостомысла до царствования Романовых» (1803) (в 1822 году вышло второе издание этой книги под названием «Храм славы великих россиян»); «Пожарский и Минин—спасители отечества» (1810); «Боярин Матвеев» (1815); «Достопамятное повествование о великих государях и знаменитых боярах XVII века» (1821). Кроме того, многие произведения Львова печатались в журналах «Зеркало света», «Северный архив», «Отечественные записки» и др.

Роза и Любим. Спб., 1790.

Стр. 33. Д.и.в.—имеется в виду Иван Иванович Дмитриев (1760—1837), поэт-сентименталист, единомышленник и друг Н. М. Карамзина.

Прелесты и Пленницы— условные имена героинь-красавиц в русской поэзии конца XVIII—начала XIX века.

И. Ф. Шмит(т)—возможно, имеется в виду немецкий писатель Фридрих Вильгельм Август Шмитт (1764—1838), автор идиллий.

...Филипп, отец российской Памелы...— один из героев романа П. Ю. Львова «Российская Памела, или История Марии, добродетельной поселанки» (1789), однодворец Филипп, отец Марии (она же «российская Памела»), героини этого произведения.

Даша, деревенская девушка— напечатана в журнале «Новости русской литературы», ч. 6. М., 1803.

Стр. 68. *...женевским мудрецом написанной...*— Ж.-Ж. Руссо, уроженцем Женевы.

...ричардсоновой Памеле...— Памела, героиня одноименного романа английского писателя XVIII века Самюэля Ричардсона.

М. Н. МУРАВЬЕВ

Михаил Никитич Муравьев родился 25 октября 1757 года в Смоленске, в семье военного инженера. Учился в гимназии при Московском университете, затем был зачислен в Московский университет, но через несколько месяцев по семейным обстоятельствам вынужден был оставить его. С 1772 года находился на военной службе, которую начал солдатом Измайловского полка, а закончил бригадиром. В 1785 году был назначен наставником великих князей—Константина и Александра, преподавал им русскую словесность, историю и нравственную философию. В 1800 году получил чин сенатора, а в 1803 году был назначен товарищем министра народного просвещения и полемическим Московского университета. На этих постах Муравьеву удалось сделать много полезного для развития в России наук и образования. Умер 29 июля 1807 года.

Литературная деятельность Муравьева отличается переходным характером. Он начал ее как правоверный классицист сборниками «Басни в стихах» (1773), «Оды» (1775), а закончил стихотворениями и повестями в духе сентиментализма. Его повести «Обитатель предместия» и «Эмануэлы письма» (1790) предвосхищают прозу Карамзина.

Обитатель предместия— первоначально повесть печаталась в «Периодических листах», предназначенных для учебных занятий Муравьева с великими князьями. Материал в ней расположен по пятницам каждой недели, начиная с первой пятницы августа 1790 года и кончая первой пятницей ноября того же года. В 1810 году повесть была вторично опубликована Н. М. Карамзиным. Печатается по: Муравьев М. Н. Полн. собр. соч., ч. 1. Спб., 1820.

Стр. 70. *Хотелось мне иметь землицы эолов...*— начало VI сатиры Горация из II книги «Сатурн», переведенное М. Н. Муравьевым.

Стр. 73. *... капитану-командору...*— капитан-командор в России XVIII века— флотский чин между капитаном I-го ранга и контр-адмиралом 4-й степени.

...не имея счастья сражаться на Ревельском рейде или в заливе Выборгском.— Имеются в виду морские сражения, имевшие место во время русско-шведской войны 1788—1790 годов.

Стр. 76. *... славного стихотворца...*— имеется в виду поэт Василий Иванович Майков (1728—1778).

Мемель, Коваля, Пумалазунд, Саватайпал— места, где происходили военные сражения в русско-шведской войне 1788—1790 годов.

Стр. 77. *Бавкида*— героиня одной из «метаморфоз» («Филимон и Бавкида») римского поэта Овидия (I в. до н. э.). Ее имя и имя ее мужа Филимона сделались нарицательными именами идеальных супругов.

Стр. 80. *... при осаде Трои.*— Имеется в виду завоевание греками в конце XIII или в начале XII в. до н. э. города Трои, расположенного на северо-западе Малой Азии.

Стр. 82. ... из *Танкред* или *Мероп*...—Танкред, —Мероп— трагедии французского писателя-просветителя Вольтера.

Стр. 84. *Уналашка (Уналакска)*—один из Алеутских островов в Тихом океане.

Стр. 85. ... *Пенео быстрый ток*.—Пеней—река в Греции.

Фессалия—область на северо-востоке Греции, население которой в древности занималось скотоводством и земледелием.

Н. М. КАРАМЗИН

Николай Михайлович Карамзин (1766—1826)—известный писатель-сентименталист. Родился в Симбирской губернии, в семье небогатого дворянина. После домашнего обучения воспитывался в частных пансионах Симбирска и Москвы. В 1785 году сблизился с московскими масонами и был принят в их организацию. Вместе с А. А. Петровым, также масоном, редактировал журнал «Детское чтение для сердца и разума» (1785—1789). В 1789 году Карамзин навсегда порывает с масонами и отправляется в заграничное путешествие (с мая 1789 по сентябрь 1790 года).

В 1791—1792 годах издает «Московский журнал», в котором печатает «Письма русского путешественника», «Бедную Лизу», «Наталью, боярскую дочь» и другие произведения. Журнал Карамзина утверждал новое в России литературное направление—сентиментализм. В 1794 году выходит альманах Карамзина «Аглая», а в 1797—1799 годах—стихотворный альманах «Аониды» (в трех частях).

В 1801—1802 годах Карамзин издавал литературно-политический журнал «Вестник Европы», где печатались его художественные произведения («Марфа-посадница», «Рыцарь нашего времени» и некоторые другие) и статьи общественно-политического характера. В 1803 году Карамзин получает звание историографа и начинает работу над «Историей Государства Российского». Первые восемь томов ее вышли в 1818 году. Последний, двенадцатый том был посвящен истории Смутного времени. Умер Карамзин в Петербурге в 1826 году.

Евгений и Юлия—повесть напечатана в журнале «Детское чтение для сердца и разума», 1789, ч. XVIII.

Бедная Лиза—повесть впервые появилась в «Московском журнале», ч. V, кн. 3. М., 1792. Печатается по тексту последнего прижизненного издания Сочинений Карамзина 1820 года.

Стр. 95. ... в стенах опустевшего монастыря...—во время чумной эпидемии 1771 года Симонин монастырь был превращен в лазарет. После этого он ряд лет бездействовал и был восстановлен как монастырь только в 1795 году.

Юлия—повесть напечатана отдельной книжкой в 1796 году.

Стр. 107. ... *наемного софмейстера*...—гофмейстер—придворный чин, введен в России в XVIII веке. Гофмейстеры управляли дворцовым хозяйством и штатом придворных, ведали придворным церемониалом.

... *сусальное золото*...—тончайшие металлические листы золотистого цвета; изготавливаются из различных сплавов, которые своим цветом имитируют золото. Употребляются в декоративных целях. Здесь в значении: не настоящее, искусственное.

Стр. 110. *Феникс*—мифологическая бессмертная птица, возрождающаяся из собственной погребальной пещеры.

... *ловчих Дидон*—Дидона—героиня поэмы римского поэта Вергилия (70—19 годы до н. э.) «Энеида», карфагенская царица, влюбленная в троянского героя Энея и покинутая им.

Стр. 111. ... *сидна*—Здесь в значении «ловитая змея».

Стр. 112. «*Новый Элоиза*»—роман французского просветителя XVIII века Ж.-Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» (1761).

Стр. 116. «Эмиль» — книга единственная в своем роде — имеется в виду педагогический трактат Ж.-Ж. Руссо «Эмиль, или О воспитании» (1761), в котором автор отстаивает педагогические принципы, опирающиеся на законы природы.

А. И. КЛУШИН

Александр Иванович Клаушин родился в 1763 году в дворянской семье. Службу начал в канцелярии орловского помещика князя Н. В. Репнина. Недолго был на военной службе. С 1790 года живет в Петербурге. Близко сходится с И. А. Крыловым, издает вместе с ним сатирический журнал «Зритель» (1792), сотрудничает в журнале «Санктпетербургский Меркурий» (1793). С 1793 по 1798 год снова живет в Орле, затем переезжает в Петербург, где служит сначала цензором при русском театре, а затем инспектором русской группы. Умер в 1804 году.

Творчество Клаушина носит экзактический характер. Оды и пьесы его написаны в классицистической манере, а повесть «Несчастный М-я» — типично сентиментальное произведение.

Несчастный М-я — первоначально повесть напечатана в журнале «Санктпетербургский Меркурий», ч. 1. Спб., 1793. Отдельное издание под названием «Вертеровы чувствования, или Несчастный М., оригинальный анекдот» вышло в 1802 году. В настоящем издании печатается журнальный текст. Прототипом героя повести были разночинец Маслов, судьба которого и описана в произведении Клаушина.

Стр. 124. «Вертер» и «Новая Элоиза» лежали на тающейся гряде его. — Вертер, точнее «Страдания молодого Вертера» — роман немецкого писателя И. В. Гёте; «Юлия, или Новая Элоиза» — роман французского писателя-просветителя Ж.-Ж. Руссо. Оба романа считались образцовыми произведениями западноевропейского сентиментализма.

Стр. 134. ... Шарлотты... — Шарлотта — героиня романа «Страдания молодого Вертера», в которую влюблен Вертер.

Н. С. СМІРНОВ

Николай Семенович Смирнов родился в 1767 году в семье крепостного крестьянина. Отец Смирнова был управляющим всеми вотчинами и имениями князя А. М. Голицына и жил вместе с семьей в Москве. Это дало ему возможность дать сыну хорошее образование, сначала домашнее, а потом в университете, который Н. С. Смирнов посещал «приватно», по особому разрешению директора. Кроме французского и итальянского Смирнов изучал также и английский язык. Тяготясь крепостной зависимостью, Смирнов хотел выкупиться у князей Голицыных на волю, но получил отказ. Тогда он попытался бежать за границу, но был пойман и по решению суда приговорен к смертной казни. Позже Екатерина II «помиловала» Смирнова, и он был отправлен на солдатскую службу в Сибирь. Здесь Смирнов печатает свои стихотворные и прозаические произведения в журнале «Иртыш», превращающийся в «Инокрену», затем посылает их в Москву, в журнал «Приятное и полезное препровождение времени» под псевдонимом «Давур Номоно». Первая часть этого псевдонима указывала на одно из местопребываний автора — Давуру, вторая — была переводом его фамилии на монгольский язык. В последние годы жизни Смирнов был зачислен в штат казенной фабрики в Иркутске. Умер в 1800 году тридцати трех лет от роду.

Зара — повесть напечатана в журнале «Приятное и полезное препровождение времени», ч. V. М., 1795. В примечании к повести Смирнов дал следующую справку: «Это ни сочинение, ни перевод. Я читал Рейнахву (Рейнахеву. — П.О.) «Историю обеих Индий» и нашел в ней анекдот этот, в шести или семи строках замыкавшийся. Он столько порадовал меня, что я, закрывши книгу, написал его по-русски, но ничего не знаясь от Рейнахи, кроме основы. Думаю, не поставя мне в грех, что я героям происшедшего сего дал имена».

Стр. 142. ... с матерой земли... — с материка.

В. В. ИЗМАЙЛОВ

Владимир Васильевич Измайлов родился 5 мая 1773 года в Москве. Получил хорошее домашнее образование; владел несколькими иностранными языками: французским, немецким, английским и латинским. Недолго служил в гвардии, затем вышел в отставку и посвятил себя занятиям литературой. Свои произведения печатал в журналах «Приятное и полезное препровождение времени», «Вестник Европы», «Новости русской литературы», «Московский телеграф», а также в альманахе Карамзина «Аонида». В 1804 году сам издавал журнал «Патриот», а в 1827 году — альманах «Литературный музей». Умер 4 апреля 1830 года в Москве.

По характеру литературной деятельности Измайлов принадлежит к школе Карамзина, под непосредственным влиянием которого написаны такие произведения, как «Ростовское озеро» (1795) и «Путешествие в полуденную Роксию» (1800—1802). Кроме того, Измайлов известен как переводчик французских писателей XVIII—начала XIX века Ф. П. Сегюра, Ф. Р. Шатобриана, Ж.-Ж. Руссо.

Ростовское озеро — повесть была напечатана в журнале «Приятное и полезное препровождение времени», ч. V—VI. М., 1795.

Стр. 144. ...*прогуливался я по берегу Ростовского озера.*...Ростовское озеро (Неро) находится в Ярославской области. Вблизи озера — г. Ростов.

...*посылать новую Юлию, сам быть вторым Сен-Прес.*...героиня и герой романа Ж.-Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза».

Прекрасная Татьяна, живущая у подошвы Воробьевых гор — повесть напечатана в журнале «Патриот», 1804, февраль.

Парамон и Варенька — повесть напечатана в журнале «Муза», ч. I. Спб., 1796. Автор неизвестен.

Стр. 172. ...*против великого неприятеля.*...то есть шведского короля Карла XII, разбитого Петром I в 1709 году под Полтавой.

Г. П. КАМЕНЕВ

Гавриил Петрович Каменев родился 3 февраля 1772 года в Казани, в богатой купеческой семье. Семь лет от роду остался круглым сиротой. Воспитывался в немецком пансионе Вельфинга, в котором обучались дети казанских дворян. Здесь он хорошо овладел немецким языком и перевел поэму Соломона Гесснера «Авелева смерть». Позже Каменев входит в литературный кружок, участниками которого были казанские писатели Н. С. Арцыбашев, И. И. Чернявский, С. А. Москотильников. С последним у Каменева установились прочные дружеские отношения. Москотильников помог ему завязать знакомство с московскими и петербургскими издателями и писателями.

В 1796 году Каменев поместил в петербургском журнале «Муза» восемь стихотворений и несколько повестей. В 1799 году он побывал в Москве, где познакомился с Н. М. Карамзиным, И. И. Дмитриевым, В. В. Измайловым и издателем журнала «Иппокрена» П. А. Сохацким. В 1802 году в Петербурге был принят в члены «Вольного общества любителей словесности, наук и художества». Однако здоровье Каменева было подорвано, и 25 июля 1802 года он скончался в Казани. «Вольное общество» по случаю его кончины объявило трехнедельный траур и поместило в первой части своего «Периодического издания» за 1804 год четыре его произведения, и среди них — поэму «Громвал» и сентиментальную повесть «Иниа».

София—повесть напечатана в журнале «Муза», ч. 1. Спб., 1796.

Стр. 186. *Я почувствовал нечто оссианское...*—имеются в виду популярные в XVIII веке песни полумифического шотландского барда Оссиана, изданные шотландским поэтом Макферсоном в 1762—1765 годах. В песнях Оссиана воспевались подвиги отважных героев древности, события разшиались на фоне мрачного северного пейзажа.

Иinna—новсть напечатана в «Периодическом издании Вольного общества любителей словесности, наук и художества», ч. 1. Спб., 1804.

Стр. 186. *...монастырь Х...ч...ский...*—имеется в виду Кизический монастырь в Казани. Каменев любил посещать кладбище, расположенное около него. На этом кладбище он и был похоронен.

П. И. ШАЛИКОВ

Петр Иванович Шаликов, князь, родился в 1767 (1768) году, в семье кавалерийского офицера. Впоследствии и сам Шаликов служил в кавалерии, даже участвовал в штурме Очакова. В конце 1790-х годов вышел в отставку и поселился в Москве. Печататься начал с 1796 года в журнале «Приятное и полезное препровождение времени». С 1798 по 1801 год вышли три сборника его стихотворений под названием «Плод свободных чувствований», в 1802—1804 годах—две части «Путешествия в Малороссию», в 1804 году—«Другое путешествие в Малороссию» и в 1817 году—«Путешествие в Кронштадт», написанные под непосредственным влиянием «Писем русского путешественника» Карамзина. В 1819 году вышли «Повести» Шаликова и «Собрание сочинений» (2 части). Он издавал также два журнала: «Московский зритель» (1806) и «Аглая» (1808—1812). С 1813 по 1837 год был редактором газеты «Московские ведомости», а с 1823 по 1833 год редактировал «Дамский журнал». Умер 16 февраля 1852 года.

По характеру своего творчества Шаликов—типичный эпигон сентиментализма. Его произведения отличались пресувличенной, безвкусной чувствительностью и вызвали в свое время справедливые насмешки современников.

Темная роща, или Памятник нежности—печатается по тексту, представленному в книге «Повести князя Шаликова». М., 1819.

М. В. СУШКОВ

Михаил Васильевич Сушков родился в 1775 году. Его отец в царствование Павла I был симбирским губернатором; мать—писательница и переводчица. В 1792 году в журнале «Дело от бедаль» были напечатаны стихотворные произведения Сушкова (оды, шарady, алгорифмы), а также переведенная с французского языка «Полная баснословная история» в трех частях, содержавшая в себе сведения по греческой мифологии. В этом же году Сушков (шестнадцати лет от роду) покончил жизнь самоубийством. В 1801 году вышло в свет лучшее произведение молодого автора—повесть «Российский Вертер». В 1803 году его брат, Николай Васильевич Сушков, издал стихотворные произведения покойного—«Память брату, или Собрание сочинений и переводов Михайлы Сушкова».

Российский Вертер—повесть вышла отдельной книгой в 1801 году.

Стр. 203. *Я читал «Российскую Памелу»...*—имеется в виду роман П. Ю. Львова «Российская Памела» (1789).

...якоже модничника...—имеется в виду роман Гёте «Страдания молодого Вертера» (1774).

...все писания сорбонских учителей...—то есть профессоров одного из старейших университетов Франции—Сорбонны, основанного в 1253 году.

Стр. 206. *...сказно на общем лице...*—то есть не обращая ни к кому в отдельности.

Стр. 222. *...английская трагедия Катон...*—трагедия английского просветителя Д. Аддисона «Катон» (1713).

В. В. ИЗМАЙЛОВ

Владимир Васильевич Измайлов родился 5 мая 1773 года в Москве. Получил хорошее домашнее образование; владел несколькими иностранными языками: французским, немецким, английским и латинским. Недолго служил в гвардии, затем вышел в отставку и посвятил себя занятиям литературой. Свои произведения печатал в журналах «Приятное и полезное препровождение времени», «Вестник Европы», «Новости русской литературы», «Московский телеграф», а также в альманахе Карамзина «Аониды». В 1804 году сам издавал журнал «Патриот», а в 1827 году — альманах «Литературный музей». Умер 4 апреля 1830 года в Москве.

По характеру литературной деятельности Измайлов принадлежит к школе Карамзина, под непосредственным влиянием которого написаны такие произведения, как «Ростовское озеро» (1795) и «Путешествие в полуценную Россию» (1800—1802). Кроме того, Измайлов известен как переводчик французских писателей XVIII—начала XIX века Ф. П. Сегюра, Ф. Р. Шагобриана, Ж.-Ж. Руссо.

Ростовское озеро—повесть была напечатана в журнале «Приятное и полезное препровождение времени», ч. V—VI. М., 1795.

Стр. 144. ...*прогуливаясь я по берегу Ростовского озера...*—Ростовское озеро (Неро) находится в Ярославской области. Вблизи озера—г. Ростов.

...*поселять новую Юлию, сам быть вторым Сен-Пре...*—героиня и герой романа Ж.-Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза».

Прекрасная Татьяна, живущая у подошвы Воробьевых гор—повесть напечатана в журнале «Патриот», 1804, февраль.



Парамон и Варенька—повесть напечатана в журнале «Муза», ч. I. Спб., 1796. Автор неизвестен.

Стр. 172. ...*против великого неприятеля...*—то есть шведского короля Карла XII, разбитого Петром I в 1709 году под Полтавой.

Г. П. КАМЕНЕВ

Гавриил Петрович Каменев родился 3 февраля 1772 года в Казани, в богатой купеческой семье. Семи лет от роду остался круглым сиротой. Воспитывался в немецком пансионе Вюльфринга, в котором обучались дети казанских дворян. Здесь он хорошо овладел немецким языком и перевел поэму Соломона Гескнера «Анелева смерть». Позже Каменев входит в литературный кружок, участниками которого были казанские писатели Н. С. Арцыбашев, И. И. Чернявский, С. А. Москотильников. С последним у Каменева установились прочные дружеские отношения. Москотильников помог ему завязать знакомство с московскими и петербургскими издателями и писателями.

В 1796 году Каменев поместил в петербургском журнале «Муза» восемь стихотворений и несколько повестей. В 1799 году он побывал в Москве, где познакомился с Н. М. Карамзиным, И. И. Дмитриевым, В. В. Измайловым и издателем журнала «Иппокрена» П. А. Сокоцким. В 1802 году в Петербурге был принят в члены «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств». Однако здоровье Каменева было подорвано, и 25 июля 1802 года он скончался в Казани. «Вольное общество» по случаю его кончины объявило трехнедельный траур и поместило в первой части своего «Периодического издания» за 1804 год четыре его произведения, и среди них—поэму «Громвал» и сентиментальную повесть «Инна».

Софья—повесть напечатана в журнале «Муза», ч. 1. Спб., 1796.

Стр. 186. *Я почувствовал нечто великое...*—имеются в виду популярные в XVIII веке песни полумифического шотландского барда Оснана, изданные шотландским поэтом Макферсоном в 1762—1765 годах. В песнях Оснана воспевались подвиги отважных героев древности, события развивались на фоне мрачного северного пейзажа.

Игна—повесть напечатана в «Периодическом издании Вольного общества любителей словесности, наук и художеств», ч. 1. Спб., 1804.

Стр. 186. *...монастырь Х...ч...ский...*—имеется в виду Кизический монастырь в Казани. Каменев любил посещать кладбище, расположенное около него. На этом кладбище он и был похоронен.

П. И. ШАЛИКОВ

Петр Иванович Шаликов, князь, родился в 1767 (1768) году, в семье кавалерийского офицера. Впоследствии и сам Шаликов служил в кавалерии, даже участвовал в штурме Очакова. В конце 1790-х годов вышел в отставку и поселился в Москве. Печататься начал с 1796 года в журнале «Приятное и полезное препровождение времени». С 1798 по 1801 год вышли три сборника его стихотворений под названием «Плод свободных чувствований», в 1802—1804 годах—две части «Путешествия в Малороссию», в 1804 году—«Другое путешествие в Малороссию» и в 1817 году—«Путешествие в Кронштадт», написанные под непосредственным влиянием «Писем русского путешественника» Карамзина. В 1819 году вышли «Повести Шаликова» и «Собрание сочинений» (2 части). Он издавал также два журнала: «Московский зритель» (1806) и «Аглая» (1808—1812). С 1813 по 1837 год был редактором газеты «Московские ведомости», а с 1823 по 1833 год редактировал «Дамский журнал». Умер 16 февраля 1852 года.

По характеру своего творчества Шаликов—типичный эпигон сентиментализма. Его произведения отличались пресмысленной, безвкусной чувствительностью и вызвали в свое время справедливые насмешки современников.

Темная роща, или Памятник нежности—печатается по тексту, представленному в книге «Повести князя Шаликова». М., 1819.

М. В. СУШКОВ

Михаил Васильевич Сушков родился в 1775 году. Его отец в царствование Павла I был симбирским губернатором; мать—писательница и переводчица. В 1792 году в журнале «Дело от безделья» были напечатаны стихотворные произведения Сушкова (оды, шарady, логогрифы), а также персидская с французского языка «Полная баснословная история» в трех частях, содержащая в себе сведения по греческой мифологии. В этом же году Сушков (шестидесяти лет от роду) покончил жизнь самоубийством. В 1801 году вышло в свет лучшее произведение молодого автора—повесть «Российский Вертер». В 1803 году его брат, Николай Васильевич Сушков, издал стихотворные произведения покойного—«Память брату, или Собрание сочинений и переводов Михайлы Сушкова».

Российский Вертер—повесть вышла отдельной книгой в 1801 году.

Стр. 203. *Я читала «Российскую Памелу»...*—имеется в виду роман П. Ю. Львова «Российская Памела» (1789).

...иже поддвинука...—имеется в виду роман Гёте «Страдания молодого Вертера» (1774).

...все писания сорбонских учителей...—то есть профессоров одного из старейших университетов Франции—Сорбонны, основанного в 1253 году.

Стр. 206. *...слова на общее лицо...*—то есть не обращая ни к кому в отдельности.

Стр. 222. *...английская трагедия Катон...*—трагедия английского просветителя Д. Аддисона «Катон» (1713).

А. Е. ИЗМАЙЛОВ

Александр Ефимович Измайлов родился 14 апреля 1779 года во Владимирской губернии в небогатой помещичьей семье. С 1792 по 1797 год учился в Горном кадетском корпусе. После окончания кадетского корпуса служил в Экспедиции о государственных доходах и в департаменте государственного казначейства. С 1826 по 1828 год был вице-губернатором в Твери, а затем (около года) — в Архангельске. После непродолжительной борьбы с местными чиновниками-взяточниками вынужден был подать в отставку и вернуться в Петербург, где давал уроки в Пажеском корпусе. Умер в большой бедности в 1831 году.

Свое творчество Измайлов начал нравственно-сатирическим романом «Евгений, или Пагубные следствия дурного воспитания и общества» (ч. I и II, 1799—1801). В 1801 году была издана его повесть «Бедная Маша», в которой соединились сентиментальная и сатирико-бытовая традиции. Дальнейшая литературная судьба Измайлова тесно связана с петербургским «Вольным обществом любителей словесности, наук и художеств», в которое он был принят в 1802 году и бессменным председателем которого состоял с 1816 по 1826 год.

Измайлов участвовал в издании журнала «Центрик» (1809—1810), а с 1818 по 1826 год издавал собственный журнал «Благонамеренный». Оба этих журнала были органами «Вольного общества». Широкую известность Измайлов получил как автор басен и стихотворных сказок, в которых ирче всего раскрылся его сатирический дар.

Бедная Маша—повесть вышла отдельной книгой в 1801 году.

Истинное приключение благородной россиянки—отдельной книгой повесть вышла в 1803 году. Автор неизвестен.

Стр. 234. *Смоляный монастырь*—построен в середине XVIII века в Петербурге по проекту архитектора Растрелли. В 1764 году при Смоляном монастыре было создано «Воспитательное общество благородных девиц» — первое в России женское закрытое учебное заведение для девиц дворянского сословия.

Н. П. МИЛОНОВ

История бедной Марьи—опубликована в «Журнале российской словесности», ч. III, Спб., 1805, № 9.

Н. П. БРУСИЛОВ

Николай Петрович Брусилов родился в Орловской губернии в 1782 году в дворянской семье. Учился в Пажеском корпусе, но полного курса не прошел. Служил в Московском гренадерском полку. В 1798 году перешел на гражданскую службу. С 1820 по 1834 год был губернатором в Вологде, затем вышел в отставку и последние годы прожил в Петербурге, где и умер в 1849 году.

По характеру творчества Брусилов—писатель карамзинской школы. Им написаны «Мое путешествие, или Приключение одного дня» (1803) и сборник «Плоды моего досуга» (1805). В 1805 году он издавал «Журнал российской словесности», в котором участвовали члены «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств»: И. П. Пинин, А. П. Бентинский, А. Е. Измайлов, Н. Ф. Остолопов. Перу Брусилова принадлежит также «Опыт описания Вологодской губернии» (1833) и статьи по нумизматике и «варязскому» вопросу.

Легковерие и хитрость—повесть напечатана в журнале «Любитель словесности», ч. 2. Спб., 1806.

Пламед и Линна—повесть напечатана в альманахе «Талия», кн. 1. Спб., 1807. Автор неизвестен. Эпиграф взят из поэмы С. С. Боброва «Херсонида», Стр. 257. *Егова (Негова)*—бог в еврейской религии.

Н. МАМЫШЕВ

Злосчастный—напечатано в журнале «Минерва», 1807, ч. V.

Модест и София—повесть напечатана в журнале «Цветник», ч. VI, № 5—6. Спб., 1810. Автор неизвестен.

Стр. 283. *Не читайте ни Элоизы, ни Вертера; не воспламеняйте своего воображения ни Юлики, ни Шарлоттами...*—имеются в виду роман Ж.-Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза», роман Гёте «Страдания молодого Вертера» и их героини Юлики и Шарлотта.

Стр. 285. *Кто бы ни был ты...*—и т. д.—стихотворная «надпись» «К Амуру» (1803), принадлежащая перу И. И. Дмитриева.

Стр. 288. *Лонелас*—герой романа английского писателя С. Ричардсона «Кларисса» (1747—1748), опытный соблазнитель женщин; имя его в этом смысле стало нарицательным.

Стр. 291. *...резвый сын Цитерской богини...*—Купидон, бог любви, сын Афродиты, один из храмов которой находился на острове Цитера.

Стр. 293. *...подобно мой тростинке, о которой говорится в биске...*—имеется в виду басня И. И. Дмитриева «Дуб и трость».

Стр. 296. *...и все превращается в долину Темпейскую...*—Темпейская долина (иногда луг) славилась в Древней Греции своей живописностью и неоднократно была воспета писателями как земной рай.

...о временах Екатерины I, Анны, Елизаветы...—речь идет о русских императрицах XVIII века—Екатерине I Алексеевне (1725—1727), Анне Иоанновне (1730—1740), Екатерине II Алексеевне (1762—1796).

Стр. 297. *Так, красавица! (говорит Карамзин)* и т. д.—отрывок из повести Н. М. Карамзина «Наталия, болгарская дочь» (1792).

Несчастная Лиза—напечатано в журнале «Агалья», кн. 1, ч. X. М., 1810. Автор неизвестен.

Стр. 304. Ах! В гробе мертвые покойны,
Их время горевать прошло,
Смерть только для живых есть зло:
Могила зависти достойна,
Ничтожество не страшно в них!—

отрывок из стихотворения Н. М. Карамзина «Стихи на скорострелную смерть Петра Афанасьевича Бельского» (1803).

Стр. 305. Розы ль дышат над могилой,
Иль поляны на ней растут;
Все равно, о друг мой милай!
В праке чувства я уж нет!—

четверостишие из стихотворения И. И. Дмитриева «Наслаждение» (1792).

Варежка — напечатано в журнале «Агая», кн. 2, ч. XII. М., 1810. Автор неизвестен.
Стр. 306. *Недалеко от Старой Р-ни, на берегу реки О...* — имеется в виду село Старая Рязань
Рязанской губернии, расположенное на берегу реки Оки.
Стр. 310. *Василиск* — сказочное чудовище, змей.

И. И. ЛАЖЕЧНИКОВ

Иван Иванович Лажечников родился 14 сентября 1792 года в городе Коломне Московской губернии в купеческой семье. Сначала обучался дома, под руководством гувернера-француза, а затем в Москве, где слушала частные лекции профессора Московского университета А. Ф. Мерзлякова.

Начал службу в Московском архиве, потом служил в канцелярии московского генерал-губернатора. Участвовал в войне 1812 года и позже — во взятии Парижа. В 1819 году перешел из военной службы в Министерство народного просвещения. Затем был директором Казанской гимназии и училищ Казанской губернии. Позже занимал пост вице-губернатора в Твери и Витебске. Последние годы жил в Москве, где и скончался в 1869 году.

Литературная деятельность Лажечникова началась очень рано. Он печатался в журналах «Вестник Европы» и «Агая». В 1817 году издал свои ранние сентиментальные произведения в сборнике «Первые опыты» (впоследствии почти полностью уничтожен самим автором). С 1817 года в разных журналах начал появляться отрывки с описанием событий и впечатлений автора, относящихся к войне 1812 года, которые в 1820 году были изданы отдельной книгой под названием «Походные записки русского офицера». Но широкую литературную славу принесли Лажечникову его исторические романы: Первый из них, «Последний Новик», вышел в 1833 году, за ним последовали «Ледяной дом» (1835) и «Басурман» (1838). Кроме того, Лажечникову принадлежат драмы, комедии и интересные воспоминания о своих современниках.

Спасская лужайка — повесть напечатана в журнале «Агая», кн. 3, ч. XIII. М., 1812.
Стр. 315. ... *хотя семь lustrov сочла в жизни своей...* — то есть тридцать пять лет; lustrum — в Древнем Риме искупительное жертвоприношение, происходившее через каждые пять лет. В более позднее время употреблялось в значении «пятнадцатие».

... *в одном журнале...* — здесь в значении «в одном дневнике».

Стр. 318. ... *несколькими стаками Диакной прислуги...* — то есть несколькими собачными сворами, так как в древнегреческой мифологии Диана считалась покровительницей охоты.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Август Гай Юлий Цезарь Октавиан (63 до н. э.—14 н. э.)—римский император, сосредоточивший в своих руках огромную политическую и государственную власть
- Апелл (Апеллес) (вторая половина 4 в. до н. э.)—знаменитый древнегреческий живописец
- Аристид (ок. 540—ок. 467 до н. э.)—афинский политический и военный деятель эпохи греко-персидских войн (500—449 до н. э.), прозванный «справедливым»
- Аспазия (470 до н. э.—год смерти неизв.)—жена Перикла и друг Сократа. Отличалась красотой и образованностью; собирала около себя поэтов, художников и философов. Имя ее стало нарицательным для покровительниц наук и искусств
- Батений (Батони) Помпео (1708—1787)—итальянский художник-классицист, портретист, а также автор исторических и религиозных полотен
- Баярд Пьер дю Террайль (1476—1524)—французский рыцарь, прославившийся необыкновенной храбростью
- Вакер (Ваккаро) Андреа (1598—1670)—итальянский живописец, подражатель Микеланджело Амегги (Каравалжо)
- Верн (Верне) Клод Жозеф (1714—1789)—французский художник-пейзажист
- Вестрис Огюст (1760—1842)—танцовщик, артист парижской Большой оперы
- Владимир (год рожд. неизв.—ум. 1015)—киевский князь Владимир Святославич
- Вольтер (Франсуа Мари Аруэ) (1694—1778)—знаменитый французский писатель-просветитель, автор повестей, поэм, трагедий и трактатов
- Гейден (Гайдн) Йосиф (1732—1809)—великий австрийский композитор, представитель классической венской школы. В его музыке нашли отражение национальные народные мелодии
- Гесснер Соломон (1730—1788)—немецкий поэт и художник, автор идиллических поэм и стихотворений
- Гиббон Эдуард (1737—1794)—английский историк-просветитель, автор многотомного сочинения «История упадка и разрушения Римской империи»
- Глюк (Глюк) Кристоф Виллибальд (1714—1787)—великий немецкий композитор
- Гостомисл—полулегендарный новгородский боярин, якобы участвовавший в призвании на Русь варяжских князей
- Дюкюр-Дюминиль (1761—1819)—французский писатель, автор многочисленных романов, популярных в России в конце XVIII—начале XIX века
- Епаминонд—знаменитый греческий полководец IV века до н. э., уроженец города Фив
- Зенон (ок. 336—264 до н. э.)—древнегреческий философ, основоположник стоической школы. В основе его учения лежит мысль о необходимости разумного подавления страстей во имя добродетели

- Катон Младший Марк Порций Утический (95—46 до н. э.)—государственный деятель, вождь республиканской партии. Покончил с собой, узнав о победе Цезаря над защитниками республиканских порядков
- Кауфман Ангелика (Анжеланка) (1741—1807)—представитель классицизма, немецкая художница, автор портретов, мифологических и исторических композиций
- Клашшток Фридрих Готлиб (1724—1803)—немецкий писатель предромантистического периода, автор поэмы «Месснада» и многих лирических стихотворений, часть которых была положена на музыку
- Конфуций (приблизительно 551—479 до н. э.)—древнекитайский ученый, занимавшийся этико-политическими вопросами
- Крез (595—546 до н. э.)—последний царь Лидии; прославился своими богатствами, чем и вошел в легенды и поговорку «Богат, как Крез»
- Лабрюйер Жан де (1645—1696)—французский писатель, автор нравоописательной книги «Характеры, или Нравы этого века» (1688)
- Ланса (V в. до н. э.)—греческая гетера, известная своей красотой. Ее имя стало нарицательным для женщин легкого поведения
- Ланкло Нинон де (1616—1706)—французская куртизанка, ее дом посещали представители знати, а также поэты и ученые. Среди посетителей был и муж известной писательницы мадам де Севиньи—маркиз де Севиньи
- Лукулл, Луций Лициний (ок. 117—56 до н. э.)—римский политический деятель и полководец. Прославился своим богатством, роскошной жизнью и пирами, которые вошел в пословицу (Лукуллов пир)
- Монтань (Монтень) Мишель де (1533—1592)—французский философ эпохи Возрождения, представитель скептического направления в философии. Главный труд Монтеня—«Опыты» (1580)
- Ньютон (Ньютон) Исаак (1643—1727)—великий английский физик, открывший основные законы механики
- Петрарка Франческо (1304—1374)—великий итальянский поэт эпохи Возрождения. Многие стихи он посвятил своей возлюбленной Лауре
- Помпоний Секст—римский юрист II века
- Поппе (Поп) Александр (1688—1744)—английский поэт, представитель просветительского классицизма
- Радклиф Анна (1764—1823)—английская писательница, автор так называемых «готических романов», или «романов ужасов и тайн»
- Рафаэль Санти (1483—1520)—великий итальянский художник и архитектор эпохи Возрождения
- Регул Марк Атилий (год рождения неизв.—ум. ок. 248 до н. э.)—римский полководец и деятель. Участник первой Пунической войны
- Руссо Жан-Жак (1712—1778)—французский писатель и философ, видный деятель Просвещения, автор «сентиментального» романа «Юлия, или Новая Элоиза»
- Сафо (Сапфо) (первая половина VI в. до н. э.)—древнегреческая поэтесса, уроженка острова Лесбос. Лирика Сафо посвящена любовным страданиям, вызванным разлукой, ревностью, изменой
- Скородумов Гавриил Иванович (1755—1792)—выдающийся русский гравер, миниатюрист и акварелист
- Смит Адам (1723—1790)—крупнейший представитель английской буржуазной политической экономии, автор известной книги «Исследование о природе и причине богатства народов» (1776)
- Сократ (род. ок. 469—ум. 399 до н. э.)—знаменитый древнегреческий философ, был дружен с Аглазией, женой Перикла, которая покровительствовала ему
- Софокл (496—406 до н. э.)—великий драматург Древней Греции, автор трагедий

Сталь Анна Луиза Жермен де (1766—1817)— французская писательница, автор романов и пьес, в которых она отстаивает эмансипацию женщин

Стерн Лоуренс (1713—1768)— английский писатель-сентименталист, автор известной книги «Сентиментальное путешествие», вызвавшей множество подражаний в разных странах
Сципион Публий Корнелий Африканский старший (ок. 235—ок. 183 до н. э.)— знаменитый римский полководец, участник второй Пунической войны. В 202 году до н. э. разгромил армию карфагенского полководца Ганнибала, за что и получил прозвище Африканского

Теокрит (Феокрит) (конец IV— первая половина III в. до н. э.)— древнегреческий поэт, создатель жанра идиллий

Теренций Публий (ок. 195—159 до н. э.)— римский комедиограф

Фабий Максим Квинт Кунктатор (Меддитель) (275—203 до н. э.)— римский государственный деятель и полководец, придерживавшаяся в войне с Карфагеном медленной, осторожной тактики, за что и был прозван Кунктатором

Фидас (Фидий) (род. в нач. V в. до н. э.— ум. ок. 432—431 до н. э.)— великий древнегреческий скульптор. Особенным совершенством отличаются его статуи и барельефы в афинском Парфеноне

Флориан Жан Пьер (1735—1794)— французский писатель, автор басен и повестей в пасторальном духе

Цезарь Юлий (100—44 до н. э.)— римский полководец и диктатор. Хотел объявить себя императором, за что и был убит заговорщиками во главе с Брутом и Кассием

Цинцинат Люций Квинций (V в. до н. э.)— известный римский политический деятель

Цицерон Марк Туллий (106—43 до н. э.)— знаменитый оратор, адвокат, писатель и политический деятель Древнего Рима

Эвмен (Елмен) (363—316 до н. э.)— вначале секретарь Александра Македонского, после его смерти— греческий полководец

Юнг Эдуард (1681—1765)— английский поэт-сентименталист. Широкую известность имела его поэма «Жалобы, или Ночные размышления», содержащая в себе скорбные думы о бренности человеческой жизни

СЛОВАРЬ МИФОЛОГИЧЕСКИХ ИМЕН И НАЗВАНИЙ

- Адонис** (*греч. миф.*) — прекрасный юноша, любимец богини любви Афродиты
- Алкид** (*Алькид*) (*греч. миф.*) — силач Геркулес, внук царя Алкея
- Аполлон** (*греч. миф.*) — бог солнца, покровитель наук и поэзии. Его изображали с кифарой (лирой), луком и стрелами
- Аргус** (*греч. миф.*) — великан, обладавший множеством глаз, один из которых постоянно бодрствовал. В переносном смысле — неусыпный страж.
- Астрея** (*греч. миф.*) — богиня справедливости, дочь Зевса и Фемиды
- Венера** (*римск. миф.*) — богиня любви и красоты
- Галатея** (*греч. миф.*) — морская нимфа, олицетворение спокойного, блестящего моря
- Геба, Гебeya** (*греч. миф.*) — богиня вечной юности, дочь Зевса и Геры. На пиршествах богов была виночерпием. Изображалась с чашей в руках, наполненной нектаром
- Гименей** (*греч. миф.*) — божество, покровительствующее браку, супружеской любви
- Грации** (*римск. миф.*) — богини женской красоты, спутницы Венеры
- Дафна** (*греч. миф.*) — нимфа, дочь речного бога Ладона и богини земли Геи. Последняя, чтобы спасти Дафну от Аполлона, преследовавшего ее на Темпейском лугу, превратила свою дочь в лавровое дерево
- Дриады** — см. нимфы
- Зевс, Зевес** (*греч. миф.*) — верховное божество, устрашающее и наказывающее своих врагов громом и молнией (громовержец)
- Зефир** (*греч. миф.*) — божество, олицетворяющее мягкий, теплый западный ветер на Средиземном море
- Купидон** (*римск. миф.*) — бог любви, то же, что и греческий Эрот
- Марс** (*римск. миф.*) — бог войны, возлюбленный богини Венеры
- Мидас** (*греч. миф.*) — фригийский царь, которого бог Дионис наделил способностью обращать все предметы, к которым он прикасался, в золото, вследствие чего Мидас едва не погиб от голода. Его же Аполлон наградил ослиными ушами за то, что Мидас отдал палму первенства в музыкальном состязании не Аполлону, а Пану
- Музы** (*греч. миф.*) — богини искусства, девять сестер, спутницы Аполлона, обитавшие на горах Геликон и Парнас
- Нарцисс** (*греч. миф.*) — красивый, тщеславный юноша. Он влюбился в свое отражение в ручье и был превращен богами в цветок, носящий его имя
- Нимфы** (*греч. миф.*) — олицетворение природных сил и явлений: деревья — дриады, горы — орады, моря — нериды, водных источников — наяды. Изображались в виде юных, красивых девушек
- Ниоба** (*греч. миф.*) — жена фиванского царя Амфиона. За непочтительное отношение к богине

Лето (Латона) потеряла всех своих детей и была превращена в скалу, источающую слезы
Олимп (*греч.*) — гора в Греции. В древнегреческой мифологии — место пребывания богов

Перун (*слав.*) — бог грома и молнии у древних славян

Тартар (*греч. миф.*) — преисподняя, царство смерти. В глубине его обитают страшные чудовища: Эринии и Эхидна

Фоб (*греч. миф.*) — одно из имен Аполлона (см.)

Фортуна (*римск. миф.*) — богиня удачи и счастья

Фурия (*римск. миф.*) — богиня-мстительница. В переносном смысле — разъяренная женщина

Химера (*греч. миф.*) — фантастическое чудовище с головой льва, туловищем козы и хвостом дракона. В переносном смысле — чудовищная фантазия, безудержная игра воображения
Цинтия (*римск. миф.*) — одно из имен Дианы как богини луны

Эрата (Эрато) (*греч. миф.*) — муза, покровительница лирической, преимущественно любовной поэзии

Эрот (*греч. миф.*) — бог любви, сын Афродиты. В римской мифологии ему соответствовал Амур

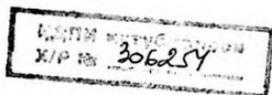
СЛОВАРЬ УСТАРЕВШИХ СЛОВ

- Анафема — проклятие, первоначально означавшее отлучение от церкви
Анахорет — отшельник, человек, ведущий уединенную жизнь
Бдеть — бодрствовать, не спать
Вежды — веки
Власяница — грубая шерстяная или волосая одежда в форме мешка
Во сретение — навстречу
Заразы — прелести, красоты
Инде — в других местах
Казначей — служитель, заведовавший в барском доме приходом и расходом
Камзол — старинная мужская одежда, обтягивающая корпус, украшенная вышивкой, галунами и пуговицами, длиной до колен. Одевался под кафтан. Появился в России в начале XVIII века
Кокошник — старинный женский головной убор в виде округлого щита над головой
Леторасль — годовой побег дерева, прибыль роста в одно лето
Лик — хор
Лицел — лица
Онгда — однажды, как-то
Оратай — пахарь
Паки — опить, снова
Пени — жалобы, мольбы
Пергамин — тонкая прочная бумага
Пореканье — натравливание во время псовой охоты гончих на зверя
Предстательство — защита, покровительство
Пря — борьба, спор, раздоры, пражда
Рукомесленник — ремесленник
Смачный — вкусный
Совместник — соперник
Сорока — старинный русский головной убор замужних женщин, изготовленный из ткани
Ставленник (ставленница) — лицо, решившее постричься в монахи
Струг — старинное русское гребное или парусное деревянное гудно, приспособленное для плавания по рекам
Телогрея — старинная русская женская одежда, теплая кофта без рукавов
Тоня — место, где ловят рыбу
Ферезь — женский праздничный сарафан с продольной лентой и пуговицами, имитирующими застежку
Фимнам — благоговенное вещество для курения. В переносном смысле курить фимнам — льстить, неискренне восхвалять кого-нибудь
Флёр — прозрачная ткань
Хлебь — бедня, глубина
Хоругвь — церковное украшение. Большое полотнище с изображением святых, укрепленное на длинном древке

СОДЕРЖАНИЕ

Русская сентиментальная повесть. (Вступительная статья П. А. Орлова)	5
Коллин и Лиза (автор неизвестен)	27
П. Ю. Львов	
Роза и Любим	33
Даша, деревенская девушка	62
М. Н. Муравьев	
Обитатель предместья	70
Н. М. Карамзин	
Евгений и Юлия	89
Бедная Лиза	94
Юлия	106
А. И. Клушин	
Несчастный М-н	119
Н. С. Смирнов (Даурец Номохон)	
Зара	142
В. В. Измайлов	
Ростовское озеро	144
Прекрасная Татьяна, живущая у подошвы Воробьевых гор	158
Парамон и Варенька (автор неизвестен)	172
Г. П. Каменев	
София	176
Ирина	186
П. И. Шаликов	
Темная роща, или Памятник нежности	190
М. В. Сушков	
Русский Верзер	203
А. Е. Измайлов	
Бедная Маша	223
Истинное приключение благородной россиянки (автор неизвестен)	231
Н. П. Милонов	
История бедной Марьи	241
Н. П. Бруслов	
Легковерие и хитрость	244
Пламед и Линна (автор неизвестен)	255

Н. Мамышев	
Злобастный	267
Модест и София (автор неизвестен)	283
Несчастная Лида (автор неизвестен)	299
Варенька (автор неизвестен)	306
И. И. Дажеников	
Спасская дужайка	314
Комментарии	320
Указатель имен	329
Словарь мифологических имен и названий	332
Словарь устаревших слов	334



**РУССКАЯ
СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ
ПОВЕСТЬ**

Заведующая редакцией М. Д. Потапова
 Редактор Т. М. Илленко
 Художник Ю. А. Боярский
 Художественный редактор А. В. Мухина
 Технический редактор К. С. Чистякова
 Корректоры Н. И. Коновалова,
 И. А. Мушников

БЗ № 102-92-78
 ИБ № 554

Сдано в набор 31.05.78. Подписано к печати 26.02.79. А-81119.
 Формат 20х30/16. Бумага тип. № 2. Гарнитура басариним.
 Обложка переплет. Физ. печ. л. 21,0. Мол. печ. л. 21,57. Уч.-изд. л.
 22,92. Тираж 15 000 экз. Цена 2 руб. Изд. № 586. Заказ 315.

Издательство Московского университета.
 Москва, К-9, ул. Герцена, 57.

Отпечатано в типографии № 4 Сельскохозяйственного при
 Государственном институте ГИЗР по делам издательств,
 полиграфии и книжной торговли. 109008, Москва, Южнопор-
 товый ул., 24, с фотоаппаратом Первой Государственной типографии
 им. А. А. Жданова, Москва, М-54, Валуевская ул., 78.